
Подвиг



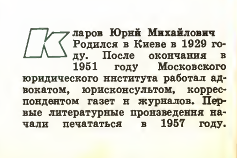
Гранин Даниил Александрович

Родился в 1919 году в селе Волынь Курской области. В 1940 году закончил Ленинградский политехнический институт и работал инженером на Кировском заводе. В 1942 году ушел на фронт и до конца Великой Отечественной войны воевал в танковых частях. В 1949 году вышла его первая книга.

Д. Гранин — автор романов «Искатели», «После свадьбы», «Иду на грозу», «Картина», многочисленных сборников повестей и рассказов. За повесть «Клавдия Вилор» Д. Гранин удостоен Государственной премии СССР.

Адамович Александр Михайлович

Родился в деревне Конюхи Минской области в 1927 году. Во время фашистской оккупации Белоруссии сражался в партизанском отряде. Первая книга — роман — «Война под крышами» — вышла в 1960 году. За ней последовал роман «Сыновья уходят в бой», «Хатынская повесть», повести «Асия», «Последний отпуск», «Каратели».



Кларов Юрий Михайлович

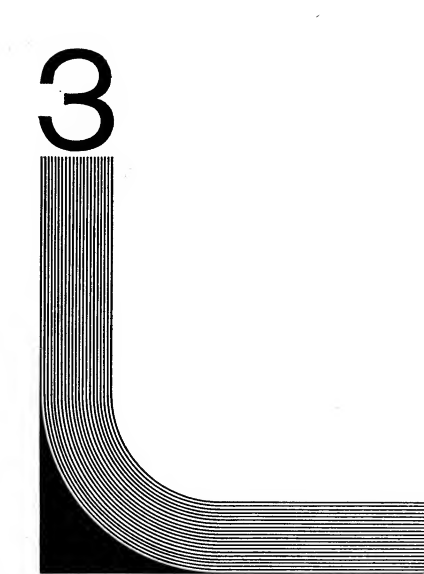
Родился в Киеве в 1929 году. После окончания в 1951 году Московского юридического института работал адвокатом, юрисконсультом, корреспондентом газет и журналов. Первые литературные произведения начали печататься в 1957 году.

БИБЛИОТЕКА

ГЕРО-
ИКИ
И
ПРИ-
КЛЮ-
ЧЕ-
НИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
"СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ"

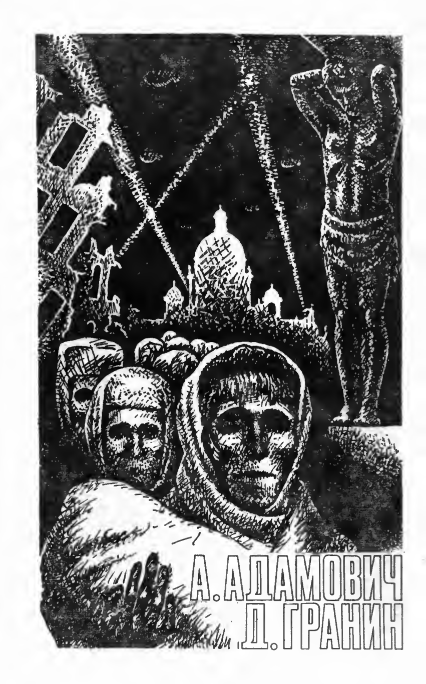
© «Молодая гвардия», 1983 г.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ "МОЛОДАЯ

А. АДАМОВИЧ
Д. ГРАНИН
Ю. КЛАРОВ

ГВАРДИЯ" МОСКВА 1983


А. АДАМОВИЧ
Д. ГРАНИН


БЛОКАД·
·НАЯ
КНИГА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Только мы сами знаем

У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто с множеством дверных звонков — надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшая вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она взглянет на вас женскими или не женскими, но обязательно немолодыми и обязательно взволнованно-оценивающими глазами («Кто?.. Почему?.. Зачем им это?»). Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательное: «Сколько лет прошло... Забывается все...»

Ленинградские дома, квартиры блокадников...

Вообразите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы все в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снарядов на потолке (старинном, лепном), осколков стекла на глянце пианино. Пятно-ожог от «буржуйки» на блестящем паркете...

«А здесь паркет испорчен — это мой муж в последнее время колол мебель. Пока он не умер на этом вот диване. Вот здесь...» (Ден Александра Борисовна)[1]

«Вот если посмотреть из окон, такой обзор у нас... Ипподром. Чуть налево, если высунуться из

[1] Здесь и далее разрядка, а также примечания авторов.

любого окна, — обуховская больница, а вправо — газовый завод. В ту сторону нам можно было смотреть на Бадаевские склады...» (Пенкина Нина Вячеславовна)

«Мы встречали 42-й Новый год вот в этой комнате, уже совершенно замороженной. На этом месте стояла «буржуйка». Вывод трубы от нас был вот в тот вентилятор. Видите желтое пятно? Его ничем не замазать, потому что здесь «буржуйка» стояла...» (Усова Лидия Сергеевна)

Лидия Сергеевна и сейчас хранит черные занавески, за которыми прятала от самолетов свет своей коптилки. Говорит, не веря сама, но говорит: «Уничтожу их — война начнется!»

Бабич Майя Яновна вспоминает и показывает:

«В блокаду мы остались с мамой вдвоем. В нашей квартире собрались ее приятельницы, и сверху пришли. И в этой квартире, в одной комнате, которая была дальше всего от улицы, в глубине квартиры, все и сгрудились. Стекла были выбиты, и одно окно закрыли вот этим ковром, турецкий ковер ручной работы. Потом матрац прислонили к одному окну... Осколки снарядов залетали в окна, застревали в стенах...»

...Тут его, ленинградца, обстреливали, обрушивали на него смерть — снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь столько близких, соседей, здоровье потерял. А сейчас (здесь же!) живет как все. Как все, только со всех сторон окружен памятью...

И в нем самом она, та память о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже надо помнить, а если спрашивают — рассказать...

«Столько лет прошло, забывается все...»

Но ничто не забыто — эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат и как уверенность, и как надежда, просьба. Да, не забыто — разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел, имел право?! Да, все это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали, они переносили ее изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но мы, мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые — имеем ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас они, ленинградцы?!

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что время все быстрее уносит свидетелей, участников, тех, кто был, кто знал, кто видел...

Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами «ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие войну — один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, — казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят...

Понять и унести безжалостную быль «ленинградской памя-

ти» легче, если видишь этих людей — самих рассказчиков, а не только слышишь их голоса (с магнитофона) или читаешь их воспоминания.

Многое в этих людях удивительно и неожиданно. Но потом все оказывается таким простым, понятным, таким человеческим... и еще более поразительным.

Например, поражает и бесконечно трогает — сколько их, бывших блокадников, писали и пишут... стихи. Не просто и не только дневники, воспоминания, но и стихи. Едва ли не каждый десятый. (Даже тогда писали. Например, в 1943-м женщина посылает письма-стихи на Большую землю, а ей отвечает, тоже стихами, эвакуированная ленинградка-племянница...) Что это — влияние самого города с его несравненной поэтической культурой? Или же слишком врезалось в сознание ленинградца, как оно было: голод, блокада и стихи (об этом же) — и все рядом? Он их слышал, слушал по радио, жадно, как никогда до этого, — стихи Ольги Берггольц (да и не только ее).

Можно было бы и не придавать особого значения «непрофессиональному» увлечению стихами взрослых людей, если бы за этим не виделось большее, главное: сквозь годы многое в блокаде светится поэтически, проступает романтика общего подвига. Нет, не в том смысле, что ленинградец опускает в своих воспоминаниях холод, голод, трупный ужас тех дней и ночей. Все это живет в нем как крик боли до сих пор. Но во всем и надо всем — понимание почти **каждым** (поразительно!), что это были **исторические** дни и ночи, сознание, что Ленинград — единственный город, который устоял перед самой длительной блокадой, что образ города этого помог миру, человечеству остановиться на краю страшной пропасти. Отрезанный, блокированный город был, и это надо понять, силен своим неодиночеством, к нему были устремлены внимание, любовь, вера всей страны. Неслыханные жертвы, немыслимые испытания, о которых рассказывает блокадник, просветлены чувством гордости, поэтическим чувством: зато **Ленинград устоял! Мы выстояли! Жизнь продолжается!**

...Вот так настал,
    одетый в кровь и лед,
сорок второй необорный год.
О, год ожесточенья и упорства!
Лишь насмерть,
    насмерть всюду встали мы.
Год Ленинграда,
    год его зимы,
год Сталинградского
    единоборства.
В те дни отхлынул быт.
    И смело
в права свои вступило бытие.

Ольга Берггольц

Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски, ленинградской надежды, ожидания («Когда, когда же наконец?!»), чтобы поэтически увидеть прорыв блокады, тридцать лет сохранять образ и чувство и вот так рассказать:

«Демобилизовали, и я работала уже с 9 января 1944 года на трамвае, он ходил по Невскому. И вот первый день снятия блокады. Начали военные корабли стрелять. Это такое было зрелище, что я никогда не забуду. Красивое и страшное. Как будто с Невы вся вода, огненно-красная, поднимается и летит через наши головы, а потом сильный грохот...» (Петрова Анна Алексеевна, ул. Бассейная, 74, корп. 1).

О блокаде Ленинграда, о героических защитниках невской твердыни, о «наемном убийце» фашистов — блокадном голоде существует обширная документальная литература.

Немало душ, сердец во всем мире потряс зимний дневничок маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв...», «Дядя Алеша 10 мая...», «Мама 13 мая в 7.30 утра...», «Умерли все. Осталась одна Таня».

В драгоценно-подробных дневниках писателя Павла Лукницкого «Ленинград действует» и в записках, дневниках (опубликованных) других свидетелей и участников героической ленинградской эпопеи есть много нестареющей правды, нужной людям.

За послевоенные годы выпущены, особенно в Ленинграде, сборники воспоминаний участников героической обороны Ленинграда и прорыва блокады — генералов, полководцев, рядовых солдат Ленинградского фронта. Изданы воспоминания партийных и советских работников, которые сумели в условиях блокады наладить жизнь осажденного города, поддерживать стойкость в людях, осуществить «Дорогу жизни». Есть воспоминания юных защитников города — школьников, юнг, воспоминания тех, кто создавал в блокированном городе овощную базу, заготавливал лес, торф... Книга об ученых ленинградской блокады, артистах, художниках, врачах, учителях.

Созданы очерки, повести, романы, начиная от «Балтийского неба» Н. Чуковского, «В осаде» В. Кетлинской, книг О. Берггольц, Н. Тихонова, В. Инбер, Вс. Вишневского, А. Фадеева... Все они честно, талантливо, страстно изображали увиденное, пережитое, опыт самих авторов и их героев. Многотомная «Блокада» А. Чаковского вобрала в себя и документы и факты, передающие мужество великого города. И то, как связана была история ленинградской блокады с историей всей Великой Отечественной войны.

Что еще можно поведать людям, миру обо всем этом? И нужно ли это ему, сегодняшнему миру?

Мы хотели дополнить картину свидетельствами людей о том, как они жили во время блокады. Записать живые голоса участников блокады, их рассказы о себе, о близких, о товарищах.

Обыкновенные ленинградцы, работавшие и неработавшие, холостые и семейные, мастера, рабочие, дети, инженеры, медсестры, — впрочем, дело не в специальностях и должностях. Мы ограничивали себя, свой интерес к профессиям, к службам, потому что не в силах охватить разные стороны жизни огромного города, показать все разделы. Нас интересовало прежде всего пережитое. Мы хотели записать, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствовано, изведано душами людей, не вообще людей, а конкретных людей с именами и адресами, старых и молодых, сильных и слабых, тех, кого спасали, и тех, кто спасал... Оказалось, что быт и бытие сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом — все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для измученного, ослабевшего человека...

Откуда брались силы, откуда возникала стойкость, где пребывали истоки душевной крепости?

Перед нами стали открываться не менее мучительные проблемы и нравственного порядка. Иные мерки возникали для понятия доброты, подвига, жестокости, любви. Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных, сослуживцев.

В рассказах людей вставали те сложные моральные задачи, которые приходилось решать каждому человеку. Мы увидели необычайные примеры крепости духа, примеры благородства, красоты, исполнения долга, но и — неслыханных страданий, мучительных лишений, смертей...

Не всегда было ясно — пришло ли время для этих рассказов такой жестокой беспощадности? А с другой стороны — не ушло ли, не упущено ли время и возможность рассказать об этом так, как это было вживе и въяве, так, как это помнят лишь сами ленинградцы?..

В морозные дни обстрелов, голодных галлюцинаций узнаваемый всеми радиоголос Ольги Берггольц говорил ленинградцам и от их имени:

«Только мы сами знаем, какого отдыха мы все заслужили». «И Ленинград щадил ее (Родину), мы долго ничего не говорили о боли, которую испытывали, скрывали от нее свое изнеможение, преуменьшали свои пытки...» «Они девятьсот дней осаждали Ленинград, подвергая его таким пыткам, о которых до сих пор не расскажешь...»

Это говорилось в 1942-м, в 1943-м, в 1945-м.

Да, ленинградец блокаду переносил изо дня в день с трагической стойкостью, достоинством. С тем же достоинством долгие годы удерживал, сохранял в себе обжигающую правду о пережитом.

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что «пришло время», «люди хотят знать», «людям надо...».

Будоража их все еще воспаленную болью и утратами душу, мы не раз спрашивали себя: а надо ли, а имеем ли право?

Ответом служат сами же рассказы ленинградцев. В них — в тексте, в интонации — звучит: да, нам тяжело, больно вспоминать, но еще больнее было бы думать, что *такое* никому не нужно, кроме нас самих.

А ведь действительно, если все это было на планете — тот блокадный смертельный голод, бессчетные смерти, муки матерей и детей, — то память об этом должна служить другим людям и десятилетия и столетия спустя.

Уже с 1944 года, со дня снятия блокады, когда выставку обороны Ленинграда стали переделывать в Музей обороны, начался, по сути, правдивый, впечатляющий рассказ о героизме девятисот дней. Один из создателей музея, *Василий Пантелеймонович Ковалев*, наизусть помнит все экспонаты, он рассказывает так, словно ведет нас из зала в зал: вот зал авиации с бомбардировщиком, который первым бомбил Берлин в сорок первом году, а вот в зале артиллерии миномет братьев Шумовых, дальше — несколько залов партизанского движения...

Был там и дневник Тани Савичевой, тот самый, который, бережно сохраняемый, выставлен ныне в центре мемориала Пискаревского кладбища. Записки девочки (она погибла в 1945 году в эвакуации) стали одним из грозных обвинений фашизму, одним из символов блокады. Дневник имеет свою историю. «Принес его Лев Львович Раков, директор музея, — рассказывал нам В. Ковалев. — Эта маленькая книжка производила невероятное впечатление. Зал, в котором она была, отличался особенным оформлением: потолок был сделан в виде палатки, были колонны, изображающие лед, и при входе в зал была витрина, покрытая как бы изморозью. За этой витриной стояли весы, и на весах лежало 125 граммов хлеба, а напротив была витрина, в которой был сосредоточен материал по пайкам, которые выдавались ленинградцам. Паек все уменьшался, уменьшался, дошел до 125 граммов, потом, с открытием «Дороги жизни», начал возрастать. Посреди музея стояла витрина из старого музея Ленинграда, с одной стороны лежал дневник Тани Савичевой, синим карандашом написанный, с другой стороны лежали ордена погибших в блокаду, в том числе лежали документы погибшего молодого человека. А перед этим залом был зал снайперский.

Я помню, как стояла леди Черчилль у этого экспоната — дневника Савичевой, стояла около витрины, и на глазах были слезы, когда ей перевели содержание. Стоял у этой книжки Эйзенхауэр. Он был в музее вместе с Жуковым. Буденный долго стоял, Калинин. (Кстати, дом, в котором когда-то жил Калинин, был как раз напротив музея, в том же Соляном переулке.)...»

...Данная наша работа потребовала собрать тысячи страниц дневников и записок блокадников, тысячи страниц, «снятых» с магнитофонной ленты, — что с этим делать? Что отобрать

и как выстроить? Без такой, без авторской, работы материал сам себя похоронит; кто и когда это прочтет?

А с другой стороны, главными авторами все-таки должны оставаться блокадники. Они рассказывали — мы записывали. Они передали нам свои дневники, свои записки-воспоминания. Теперь это и нашей памяти боль и богатство.

Читателю, конечно же, нужны, интересны прежде всего те, кто сам все это пережил, люди-свидетели, люди-документы. Мы это сознавали, да и поневоле немеешь перед их правдой и судьбой. Свою авторскую задачу и роль мы видели в том, чтобы дать ленинградцам возможность встретиться друг с другом на страницах нашей работы, в главах блокадной книги. У этих сотен столь разных людей судьба одна — ленинградская, блокадная. У них столько общих мыслей, чувств, неуходящих образов, картин — одно потянется к другому, голос отзовется на голос, боль, слеза — на боль и слезу, гордость, что все же выстояли, — на гордость... Что из этого отобрать, оставить? Есть факты явно невыносимые, есть истории легендарные, которые и не проверить... Мы опускаем сотни страниц того, что так старательно искали, записывали, расшифровывали, если эти страницы не выдерживают соседства других страниц, рассказов, судеб. Надо было оставить самое значительное и самое обыденное. Хотелось сохранить и всю индивидуальность и «неправильность» рассказа, «голоса» в ущерб любым литературным соображениям. Литература (и хорошая) уже была. И еще будет. Всему свое время и место. У литературы свои преимущества и возможности. Но и своя ограниченность, если имеешь дело с таким событием и такими страданиями. Пусть на этих страницах выговорится сама память блокадная — ее языком и «стилем». Поэтому мы просим принять неправильности и повороты живого рассказа. Скорее попросим извинить нас за некоторые поправки, сокращения, за наши вторжения и комментарии, за невольные «разрывы» житейских и семейных судеб...

Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали страдания — они еще и действовали. Они работали, они помогали воевать, они спасали, обслуживали других, кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал работу заводов, фабрик. В сущности, это было в каждом рассказе — голод, холод, обстрелы, лишения, смерти и, следовательно, душевные проблемы, порождаемые страданиями, и тут же активность людей, то, что они делали, как боролись, несмотря ни на что. Три эти стороны жизни появлялись в любом рассказе. Конечно, в каждом рассказе, в каждой судьбе три эти части не расчленены. Разъединять цельное повествование трудно. Потому что каждый рассказ был рассказом не о каком-то случае. В блокаду люди жили, поэтому и рассказывали они о всей жизни, где сплетались военно и предвоенные годы, и семья, и послевоенная судьба, там были и фронт, и эвакуация, и нынешняя жизнь. Из этого цельного, связанного чувством и на-

строением изложения приходилось брать, выдирать один какой-то эпизод, а то всего лишь фразу, мысль, то есть разрывать неразрывное. Приходилось исключать в рассказах фронт, хотя город был неотделим от него. Было обидно обходить бойцов Ленинградского фронта, которые несли тяготы голода, не имели сил прорвать блокаду, освободить город, но в то же время не пустили фашистов в город, не позволили им снять войска из-под Ленинграда для других фронтов. Не только враг держал город в блокаде, но и голодные, малочисленные армии Ленинградского фронта лютой хваткой держали гитлеровские армии у стен Ленинграда.

Один за другим — ударами Синявинской операции и на Московской Дубровке — срывались немецкие планы захвата города Ленина. Всего не объять: у этой части книги своя тема.

Блокадная книга составлена из записей, рассказов нескольких сотен человек. Мы не могли упомянуть всех, кого записали, не могли использовать всего собранного материала. Но все равно так или иначе они присутствуют в этой книге, в этом отборе. Мы начали с переживаний, может, наиболее заповедных, к которым память рассказывающих (всех) прикасается осторожно, с особой болью и трепетностью, но устремлена она в ту сторону обязательно и постоянно — это голод, это обстрелы, бомбежки, первая осень, первая зима блокады 1941/42 года и весна 1942 года. С этого приходится начинать. Надо прежде всего представить всю меру лишений, утрат, мучений, пережитых ленинградцами, только тогда можно оценить высоту и силу их подвига.

Неизвестное про известную фотографию

...Весенний день 1942 года. Две женщины идут по улице, с ними девочка лет пяти — она на ходу пытается поиграть, попрыгать...

В этот момент их сфотографировал военный корреспондент где-то в районе Невского.

Эту фотографию мы потом увидели в музее Ленинграда, в музее Пискаревского кладбища, в книгах и альбомах, посвященных блокаде. Ее перепечатывают в журналах в памятные даты вместе с фотографиями занесенных снегом троллейбусов, саночек с мертвецами....

Присмотревшись, видите: первая женщина постарше, вторая — еще ребенок, девочка, но и лицо и фигура у нее старушечьи. А у прыгающей девочки не ножки — спички, и только колени уродливо раздались...

Мы всматривались заново в эту фотографию, сидя в квартире Вероники Александровны Опаховой. Скоро пришла и ее дочь, Лора Михайловна, такая же невысокая, как мать, такая же приветливая, но более сдержанная, с какой-то неуходящей грустью в глазах.

На столе перед нами лежал семейный альбом. Знаменитая на весь мир блокадная фотография здесь, в этой квартире, — семейная память...

Женщины, что сидели перед нами, никак не связывались в воображении, не соединялись с теми, что на фотографии.

Блокадники вкраплены в массу ленинградцев.

Эту женщину, Веронику Александровну, многие, возможно, даже видели, приходя на Мойку в Академическую капеллу. Старая женщина с очень «домашним», добрым лицом проверяет билеты, предлагает программки. Кажется, что она вам лично благодарна за то, что пришли. Может быть, еще и потому, что вы, не зная того, пришли послушать и ее дочь Лору Михайловну, которая поет в хоре. А живут они тут же, на Мойке, в двух шагах от места работы.

В их непросторной квартире мы долго рассматривали знаменитую фотографию. От нее и начался рассказ — сначала матери, затем и дочери.

«...— Вы не видели людей, которые падали от голода; вы не видели, как они умирали; вы не видели груды тел, которые лежали в наших прачечных, в наших подвалах, в наших дворах. Вы не видели голодных детей, а у меня их было трое. Старшей, Лоре, было тринадцать лет, и она лежала в голодном параличе, дистрофия была жуткая. Как видите по фотографии, это не тринадцатилетняя девочка, скорее старуха.

— Вероника Александровна, вот эта слева — Лора?

— Да... Мне было тридцать четыре года, когда я потеряла мужа на фронте. А когда нас потом эвакуировали вместе с моими детьми в Сибирь, там решили, что приехали две сестры — настолько она была страшна, стара и вообще ужасна. А ноги? Это были не ноги, а косточки, обтянутые кожей. Я иногда и сейчас еще смотрю на свои ноги: у меня под коленками появляются какие-то коричнево-зеленые пятна. Это под кожей, видимо, остатки цинготной болезни. Цинга у нас у всех была жуткая, потому что, сами понимаете, что́ сто двадцать пять граммов хлеба, которые мы имели в декабре месяце, это был не хлеб. Если бы вы видели этот кусок хлеба! В музее он уже высох и лежит как что-то нарочно сделанное. А вот тогда его брали в руку, с него текла вода, и он был как глина. И вот такой хлеб — детям... У меня, правда, дети не были приучены просить, но ведь глаза-то просили. Видеть эти глаза! Просто, знаете, это не передать... Гостиный двор горел больше недели, и его залить было нечем, потому что водопровод был испорчен, воды не было, людей здоровых не было, рук не было, у людей уже просто не было сил. И все-таки из конца в конец брели люди, что-то такое делали, работали. Я не работала, потому что, когда я хотела идти работать, меня не взяли, поскольку у меня был маленький ребенок. И меня постарались при первой возможности вывезти из Ленинграда:

ждали более страшных времен. Не знали, что все пойдет так хорошо, начнется прорыв и пойдут наши войска, пойдет все очень хорошо. Нас вывезли в июле месяце сорок второго года.

— А третья — ваша младшая?

— Да. Как видите, она пытается прыгнуть, хотя ее колено вот такое было: оно было все распухшее, налитое водой. Ей четыре года. Что вы хотите? Солнышко греет, она с мамой идет, мама обещает: вот погуляем, придем домой, сходим в столовую, возьмем по карточке обед, придем домой и будем кушать. А ведь слово «кушать» — это было, знаете, магическое слово в то время. А дома она, бывало, садилась на стул, держала в руках кошелек такой, рвала бумажки — это было ее постоянное занятие — и ждала обеда. Животик у нее был, как у всех детей тогда, опухший и отекший. Потом, когда мы покушаем, она снова садится на свой стул, берет эти бумажечки и снова рвет, наполняет кошелек.

— Вроде карточек они ей казались?

— Да, она бумажки рвала вроде как талончики на хлеб. Она занималась уничтожением мелких бумажоночек. Сейчас она взрослый человек, у нее двое детей.

— Как ее зовут?

— Ее зовут Долорес. Она родилась в тридцать седьмом году. У меня муж был военный. Жили мы тогда в военном городке. В то время вернулись очень многие наши военные, которые были в Испании. Мужу понравилось это испанское имя, и он дал его дочке.

— А где погиб ваш муж?

— Муж погиб в сорок втором году при переправе через Ладогу. Он был человеком мирной профессии. Он музыкант, был гражданским дирижером любительских оркестров. Потом ушел на военную службу и стал военным дирижером. И медиком. Был обучен и как медик. А среднюю дочь Бертой зовут, она тоже жива. Все они у меня живы, вся тройка.

— Вы получали иждивенческие карточки?

— Да, иждивенческие, поскольку я не работала. Я была в санитарной бригаде у нас в доме. Но когда врач узнал, что у меня трое детей, меня освободили. А так я ходила заниматься на медицинские курсы, ну, первая помощь: упал раненый, каким-то осколком подбило, надо втащить в дом, в сануголок, перевязать. Тогда все ленинградцы занимались этим.

— Где вы жили?

— Жили на Гражданской улице, в Октябрьском районе, дом девятнадцать. Сейчас наш дом — Мойка, двадцать, квартира семнадцать. Дочь моя работает уже двадцать лет здесь, в Капелле.

— И вы тоже?

— Я работаю тоже в Капелле, с шестьдесят восьмого года, билетером. У нас на Гражданской была двадцатиметровая комната и такая семья — вот дочери и дали эту квартиру.

— Вот здесь на фотографии — куда вы идете сейчас?

— Насколько я понимаю, это Невский проспект. У нас маршрут был такой: мы выходили из дома, шли по Майорова, по Герцена, делали круг сюда, к ДЛТ [1]. Я их водила, чтобы отвлечь от мысли, что надо кушать. Мы просто гуляли. Лора только что поднялась. Врач сказал, что ее надо больше тренировать в ходьбе: у нее совершенно была отнята левая сторона. Видите — она идет с палочкой. И врач говорил, что пусть она как можно больше ходит. Так что мы делали очень большие круги. Даже иногда заходили в кино, смотрели, чтобы отвлечь как-то мысли от еды.

— Кинотеатры работали?

— Работали уже. Мы раз в кинотеатре «Молодежный» смотрели кинокартину «Свинарка и пастух», и была тревога. Сеанс прервали, зал затемнили, и мы немножко посидели там. Зимой, конечно, было труднее, потому что, сами понимаете, воды не было, водопровод нарушен. Значит, люди шли с чайниками, кастрюльками, с санками — кто как мог. И вот в этих люках (были люки открыты с чистой водой) брали воду. А потом у нас в доме дали воду в прачечную, и мы в эту прачечную ходили цепочкой, потому что там лежали груды мертвых, которых увозили машины. Подбирали по улице мертвых, складывали в прачечной (потом машина приезжала и забирала). И там же вода была, в прачечной. Так что мы шли рука за руку. Кто боялся, тот не смотрел в ту сторону.

— А цепочкой шли потому, что боялись?

— Во-первых, потому что боялись, а потом потому, что не было света. Первый несет лучину, как в деревне, и последний несет лучину, а остальные все идут и держат в руках кто чайничек, кто кувшинчик. Надо же помыться, надо же попить, надо и приготовить.

— Сговаривались?

— Сговаривались с соседями по лестнице, по площадке и шли. Если я вот могла взять кого-либо из ребят, давала чайник или кувшин, чтобы шли вместе.

— Вернемся к фотографии. Вы гуляли по проспекту Майорова, а потом?

— Потом шли по Герцена до Невского, вот здесь, около кино «Баррикада», выходили на Невский. Здесь была открыта масса магазничиков с канцелярскими принадлежностями, с книжками.

— Это февраль — март сорок второго года?

— Это скорее апрель — май, перед нашим отъездом. Увозили в июле (у меня где-то даже эваколисток есть). Меня тогда в военкомат пригласили как жену военнослужащего, потому что у меня в мае прекратилась выплата по аттестату. Тут я начала жить на то пособие небольшое, что мне военкомат давал на детей, поскольку их было трое.

[1] ДЛТ — Дом ленинградской торговли, универмаг.

— Лора Михайловна, а вы помните вот этот день? Как вы тут идете с матерью, с сестренкой?
— Нет.
— А другие прогулки, подобные этой, помните? Сколько вам тогда было лет?
— Мы с мамой, казалось, тогда одинакового были возраста. А мне не было тринадцати лет.
— Вы помните свое состояние болезни, голода? Как вы помните свои двенадцать-тринадцать лет?
— По-моему, самое страшное — это когда человек все время хочет есть, а есть ему нечего совершенно. А второе, когда ни руки, ни ноги не действуют и не знаешь, будешь ли ты жить и действовать вообще. Врач приходила каждый день и смотрела, но я понимала, что она только проверяла, жива я или не жива.
— А помочь нечем было?
— Чем врач могла помочь? Она выписала шроты, ну, жмых, выжимки, которые были у нас в детской больнице, шротовое молоко. Но это все было, конечно, несъедобное. У нее было двое таких больных, как я, то есть я и еще одна девочка.
— Это был голодный паралич?
— Паралич на почве дистрофии. Однажды она пришла и сказала, что моя «напарница» умерла.
— Она это вам сказала?
— Нет, она сказала не мне, но у меня слух хороший, и я слыхала, что она сказала за дверями в коридоре. Вроде того что и со мной должно повториться. И когда на другой день она пришла и увидела, что я жива, она даже удивилась. А потом я встретила эту врачиху. Это после войны, наверно, в пятьдесят третьем году было. Мы шли, у меня ребенок уже был, маленький. Она маму спрашивает: «Как вы живете? Как ваша семья, муж? Лора, конечно, умерла?» Я говорю: «Доктор! Я жива, у меня даже ребенок на руках». Она онемела, она не знала, что сказать. То есть это вообще чудо из чудес получилось.
— И что же вас спасло? Мама?
— Мама, конечно, с папой, пока он был. И очень хотелось жить. Вы даже не представляете! Я даже удивляюсь, что у ребят моего возраста была такая большая сила воли. Очень хотелось жить.
— А какой была младшая сестренка, вы помните?
— Ну как же! Я помню, у нее такое состояние было, что она сидела и стригла бумагу. У нее мозоли на руках были от этого. Это, конечно, такое психическое состояние было у ребенка. Маленькая, четыре годика. Ей есть все время хотелось, понимаете? Когда ребенок есть хочет, он просит. А она не просила, потому что понимала, что взять неоткуда. Она сидела и стригла и рвала бумажки, то есть даже могла сойти с ума.
— Стригла до мозолей?

— Да, у нее пальцы были в мозолях. Когда мама отнимала у нее ножницы, она находила новую бумажку и молча начинала ее рвать».

Позже мы встречали похожее и в других рассказах о блокадных голодающих детях. Мальчики и девочки рвали, стригли бумажки, сидели, покачиваясь из стороны в сторону, что-то ковыряли непрерывно, методично, стараясь как-то заглушить сводящее с ума чувство голода.

«— Вы говорите, Вероника Александровна, Лора заболела в декабре?

— Да. В декабре. Она пошла первый раз в булочную сама. Стояла в очереди. Пришла и сказала, что у нее ножка слабая, ватная какая-то. Ну, полежала. Ничего. Потом пошла со мной дрова пилить, потому что врач говорила, что тепло — это первое дело, кроме еды, нужно еще и тепло. И вот когда мы пошли с ней пилить дрова, она свалилась окончательно. Наверх ее уже пришлось нести. Она лежала с декабря до мая. Я не могу сказать время точно, конечно, но в начале мая она начала вставать. И врач, которая ходила к нам, говорила, что обязательно делайте прогулки побольше, чтобы укрепиться, потому что был период такой в декабре — январе, когда мы все легли, не было уже сил ни бороться, ни желания встать, ни желания что-либо делать. Двери в квартире были открыты настежь, входил кто хотел. И вот как-то раз пришла врач, я лежала, и все лежали, потому что мы уже потеряли всякие ощущения от такой жизни. Врач на меня так накричала, сказала, что по квартире мы должны ходить. Ух как она меня ругала! Это все-таки был хороший очень доктор. Она ходила к нам изо дня в день, хотя и не надеялась, что мы выживем. В последнее время она мне говорила: «Что я могу? Разве только подписать акт о смерти». Ко мне приходили из ЖАКТа, проверяли, жива ли Лора. Это потому, что в то время бывало, когда люди умирали, оставшиеся пользовались их карточками. Ну и всегда удивлялись, что она вот лежит, но живет. У нее было желание что-то иногда делать, что-то почитать, что-то пошить одной рукой, как-то приспособиться. И вот потом (я об этом говорила), когда наступила весна, пригрело солнышко, мы пошли гулять. Мне врач сказала: ходите, ходите, ходите, укрепляйте ноги. Ноги очень болели — после лежания долгого и после цинги.

— Вы говорили, что Лору соседки не узнали?

— Да. Мы вышли, и я думала недалеко с ней идти. Я решила, что мы посидим на солнышке, погреемся и пойдем обратно, все-таки еще на четвертый этаж надо поднять ее. Пусть она и весила всего ничего, но и я весила в то время сорок два килограмма. Вы сами понимаете, что это тоже уже вес одних

костей. Мне было трудно поднимать ее. И соседки сказали, слава богу, мол, зиму вы пережили благодаря тому, что старшая девочка умерла, а вы пользовались ее карточкой. Тут Лора заплакала и сказала: «Мамочка! Пойдем отсюда. Не будем слушать этих старух!» Они не поверили, что она жива. Не узнали... Мы начали делать прогулки. Сначала прогулки были не очень большие, а потом больше и больше. Как раз во время прогулки, видимо, я и натолкнулась на этого товарища, на фотографа.

— Когда вы впервые увидели эту фотографию?

— Впервые в Музее обороны. Даже не я увидела. Я была у своей приятельницы, мы с ней очень давно дружим. И она тоже прожила с ребятами долго здесь, в Ленинграде, и тоже эвакуировалась уже летом. Ее сын был в Музее обороны. А мальчишки, знаете, бегали туда, там были сбитые самолеты, немецкие каски, оружие и так далее. Он прибежал и говорит: «Тетя Роня! А я вас видел!» А я говорю: «Где же ты меня видел?» — «А я, — говорит, — был в музее, и там вы, Лора и Доля, все трое. И написано: «Ленинградцы на прогулке»... Когда у меня гостила с Севера средняя дочь, она была в музее и попросила, чтобы нам отпечатали эту фотографию. Но, поскольку она сама уехала, пришлось идти туда Лоре. Вот когда Лора пришла и попросила, чтобы ей выдали эту фотографию, и когда она ее увидела, с ней стало плохо. Вы сами понимаете — увидеть себя в таком состоянии! И вспомнить все это! Снова за какой-то короткий момент пережить весь этот страх и ужас! Мужчина к ней подошел, какой-то тамошний сотрудник, и говорит: «Что вы плачете? В этот год — сорок первый и сорок второй — погибла такая масса народу. Не плачьте! Их уже нету. А вам жить надо». А женщина, которая выдавала фотографии, говорит ему: «Вы видите, это она сама!» Он ужасно смутился, отошел от нее с извинениями. Вот так мы получили эту фотографию. И я храню ее у себя. Все-таки пускай она будет, хотя это ужасно, конечно, и страшно, и всегда вызывает волнение и слезы».

Спорящие голоса

Вот что стоит за одним снимком. Для безвестного военного фотографа-корреспондента он означал надежду, пробуждение к жизни. Для нас, сегодняшних, он — взгляд издали в ту страшную и легендарную блокадную реальность. Для семьи Опаховых, матери и дочерей, это живая боль памяти [1].

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
Как полдень жизни, будешь вспоминать

[1] Спустя три месяца после того, как была сделана эта запись, Лора Михайловна Опахова умерла. Блокада, даже отпустив, «своих» находит.

Дом на проспекте Красных Командиров,
Где тлел огонь и дуло от окна.
Ты выпрямишься, вновь, как ныне, молод,
Ликуя, плача, сердце позовет
И эту тьму, и голос мой, и холод,
И баррикаду около ворот.

Ольга Берггольц

Надежды эти казались поэтическим образом, мечтой, а не предвидением. Прошло тридцать пять лет, и оказалось, что Ольга Берггольц права. Страшные, голодные годы вспоминаются с ужасом, с тоской, со слезами, «ликуя и плача», сердце зовет и удивляется стойкости собственной души, ее возможностям, силе подвига ленинградцев.

Только поэзия обладает таким даром пророчества. В пустых, вымороженных, темных квартирах после мертвого стука метронома звучал негромкий, чуть запинающийся женский голос, который ждали все ленинградцы. Сквозь голодные видения к людям прорывались сострадание и любовь. Они исходили от женщины, которая так же мучилась, голодала, все понимая, все чувствуя.

И вот спустя целую жизнь мы приходим к этим людям и просим рассказать нам о блокаде. Не вообще о блокаде, о ней много написано, а о своей жизни в блокаду. Первое, что они отвечали:

«Это слишком тяжело, это невозможно, я не хочу вспоминать, нет, нет, у меня было чересчур страшное...»

Про других, про отдельные эпизоды — как работала фабрика или как рыли окопы и ставили противотанковые надолбы, — пожалуйста. Но только не про свою жизнь. А мы просили именно про это, про себя, про свои переживания. В конце концов они соглашались. За исключением, может, двух или трех человек. Может быть, некоторые рассказывали не все. Иногда они щадили нас. Иногда они боялись за себя. Погружаться в прошлое было мучительно. Рассказывая, плакали, умолкали, не в силах справиться с собою. После этих рассказов некоторые долго не могли успокоиться... В последующие дни многие звонили нам, приходили, писали, вспомнив что-то еще и еще или же, наоборот, ужасаясь тому, что прорвалось, прося стереть запись.

Они боялись вернуться в блокадный город, в свою заиндевелую квартиру, в которой человек «у себя на кровати замерзал как в степи» (О. Берггольц). Мы настаивали с жестокостью, которая нам самим была тягостна и даже стыдна. Мы просили, ссылаясь на историю, на новые поколения, которым надо знать все как было. Втайне нас мучили сомнения — стоит ли? Для чего снова спустя десятилетия вытаскивать из забвения немыслимые муки и унизительные страдания человеческие? Разве это кому-нибудь поможет?

Рассказав нам и про голод, про госпиталь, где она работала,

и про эвакуацию, Галина Евгеньевна Экман-Криман закончила так: «Не хочется к этому возвращаться. Забывать не надо, да и не забудется никогда, но все-таки я не хочу вспоминать».

Оглядываясь сегодня назад, люди не верят себе, тому, что они могли. Это был особый взлет человеческих способностей: да, в самой тяжкой поре жизни был и взлет. Об этой поре не хочется вспоминать, но когда вспоминаешь, начинаешь думать, что все же это была пора, когда каждый мог свершить, проявить благородство, раскрыть щедрость своей души, ее смелость, любовь и веру.

У каждого оказывался свой рассказ. У каждого было свое. Повторения были неизбежны, но все равно в каждом рассказе была своя, ни на что не похожая история.

Мы слушали, записывали, и не раз нам казалось: вот он — предел страданий, горестей, но следующая история открывала нам новые пределы горя, новую вершину стойкости, новые силы человеческого духа.

Насыщение материалом не проходило. Мы так и не дошли до того ожидаемого края, когда дальнейшие рассказы уже ничего существенного не могут добавить к тому, что мы знаем. Может, этот край где-то впереди, еще через тридцать-пятьдесят рассказов, а может, его вообще нет и такого насыщения не существует.

Когда мы 5 апреля 1975 года делали свою первую запись, приехав к Марии Гурьяновне Степанчук (ул. Шелгунова, д. 8), мы знали про главную боль ее памяти — про погибшую девочку. Но женщина настойчиво и как-то испуганно уходила от этого... И мы не решились настаивать. Потом оказалось, что именно этим причинили человеку еще большее страдание. Сложное это чувство — блокадная память!

— А знаете, что было после вашего ухода? — позвонила нам женщина, от которой мы получили адрес Марии Гурьяновны. — Прибежала ко мне расстроенная, что не рассказала главного: «Я боялась, что расплачусь, если заговорю о девочке, и не смогу дальше рассказывать, и люди зря приезжали, старались».

Затем, растревоженная, объехала всех подруг и знакомых блокадных (из двадцати семи, как сказала нам женщина, осталось их у нее четверо). Сходила на могилку дочери, сходила в церковь. И заболела, слегла.

И кажется, не только потому, что воспоминания расстроили. Но и от какого-то чувства вины перед своей погибшей дочерью, о которой ничего не рассказала: словно бы она пожертвовала ее памятью, чтобы только «не помешать» нам работать — собирать блокадную быль.

А потом Галина Максимовна Горецкая (знакомая наша) показала ей вышедшую в Ленинграде книгу «По сигналу воздушной тревоги», где описана трагедия и того рокового для ее дочери обстрела, и взрыва на заводе (девочка находилась в

яслях вблизи завода). Каким-то странным образом это подействовало на женщину не то чтобы успокаивающе, но все же сняло напряжение последних дней. Увидела, убедилась: значит, и без ее рассказа люди будут знать, будут помнить!..

Есть в воспоминаниях блокадников и спор, а точнее, продолжение спора (не повседневного ли?) с теми, кто не только «не помнит», но и сердится, когда напоминают. Это как с ребенком в семье: вы его оберегали-оберегали от жизненных драм (чужих) и горя (чужого) — «пусть окрепнет душа», — а потом обнаруживается черствость, глухота...

— Меня спрашивают: блокада, блокада. А что такое на самом деле блокада? Внучка в прошлом году писала и нынче говорит: у тебя доказательств нету.

Это вырвалось у Таисии Васильевны Мещанкиной (ул. Софьи Ковалевской, д. 9) с обидой уже под конец ее рассказа. Она пыталась, и не раз, дома, среди своих же детей и внуков, рассказать какие-то подробности про блокаду — не верили. А чем она могла доказать?

— Вот я вам говорю и думаю — может быть, и вы не поверите?

Мы сплошь и рядом сталкивались с этим ожиданием недоверия, болезненным, опасливым чувством, которое возникало по ходу воспоминаний; по мере того как человек слышал себя, он настораживался, его история сглаживалась, усыхала, подменялась общеизвестными фактами.

«...— Моя знакомая преподает в техникуме, — рассказал Нил Николаевич Беляев. — У них в семьдесят пятом году состоялась встреча какого-то старого блокадника ленинградца с рассказом для студентов о положении дел в сорок втором — сорок третьем годах. И когда он, значит, рассказывал все эти тяжелые истории, что людям приходилось испытывать во время голода, то многие студенты слушали весьма и весьма, так сказать, невнимательно. А после его рассказа вышла девушка и сказала, что она не понимает, что же здесь такого: подумаешь, человек в день не съел эти сто двадцать пять или сто пятьдесят граммов хлеба, да она сейчас может неделю не есть хлеба и отлично себя чувствовать.

— Причем без всякой иронии это?

— Неизвестно... Ведь сейчас вообще вроде считают, что хватит говорить о блокаде».

То, что они сыты и благополучны — девушка, возражавшая блокаднику, и сомневающаяся внучка, — это, конечно, хорошо. Но вот что эти ребята, кажется, «моральные дистрофики» (ленинградское, военного времени, выражение) — это уже хуже.

Но это самое простое — обвинить в глупости, в благополучии, в бездушии. Или же отмахнуться от них, признать исклю-

ченнем. Стонт вдуматься — при иамерениях самых благих, при душевной и гражданской чуткости легко ли человеку, никогда не испытавшему голода, вот так, с ходу, умозрительио представить себе, что это такое. Что такое долгий леиинградский голод и что значит прн этом голоде кусочек хлеба в 125 граммов, что значит обломок хлебной коркн... Нет, требовать этого от человека, выросшего в сытости, в тепле, нельзя, ему рассказывать иадо терпеливо, убедительно, воображение его разбудить. Преемствеиность поколений налагает обязанности на тех и иа других. Новые поколеиия должны узнать, услышать рассказы людей, которые все это перенесли и пережили.

«Мы старались ие рассказывать, но я думаю иногда, что, может быть, мы иеправильно сделали, потому что и Тамарин сын, и Виктор не понимают. А мы избегали всегда с ними об этом говорить, рассказывать. Может быть, и зря, потому что они так и ие поняли. Мишка как-то сказал Тамаре: «Подумаешь! Вот папа — он на фронте был!» (Сезеневская Нина Вячеславовна)

Во время одной из записей блокадного рассказа возник разговор, поразивший нас. Рассказывала женщина, слушали ее дочь, зять, внуки. Такое бывало часто. Конечно, и нам и рассказчику лучше было обходиться без посторонних слушателей, но это не всегда удавалось. И уединиться было некуда, кроме того, любопытство одолевало и домашних и соседей. Впрочем, иногда реплики слушателей помогали, их недоверие, их сочувствие, ахи, слезы, возбуждали память.

Та запись, о которой идет речь, была нелегкой, рассказ был тяжелым, и, видимо, младшим все эти подробности о бедах их семьи были неизвестны. Они хотели все знать и не хотели. Сами они никогда не стали бы расспрашивать, но тут слушали внимательно, напряженно. Первым не выдержал зять. Не такой уж и молодой, не ленинградец, он воскликнул:

— Зачем, ну зачем нужны были такие страдания? Сдать надо было город. Избежать всего этого. Для чего людей было губить?

Так просто, естественно вырвалось у него, с досадой на нелепость, на странность того, минувшего. Поначалу мы не совсем поняли, что он имел в виду. Ему было лет тридцать пять, бородатый, вполне солидный мужчина, казалось, он не мог не знать. Потом мы сообразили, что мог. То есть, вероятно, он где-то когда-то слыхал, читал о приказах гитлеровского командования, о планах фюрера уничтожить, выжечь, истребить, но ныне все это стало выглядеть настолько безумным, фантастичным, что наверняка потеряло реальность.

Время, минувшие десятилетия незаметно упрощают прошлое, мы разглядываем его как бы сквозь нынешние нормы права и этики.

В западной литературе мы встретились с рассуждением уже иным, где не было недоумения, не было ни боли, ни искренности, а сквозило скорее самооправдание капитулянтов, мсти-

тельная попытка перелицевать бездействие в доблесть. Они сочувственным тоном вопрошают: нужны ли были такие муки безмерные, страдания и жертвы подобные? Оправданы ли они военными и прочими выигрышами? Человечно ли это по отношению к своему населению? Вот Париж объявили же открытым городом... И другие столицы, капитулировав, уцелели. А потом фашизму сломали хребет, он все равно был побежден — в свой срок...

Мотив этот, спор такой звучит напрямую или скрыто в работах, книгах, статьях некоторых западных авторов. Как же это цинично и неблагодарно! Если бы они честно хотя бы собственную логику доводили до конца: а не потому ли сегодня человечество наслаждается красотами и богатствами архитектурными, историческими ценностями Парижа и Праги, Афин и Будапешта, да и многими иными сокровищами культуры, и не потому ли существует наша европейская цивилизация с ее университетами, библиотеками, галереями, и не наступило бездонное безвременье «тысячелетнего рейха», что кто-то себя жалел меньше, чем другие, кто-то свои города, свои столицы и не столицы защищал до последнего в смертном бою, спасая завтрашний день всех людей?.. И Париж для французов, да и для человечества спасен был здесь — в пылающем Сталинграде, в Ленинграде, день и ночь обстреливаемом, спасен был под Москвой... Той самой мукой и стойкостью спасен был, о которых повествуют ленинградцы.

Когда европейские столицы объявляли очередной открытый город, была, оставалась тайная надежда: у Гитлера впереди еще Советский Союз. И Париж это знал. А вот Москва, Ленинград, Сталинград знали, что они, может быть, последняя надежда планеты...

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли... — так гласила секретная директива 1-а 1601/41 немецкого военно-морского штаба «О будущности города Петербурга» от 22 сентября 1941 года. Далее следовало обоснование — ...После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у ее новой границы. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты... С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

Документ этот напечатан в материалах Нюрнбергского процесса (изд. 3-е. М., 1955, т. 1, с. 783).

Указание это повторялось неоднократно. Так, 7 октября 1941 года в секретной директиве верховного командования вооруженных сил было: «Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже — Москвы не должна быть принята даже

в том случае, если она была бы предложеиа противником...» (Нюрнбергский процесс, т. 1, с. 784).

Кейтель указывает командующему группой армий «Центр»: «Ленинград иеобходимо быстро отрезать и взять измором».

Москва и Лениигpaд обрекались на полное уничтожение — вместе с жителямн. С этого н должно было начаться широко то, что Гитлер имел в виду: «Разгромить русских как народ». То есть истребить, уничтожить как биологическое, географическое, историческое понятие.

Но подвиг лениирадцев вызван ие угрозой уничтоження... Тогда, в блокадные глухие дии, в сиежиых сугробах Подмосковья о ней лишь догадывалнсь, ее представляли. Документамн она подтвердилась куда поздиее. Нет, тут было другое: простое и иепреложное желаиие защитить свой образ жизни. Мы не рабы, рабы ие мы, мы должны были схватиться с фашнзмом, стать на его пути, отстоять свободу, достоинство людей.

Вот в чем оправдаиие и смысл подвига Ленниграда, вот от чего ленинградцы и все наши люди спасали себя н человечество, от каких жертв и мук, ради чего шли на любые страдания, мучения, даже ие помыслив об «открытых» городах. Кто-то должеи был....

Чтобы оценить это, надо ощутнть меру испытанний, вынесенных нашим иародом.

«Как-то мне задали такой вопрос, — пишет Александра Федоровиа Соколова, — почему у вас столько медалей, в том числе и «За победу над Германией»? Вы же не были иа фронте? Верно, не были, в видели н перенесли не меньше, чем на фронте: зиаю иа вкус каждую травиику, вкус торфа, военных ремней, что остались у меия от фииской войны...»

Нет, это не обычная склонность старших подчеркнуть пренмущества свои и своего времеин иад людьми и временамн нынешними. До поры до времеии многим из иих вообще не хотелось нн вспомннать, ии рассказывать. Даже казалось ненужной жестокостью.

Откладывали на дальше, иа потом, когда придет время...

Мы отомстим за все, о чем молчали,
За все, что скрылн от Большой земли, —

звучали по радио стихи Ольги Берггольц в январе 1943 года.

Но еслн вчера, может, н стоило щадить израненные войной души соотечественников, то сегодня новым поколенням, наверное, как раз и нужно как можно полнее, подробиее узиать, ощутить, что было до ннх. Надо же нм зиать, чем все оплачено, иадо зиать не только о тех, кто воевал, но н о тех, кто сумел выстоять, об этих людях, ие имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает война, какое это благо — мир...

«Очень рады, что так теперь хорошо живем, сыты и одеты все, ребятишек заставляем больше есть и все вспоминаем, как Лариса в семь утра в голод просыпалась и просила хлеба вчерашнего! Говорим:

— Лариска, нет хлеба.

— Ну тогда дайте завтрашнего!»

Это из письма Веры Ивановны Павловой (город Тосно).

Немолодая и, конечно же, как почти все бывшие блокадники, потерявшая здоровье, Екатерина Дмитриевна Янковская-Ладыженская, которую мы видели молодой на довоенной фотографии (там красавица, каких мало), заявляет: «Если бы сказали, что вернем здоровье, красоту, молодость и еще раз пережить такое — не захотела бы, не согласилась бы!»

А М. М. Хохлова (ул. Конторская, д. 18) написала нам: «В это блокадное время я думала, с каким чувством, если переживем, будем вспоминать страшное время. Я ни у кого не спрашивала, какие у кого чувства остались, но у меня осталось чувство гадливости, и очень долго это чувство держалось, сейчас уже стерлось, притупилось. Осталось у нас с мужем еще до сих пор чувство пережитого голода во рту. Он иногда говорит: «Есть не хочется, но горят зубы, это все блокада, будь она неладна!» И мне есть не хочется, но ноет язык».

«У меня была еще такая мысль — навсегда записать тот день, когда я буду сыта» (Клавдия Петровна Дубровина, ул. Сердобольская, 71).

«Только что прослушала передачу о том, что... вы начали собирать рассказы о жизни ленинградцев в блокаду... Хотя некоторая часть молодых людей, слушая рассказы блокадников, вдруг, иронически скривив губы, заявляет, что настоящие блокадники все лежат на Пискаревском кладбище» (Чиканина Александра Михайловна, ул. Мытиинская, 5/2).

Правда о пережитом миллионами людей в годы блокады, правда документальная, рассказанная людьми, которые все это лично прочувствовали, покажется, быть может, жестокой и сейчас. Но зато она (мы надеемся) прорвется к любому сердцу. И к сердцу той девушки, которая и без 125 граммов хлеба прожить может, тоже прорвется.

«Я прошел мимо новостройки, где плотники строгали доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал про запас.

...Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверью, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку, сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше?»

Это не блокада, это молодой Кнут Гамсун. Первый знаменитый его роман «Голод», во многом автобиографичный, написанный в 1890 году. Может быть, единственное до сих пор произведение мировой литературы, где голод человека стал основой

сюжета, предметом тщательного писательского исследования. Голод погружает героя романа в такую замкнутость существования, которая исключает взаимопонимание с сытым благополучием окружающих.

Голод отъединяет героя. Сытые голодного не разумеют. Голод у Гамсуна и голод блокадника были разные не физиологически, а психологически — голод блокады был враг, засланный фашизмом, был актом ненависти, войны, участком сражения, которое вели ленинградцы с врагом.

Измученный, полубезумный от голода, мечется одинокий герой Гамсуна в благоденствующей Христиании. И не только ум и сердце наши, читательские, отзываются на то, что происходит с героем, но как бы и желудок и железы. Читатель словно бы сам переживает разные стадии голодания. Выразить силу голода непросто даже большому таланту. Только собственные переживания художника, память о его голодной юности, о мучительных годах хронического недоедания придали этому роману пронзительную достоверность. Изображение голода у Гамсуна считалось одним из самых сильных в мировой литературе. Любовь и голод правят миром, писал Шиллер, и, не раз повторяя эти слова, Максим Горький считал, что это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека.

Голод в романе Гамсуна и голод ленинградской блокады — явления разные. Ясно, что массовый голод — ситуация особая. Тем не менее что замечаешь при первом взгляде — это сходство состояний:

«Есть приходилось что попало. Помню, приходила домой, и мне так хотелось кушать! Я жила тогда на улице Войтика. У меня там дрова лежали около печки, полено или два. И вот я взяла это полено (сосновое, помню) и стала грызть, потому что молодые зубы хотели что-то кусать. Есть хотелось страшно! Вот грызу, грызу это полено, смола выступила. А этот запах смолы мне какое-то наслаждение доставлял, что хоть что-то я погрызу. Надо было что-то кушать, иначе неминуема смерть от голода, а это еще хуже, чем от обстрела. От голода очень тяжелая смерть» (Елена Михайловна Никитина, проспект Стачек, 26).

И снова Кнут Гамсун, литература:

«Еда уже оказывала свое действие, меня сильно тошнило, к горлу подступала рвота. Во всяком темном углу я искал облегчения, старался преодолеть тошноту, от которой снова пустел мой желудок, сжимал кулаки, делал над собой усилие, топал ногами и в бешенстве глотал то, что готово было извергнуться изо рта, — но все напрасно».

Здесь, как во всякой подлинной литературе, есть вызов холодному чистоплюйству — лишь любовь к человеку, а значит, и чувство сострадания, которому ничего не страшно. Человек мучится от неспособности удержать в себе пищу, так дорого ему доставшуюся, и автор страдает за человека и за его бес-

силе перед той самой «ироничностью жизни», о которой страстно, с болью писал Достоевский в «Идиоте»...

«Голод», роман молодого Кнута Гамсуна, снова и снова как бы вопрошает: что в вас сильнее — человеческое сострадание, понимание другого человека или эстетская брезгливость?

Но куда большее испытание для этих чувств и для нашей способности смотреть не отворачиваясь на человека страдающего — блокадные воспоминания. Да, человек, агонизирующий от лютого голода, куда как «неэстетичен»! К этому нужно быть готовым, если мы собираемся, хотим услышать, увидеть, понять всю правду, а не всего лишь дольку ее.

Нельзя понять всей подлости всех преступлений фашизма, «заславшего смерть» в город (по очень точному выражению Ольги Берггольц), если не говорить о массовом голоде, об этом «наемном убийце» гитлеровцев.

Ведь блокадный голод, так же как голод лагерный (и как освенцимский и прочие крематории), числился в арсенале главных средств, с помощью которых фашисты осуществляли свои планы истребления целых народов, «обезлюживания» целых стран.

Кстати, многие наши самые беспощадные и правдивые рассказчики — это медики: врачи, медицинские сестры, санитарки, те, кто по профессии своей милосердеи. Они о человеке голодающем, о массовом голоде расскажут вам, ничего не приукрашивая, потому что в их глазах никакая болезнь (а дистрофия, тем более алиментарная, — тяжелейшая болезнь), никакие проявления болезни человека не унижают. Например, одна женщина-врач рассказала о себе, что ходила по улицам «всегда мокрая», как ребенок: голод сожрал все мышцы, одни кости и кожа. «Я ходить не могла, но я работала» (Ершова Мария Михайловна).

Врач Г. А. Самоварова вспоминает:

«Съели всех кошек, съели всех собак, какие были. Умирали сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые и у них мало жира. У женщин, маленьких даже, жировой подкладки больше. Но и женщины тоже умирали, хотя они все-таки были более стойкими. Люди превращались в каких-то, знаете ли, стариков, потому что уничтожался жировой слой, и, значит, все мышцы, были видны и сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были».

Врач Кондратьева Анна Александровна: «Эти страшные лица, эти неподвижные глаза, с обтянутым носами, при отсутствии мимики».

Но вначале даже возможно обострение самых разных чувств, эмоций, фантазий. К чему, как известно, сознательно стремились когда-то жаждущие «видений» монастырские затворники и «пустынники».

Алиментарная, третьей степени, дистрофия — это не только скелет без мышц (даже сидеть человеку больно), это и пожираемый желудком мозг.

Кого иастигал голод, корчнлнсь н мучилнсь так же, как тяжелораненые...

«Лучше держалнсь девочкн, а мальчнк двенадцатн лет, Толя, очень страдал, уже недоедал нзрядно, иногда ложнлся на скрнпучую кроватенку н все время качался, чтобы чем-то заглушнть чувство голода, качался до тех пор, пока мать иа него не накричнт, но опять потом начниал качаться. Потом, через какое-то время, я узнала, что он умер...» (М. М. Хохлова)

Да, голод в литературе «старой», классической, н массовый голод (к тому же, как во времена фашизма, органнзованный, направленный) — явлення разного уровня и смысла.

Массовый бывал и прежде, но рассказывали о нем подробно, всерьез, пожалуй, лншь летопнсн.

«А коли вже была весна в року 1602, тот наход людей множество почали мертн; по пятеру, по трндцати у яму. Хворых, голодных, пухлых многое множество, — страх видетн гневу божого. А так при великих местах человека по едному у яму ховали: священнкн проводилн.

Там же, которые ншлн на ннз, тые вси там померлн, мало се застало. А так мерлн одны при местах, иа вулицах, по дорогах, по лесах, на пустыни, при роспутиях, по пустых нзбах, по гумнах померлн. Отец сына, сын отца, матка деткн, деткн матку, муж жену, жена мужа, покинувшн деткн сьон, розио по местах, по селах разышлися. Однн другого поkндалн, не ведаючи однн о другом. Мало не всн померлн.

А колн тот наход у ворот, албо в дому у кого стоячи хлеба проснлн, отец з сыном, сын со отцом, матка з дочкою, дочка з маткою, брат з братом, сестра з сестрою, муж з жоиою тымн словы мовнли силне, слезне, горко мовнлн так: «Матухно, залулюхио, утухно, панюшко, сподарння, солнце, месец, звездухно, дай крошку хлеба!» Тут же подле ворот будет стояти з раня до обеда н до полудия, так то просячн. Там же другий под плотом н умрет.

...А колн варнва просил, тые слова мовнли: «Сподарння, перепелочко, зорухно, зернетко, солнушко, дай ложечку днтятку варнвца сырого!»

Так сообщал о массовом голоде белорусскнй летописец нз деревнн Баркулабово [1].

В кнnге «Географня голода» бразнльскнй ученый, председатель Исполнительного комитета Органнзацнн по вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН Жозуа де Кастро пнсал:

«На каждый печатный труд по проблемам голода нмеется свыше тысячи трудов по проблемам войны. Соотношение более чем тысяча к одному! В то же время... от голода погибло го-

---

[1] Баркулабовская летопнсь. — В кн.: Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці. Мінск, «Навука і тэхніка». 1975, с. 145.

раздо больше людей, чем во время всех эпидемий, вместе взятых. Причиненный ущерб значительнее по числу жертв и гораздо серьезнее по своим биологическим и социальным последствиям».

И дальше:

«Западная наука и техника, одержавшие блестящую победу над силами природы, не вели почти никакой борьбы с голодом. Ученые подчеркнуто хранили молчание об условиях жизни голодающих масс во всем мире. Сознательно или бессознательно, они стали соучастниками заговора молчания. Голод как явление социальное не был объектом их изучения» [1].

Современная литература, документальная и художественная, о фашистских концлагерях, о ленинградской блокаде, литература о второй мировой войне отразила и продолжает отражать жестокую правду XX века: голод, массовый голод вошел в арсенал, числится в арсенале недавних и потенциальных убийц народов, как важнейшее оружие [2].

Не писать сегодня об этом «оружии», забыть — то же самое, что «забыть» о запасах, складах атомной смерти.

Психологически разница между массовым, «блокадным» голодом и тем, что «у Гамсуна», принципиальная. Хотя и писатель повествует о том, что хорошо знает, испытал на себе, но испытал он это не в условиях массового голода. Тут напрашивается аналогия с журналистской памятью о солдатских окопах. Журналист побывал на передовой, пережил яростный обстрел, его могли и убить, так же как и солдата. Разница в их переживаниях, их восприятии передовой тем не менее огромная, даже принципиальная. Журналист приехал, пришел, он сидит в окопе, но он знает, что может и уйти отсюда. (Даже если и не уходит, не собирается уходить.) Солдат знает, что он уйти сам, по собственному желанию, не может.

И в этом разница — великая.

Вот такая разница и между «голодом» героя Кнута Гамсуна, и «голодом» ленинградцев-блокадников. Блокадникам от голода, смертельного, невыносимого, «уйти» большей частью не-

---

[1] Жозуа де Кастро. География голода. Сокр. пер. с англ. М., «Иностранная литература», 1954, с. 31.

[2] О немецко-фашистском варианте использования этого оружия Жозуа де Кастро писал: «План организованного голода», осуществлявшийся третьей империей, имел солидную научную базу и совершенно определенные цели. Это было мощное оружие войны, обладавшее большой разрушительной силой, которую нужно было использовать в самых широких масштабах и с максимальной эффективностью. Именно так и поступали немцы, отбросив всякую сентиментальность и манипулируя продовольственными поставками в соответствии с конкретными целями этой разновидности «геополитики голода», как назвал бы такой план Карл Гаусговер и его клика немецких геополитиков» («География голода», с. 315).

куда было: он был кругом, на всем прижатом к заливу, к озеру, прошитом пулями, снарядами пространстве города, он блокировал человека наглухо.

Засланный в город

Голод и триста лет назад, и ныне тот же. И мучения те же, и ощущения. Но к голоду блокады было особое отношение — это был враг, засланный фашизмом, это был противник, мешающий работать, воевать, это была война.

Один из авторов книги воевал осень и зиму, вплоть до весны сорок второго года, под Пушкином. Он сидел в окопах, и каждую ночь позади, за спиной, полыхали отсветы ленинградских пожаров, багровые их пятна дырявили звездную темноту. Впереди взлетали вражеские ракеты, а позади горел город. Днем силуэт города подробно и четко вырисовывался на ясном небе. Многочисленные трубы не дымили, и воздух над городом был чист, лишь в нескольких местах подымались толстые копотные столбы дыма от пожарищ. В одни и те же часы над передовой проплывали фашистские бомбардировщики, они летели бомбить, а к вечеру, сменяя их, с мягким шелестом, невидимые, неслись в город тяжелые снаряды.

В его батальоне были случаи дистрофии и голодной отечности, потому что солдатский паек был скудным, пусть не таким, как у горожан, но очень скудным, урезанным. Но война с этим не считалась, надо было стоять на посту, ходить в разведку, разгребать окопы от снега, таскать снаряды, патроны, чистить оружие. Кроме всего прочего, война — это еще и тяжелый физический труд, где нет ни выходных, ни перерывов.

Немцы не жалели ни мин, ни снарядов. Были дни, когда на участке батальона оставалось несколько десятков бойцов. Немецкие окопы у железной дороги были от наших всего метрах в пятидесяти. Насадив на штыки булки, немцы подымали их над бруствером и предлагали переходить к ним, они обещали сытную кормежку и спокойную жизнь в плену. Они доказывали, что солдаты Ленинградского фронта обречены на гибель и если не подохнут от голода, то будут убиты. Не так-то легко было это слушать. Однако за всю зиму из его батальона не было случая перехода к немцам.

И хотя он прошел всю эту долгую войну, где были и наступление, и победы, и штурмы, и разные фронты, и все это не только видел, но и прожил, он затрудняется объяснить, каким образом голодным, промерзшим, ослабевшим воинам Ленинградского фронта удалось защитить, отстоять город, продержаться в обороне под городом в мелких, простреливаемых окопах на открытых низинах, и мало того — непрерывно атаковать, наседать, продвигаться на отдельных участках, не позволяя снять немецкому командованию и перебросить дивизии из-под Ленинграда на другие фронты. Теперь, спустя столько лет,

непоиятным кажется и то, почему, каким образом в декабре, в самое тяжкое время, нашим солдатам стало ясно, что немцам в Лениград не пробиться, ие прорваться.

Лениградцам иадо было ходить на завод, работать, дежурить на крышах, спасать оборудование, дома, своих близких — детей, отцов, мужей, жен, — обеспечивать фронт, ухаживать за раненымн, тушить пожары, добывать топливо, носить воду, возить продовольствие, снаряды, строить доты, маскировать здания.

Вале Мороз было в блокаду пятнадцать лет. Отец ее ушел в народное ополчение. Старшая сестра тоже хотела на фронт, ей это ие удалось, оиа устроилась в военный госпиталь. В декабре 1941 года умер отец, через два месяца сестра, в конце марта мать. Валя осталась одиа. Ей помогли устроиться иа завод учеником токаря. Оиа делала детали для снарядных стабилизаторов. Оиа работала, всю блокаду работала.

Надо поиять слово «работала» в его тогдашием значении. Каждое движение происходило замедлеино. Медлеино поднимались руки, медлеино шевелились пальцы. Никто не бегал, ходили медленно, с трудом поднимали иогу. Сегодня здоровому, сытому молодому организму невозможно представить такое бессилие, такую походку.

«Примерно такое ощущение, что ногу не поднять. Понимаете ли? Вот такое ощущеине, когда на какую-то ступеньку ногу надо поставить, а она ватиая. Вот так во сне бывает: ты вроде готов побежать, а у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать — иет голоса.

Я помню чувство, когда иужио было переставлять иоги (это в то время, когда мама еще была жива, когда иадо было выходить), когда надо было на ступеньку поставить, в какое-то мгновение иога у тебя не срабатывает, она тебе ие подчиняется, ты можешь упасть. Но потом все-таки хватило сил, как-то поднималась».

Чтобы хоть как-то оцеиить труд лениградцев, иаходившихся в подобном состоянии, чтобы постигнуть, что значило отремонтировать орудие, подняться на чердак для дежурства, что значило расчистить завал, для этого надо прежде всего понять протяжениость и силу блокадиого голода, протяженность его не только вширь, ио и как бы в г л у б ь ч е л о в е к а. Надо понять, как сказывался голод на поведении человека, каким испытаниям подвергались и психика, и душа, и вера, причем ие вообще человека, а конкретного, этого, потому что у каждого было свое, своя схватка с голодом, и протекала оиа поразному. Только постигнув голод, представив его силу, изучив его масштабы, его действие, можно почувствовать сделанное ленинградцами. Без этого не понять истиниой величины мужества защитников города.

Подробиости голода проступают в рассказах порой неожиданно, из случайно оброненных пронзительных фраз, не сразу их можно и осознать.

Тамара Александровна Халтунен работала в больнице для дистрофиков, там, когда больного в ванну опускали, вспоминает она, большой криком кричал: «...голые кости, он не может ни сидеть, ни лежать, у него нет жира».

«— Три женщины было и я — девочка. Я самая молодая и сильная считалась. Я вроде ничего была, — начала свой рассказ врач-психиатр Майя Яковна Бабич.

— А сколько вам тогда было?

— Мне было тогда шестнадцать лет. Я брала их карточки, ходила в очередь, чтобы взять на всех хлеб, каждому отдельно. Я себя ловила на мысли: хоть бы маленький довесочек дали. Когда давали, я иногда от их порций довесочек съедала. Потом приходила, отдавала каждому его порцию. А эта крошечка мне как бы за работу. Иногда стоишь, стоишь — и ничего нет, потому что хлеба не было. Когда я приносила хлеба, они лежали на диванах, на кроватях в этой комнате. Были какие-то тулупы; все в валенках, под ватными одеялами. Все лежали. Коптилка стояла, горело какое-то масло, мерцало. И «буржуйка» стояла. Рядом с «буржуйкой» ведро с водой, которая к ночи замерзала до дна. А потом вставали и топорником откалывали кусочки льда, чтобы вскипятить воду. По очереди вставали. Пили бурду.

...Это было в начале января. Приходит на квартиру ко мне мой школьный приятель Толя. Это такой поэт был, витал в облаках, говорил о проблеме «быть или не быть?». В школе он был таким мальчиком с возвышенными интересами. И вот приходит — лицо сѐро-зеленое такое. Глаза совсем вытаращенные, и говорит: «У тебя не сохранился твой кот?» А у нас кот был. Я говорю: «Ну что ты! А что?» — «А мы хотели бы его съесть!» Мама и бабушка у него лежали. И вот он ушел. Он был такой ужасный, такой грязный, тощий. Ушел качаясь! А только год тому назад было совершенно по-другому. Собирались, о высоких материях разговаривали. И вдруг — кошка! Я хотела через неделю-другую пойти к нему (на другой улице они жили). Я сразу не пошла. Самое страшное было выйти из дому, бессознательно стремились оберегать себя от таких картин. Это как-то интуитивно было. Но я пошла все-таки в этот дом. Вот иду на второй этаж — двери не закрываются, входи куда угодно, в любую комнату заходи, бери что угодно. Это был шикарный дом — добротный, красивый. Дом одного бывшего миллионера. В мирное время на лестницах были ковры. Он жил в комнате в коммунальной квартире. Я захожу к нему в комнату. Темно, так чего-то брезжит. И они все трое лежат мертвые: бабушка, мать и он. В комнате страшная грязища. Холод. «Буржуйку» топить, видно, сил не было. И все умерли. Мне было страшно. Я в другие комнаты не вошла и пошла обратно».

Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод...

Сами блокадники, вспоминая, отмечают разбитые окна, распиленную на дрова мебель — наиболее резкое, необычное. Но тогда по-настоящему вид квартиры поражал лишь детей и приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, с Владимиром Яковлевичем Александровым:

«— Вы стучите долго-долго — ничего не слышно. И у вас уже полное впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре окружающей среды, появляется замотанное бог знает во что существо. Вы вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или чем-нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска.

— И даже если продукты?

— Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия аппетита».

...Там, на фронте, думали, что эти ложки пшена, сухари, которые сберегали, откладывали от своего скудного пайка, будут встречены с восторгом, а их принимали порой вот так, уже безразлично...

В конце войны Алексея Дмитриевича Беззубова откомандировали в Германию. Была организована Советская военная администрация в Германии (СВАГ), и Беззубова как широко образованного пищевика, с большим опытом работы, назначили начальником научно-технического отдела пищевой промышленности. Ему пришлось ведать в Германии лабораториями университетов, научно-исследовательскими институтами, проектными организациями, поэтому неудивительно, что судьба свела его с таким крупным немецким специалистом, как профессор Цигельмайер. Рано или поздно это должно было произойти. Цигельмайер считался одним из ведущих ученых в области питания. Раньше он руководил Мюнхенским пищевым институтом. Итак, они встретились, разговорились, знатоки, казалось бы, одной из самых мирных наук. Что может быть более добрым, благородным, заботливым, чем наука о питании?

И тут по ходу беседы выясняется, что профессор Цигельмайер во время войны занимал высокую должность — заместитель интенданта гитлеровской армии. Поскольку специалист он был выдающийся, его привлекли курировать важнейшую для командования проблему — блокированного Ленинграда. Прямое наступление на город захлебнулось. Наши войска плотно держали изнутри блокадное кольцо, не давая нигде его переступить. Вот тогда гитлеровскому генеральному штабу и потребовались консультации Цигельмайера. Он обдумывал и советовал, что следует делать, чтобы скорее уморить голодом Ленинград. Именно это имел в виду Геббельс, когда, немного кривя душой, записывал в своем дневнике 10 сентября 1941 года: «Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом».

Цигельмайер вычислял, сколько может продлиться блокада при существующем рационе, когда люди начнут умирать, как будет происходить умирание, в какие сроки они все вымрут.

«Цигельмайер рассказывал мне, что они точно знали, сколько у нас осталось продовольствия, знали, сколько людей в Ленинграде. Правда, он сделал ошибку, я потом ему сказал, что у нас положение было еще тяжелее; «Вы не учли, сколько с армией пришло населения из Ленинградской, Новгородской и других областей». Цигельмайер изумлялся и все меня спрашивал: «Как же вы выдержали?! Как вы выдержали?! Как вы могли? Это совершенно невозможно! Я писал справку, что люди на таком пайке физически не могут жить. И поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их остается там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем в город совершенно свободно, не потеряем ни одного немецкого солдата». Потом он говорил: «Я все-таки старый пищевик. Я не понимаю, что за чудо у вас там произошло?»

Алексей Дмитриевич мог бы ему многое рассказать про свою работу. Витаминному институту, где он заведовал химико-технологическим отделением, горисполком поручил руководить изготовлением хвойной настойки, чтобы как-то предупредить авитаминоз среди населения. Решение было принято 18 ноября 1941 года. Подняты были даже архивные материалы двухвековой давности, когда Россия экспортировала хвою как лекарство от цинги. Нашли документы о том, как сосновой хвоей лечили цингу во время войны со шведами. Вместе со своими сотрудниками А. Д. Беззубов составил инструкцию, как делать антицинготную хвойную настойку в промышленных условиях, как делать ее дома, как витаминизировать этой настойкой продукты. Как раз когда Цигельмайер приступил к изучению данных ему генштабом сведений, Беззубов учил, как измельчать хвойные иглы, как проводить их экстракцию, как фильтровать, расфасовывать настой. Тут же он изучал, как использовать в госпиталях и больницах проросший горох.

Спустя месяц, во второй половине декабря, Беззубов и оставшиеся в живых сотрудники института отправились проверять, как работают установки по изготовлению хвойных настоев. Они ходили по воинским частям, госпиталям, детским учреждениям, стационарам. На сорока шести фабриках работали эти установки и в шести научных учреждениях.

Для борьбы с обморожением они искали способы получения каротина.

В начале января 1942 года в городе начались заболевания пеллагрой. Надо было раздобыть никотиновую кислоту — витамин PP. На чердаках и в вентиляционных трубах табачных фабрик собирали табачную пыль. Из нее извлекали никотиновую кислоту.

Он мог бы рассказать Цигельмайеру, как учились лечить алиментарную дистрофию. Наиболее эффективными оказались препараты белковые и витаминные. Полноценным белком были казеин[1], дрожжи, альбумин. Беззубов помогал организовать доставку казеина в Ленинград. А еще раньше он сумел использовать остатки горелого сахара на Бадаевских складах. Знаменитый этот сахар, растопленный огнем, залитый водой пожарных брандспойтов, смешанный с землей, песком, — о нем столько нам рассказывали — вот его то извлекли десятки тонн. Это были глыбы черной сладкой земли; их Беззубов придумал промывать сверху водой и перерабатывать на кондитерской фабрике. До войны он работал главным инженером этой фабрики. Из черного этого творога, который долго еще продолжали копать ленинградцы на горелом пустыре, стали производить леденцовую карамель. По вкусу карамель напоминала известные дореволюционные леденцы — ландрин. Была такая популярная в России карамель с горчинкой.

Его отдел изучал, сколько каротина и витаминов содержат одуванчики, крапива, лебеда, что из них можно приготовлять...

Ничего об этом Цигельмайер не знал. Да, собственно, вряд ли такого рода мелочи он принял бы во внимание. Будучи специалистом примерно того же профиля, что и Беззубов, он подсчитывал, сколько суток может просуществовать средний ленинградец без белков и жиров. Он вел глобальные подсчеты. Перед ним была задача, эксперимент, огромный эксперимент, поставленный на миллионах, единственный в своем роде. Чем больше населения, то есть испытуемых, тем меньше сказываются всякие аномалии, тем точнее должен быть результат.

Энергия не может возникать из ничего. Сто лет назад великий земляк этого Цигельмайера врач Роберт Майер вывел закон сохранения энергии. И Алексей Беззубов и Цигельмайер изучали, как человеческий организм подчиняется этому закону, изучали для совершенно противоположных целей.

Чтобы обеспечить работу сердца, легких, всех органов, для этого необходимо снабжать организм топливом. Цигельмайер четко знал: тепло не может возникать из духа, из воли, из убеждений; как бы ни хотел человек согреться, организму нужны для этого не мысли, не вера, а калории, нужна пища, минимальное количество которой исчисляется двумя тысячами калорий в сутки.

Этих калорий у ленинградцев не было.

Не видя ожидаемого результата, Цигельмайер на всякий случай вводил еще всякие коэффициенты. Однако Ленинград попрежнему держался. Цигельмайер сделал еще некоторые последние допущения, ему надо было спасти законы энергетики.

Жители этого города должны, обязаны были умереть, а они продолжали жить, они двигались, они даже работали, нарушая незыблемые законы науки.

[1] Основной белковый компонент молока и молочных продуктов.

Рацион ленинградцев был известен, температура воздуха, качество хлеба — все, все было подсчитано, учтено: 125 граммов, 150 граммов, даже 250 граммов при отсутствии каких-либо других продуктов не могли обеспечить физиологического существования организма в условиях такого холода.

Цигельмайер не понимал, в чем он просчитался. Он не мог объяснить генеральному штабу, почему его расчеты не оправдываются.

Теперь он расспрашивал об этом господина советского профессора. Но и Алексей Дмитриевич не мог до конца объяснить этого феномена. Он разговаривал с Цигельмайером, ученым — специалистом по питанию, который «консультировал» голод, — вполне учтиво, придушив свои чувства. Он говорил о неучтенной вере в победу, о духовных резервах организма ленинградцев.

Но, откровенно говоря, ему и самому было не всё ясно. Он все пережил, все видел сам и тем не менее при всем огромном опыте не до конца понимал, откуда брались силы у людей...

...Этого убийцу-«невидимку» вначале не считали самым опасным. Убивали — куда заметнее для всех — другие: бомбы, снаряды. Да и вообще август — сентябрь — октябрь были и без того тревожными до крайности: ожидался со дня на день новый штурм. Враг у ворот! — это кричало в душе ленинградцев, заглушая другие тревоги.

В дом к вам приходят моряки, солдаты и, отодвинув подальше детскую кроватку, закладывают кирпичом окно, делая из него амбразуру, — и вы им помогаете! Танки врага — в четырех километрах от Кировского завода...

О союзнике врага [1], который через месяц-полтора станет самым главным и страшным убийцей ленинградцев, — о голоде мысль хотя и беспокоила, тоскливо сосала, но все еще не казалась столь опасной.

Вот рассказ Галины Иосифовны Петровой (набережная Фонтанки, 39):

«— Довольно быстро ввели карточную систему. Я помню, что мы даже не выбирали ту норму продуктов, которые нам давали.

— Вначале?

— Да. Вначале выбирали весь хлеб, смотрим — стал хлеб дома оставаться; булки были, батоны. Потом уже вспоминали, что вот тогда давали хлеб, а мы не брали, а можно было брать и сушить сухари. А сначала не придавали никакого значения. У меня здесь были папа, мама, сестра и я. Сестра вышла замуж, и в августе они уехали в Сочи, мы с папой и мамой здесь остались.

— В этом же доме?

---

[1] «Положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник — голод», — записывал Ф. Гальдер, начальник немецкого генштаба. (Гальдер Ф. Военный дневник. Воениздат, 1971, т. 3, кн. I, с. 360.)

— Нет, мы жили тогда на улице Гоголя, семнадцать, в том доме, где жил когда-то Гоголь».

Цепко держалась иллюзия (причем одновременно с ожиданием самого худшего), что скоро каким-то чудесным образом «все станет на место». Психологическое состояние **неожиданности** растянулось на месяцы. Хотя, казалось бы, это состояние моментальное.

Неожиданность длилась.

На такую «психологию» первых месяцев войны обращает внимание в своем рассказе ученый-математик **Евгений Сергеевич Ляпин** (Московский проспект, д. 208).

«— Это был август?

— Август — начало сентября. Насчет того, что кто-то специально распространял слухи, я не знаю, не приходилось слышать. Думаю, что люди сами себя старались «успокоить». В частности, был в то время такой неправдоподобный слух: стрельба в городе слышна потому будто, что неприятель выбросил десант, они спрятались где-то на кладбище и вот из минометов стреляют по городу, для того чтобы вызвать панику. Такие представления характерны для того момента. Люди никак не могли освоить всего, что реально происходило. Опыта не было. Тем более что были еще в памяти описания войны на Западе, всякие там фокусы, воздушные десанты во Франции и Бельгии. Вот в таком духе и здесь ожидали. Потом все оказалось не так. Никто на кладбище не сидел, никто из минометов по нас не стрелял, просто фронт продвинулся ближе к нам, и дальнобойная артиллерия могла стрелять на расстоянии восемьдесят километров. Я не помню уже точно числа, но это было за Московским вокзалом. И не два-три раза выстрел в день ухнет, а был непрерывный артиллерийский огонь, бой, который велся в двадцати километрах от Ленинграда, в Павловске. Все стало понятно. Мы уже знали, что фронт продвинулся к Ленинграду, подошел неприятель, бой происходит у самого города, и, очевидно, с этим связана и судьба города. Тем не менее налетов на город больших не было. Даже отдельные выстрелы к этому времени прекратились. В общем, хотели взять нас паникой, а паники не получилось.

Что нам предстояло впереди? Это стало ясно, по-моему, если не ошибаюсь, седьмого или восьмого сентября, когда вечером была объявлена очередная тревога. Тревог уже было много, мы несерьезно к ним относились. Я выглянул из окна (я жил тогда в районе Варшавского вокзала). Мы услышали сперва, что зенитки стреляют особенно рьяно и усиленно. А взглянув на небо, я увидел необычную вещь: шли не отдельные самолеты, которые где-то высоко летят маленькими точками и их даже рассмотреть нельзя. Нет, движется в определенном, явно рассчитанном, сложном порядке большая масса самолетов. Построены они так, чтобы движение их казалось грозным. И оно действительно было грозным. Вокруг них рвутся снаряды, видны разрывы зенитной артиллерии. А они движутся ровно: не петляют, не делают разных сложных фигур, как делали самолеты в августе. И даже

если кто-то из них валился в клубах дыма и уходил книзу, остальные продолжали свое движение. Ясно было видно, что это не случайный налет, а это массовый налет. Прошла одна волна, прошла вторая волна, третья волна. Что-то происходит, это было ясно. Вдруг, посмотрев в южном направлении, я увидел растущее большое облако дыма. Такое было в первый раз. Облако разрасталось все выше и выше, достигая десятков, сотен метров. Стало ясно: это результаты появления вражеской авиации. И нам все это потом дорого обошлось.

Тогда еще мы о голоде не знали, не думали совершенно. Снабжение по карточкам было хорошее: хлеба давали столько, что съесть его было совершенно невозможно (шестьсот или восемьсот граммов — кто из ленинградцев съедал столько хлеба за один день?). Так что эта сторона оставалась без внимания. Но, забегая вперед, скажу, что как раз поражение и, в общем, уничтожение этого склада — оно стоило жизни многим жителям».

Уточнить эти факты, оценить их последствия — дело историков. Мы изучали не исторические документы, мы вслушивались в рассказы живых людей. Между нами и прошлым была людская память, шаткий мост, источенный временем. У одних их прошлое сохранилось в голове, у других оно заместилось вычитанным из книг, виденным в фильмах, и они сами не заметили, как это произошло. Сдвинулись даты. Первая бомбежка Ленинграда была 6 сентября 1941 года; через день, 8 сентября, произошел второй налет, во время которого разбомбили Бадаевские склады. Две эти даты у многих слились в одну, и получилось, что Бадаевские склады сгорели в первую же бомбежку. Таких ошибок много.

Мы выясняли не историческую картину, а скорее состояние людей того времени. И в этом смысле было важно знать, что именно каждому запомнилось из тех лет. Что врезалось в душу, что осталось от блокадной жизни навечно в душе, в сознании, что из пережитого постоянно сосуществует с человеком.

Наемный убийца

Голод был уже рядом, в городе.

Ужесточались продуктовые нормы, город собирал все, что можно было собрать, сохранить, пустить в дело. Пошли в ход всякие «заменители» — на хлебозаводах, в столовых.

И каждый сам стал оглядываться, искать: что и где съедобного осталось, что можно использовать?

Голод только еще нащупывал глотку своих жертв, но всем уже становилось тревожно, неуютно: убийца где-то рядом... Вот как рассказывают об этом времени сами ленинградцы.

Художник Иван Андреевич Коротков:

«— Постепенно голод стал дожимать. Что я предпринял? Какие меры? Я стал обходить квартиры всех эвакуированных друзей. Прежде всего к Тае Григорьевне. Не помню, как попал

(рядом соседка, кажется, жила). Я вошел, перерыл все шкафы, всякие сухарики, зацветшие, зеленые, подобрал, еще что-то такое. В общем, я такой мешочек набрал. Был крайне доволен, что получил довольно хорошую порцию чего-то. Еще к кому-то я пошел в квартиру, тоже по всем шкафам собирал все кусочки засохшие, которые остались. Потом мне один мой студент принес жмых — вот такие листы. Принес три листа. Эта была колоссальнейшая вещь — три листа жмыха!

— А какой тогда месяц был?

— Октябрь и ноябрь, холода, когда уже ничего не стало. Потом дома нашел немножко муки. Потом у меня оказался клей рыбный для грунтовки и несколько бутылочек масла льняного на окне... Каким-то образом я почувствовал, что дело скверно. Я не стал очень-то налегать, а все это плавно распределял».

Бывший работник радио Нил Николаевич Беляев:

«— Что характерно было для тех месяцев, когда началась голодовка? Это — сразу же воспользоваться всем, что можно есть. Что к этому относилось? Это вот дуранда — жмых подсолнечный, который можно было кусочками на рынке приобрести. Маленький кусочек, плиточку жмыха можно было за тридцать рублей купить. Цена тридцать рублей почему-то держалась на этот жмых несколько месяцев, пока он не кончился. Квадратный дециметр шкуры животного, с коровы или с лошади (из нее можно было сварить студень), плитки столярного клея — эти вещи на рынке покупались, и приблизительно каждая из них рублей по тридцать стоила. Если студень сварить из маленького кусочка кожи, он не получится достаточно хороший, плотный, а если сюда добавить столярный клей, то сварится, получится хороший, крутой. Есть, конечно, весьма отвратно было, но приправишь горчицей, перцем, уксусом, который выдавался регулярно по карточкам (собственно, только это регулярно и выдавалось), и кое-как ешь, и можно было как-то существовать. Но в сорок втором году этого уже ничего нельзя было достать, ни жмыха, ни клея. Это все пропало. Так что оставалось, как полярным путешественникам из рассказов об Амундсене или Нансене, переходить на ремни. Но это дело нехорошее получалось. Потому что тогда, у тех путешественников, ремни были сыромятные. Это сыромятная кожа, не выделанная химически, не прошедшая, так сказать, обработку. А ремень — что? Ничего! Его вот изрежешь, искрошишь, попытаешься сварить, варишь-варишь — он не разваривается. А если и разварится, съешь это все, то, как говорится, никакой радости от этого нет, ничего нет».

Все самое, казалось, немыслимое голодный пытался «утилизировать». Особенно наивно-беспомощную изобретательность проявляли ребята-ремесленники. Они (по многим рассказам) умирали едва ли не первыми: одни, без родных-близких, что получат, съедят за раз, проедали одежду, обувь.

По мнению опытных блокадников, более сдержанных, излиш-

няя изобретательность тут пагубна. Часто она убивала человека еще до того, как завершал свое дело голод. Но, даже зная это, люди не могли удержаться: голод не тетка!..

Рассказывает Зоя Алексеевна Берникович, работник Эрмитажа:

«— Конечно, все приходилось есть: и ремни я ела, и клей я ела, и олифу: жарила на ней хлеб. Потом нам сказали, что из горчицы очень вкусные блины. За горчицей какая была очередь!

— Что же, из одной горчицы?

— Надо было уметь делать. Я две пачки положила (взяла-то пятнадцать пачек, думала, запас будет, может, жить буду). Вот надо ее мочить семь дней, сливать воду и опять наливать, чтобы горечь вся вышла. Ну, конечно, я спекла блинчики, два. Съела один, и потом я стала кричать как сумасшедшая. У меня были такие рези! Очень многие умерли. Все-таки это горчица; говорят, съела кишки. Когда вызвали ко мне врача, он спрашивает: «Сколько вы съели блинчиков?» — «Только один». — «Ваше счастье, что вы съели мало. Ваше счастье!» Вот так я осталась жива... Ландрин покупали, пили сладкий чай; сахарин иногда можно было достать. Правда, весной уже был огород. Я была очень счастлива, что мой огород никто не трогал. Я ела, знаете, какую траву? Лебеду и мать-и-мачеху, может быть, знаете такую? Как принесу полный мешок, у меня была такая большая бутыль, я туда натрамбую, насолю и с солью ем».

Про «бадаевскую», про «сладкую» землю рассказывают многие. Ее продавали на рынках наравне с другими продуктами. Качество (и цена) «бадаевского продукта» зависело от того, какой это слой земли — верхний или нижний. Валентина Степановна Мороз (библиотекарь) и сейчас помнит вкус ее:

«— Потом еще такая деталь запомнилась: когда разбомбили Бадаевские склады, мы бегали туда, или, вернее, добредали. И вот земля. У меня остался вкус земли, то есть до сих пор впечатление, что я ела жирный творог. Это черная земля. То ли в самом деле она была промаслена?

— Сладость чувствовалась?

— Даже не сладость, а что-то такое жирное, может быть, там масло и было. Впечатление, что земля эта была очень вкусной, такой жирной по-настоящему!

— Как готовили эту землю?

— Никак не готовили. Просто по маленькому кусочку заглатывали и кипятком запивали».

В перечне блокадной еды всякое можно найти — конопляные зерна от птичьего корма, и самих канареек, и дроздов, и попугаев, собирали мучной клей от обоев, извлекали его из переплетов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, ворон, потребляли всякого рода технические масла, использовали олифу, лекарства, специи, вазелин, глицерин, всевозможные отходы рас-

тительного сырья. Список этот длинный, удивительный по своей изобретательности, даже по изощренности, с какой испытывалось на съедобность все окружающее. Например, одна женщина разрезала, варила и съела шубу из сусликового меха (из рассказа Степанчук М. Г.).

Есть народы, у которых принято потреблять в пищу, допустим, собак, или змей, или лягушек. Для ленинградца преодолеть эти «предрассудки», все свое воспитание было делом нелегким и многим оказывалось не под силу.

И даже в буквальном смысле... «землю ели»...

Александра Михайловна Арсеньева, автор печатных воспоминаний о комсомольском полке противовоздушной обороны Ленинграда, рассказала нам:

«— Я пошла на семинар в райисполком и попала под бомбежку под аркой — побили мне позвонки, в общем, не сломали, но большие синяки были, и я уже не могла двигаться. Без сознания меня принесли в ремесленное училище какое-то, в первый этаж. И вот там я, лежа и чувствуя, что я уже не вернусь к жизни, не встану, смотрела на мальчишек — тощих, с сумками из-под противогазов. И в сумках у них земля — они продают, меняют на хлеб землю! Подходит ко мне мальчишка и говорит: «Тетенька! Вы хлеб не едите? (А я хлеб уже не ела, у меня открылся кровяной понос, и я ничего не ела.) Поменяйте на землю. Это очень вкусно!» — «Как же, говорю, землю есть?»

— Это с Бадаевских складов земля?

— Это торф, даже не сладкий, а просто торф, поскольку торф считается питательной землей. И вот землю — на хлеб. За кусочек хлеба он дает тебе две кружки земли. Я эту землю взяла только, чтобы попробовать, а хлеб отдала. Отдала им и карточки свои. Мальчишки честные были, они мне приносили хлеб».

Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл — хлеб насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека.

Блокадница Таисия Васильевна Мещанкина о хлебе говорит, будто молитву новую слагает:

«Вы меня послушайте. Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досытья поесть хлеба.

А я сказала себе: когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек.

Вот с этого я начинаю утро, только с этого. Я не вру. Пью чаю две чашки крепкого, и это богатство.

Когда умирал человек и ты к нему подходил, он ничего не просил — ни масла, ни апельсина, ничего не просил. Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба! И умирал!..

Я осталась, я не знаю, почему я, такая, осталась. Я не знаю почему. Я малограмотная.

У меня детство было тяжелое, отец и мать до революции умерли. Ну, почему я осталась? Может быть, для этого осталась, чтобы рассказать какую-то там историю интересную?»

Массовый голод — это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел — остановился, присел... Многие наблюдали, запомнили жуткую «тихость» голодных смертей.

«Я шла с работы, и вот (угол проспекта Газа и Огородникова) женщина одна идет и говорит мне: «Девушка! Ради бога, помогите мне!» Я мимо шла, говорю: «Чем я могу вам помочь?» — Ну, доведите меня до этого забора». Я довела ее до этого забора. Она постояла, потом опустилась и села. Я говорю: «Чем вам помочь?» Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла!» (Никитина Елена Михайловна):

Об этом же — Людмила Алексеевна Мандрыкина (Невский проспект, 137):

«— Ну что вам еще сказать? Вот у нас в военном архиве всегда сидела милиция. И такие замечательные парни были — милиционеры, чудесные, молодые были все. Это те, которые были призваны на войну и оставались здесь в милиции. В милиции кормили очень плохо, так же как и в МПВО. Вот я часто с ними разговаривала, ну, просто говорили о том, что пройдет же это время, что будет потом? Мы старались не говорить о еде. И вдруг ты смотришь на человека и видишь, что у него стекленеют глаза. Я теперь знаю, что это такое...

— Прямо во время разговора?

— Вот прямо во время разговора. Он сидит... садится, говорит: «Ой! Мне что-то не очень!..» — «Ну, посиди! Всем не очень хорошо...»

Вот двое так умерло на моих глазах. Потом он все медленнее говорит, медленнее...

Вот так умирали люди. Так они умирали и на улице. Когда они шли, кто-то садился на тротуар. Сначала к нему подходили, первое время, а потом его просто обходили, и он часто вмерзал в струйку вот этой воды, которая шла...»

Такие рассказы повторяются и варьируются до бесконечности — про тихий, незаметный переход за край голода, — а иные приобретают жуткий образный смысл.

«— Потом вдруг он ко мне обращается и говорит: «Марья Андреевна! Сядьте со мной рядом. Я вам отдам партийный билет. Посидите со мной рядом». Села с ним рядом, значит. Я говорю: «Где у тебя семья?» — «Она эвакуирована. Не знаю, мне ничего не пишут». (Ну, где там писать. Может, и пишут, да не попадает.) И вы знаете, он меня обхватил за шею-то, то ли он хотел поцеловать, то ли что. И он умер! Вы представляете — у мертвого как зацепляются руки? Я никак не могу выбраться оттуда, ничего не могу сделать. А Женя Савич и еще там пришли. Ну, что — они тоже не могут. Ну, еле-еле вытащила голову от него...» (Из рассказа Сюткиной Марии Андреевны, бывшего парторга цеха Кировского завода.)

Надо было ходить на завод, надо было работать, хотя и просто идти по улице для ленинградца порой было не по силам.

«— Потом я еще очень хорошо помню, как люди шли. Никогда я и нигде не видела и не слышала, чтобы человек шел

так, как в блокаду: человек шел так, как против ветра идут, понимаете, вот наклонившись всем корпусом вперед, чтобы не упасть, тяжело вот так переставляя ноги! Почти все так ходили. Не знаю, почему мне запомнилась эта походка.

— А сами вы ловили себя на том, как вы идете? Или на это уже не обращали внимания?

— Может быть, я тоже так ходила, а сейчас не помню. Только вот мне запомнилась эта походка. Моя ли это была или окружающих? Не помню. Мне кажется, что все так ходили...» (Григорович Александра Дмитриевна)

«Вы знаете, и на меня это производило впечатление тоже: идешь это шаркающей походкой, еле ноги переставляешь; и люди вокруг тебя ходят, где-нибудь у него привешен портфель, потому что в руках ему трудно нести, и поэтому его привязал сюда, на шею. И все как в замедленной киносъемке.

Вот меня две вещи поразили: это картина — человек, который читает объявления, а от руки у него веревка к фанере с покойником. И еще один раз, тоже из одного из самых глухих мест я возвращался — из Института экспериментальной медицины, — поздним вечером по улице Павлова. И сзади меня шла какая-то группочка людей. Я даже не обратил бы внимания, но я вздрогнул и обернулся, когда услышал хохот. Произошло что-то совершенно неукладывающееся: оказывается, что какие-то девчонки и кто-то на что-то расхохотался...» (Александров Владимир Яковлевич)

Голод изменял людей не только физически — он менял характер, привычки, он искажал у некоторых людей весь их душевный облик.

«— Чем мне удалось поддержать своих сотрудников? — вспоминает Зинаида Александровна Игнатович (Средний проспект, д. 35). — Перед войной мы занимались в лаборатории пищевыми отравлениями, которые вызывались бактериями. Для того чтобы выращивать бактерии, варится особая среда. Она варится на мясном бульоне. Ленинградский мясокомбинат готовил нам такую среду, такой концентрированный бульон, готовил его из нетелей. А что это такое? Это когда забивали коров и в утробе у них находили плод. И вот из этих плодов они готовили экстракт Либиха и сушили его. У нас был большой запас его. Это спасло многих сотрудников. Когда начался голод, я как заместитель начальника по научной части, когда приходила, вынимала одну банку, вокруг садились сотрудники, и я давала по столовой ложке мясного экстракта. Его можно было так есть. Тут я хочу вспомнить случай, который до сих пор волнует меня. У нас был в институте сотрудник, культурнейший человек. Он был крупный и здоровый мужчина. И он очень быстро сдал. Когда я утром раздавала этот мясной бульон, он уже первым сидел за столом. И такими горящими глазами провожал он эту ложку! Чувствовалось, что все его помыслы сосредоточены на ней. Очень трудно было представить, что это

он же — такой деликатный, такой умница, такой замечательный человек!

Когда начали открываться так называемые стационары, нам удалось поместить его в стационар. Но врачи тогда еще не знали, что нельзя сразу после голода давать много пищи. Ему дали двести граммов масла, полбуханки хлеба. Он съел все сразу и ночью умер.

— Неужели врачи не знали?

— Первое время не знали. Потом они уже знали, что человека надо постепенно выводить из голодного состояния».

В той же маленькой лаборатории были другие люди, которые жили эти месяцы и умирали по-другому.

«У нас был такой Соловьев, сидел в вестибюле. Он простой человек, даже не очень хорошо грамотный. Сыновья у него пошли на фронт. Дочка с ним одна осталась (жена умерла перед войной). Потом зятя его призвали в армию, и дочка пошла с ним на фронт. Он у нас был дежурным сторожем, что ли, потому что к нам в лабораторию, поскольку лаборатория была пищевая, приносили анализы и днем и ночью. И он сидел в вестибюле, не топившемся, холодном. Человек этот был малограмотный, но убежденный, всем малодушным он говорил: «Да неужели мы Ленинград отдадим? Мы никогда не отдадим». А сам затягивал пояс туже и туже, худел и худел. Принимал анализы, выполнял свои обязанности и всех ободрял: «Подождите еще немножко! Отстоят Ленинград. И все мы будем живы». И вот однажды сотрудники пришли: что-то Соловьева не видать? А он как сидел на своем посту на табуретке, так и умер. Так и умер, крепко веря в обязательную победу, в то, что Ленинград обязательно освободят».

З. А. Игнатович не сравнивала. Она ни словом, ни тоном, ничем не осуждала память первого сотрудника. Люди понимали, что голод может перебороть человека, каждый на себе ощущал его всесокрушающую силу и втайне боялся — сегодня устоял, а завтра может не хватить воли и что-то хрустнет, сломается...

«Я перенесла всю блокаду. Хуже всего — это голод, — утверждает Лидия Сергеевна Усова, которая была тогда рабочей. — Это страшнее всего. Наш завод каждый день обстреливался. Но мы не шли в бомбоубежище: совершенно перестали этого бояться. Первое, что мы делали, это хватали кусок хлеба и запихивали в рот; не дай бог, если тебя убьют, а он останется! Понимаете? Вот какая психика была. А потом ты в ужасе: ты все съела, а бомбежка кончилась! Это был сорок второй год. Это был самый ужасный год!.. Помню, когда умирала мама, я ей давала сахар по кусочкам, и она все говорила: добренькая, добренькая! А с сестрой поделиться я уже не могла. Она была в больнице, я несла ей что-то, но по дороге начинался обстрел, и я все съедала, я не могла ей донести. Тут я уже была в таком состоянии, я уже ни о чем не могла думать, как только о еде. Понимаете? Это совершенно ужасно».

Лидия Сергеевна беспощадна к себе. Она из тех людей, у кого через эту беспощадность видна живая совесть, никакими лукавыми поблажками времени не успокоенная.

То и дело в рассказе о своей работе она возвращается к воспоминаниям о голоде, к ощущениям, очевидно неизгладимым.

«— Работала я в Пятом ПМТ. Затем нас перевели на завод «Красная заря», куда ходить было очень далеко. На заводе мы занимались расчисткой. Было очень тяжело, когда мы на снегу работали. Я упала. Меня перенесли в приемный покой больницы. И когда я приходила в себя, то слышала: ну, ну, здесь полный упадок сердечной деятельности. Вероятно, тогда мне сделали укол. Когда я открыла глаза, мне дали кипятку и опять отправили на работу. Все-таки я была живучая. Может быть, даже то, что меня отправили опять на работу, это и нужно было, потому что тот, кто ложился, тот не вставал.

— А знали тогда уже, что тот, кто ложился, тот не вставал? Или это уже потом, задним числом?

— Нет, мы еще тогда ничего не понимали. Я скажу так: у меня все мысли были направлены только на еду. Это было совершенное помешательство. В сорок втором году я уже не могла донести паек из магазина до дома: если там был сырой горох, я его съедала на улице... Так прошла зима сорок второго года, и наступила весна. У меня вид был ужасный. Я очень сильно отекла. Я была невероятно худа: при моем росте у меня был вес сорок два килограмма (я взвешивалась в больнице, это интересно было). Ноги были как тумбы, вот такое опухшее лицо, глаза — щелки. Ужасный вид был. И вот здесь нас начали пропускать через усиленное питание. Оно было абсолютно правильно организовано: нас кормили четыре раза в день небольшими порциями, давали полноценные продукты, но мы даже плакали. Нам казалось, что нас ограбили: у нас отобрали карточки и дают очень мало. Это, конечно, психоз был, безусловно. Столовая была на углу Невского и Владимирского, где сейчас ресторан «Москва». Было просто ужасно: придешь — и дадут тебе маленькое блюдечко каши. Ужасно хотелось больше. И здесь я помню, как я сидела в садике и смотрела на прыгающих воробьев, и у меня были совершенно кошачьи инстинкты: вот поймать этого воробья и сварить из него суп!

...Было усиленное питание, и была травка, которую мы стали есть. Я по утрам — часа в четыре — вставала и шла на всякие свалки собирать крапиву. И если удавалось набрать носовой платок крапивы, это было счастье! Ну, затем я в Таврический сад ходила, где трава была по пояс. Я просто на вкус пробовала. Это лебеда была, конечно. Я еще поражалась: зачем это люди едят редиску, когда можно есть лебеду, это гораздо вкуснее. Вот этой травой мы дополняли тот паек-кашку, которую получали».

Встретились мы с рабочей семьей Васильевых — Никандром Ивановичем и Зоей Ефимовной (проспект Металлистов, д. 105), записали их рассказы. Муж работал

мастером на Металлическом заводе, жена дома спасала детей. Вот ее рассказ об этом:

«— У меня было эвакуационное удостоверение, в Омскую область нас эвакуировали с завода. Многие женщины поехали, я тоже собралась, думала, что я здесь буду делать, детей ведь некуда деть. А мне говорят: «Как ты поедешь? Кто у тебя там есть?» Я говорю: «Да никого у меня нет, все в Ленинграде». Тут я подумала-подумала: куда же я с двумя такими малышами поеду? Нас там никто не ждет. И решила, что не поеду, и все! Все распаковала! И осталась! Ну, потом начались обстрелы, еще голода мы не знали. И обстрелы на нас так подействовали, и мы так смотрели, что лучше бы нам голодать, только не такие обстрелы страшные, потому что рабочий район, здесь заводы кругом. И ведь они по ночам бомбили, и обстрелы производили, и спускали ракеты осветительные как бы на зонтиках таких. Потом продуктами перестали обеспечивать. Дочка долго в карточки играла, обрезала талончики.

— Это после войны? Ненужные?

— Да, ведь остались неотоваренные карточки. Я уходила в три часа ночи и становилась в очередь за продуктами. Да пальто, еще сверху веревкой завяжешься или кушаком, чтобы поплотнее, потому что уже кожа да кости были. Муж всегда с утра на работу шел, на завод. А я вот эту, старшую, оставляла с грудной малышкой. Она переберется на нашу кровать и смотрит: мокрая — так подстелет ей. А я в очереди за продуктами. И стоишь иногда зря — ничего не получишь, придешь домой пустая. Единственное, что помогло нам выжить, — это огороды. Где теперь шоссе Революции, застроенное домами, тогда там поля были. Дали нам две сотки земли. Прислали семена. Там были и морковь, и репа, и брюква, и турнепс. Такие пакеты были защитного цвета, маленькие, плотно так заклеенные. Нам раздавали семена. А потом, как стали мы огороды эти копать, нам дали верхушки — срезы картофеля, на заводе раздали по полтора килограмма, как сейчас помню.

— Глазки́?

— Да, глазки́, верхушечки. Ну вот, мы три килограмма получили и посадили. Картофель был чудесный — прямо вот такие картошины, красные, рассыпчатые. И мы рады были этим овощам. И капусты очень много. Вначале, когда я собралась эвакуироваться, мне дали сухого молока на дорогу. Ну вот, я первое время маленькой немножко добавляла. Да и еще сами пока получали продукты, так что хватало. А потом, когда уже совсем голодно стало, она у меня похудела очень. Но она такая румяная была на лицо. У мужа и мать, лет восемьдесят ей было, а она все румяная — такой цвет лица... Как-то несколько дней хлебозаводы, пекарни не пекли хлеб. Ну и давали муку. Я эту муку вместо хлеба получила и наварила такую болтушку, ну просто две ложки муки на кастрюлю воды и подсолила. Вот этой муки горячей, что называется, похлебали по-русски. А дочке погуще кашу сварила. Ночью я слышу — рвота у нее поднялась. Мы с девоч-

кой старшей на плите спали. Муж на столах, два или три стола было на кухне. А для маленькой внесли стулья на кухню, и она лежала здесь. Я скорей вскочила, коптилку зажгла. Смотрю — ее вырвало и желудок расстроился. После этого я пошла в консультацию и говорю: «Нечем кормить ребенка, хоть что-нибудь выпишете!» Врач говорит: «У нас ничего нет, мы не выписываем». Я говорю: «Вы посмотрите на нее!» А она: «Да нет, румяный ребенок». — «Вы не смотрите на лицо, у нее же руки, ноги как плети!» — «Не разворачивайте, у нас здесь холодно. И нету у нас ничего». Так мне и отказали. Ну, она вскоре, конечно, и умерла, потому что уже кормить совсем нечем было, ни круп, ни масла, ничего мы в это время не получали.

...А когда бомбили, вы знаете, как бомба упадет, дома вот так и качаются. Я ведь в убежище ни разу не была. Думала — если убьют, то все равно, в подвале или здесь. Иногда приготовишь сумку, держала там кое-что, водички, чтобы попить, пеленку держала (это малышке). Мы обычно в передней садились — я и еще из другой комнаты женщина с ребенком. Садились с сумками и сидим в середине, чтобы стекла не полетели на нас. И вот когда меня в госпиталь положили, старшая девочка осталась дома. Я там больше месяца лежала. Ну, он утром дочку покормит и идет на завод. В обед прибежит и еще подогреет чтонибудь, тут близко было. А потом я пришла из больницы. Тогда вот и дали участок на огороде. Он меня свел туда и говорит: вот, копай. А я стою. Ветер был сильный, как дунет — я падаю. Сесть не на что — кругом мокрая земля...»

Сначала видели только убитых бомбами, снарядами. Потом стали появляться убитые голодом. Их какое-то время не то что не замечали — боялись понять до конца, что это означает, что надвигается на город.

Галина Иосифовна Петрова училась в мединституте, и она в числе первых увидела умерших от алиментарной дистрофии. Но, увидев труп на улице, она, без двух дней врач, испугалась, как девчонка, — не мертвого человека, а массового голода, который вдруг разглядела...

Человек уже видит. Но видеть ему не хочется. Не хочет принимать.

Художник Иван Андреевич Коротков хорошо запомнил эту вот беспомощную хитрость человеческого сознания, для которого правда слишком ужасна.

«— Я стою в очереди за хлебом в булочной. Там горит светильничек такой, и по карточкам нам дают мокрый кусочек. Я чувствую, что я зацепляюсь за что-то и перешагиваю. У меня нет сознания, что это человек. Я думаю: кто это там мешок какой-то бросил? Никак не мог понять, что вообще происходит. Я перешагнул, и другие идут. Когда я вышел, только тогда до меня дошло, что мы ходили по человеку, который тут упал! Шагали через него, и никто, так сказать, не осознал этого. Вот это какое страшное состояние!

— А продавцы хлеба охраиялись?

— Не знаю, может быть, какая-нибудь тайиая охраиа и была. Как-то об этом иикто и ие думал, и у меня никаких особых мыслей ие было. И вот такие непонятиые вещи: я все время где-то ошибался. Вот у жеиы, Лины Осиповиы, сестра была — Мария Осиповна. У иее в одну иочь умерли муж и сыи от голода. Каким-то образом меня известили об зтом. Я пришел к ним. У иих еще был один сыи, который служил в это время в госпитале политруком, потому что у него был только один глаз (другой потерял иа войие). Ему где-то сделали пару гробов (в то время это была редкая вещь), дали лошадь; и вот мы поставнли два гроба на какие-то деревенские розвальии, привязали, сели на эти гробы и поехали с ним иа кладбище. Я как сейчас помню это место иа Малой Посадской. Хороший такой дом на углу. Оии в этом доме и жилн, Малая Посадская, десять. Балкоиы там такие. Я как сейчас помню, как Марня Осиповна стоит внизу, а мы уезжаем на этих гробах.

Ну вот, мы поехали. Поехали мы иа Серафимовское кладбнще. И по дороге все везут, значит, на санках. Кто-то попросился, чтобы мы прнвязали санки к розвальням, а его посадили с собой. Одиого посадили, другого. Потом у нас уже трое саиок сзади н сидят еще трое. И тихоиько мы едем на Серафимовское кладбнще. Прнезжаем иа кладбище. Там работает экскаватор, роет траншеи. В это время, я вижу, где-то вдали проходит машина. Как-то в то время до сознаиия не доходило. Потом только дошло, что это в траншеи возят мертвых и зарывают, и машииы все подходят, потому что оии собирают по городу всех, кто где лежит, привозят и хороият. В то время иедопоиимание у меия было или я так был иастроен, чтобы не поддаваться, — я ие восприиимал зтого».

Дмитрий Мнхайлович Смириов был тогда еще подростком. Но он хорошо поминт и все, что было, и чувства свои.

«— Оии в декабре месяце еще не лежали и в январе месяце еще не лежали, в начале. Оии стали лежать в коице января месяца. Еще в январе месяце их возили даже в гробах. Потом уже без гробов, а потом уже было, через какой-то период, что в осиовном они, как я вспомннаю, лежали иа улицах как-то зашитые, как-то обернутые.

— В простыии?

— Да... Везут миого покойииков. Что зиачит много? Если по пути встретишь от одиого коица Большого проспекта до другого три, четыре, пять покойников... На саночках, в большинстве случаев иа саночках, потому что сиег уже был. Некоторые везли на спареиных саиочках. Чаще всего женщнны тащили. И у меня мать чуть не умерла. Она работала в аптеке, и, может быть, это ее спасло. У нее иачался фурункулез, на шее были страшные нарывы. Потом, некоторые не верят, а хвоя очеиь помогала ей, мы пили хвойиую настойку. Большое потрясеиие было у меня, когда я одиажды видел (зто и сейчас перед глазами у меня)

где-то на Большом проспекте — не то там было ремесленное училище, не то ФЗУ, не знаю что, может быть, там был пункт, куда свозили трупы. И вот уже весенний день (весенний, потому что уже снега не было), и идет машина, и на ней трупы лежат. Это такое, такое... Я и сейчас вижу то место, где идет эта машина, как она идет. И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу... Причем почему-то, знаете, это была довоенная трехтонка, знаете, с такой большой кабиной? Не видели таких? Но мысль: почему, почему не эвакуировались, почему не уехали? Можно было, как говорится, пешком уйти. В конце концов потом был организован конвейер перевозной по «Дороге жизни»: туда людей, обратно продукты, туда людей, обратно продукты».

Очень точно выразил этот рассказчик безжалостную силу «блокадной памяти»: «*И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу*».

А вот как видели люди друг друга, когда собирались вместе:

«— Университет не топили, воду не выключили, водяное отопление замерзло, трубы лопнули, раз трубы разрывает, потом вода течет. И наши аудитории к концу ноября превратились в такие ледяные пещеры-глетчеры, где замерзшая вода по стенам, по потолку висела в виде сосулек.

— А на потолке почему?

— Просто, ведь это паровое отопление. Думаю, что, если бы было больше опыта, можно было бы предусмотреть и выключить отопление, может быть, тот, кто мог бы выключить, умер или уехал, во всяком случае, факт таков, что с потолка сосульки просто свисали, а снизу были сталагмиты, как в пещерах. Это выглядело очень неуютно. Студенты сидели в пальто, надевали на себя пальто сколько можно. Свет еще электрический был, даже можно было заниматься, но было в общем не легко и в общем тяжело. Студентов становилось все меньше и меньше, и чаще кто-либо из преподавателей не являлся. Практически занятия — я не скажу, что полностью прекратились, — но система занятий была нарушена. Страшнее всего было, что страшными казались лица студентов, сотрудников, знакомых. А как меняется лицо человека, который глядит так, как глядели мы? Этого словами описать нельзя. Может быть, это можно было бы нарисовать. Это просто страшно. Не так страшно, когда человек просто болен и умирает или если умирает необычно (может быть, цинично так сказать), которого убил снаряд или бомба. Но то, что делалось в результате голода, это было особенно ужасно, как менялся облик человека. Менялся облик, лицо, человек был вроде движущегося трупа, а известно, что труп — это зрелище тяжелое. Эти желтые лица очень страшны, причем заметно остановившийся взгляд. Это не то что когда болит рука или нога и человек очень сильно мучается. Тут весь организм расстраивался, часто имелись нарушения психических процессов. Желтое лицо, остановившийся взгляд, заметно терялся голос, нельзя было по голосу

судить — мужчина это или женщина, дребезжащий голос, существо, потерявшее возраст, пол...» (Ляпин Е. С.)

...Муки были страшные, но и радости выпадали такие, что запоминались навсегда.

Никто из блокадников про себя не думает: мы совершили подвиг, проявили геройство. Нет. Но спустя десятилетия для некоторых тяжкие годы эти стали как бы оправданием жизни, знаком гражданской доблести, мерой соучастия в Победе. Чувство это сродни тому самому чувству, какое есть у солдата Великой Отечественной войны. И еще есть у блокадников знание беспредельных возможностей человека, в том числе и своих возможностей, уважение к себе. Конечно, много противоречивого возбуждает каждое прикосновение к прошлому, у каждого свое; ужас и печаль, стыд и красота, отвращение и любовь — все смешалось столь плотно, что иногда нет сил отщепить какое-либо одно чувство.

Перед нашим приходом Павел Филиппович Губчевский, научный сотрудник Эрмитажа, внутренне готовясь к разговору, размышлял: что же такое была для него блокада? Потом он нам сам признался в этом.

«— Мне было трудно самому себе на это ответить. Снаряды? Ну так они же всюду. Бомбы? Они всюду. Голод? Ну, он, конечно, не такой, как всюду, а в более страшной форме, но ведь и всюду не так уж сладко жилось. Смерти? Так они всюду были, и еще какие! Ну, может быть, только не в такой концентрированной форме. И мне показалось, когда я сам захотел отдать себе отчет (никогда об этом я нигде не говорил и сам с собой никогда не говорил), что блокада — это раньше всего человек. А человек — он разный. И в силу этого, по-видимому, существует и очень разное восприятие вот этого понятия «блокада» — в зависимости от индивидуальности человека.

И вот что удивительно — после этого я подумал следующее: что ни разу в жизни, ни до, ни после блокады, я не имел такой осознанной и определенной цели в своей жизни. Она, эта цель, даже казалась близкой. Другое дело, что она все время отодвигалась по разным причинам. Но ведь что происходило во мне, в человеке? Я не какой-нибудь руководитель или кто-то, я обыкновенный, простой человек, и я имел четкую и определенную цель, которая всегда до этого (и вот сейчас, сегодня) была растушевана и размыта. А тогда она была определенной. Вот что для меня блокада (конечно, и все остальное, о чем вам уже многие рассказывали). Человек приобрел какую-то удивительную цельность. И как бы вам сказать? Это тоже, наверно, как-то дико звучит: я чувствовал, что во мне что-то снялось, рассвободилось. Конечно, были тысячи «нельзя» и «не могу». Конечно, я не мог выехать за кольцо блокады или поехать на черноморский курорт. И конечно, я не мог есть вкусные вещи. Более того, я выполнял множество разных обязанностей — и по моему положению (я был

начальником охраны больших зданий), и по моему гражданскому долгу. Мне, конечно, приказывали, я получал инструкции, я знал, что-то я *должен*, что-то *обязан* сделать, но это «обязан» было для меня свободой. Наверно, вам диким кажется то, что я говорю, но я хочу быть с вами искренним, это так было, и это тоже блокада.

— Вот вы говорите, что все время чувствовали цель, видели ее...

— Я сидел в своей комнате и ждал очередного обстрела, который больше выматывал душу тем, что он долго таится, — понимаете? — и думал: и какой же я был чудак, как я жил раньше! Я редко ходил в филармонию, редко ходил в Кировский театр. А ведь как много для этого нужно! Нужно, чтобы в театре было тепло, чтобы его осветили, чтобы собрали более сотни оркестрантов и чтобы они были сыты, чтобы собрали артистов балета, чтобы публика могла приехать туда, и тысяча еще «чтобы»! И этого я не ценил, этого не замечал. Я не думал тогда, что вот кончится блокада и я буду есть пшенную кашу целыми кастрюльками (наверно, вы это слышали, наверно, вам это некоторые блокадники говорят). У меня этого как-то не было. А была такая вещь: появилась цель найти в жизни то большое, если говорить громкими словами, что-то духовное, такое, что раньше мало ценил, мало пользовался, не смог осуществить».

В залах Эрмитажа, всегда переполненных посетителями, звучат на всех языках приглушенные голоса экскурсоводов. Картины, скульптуры, узорчатые паркеты, — кажется, что так было всегда и что иначе и быть не могло в этом прославленном источнике красоты, за которой приезжают из далеких стран... Но в служебной комнате несколько сотрудников музея рассказывают, как они жили здесь в войну.

Александра Михайловна Амосова:

«— Здесь, под библиотечным зданием, был устроен морг. Периодически вывозили из этого морга покойников. Но я очень тяжелый случай помню. Это было в конце марта. Иосиф Абгарович Орбели, директор Эрмитажа, кажется, тридцатого марта уехал. Очень мало нас осталось здесь народа. Несколько человек было из рабочей команды. При Орбели еще оформлены были документы на захоронение. Увезли инженеров группы, в том числе и наших старших научных сотрудников. И там же был наш профессор Куббе и еще некоторые известные люди».

Ольга Эрнестовна Михайлова:

«— Я вот этот эпизод хочу еще как-то дополнить, потому что он запечатлелся особенно глубоко и сильно, нельзя его забыть.

— Вы людей этих знали?

— Да... Эта большая машина, причем они все свои, знакомые, в общем близкие тебе люди, потому что коллеги, распростертые в разных положениях... Ну, знаете, это ведь никогда в жизни не забудешь. А это, может быть, и писать не надо и говорить не надо?»

«Не надо» — это человек нас щадит, оберегает. От тяжести, которую сам несет всю жизнь. Сам он от этого уйти не может — «отвернуться не может».

«— Тут уже не знаешь, где фантазия, где правда, потому что правда была так фантастична, что ты не могла разобраться, что правда, что неправда, что фантазия, что ложь. Понимаете? Но ведь это верно, и не расскажешь все до конца.

— Почему?

— Только тот, кто это пережил, тот понимает».

Последнее — довольно распространенное заблуждение. Исключительности тут никакой нет, человек может понять и представить все, что угодно. Любые лишения и тяготы блокадной жизни. Для этого надо лишь рассказать все как следует, не утаивая, не приукрашивая ни в ту, ни в другую сторону. Заблуждение это и потому, что сами блокадники многое не могут себе вообразить — как это могло быть с ними? — не верят себе же. Человеческая память устроена коварно. Другое дело, что рассказать, поведать о том, что было, изобразить это — действительно весьма и весьма нелегко.

И тут хоть и невпопад, не по теме, а нет сил обойти, отложить на потом одно место из рассказа Павла Филипповича Губчевского. Случай, который чем дальше, тем больше заставлял о себе думать.

«— Тридцать два снаряда попало. Степень разрушения разная: снаряд в Гербовом зале упал где-то в двух метрах от Малого тронного зала. По каким законам баллистики, я не знаю, но осколки рванули сюда, в Малый тронный зал. В Гербовом зале дырка в полу вниз, в Растреллевскую галерею, и больше ничего. А Малый тронный зал весь изрешечен осколками. Сбита люстра, ее не удалось восстановить — хрупкая очень бронза была... Кроме того, осколки буквально изрешетили стены и потолок. Если на стенах ничего не было (вот эти лионские бархаты, шитые серебром, очень стильные, хорошие бархаты, были навиты на валы и увезены, эвакуированы), то роспись там феноменально трудная для реставрирования. Вид это имело ужасный. Или та лестница, по которой вы сейчас поднимаетесь в музей — Посольская, Иорданская, Главный подъезд, как угодно ее называйте, — она имела тоже ужасный вид. Снаряд сделал пробоину в перекрытии этой лестницы. Если плафон только почернел, стал черным, потому что почти три года непрерывно менявшиеся температуры его сделали таким, то вся околоплафонная роспись и все потолки — это железо (после пожара тысяча восемьсот тридцать седьмого года сделали железные потолки). Железо проржавело, не выдержало, умирало. И вот эта роспись, которую вы сейчас видите, все это осыпалось чешуйками чуть побольше этой книжицы. Люди, наши сотрудники, ходили по этим чешуйкам. Вид, конечно, жалкий.

— А картины все увезены были?

— Вообще ведь Эрмитаж вывез миллион сто семнадцать тысяч предметов, но тут уже выступает статистика, а это скучно и

неинтересно. В залах картин практически не было. Но нельзя было эвакуировать фреску Анджелико, нельзя было эвакуировать огромный картон Джулио Романо — даже на валу он бы рассыпался, нельзя было эвакуировать роспись лоджии Рафаэля. Осталось и то, что могло само по себе сохраниться, рамы например.

— Какой вид имели залы?

— Пустые рамы! Это было мудрое распоряжение Орбели: все рамы оставить на месте. Благодаря этому Эрмитаж восстановил свою экспозицию через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации! А в войну они так и висели, пустые глазницы-рамы, по которым я провел несколько экскурсий.

— По пустым рамам?

— По пустым рамам.

— В каком году?

— Это было весной, где-то в конце апреля сорок второго года. В данном случае это были курсы младших лейтенантов. Курсанты помогли нам вытащить великолепную ценную мебель, которая оказалась под водой. Дело в том, что мы не смогли эвакуировать эту мебель. Она была вынесена в помещение конюшен (в первом этаже, под висячим садом). В сорок втором году сверху прорвало воду, и мебель, великолепный набор: средневековье, французский классицизм— все оказалось под водой. Надо было спасать, перетащить, а как и кто? Эти сорок старушек, которые были в моем подчинении, из которых не менее трети было в больнице или в стационаре? И остальные люди — это все инвалиды труда или те, кому семьдесят с лишним. А курсантов привезли из Сибири, они были еще более или менее сильные, их тут готовили на курсах младших лейтенантов. И они переволокли мебель в тот зал, где безопасно сравнительно, и тут до конца войны она стояла. Нужно было поблагодарить их. Выстроили их в зале (вот между этими колоннами), сказали им какие-то слова, поблагодарили. А потом я взял этих ребят из Сибири и повел по Эрмитажу, по пустым рамам. Это была самая удивительная экскурсия в моей жизни. И пустые рамы, оказывается, впечатляют».

...Можно представить себе, как это было — промороженные за зиму стены Эрмитажа, которые покрылись инеем сверху донизу, шаги, гулко разносившиеся по пустым залам... Прямоугольники рам — золотых, дубовых, то маленьких, то огромных, то гладких, то с вычурной резьбой, украшенных орнаментом, рамы, которых раньше не замечали и которые теперь стали самостоятельными: одни — претендуя заполнить собой пустоту, другие — подчеркивая пустоту, которую они обнимали. Эти рамы — от Пуссена, Рембрандта, Кранаха, от голландцев, французов, итальянцев — были для Губчевского обозначением существующих картин. Он неотделимо видел внутри рам полотна во всех подробностях, оттенках света, красок — фигуры, лица, складки одежды, отдельные мазки. Отсутствие картин для него сейчас делало их еще нагляднее. Сила воображения, острота памяти, внутреннего зрения возрастали, возмещая пустоту. Он искупал

отсутствне картин словами, жестами, интонацией, всемн средствами своей фантазии, языка, зианий. Сосредоточенно, пристальио люди разглядывали пространство, заключеииое в раму. Слово превращалось в лииию, цвет, мазок, появлялась игра теней и воздуха. Счнтается, что словом иельзя передать живопись. Оно так, однако в той блокадиой жизни слово воссоздавало картины, возвращало их, заставляло играть всемн красками, причем с такой яркостью, с такой изобразительной снлою, что онн навсегда врезалнсь в память. Никогда после Павлу Филипповичу Губчевскому не удавалось проводить экскурсин, где люди столько бы увидели и почувствовали.

...Враг дожидался, когда Лениитрад «выжрет сам себя». И непрерывно напомииал — сиарядами, бомбами, лнстовками, — что пора, что он ждет.

Зоя Алексеевиа Берникович рассказывает про злорадно-садистские напомииания фашистов:

«Да, а когда я иа окопах была, знаете, какие там частушки были? Немцы бросали листовки: «Съешьте бобы — готовьте гробы!» Это иемцы бросали с самолетов. Илн: «Чечевнцу съедитс, Ленинград сдадите!» А мы только кричим: «Мы не сдадим!..»

Смерть в городе стала повседневиостью. Советские солдаты, морякн, сами полуголодные, бились, истекали кровью на «Невском пятачке», рвались к железной дороге, которая обеспечила бы Леиииграду полиокровиое снабжеиие, вернула бы силу голодающим, истощенным людям, сохраиила им жнзнь. Ледяная дорога через Ладогу, открывшаяся в конце ноября, в декабре стала давать какие-то продукты и надежду. Снова появнлась возможность эвакуировать леииградцев, хотя для людей истощеиных, больных маршрут был тяжелейшнй, и многие погибали по пути к жизни и даже вырвавшнсь за кольцо. Вплоть до лета 1942 года голод косил людей, даже когда стало полегче: у многих слишком далеко зашла дистрофия.

«— В загс приходили родственники н регистрировали умерших людей от голода и холода, — рассказывает Елеиа Михайловна Никитииа, учнтельнница. — Это уже декабрь сорок первого н январь сорок второго года. В моей памяти, в моей жизни это были самые тяжелые мииуты всей блокады. Мало того что война, обстрелы, бомбежки. Это все было очень тяжело, страшио. Но это было еще не так страшно, как голод, потому что кушать было абсолютно нечего. Мы на оборонных работах еще выкапывалн картошку, оставшуюся в земле, питались капустными листьями, и конину нам давали ниогда (лошадь покалечнт обстрелом, и сразу ее прирежут, н иам давалн мясо). А здесь уже кушать было абсолютно иечего, потому что дома все запасы былн иа нсходе, все иссякло; сиачала были какне-то сухарики, был крахмал. У меня его было иесколько килограммов. Но все иссякло. И вот идешь на работу, у тебя ногн едваедва переступают. Трамваи уже пе стали ходить. Воды не было. Света не было. В страшном состояинн былн люди: онн не моглн

ходнть, ие могли даже выиосить ведра с грязной водой... И вот я в загсе работала — декабрь сорок первого года и январь сорок второго года.

— Расскажите подробиее, как регистрировали.

— Ну, стояла очередь. Приходит какая-иибудь жеищииа и говорнт, что вот у меия умерла мама, умерла соседка-старушка. Подает их паспорта, докумеиты. Я выписывала свидетельства. Выписывала быстро, торопилась. Чериила замерзали. В здании Кировского райсовета отоплеиия иикакого ие было. Впоследствии печурки иам поставили, ио ие помию, чтобы печурки иас грели. Чериила замерзали. Придешь и руками так погреешь, что чернила разогреются. Вот и выписываешь им документы. Я помию, как стоялн большие очереди, чтобы регистрировать умерших.

— Сколько же за деиь регистрировали?

— Очереди стояли. Я не одна работала, трое. В деиь я человек по сто пятьдесят регистрировала. Работала в декабре и явваре. Люди стояли истощеиные, жалко было их. И мы старалнсь скорее их отпустить. Причем слез у иих не было. Я тогда после работы возвращалась домой. А у меня еще семья брата жнла (брат был иа фроите): жеиа его жила и ребеиок у иее был. Ребеику четвертый год был (сейчас ои диссертацию уже защитил, тот ребеиок). Приду, бывало, домой, а ои лежит иа кроватн все время, потому что от холода и голода другое что-иибудь придумать и сил ие было. На ием такая была одета рубашечка с длинными рукавами, чтобы было потеплее. Вот ои встаиет в рубашечке н спрашивает: «Тетя Лена, ты хоть кусочек хлебца принесла мне?» Я скажу: «Нет, ие прииесла». Потому что у меия у самой иичего ие было. По карточкам мы получали то, что иам было положено. Я со всей семьи собирала карточки, пойду в булочную и принесу. Ходила всегда только я одиа, потому что остальиые были ие в состоянии ходить, все были старше меия по возрасту. Вот ребеночек каждый раз спрашивает: «А ты мие что-нибудь принесла?» Смотреть на ребенка было жалко. Сравниваешь сейчас вот с детством наших детей, когда яблоки даешь им н они еще не хотят кушать. А тогда даже хлеба не было!

— А брат?

— На фроите был, вериулся. Правда, раиеиие перенес тяжелое, но иичего. И сейчас он жив... «Ты мне хоть корочку хлебца принесла?» — ои спрашивает. Такой тощенький, одии косточки. И в этой белой рубашечке, иу просто как смерть какая! А идешь домой, стучишь (звоики-то не работалн) и каждый раз думаешь: ну, сейчас откроют и скажут, что кто-то из семьи умер, потому что тогда смертность была сплошной, поголовиой. Напротив иас, на одиой площадке, жили артисты нз театра имени Кирова, Ннкольскне. Прихожу домой после работы вечерком, и вдруг этого артиста выиосят из квартиры мертвого. А тогда ведь уже гробов не делали, просто вот так в простыню завериут человека и выносят на мороз... После этого, в феврале, а может быть, в конце января я была переведена райкомом партии в комиссию по эвакуацни населеиия. Была техническим секретарем. Выдавала до-

кументы, выписывала направления на ту сторону «Дороги жизни», через Ладожское озеро переехать.

— В Кобону?

— Да. И выдавала им карточки или такие талоны на питание. Чтобы они тут же, на берегу Ладожского озера, получили уже питание... Были мы там же, в Кировском райсовете, но в другом кабинете, комната двести шестьдесят. Там уже стояла печурка, которую мы немножко подтапливали. Но дров не было, так мы мебель жгли, оставшуюся там, стулья старые, лишние письменные столы, шкафы, ломали мебель, какая была неважная. А после мы дрова добывали сами: ходили ломать деревянные дома. В саду «Девятого января», рядом, помню, я ломала. Для отопления райсовета и вообще для населения района, чтобы немножко люди в тепле были.

— А жителей деревянных домов переселяли, или они были уже пустыми?

— Да. Никого не было. Мужчины на фронт ушли, а женщины какие умерли от холода или голода, какие были уже отправлены на Большую землю. Некоторые были переведены в каменные дома, более теплые. И вот когда я в комиссии по эвакуации работала, не могу забыть такой случай, когда ко мне пришел один мужчина знакомый. Он был близким приятелем моего первого мужа. Помню, когда они окончили кораблестроительный институт и вместе работали на Адмиралтейском заводе, они очень любили красиво одеваться. Там они зарабатывали большие деньги и одевались хорошо, как один, так и другой. И вдруг этот моего мужа приятель приходит ко мне чумазый, страшный, я его вначале и не узнала. Он пришел получить документы на эвакуацию на себя и на свою мать. Мать-старушка, говорит, умирает от голода. А тогда было указание, чтобы всех стариков вообще вывезти из Ленинграда, потому что кормить нечем. Вот стариков и детей в первую очередь вывозили. Я не знаю, по какой причине он не был в армии, может быть, по состоянию здоровья. Но он пришел страшный, весь в копоти, закопченное лицо, в таком женском платке, то есть косынка шерстяная поверх пальто была какая-то завязана, и вот так воротник поставлен, и лицо чуть-чуть видно. Я когда документы ему стала выписывать, посмотрела и думаю: боже мой, ведь это хорошо знакомый человек, товарищ моего мужа, молодой человек, только что окончивший институт. Ему было лет двадцать семь, наверно, а тут он выглядел как старый-старый старик. Я выписала документы на него и на его мать. Он говорит: «Я сначала маму повезу до Финляндского вокзала на санках, а потом она меня тоже, может быть, немножко повезет». Он был тоже очень ослаблен от голода. Сменяя друг друга, люди себя довозили до Финляндского вокзала, а там их везли дальше через Ладожское озеро, по «Дороге жизни». И вот помню — я уже впоследствии узнала, — что он даже не доехал до Ладожского озера, он по дороге скончался, и он и его мать скончались от голода и холода».

Про то, как умирали рядом самые близкие люди, нам расска-

зывали мало — или потому, что помнят как сквозь туман, или рассказывать слишком больно. Зато много про то, как хоронили.

Жестокая правда обстоятельств, условий, беспощадная правда чувств (и голодного бесчувствия) мучит и поныне блокадника. Но было то, что было...

«Когда он лежал, я думала только об одном (мне не жаль его было): «Если он умрет, как я его буду хоронить?» Все хоронили как-то за хлеб, а у меня хлеба нет. И когда я выходила и видела этих покойничков, которых везли, я думала, что мне же, во-первых, не обшить его вот так, на саночки не положить. Но для меня было самое страшное — похороны, а то, что он умрет, — я об этом не думала...» (Рогова Нина Васильевна, учительница, ул. Братьев Васильевых, 19).

Выполнить перед умершим последний долг в тех условиях было нелегко. Многим просто не по силам. И не по средствам, если собственных сил не хватало. Похороны были проблемой. Рассказы о похоронах порой мучительней, чем рассказы о смерти. Но одно тут неотделимо от другого.

Все силы любви, горе потери близкого человека — все уходило в стремление хотя бы похоронить, раз уж нельзя было спасти. Люди оставались людьми. Киреева Ирина Алексеевна вспоминает, как хоронила она свою няню на Волковом кладбище:

«— Вспоминаю, как, разбивая эту мерзлую землю ломами, долго-долго два бойца никак не могли проломить, потому что там оказался цементный склеп. Наконец они кое-как втиснули этот гроб.

И вот мольба какой-то женщины: умоляла положить в эту же могилу ее дочь. Она ее привезла. Буквально снимая с себя все, что было, она умоляла, чтобы вот туда похоронили и ее дочь. Сама она еле держалась на ногах».

Людмила Алексеевна Мандрыкина, историк, работник Центрального государственного военно-исторического архива, рассказывает:

«— А потом наступило то, что у всех, — голодный ноябрь, голодный декабрь. Это сорок первый год. Здесь начались потери очень большие. Здесь умер Алексей Алексеевич Шилов. Это был один из основателей архивного дела в СССР.

— Как он умер?

— Как умер? Заболел, обессилел. Мы же все получали вторую категорию — карточки служащих. Алексею Алексеевичу в то время было шестьдесят лет. Жил он, как и все мы, на казарменном положении. Он работал в Историческом архиве (это одна система), жил в подвале. И вот он просто заснул, как засыпали почти все, которые умирали от голодной дистрофии. Через некоторое время мы положили его на саночки и, так как не было никакой возможности хоронить на кладбище, свезли его в такое огороженное забором место, где Новая Голландия. Знаете? Туда привозили умерших на санках, с гробами, без гробов — в каком угодно виде. Это было официальное место. Тут сидели, дежурили два-три человека. И потом машинами эти трупы вывозили.

— А у Спаса на крови как хоронили?

— А около Спаса на крови было совершенно иначе. Сюда просто привозили мертвых. Тоже очень много у аптек сажали — полумертвого человека или совсем мертвого.

— Возле аптек? Почему именно у аптек?

— Я думаю, потому, что раньше тут все-таки всегда оказывалась медицинская помощь. Около больниц тоже сажали. Не было сил, не было возможности довезти куда-то еще. Мы вот так Алексея Алексеевича свезли. А где он похоронен? Меня много раз спрашивали ленинградские ученые: «Где похоронен Шилов?» Не знаю... А потом умер Михаил Ильич Ахун. Это был очень крупный военный библиограф. Мы повезли его на Смоленское кладбище, но довезти уже не могли. Так и оставили гроб в снегу на полпути. Это январь. А второго марта умерла мама. Это мое личное, но я вам хочу рассказать, как получилось. Когда умерла мама, у меня был какой-то идефикс. Мама умерла второго марта. А карточку ей дали накануне. Карточка была иждивенческая. Мама тоже заснула. Мама моя жила очень близко от Военного архива; на улице Герцена, дом один, я работала, а на Герцена, одиннадцать, жила мама.

— Вы здесь жили? В этом же доме?

— Да. Я приходила часто к маме. Мы сделали чугуночку. Если я выжила, то, конечно, благодаря маме, потому что это она хлеб делила. Ее и мой хлеб она делила на три части, подсушивала на чугунке, заливала кипятком, и три раза в день мы это ели, если это можно так назвать. А второго марта мама ослабела, и когда я пришла, она умерла. Она при мне умерла. Я хотела похоронить маму на Волковом кладбище, где похоронена была моя сестренка. Я пошла на кладбище. Город был совсем пустынный. Это трудно сказать даже, какой был город. Почему-то нам всегда казалось, что это на дне моря, потому что он был весь в огромном инее, все провода были в инее, толстые, вот такие, как когда в холодильнике намерзает. Такой был каждый провод. Трамваи стояли мертвые, застывшие. Это было застывшее царство какого-то морского царя. И кто-то пришел с земли и вот ходит! Пришла я на Волково кладбище. И встретила женщину, которая выглядела хорошо. Она спросила: «Вам...» — нет, она сказала: «Тебе нужно похоронить кого-нибудь?» — «Да». — «Я могу тебе это сделать. Но не даром». — «Хорошо», — сказала я. «Тогда послезавтра в четыре часа ты придешь. Где мне копать могилу?» Я говорю: «Я бы хотела рядом с сестрой». Мы пошли. Она посмотрела и сказала: «Вот тут рядом и выкопаю могилу».

Мне помогли с работы, сделали гроб, мы взяли санки и поехали по Невскому. Это было седьмого марта, там снега мало уже было. Мы повезли эти санки. Около Литейного был такой обстрел! Милиционер кричал: «Что? Я за вас буду отвечать?! Бегите под ворота!» А рабочий и наша уборщица сказали, что никуда не пойдут. И я говорю: я тоже. Мы сели на гроб и подождали, пока пройдет обстрел. Пошли дальше. Долго мы шли — часа два, наверно. Когда мы пришли туда, могила была выкопана только вот

настолько, потому что была земля такая, что ее было действительно невозможно копать. Эта женщина сказала: «Ну, подожди, я буду копать». Мои друзья посмотрели и сказали: «Мы пойдем, Людмила Алексеевна». А был такой вечер, такой закат, все пылало. На кладбище все видно. Я говорю: «Вы идите, а я останусь». Ну, они заплакали, и я заплакала. И они ушли. Я осталась. Я чувствую, что замерзаю. А она копает. Она сильная такая, здоровая была. Она мне говорит: «Ты ж замерзаешь!» Я говорю: «Замерзаю». — «Я живу в этом доме церковном, вон там вот. Ты пойди туда, — говорит она мне, — у меня отдохни немножко. Потом, через часик, приходи. Посмотрим, что будет дальше». Ну, я пошла туда. С час я посидела.

— Там было тепло?

— Нет, там было холодно. Но это все-таки не мороз. Я посидела. Потом прихожу — она ничего не сделала, еще, может быть, вот настолько прибавилось. Тогда мы решили: поставим гроб в снег, сделаем большой сугроб. Она сказала: «Ну, ты придешь через месяц, в начале апреля, и я тебе все сделаю. Через месяц уже оттает. Я тебе все сделаю». У меня не было чувств никаких. Я говорю: «Хорошо. Я пойду». Она на меня так поглядела и говорит: «Ты, наверно, не дойдешь». — «Ну, наверно, не дойду». — «Так останься у меня». А я принесла ей буханку хлеба, сахар. И потом она обращается ко мне и совершенно спокойно мне говорит: «А ты не бойся, я тебе ничего не сделаю». Я сказала: «Я не боюсь». — «Ну тогда пойдем».

И вот мы пришли в ее комнатушку — маленькая, крошечная, ничего в ней не было. Ничего, только внизу нары, как в поезде в общем вагоне, и наверху нары. Она нарубила чурочек от гроба какого-то, затопила печурку, согрела кипяток, отрезала от моей буханки кусок хлеба, от моего сахара кусок сахара и сказала: «Съешь». Я съела. «Теперь, говорит, ложись наверх». Я провалилась. Мне было совершенно все равно!»

А потом человек возвращался к живым — жить. Скудна была радостями внешнего существования та жизнь, но ленинградцы искали и находили в себе (и в других) силу, волю, богатство душевное, и вдруг светлее и теплее становилось им в блокадном кольце...

Вот и Людмила Алексеевна вернулась из той кладбищенской жути в свой мир... «Мы не просто так жили», — говорит она, как бы споря с ею же недавно нарисованной картиной. И не она, а сама жизнь противопоставила иные картины — картины взлета человеческого духа.

«— Я хочу вот что интересное рассказать. Был такой — вы, наверно, его знаете, он потом работал директором Института международных отношений — Францев Юрий Павлович. Это был профессор. Он жил тоже на казарменном положении. На Мойке тогда был Кабинет изучения истории партии. И мы были на казарменном положении. Я с ним не была знакома раньше. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Я хочу посмотреть, как живут мои соседи». — «Пожалуйста». Он очень милый, очень инте-

ресный человек был. Однажды, уже весной, он мне сказал: «Людмила Алексеевна, давайте что-нибудь придумаем. Ну мы не можем только так. (Он худой-худой, высокий такой был, седоватый.) Мы же не можем все время только так жить». Я говорю: «Давайте. А что мы будем делать?» — «Давайте соберем историков и будет говорить о том, о чем каждый хочет. А собираться мы будем в архиве Академии наук, внизу». Знаете? На набережной, там же пустое место было. И вот он, я, мы собрали тех, кто оставался в Ленинграде. Вот вы обязательно поговорите, есть такая (она, по-моему, сейчас замещает директора Института истории) Сербина Ксения Николаевна. Она всю блокаду прожила в Ленинграде. И она вам много может рассказать... Иногда нас было пять человек, иногда семь человек. Это был очень своеобразный семинар. И каждый говорил, делал такие рефераты, доклады о том, о чем хотел. Я, например, занималась двенадцатым годом, я говорила о партизанской тактике Дениса Давыдова. Ираида Федоровна Петровская, наш научный сотрудник (она сейчас работает в Институте театра и музыки), говорила о московском ополчении, псковском ополчении, о петербургском ополчении. Из Института истории Академии наук (не помню ее фамилии) говорила об устройстве виноградников в пятом веке в Риме [1].

— Наверно, и это помогало?

— И это помогало. Сербина рассказывала о борьбе тихвинцев со шведскими интервентами.

— *Лишь бы подальше от голода?*

— Да, это же была отдушина! Мы делали доклады часами, причем слушали так, что я не помню, чтобы когда-нибудь потом так слушали.

— *А сколько народу сидело?*

— Тут уж больше приходило, начиная с десяти человек и кончая тридцатью. Никто не шевелился, никто не вышел, н и к т о! Вот мы каждую пятницу и собирались. Сегодня мы не смогли, не кончили, тогда говорили: продолжим в следующий раз.

— *И что, с удовольствием об этом вспоминаете?*

— С огромным удовольствием я это вспоминаю! Это была такая большая отдушина, ты там занимался тем, чем бы ты мог заниматься, если бы всего этого не было...

Блокадный быт

Фашисты пытали Ленинград, ленинградцев голодом. Матерей пытали жалостью к умирающим на глазах у них детям и мужьям, а солдат — жалостью к угасающим матерям, женам, детям, надеясь, что дрогнут ленинградцы, откроют ворота в город.

Гитлер так объяснял немцам и миру непредвиденную «задержку» с Ленинградом: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет сам себя».

[1] К. Н. Сербина любезно сообщила нам фамилию докладчика: Сергеенко Мария Ефимовна.

Штурмы тем временем следовали один за другим. Продолжались. В том числе и самый грозный штурм — голодом.

Потребности человека стремительно сужались, концентрировались, заострялись на хлебе, тепле, воде.

«Голод — все!» — восклицает врач-блокадница Г. А. Самоварова. И проверила она это не только на других — на себе самой. «Знаете, какая самая большая радость была? Это когда прибавили до трехсот граммов хлеба. Вы знаете? Люди в булочной плакали, обнимались. Это было светлое Христово воскресение, это уже такая большая радость была!»

Но и 300 граммов (без других продуктов) — это все еще «смертельная» норма. А было и 200, и 125 граммов! Без воды, без дров, без света...

Условия города мешали приспособиться. Паровое отопление не действовало, а печек во многих домах уже не было. Ведро воды, равно как и полено, становилось проблемой часто сложной, а иногда неразрешимой. А освещение? Коптилка — казалось бы, просто. Но чем ее заправить? Где достать керосин, лампадное масло? Ведь даже дневным светом нельзя было пользоваться, потому что во многих домах, может даже в большинстве домов, от обстрелов, от бомбежки повылетали стекла, и окна были забиты фанерой, завешены одеялами, заткнуты тряпьем, матрацами. Так что в комнатах была постоянная темь (и слово появилось «зафанерил» вместо «застеклил»).

«Боря придумал хорошую коптилочку — чернильница-невыливайка, в нее вставляют стеклянную трубочку-фитилек», — записывает в дневник Фаина Прусова. Это было изобретением, это было событием.

Даже на улицах темень: в целях светомаскировки ввинтили в домовых фонарях синие лампочки.

«Когда погасли и синие лампочки, то приходилось ходить по памяти. Когда ночь светлая, то ориентируешься по крышам домов, а когда темная, то хуже. Машины не ходили, натыкаешься на людей, у которых не было на груди значка-светлячка» (из дневника О. П. Соловьевой, работницы прядильно-ниточного комбината имени Кирова).

Темнота действовала угнетающе. К этой морозной темноте трудно было привыкнуть, приспособиться.

В наивном и искреннем дневничке семнадцатилетней «К. Лиды» [1], работавшей (пока они действовали) в парикмахерской, ночная пробежка по тесному от бесконечной темноты Ленинграду описывается так:

«Бывало, выйдешь с парикмахерской, а на улице так темно, что будто пропасть какая, идешь и руки вперед перед собой держишь.

Однажды иду, совсем темно, лунные ночи кончились, мне надо

[1] Ничего, кроме этого инициала, в заголовке принесенных нам записок нет. Фамилию автора установить не удалось.

переходить дорогу, слышу, автомобиль едет, я жду, слышу, ехал и где-то вдали остановился. Я спокойно перехожу дорогу, все время держа вперед руки, одну пустую, другую с чемоданом, где я носила свой инструмент, иду (а я чуть лн не бегом ходила в темноте) н, видимо, так сильно шла рядом с паиелью, что натолкнулась на такси и даже упала назад, потому что так быстро шла. Чуть чемоданчик не выроннла. Слышу, открывается кабина, шофер спрашивает: «Кто здесь?» — а я притихла, неудобио стало, но подумала — иаплевать, все равно ие видно. Тогда решила идтн по паиели (а почему я не любила по панелн ходить — из-за того, что наталкиваешься на людей все время), ну, вот, дохожу я до угла Советской улицы и Суворовского проспекта, иду около стенки и знаю, что сейчас надо поворачивать направо. Вдруг — не пойму, что это, куда я зашла? Наткнулась на что-то большое, круглое н тут сообразила, что это бочка с песком, значит, это я с ней в обиимку стояла, пока соображала, что это, в собственном дворе и заблудилась».

«— Итак, вы вернулись из стационара? — спрашиваем мы Ирину Алексеевну Кирееву.

— Да, пролежав там некоторое время, вернулась. Няия была еще жива, но она уже погибала от голода. Помню, что мы ее поднимали. В стациоиаре нам давали какие-то порошки — иа вес золота! — и мы считали, что, если эти порошкн принесем домой, мы можем спасти своих близких. Помню, что усиленно пнтали ияню, которая, коиечио, уже сильио была истощена, настолько, что начался у нее голодный поиос. Она скончалась на наших глазах. А до этого умерли наш восемнадцатнлетннй двоюродиый брат, и тетя, и дядя. В январе — феврале вымнрали прямо семьями. Что тут было — страшно! Тетя — в госпитале. Мама моя лежит со страшной водянкой (по возрасту она была, наверно, моложе, чем я сейчас). Лежит бабушка. Лежнт няня. Воды нету. Темно, холодно.

— Электричества уже ие было?

— Электричества не было. Поставлеиа была времянка, такая печурка. Пришел боец и сложнл нам такую времяночку. Тут мне приходилось, поскольку я оказалась самая жизнеспособная и самая старшая из детей (сестра моложе меня была), приходилось ходить за водой. Воду мы брали нз люка. Каждое утро выходили — это тоже был подвиг. Ведра нет. Мы приспособили кувшинчик, наверио, литра иа три воды. Надо было достать эту воду. До Невы идти далеко. Открыт был люк. Каждый деиь мы иаходили новые и иовые трупы тех, которые ие доходнлн до воды, потом их заливало водой. Вот такая это горка была: гора и корка льда, а под этой коркой трупы. Это было страшно. Мы по ним ползли, бралн воду н носили домой.

— Видны они были сквозь лед?

— Да, видны».

Клавдии Петровие Дубровииой (ул. Сердобольская, 71) было тогда двадцать с чем-то лет, работала она токарем, служила в МПВО. Миогое в этой блокадиой молодости ей вспоминается сейчас с улыбкой. Для иас вроде иичего веселого, а она почему-то улыбается тому своему иелегкому быту.

«Перед войиой я была такая, что у меия простых чулок даже не было, — зиаете, как говорится, модиица была: все шелковые чулочки иа мие, туфельки иа каблучках. И вот когда жизиь так стукнула меия, то я сразу перестроилась. Правда, в Лениииграде в течеиие, может быть, иескольких дией пропало все сразу. В магазинах, иапример, раиьше лежали, вот как сейчас лежат, шоколадные плитки, и в течеиие нескольких дией — абсолютно ничего! Все сразу раскупили: запасы стали кое-какие делать. Но карточки были быстро введеиы. И так же было с промтоварами. Я схватилась: что же я так осталась? Я побежала в магазин и успела еще захватить простые хлопчатобумажиые, причем черные, чулки в резииху. Сколько там было, ие помию, кажется, шесть пар, я купила и все шесть пар иа себя иадела. И вот так эти шесть пар не снимались. Представляете, черные чулки, шесть пар ие снимались — это чтобы от холода спастись! Потом — как я иоги обула. Тоже думаю — что же мне делать? Я пропаду. А у меия какие-то старые лисьи шкуры валялись. И тоже я где-то схватила, купила с рук (тогда еще продавали за кусочек хлеба) такие вроде бурочки, оии были буквально сшиты иа машине из байки, тоненькие такие. Но все же туда можио было всадить ногу. Я что сделала? Я эти шкуры иамотала себе вместо портяиок и всадила ноги в бурки. Но в иих же ие будешь ходить по улице, это типа домашиих, подошва-то тоикая. Где-то в коридоре иашла старые мужские галоши громадного размера (это был, видимо, самый большой размер), с такими острыми иосами. Я буркн свои всадила в эти галоши, проколола дырочки, шнурочками, как лапти, перекрестила, завязала — и вот так я спасла ноги. В тепле я ходила все время. Ииаче я пропала бы... Теперь в смысле умываиия. Коиечио, воды ие было. Вот когда я еще выходила из дому, шла иа завод, у меня едииствеиио что было — кусочек тряпочки в кармане. Я выходила иа улицу — снег. Я беру, немного потру руки о сиег, это вместо воды, — и все. Ну, лицо, кажется, тряпкой протирала. А так больше никогда иичего, не умывались, воды никакой не было. Ну, воды в столовой, где иас кормили, было иемиожко».

Иваи Андреевич Коротков, художиик:

«Какие тут события происходили? Водопровод работал кое-где, н оттуда можио было ведром доставать воду, но получались такие большие ледяные горы. На Невском, как раз около Гостиного двора, была такая башия. Почему она образовалась? Потому что когда ведра наполняли, то воду проливали, она скатывалась, лед иарастал, иарастал и иа метра два-три подиимался от земли. Потом забраться туда было целым событием. Воду я иоснл. Заберешься (я был в ботиниках солдатских), а как обратно? С ведрами? Ну, иногда сядешь на горку и скатишься иичего, а иногда

грохнешься. И опять проливаешь. И гора эта растет без конца. Так и на спусках к Неве, кто ходил за водой на Неву».

Галина Иосифовна Петрова:

«Да, возили мы воду из Невы. Это я помню очень хорошо. Это против Медного всадника. Мы туда ездили через Александровский сад. Там прорубь была большая. Мы на коленочки вставали около проруби и черпали воду ведром. Я с папой всегда ходила, у нас ведро было и большой бидон. И вот пока довезем эту воду, она, конечно, уже в лед превращается. Приносили домой, оттаивали ее. Эта вода, конечно, грязная была. Ну, кипятили ее. На еду немножко, а потом на мытье надо было. Приходилось чаще ходить за водой. И было страшно скользко. Спускаться вниз к проруби было очень трудно. Потому что люди очень слабые были: часто наберет воду в ведро, а подняться не может. Друг другу помогали, тащили вверх, а вода опять проливалась. Около Сената и Синода стоял какой-то корабль. Там, бывало, моряки приходили и помогали пожилым. Да было и не понять, пожилой это человек или молодой, настолько были, во-первых, все закутаны, а во-вторых, были же коптилки, и из-за этих коптилок мы были как черти».

«Как-то я мужчину попросила, а он говорит (это из рассказа Заборовской Валентины Алексеевны, ул. Варшавская, 116): «Доченька! Если бы я мог достать, я бы достал тебе хоть десять ведер».

Мужчина не мог достать мне воды! Не поймешь: то ли он молодой мужчина, или он старый, ничего не поймешь, потому что люди какие-то были изменившиеся очень.

Ну, как-то я воду эту достала. Я ее подымала! Бабушка жила у нас. Я сейчас скажу, — на втором этаже бабушка жила у нас. И я, значит, эту воду — по одной ступеньке, и всё считала, сколько мне ступенек еще пройти! Вот прошла я ступеньку, считаю — раз, два, три, четыре. Сколько мне еще пройти надо? Я не держусь за перила, веревка у меня привязана к кастрюле, и я иду. Ступеньку пройду — отдохну. Я не могла принести кастрюлю воды. Вот до чего была ослабевши!»

«На лютом морозе мы простояли около двух часов и наконец наполнили все наши вместилища. Мы везли наши санки с возможной осторожностью по оледенелым улицам. Надо было еще проехать по двору и завернуть за угол дома. Двор был завален смерзшимся снегом, между сугробов узкой траншеей шла тропинка. Когда мы приближались к повороту, из-за дома навстречу нам вышла девушка-дружинница тоже с санками. На них лежали два, вероятно, уже давно застывших трупа. Тропинка узкая, разлучиться было трудно, на повороте окостеневшая нога задела наши санки, и они опрокинулись. Наша вода! Мы с сестрой стояли ошеломленно, совершенно обессиленные. Присели на санки и расплакались... (Зинаида Владимировна Островская, ул. Ленина, 34).

На топливо, на дрова разбирались деревянные дома для заво-

дов, учреждений, часть дров давали тем, кто выходил на разборку.

Этим занимались постоянно бойцы МПВО. Звучит мужественно: «бойцы», а на самом деле — восемнадцати-девятнадцатилетние, к тому же истощенные голодом, девчонки.

Вот рассказ одной из них — Дубровиной Клавдии Петровны:

«— И вот обязательно каждый день выделялось несколько человек на ломку дома и чтобы привезти вот это. Не знаю, сколько у нас сил тогда было, — но было, может быть, потому что молодые были.

У нас такие вот большие сани были, самые обычные большие сани, мы ломы туда клали. Сначала мы близко — вот в Новой Деревне, вот здесь — ломали, а потом нам уже приходилось далеко ехать — Озерки, Шувалово, вот туда ехали. Ехали утром на целый день, ломали там дома этими ломами, взваливали на эти сани и везли сюда.

— На себе?

— На себе.

Везли мы на себе, но нас несколько человек. Ну, когда зима была — это еще полегче, а когда весна наступила, то было уже очень тяжело. Мы через мост буквально тащили: на мосту снег быстро таял и по мосту было тяжело тащить.

Но опять я должна сказать: пусть это тяжело было, но это нас спасло!»

Еще ребенком была, но помнит и уже не забудет Галина Александровна Марченко (Приморский пр., 55), как это безмерно важно — хлеб, вода, дрова:

«— Потом, как я сказала, мы перестали ходить в бомбоубежище, потому что у нас и сил не было. И как тревога, мы просто ложились и закрывались. Мы жили на втором этаже, окна все намертво были забиты; никогда не уходили. Из квартиры все уехали. Квартира была коммунальная. Там четыре комнаты было. Мы перебрались в самую маленькую комнатку — моей тетки. А во всех остальных комнатах мы потихонечку выламывали пол. Полы уже не помню: паркетные были или простые, крашеные? И мы жгли. Книг у нас было не очень много, и их жалели жечь. Остались у нас одна кровать, стулья и диван. На диване три каких-то подушечки и валики, их тоже постепенно сожгли, там была стружка. Откуда появилась «буржуйка», кто ее принес, когда мы ее купили? Я не помню. Небольшая «буржуечка». Мы так мелко-мелко резали хлеб долечками маленькими и на ней сушили, просто прилепляли. Хлеб-то был клейкий такой. Эти сухарики и жевали.

— Хлеб водянистый, а есть его было лучше сухим? Почему?

— Потому что так дольше сохранялся вкус хлеба...»

А бывшая работница Ленинградского радио Александра Борисовна Ден, рассказывая, показывала:

«Вот здесь у нас была времянка, и паркет испорчен до сих

пор... Сначала полки с кухни пошли, кухонные столы. А потом пошла мебель вообще».

Владимир Рудольфович Ден, сын Александры Борисовны, тоже вступил в беседу:

«Разговоры о еде, по-моему, считались непристойными. Люди хорошо научились, придя к кому-то в дом, вести себя так, как будто они ну совсем есть не хотят. Можно было при постороннем человеке есть, хотя это считалось, в общем-то, дурным тоном. Да, но можно было, и люди очень искусно притворялись, что они не хотят...»

Это наблюдал, подметил, запомнил он, тогда еще мальчик.

«— Еще не касались вопроса, на чем готовили, — напомнила Александра Борисовна.

— Книжки я жег собственноручно, причем я их старался както отбирать, сначала что похуже, — продолжает Владимир Рудольфович, поглядывая на мать. — Сначала всякую ерунду — то, чего я даже до войны не видел. За стеллажом оказалось много всякой ерунды — какие-то брошюры, инструкции по техническим вопросам, случайно, видно, попавшие. Потом начал с наименее интересных для меня — журнал «Вестник Европы», что-то еще было. Потом спалили сначала, по-моему, немецких классиков. Потом уже Шекспира я спалил. Пушкина я спалил. Вот и не помню чье издание. По-моему, марксовское, синее с золотом. Толстого — знаменитый многотомник, серо-зеленая такая обложка, и медальон в уголке вклеен металлический.

— А я в основном пихала в печку Шиллера, Гёте — немецких классиков, — виновато и тихо дополнила маленькая росточком Александра Борисовна.

— Жгли мебель, — продолжает Владимир Рудольфович. — Был такой гардероб старорежимный, знаете, с двумя ящиками внизу. Топили им двадцать дней. Отец был человек пунктуальный, он решил посмотреть, на сколько его хватит? Заметил. Двадцать дней топили шкафом».

Вот так нам рассказывали мать и сын, а их квартира, уцелевшие в квартире вещи, стены, обожженный паркет тоже как бы участвовали в беседе, «вспоминали».

Ценились не вещи — настоящими блокадниками, во всяком случае, — не шкаф, например, а дрова из массивного шкафа...

«Приятель мужа рассказывает: он вывез на рынок шкаф — и никто не покупает. Он тогда здесь же, на глазах у всех, этот шкаф разломал; причем за шкаф он там просил, — я не знаю сколько, — предположим, десять рублей, а дров он продал рублей на двадцать! Я помню только, что в два раза больше за дрова выручил, чем стоил этот шкаф» (Рогова Нина Васильевна).

...В комнате, в которой жила Александра Михайловна Арсеньева, не было самого главного — печки!

«Нету печки! Я не знаю, где мне купить печку за хлеб? И как хлеб оторвать? Ведь у меня служащая карточка, а на детскую карточку в столовой ничего не дают. Детская карточка пропада-

ла, а в столовой на одиу служащую питались с дочкой вдвоем. Я знала, что ие сегодия-заатра упаду. Деаочка еще иичего была. Правда, оиа такая молчаливая была, тихо сидела и ждала, когда мы пойдем в столоаую...»

Находили иногда где-иибудь на чердаках «буржуйки» от пераых лет революции. Топили тряпьем, старой обувью, паркетом, матрацами, ио главным топливом стали дереаянные дома. Ими отаплиаались учреждения, предприятия. Их распределялн организованио, через райисполкомы.

Мало было иайти, купить, выменять, добыть дроаа, иадо было расколоть их, принести. И это было проблемой.

Спалн не раздеааясь. Месяцами так. Живые рядом с умершимн.

К Дубровиной Клаадии Петроаие перешла жить соседка («Мне ее очень жалко было»). И умерла а ее каартире.

«— Здесь же лежала вместе со мной: тут я лежала, тут — оиа лежала (показывает, где стояли койки).

— И долго так было?

— Долго, до аесны.

— До весны?

— Да, и так лежали мы. В квартире у иас, рядом — деаочка, мужчина, еще жеищииа лежали мертаые...

— А аы ходите иа работу, аозаращаетесь?

— Да, я дома дием ие быаала, дома мие, собстаеиио, иечего... Я там по карточке и кушала на работе что дааали.

— Ну а иочеаали вы где?

— Дома, здесь. Ночеаать было, конечно, страшно, потому что вот это асе выбито, мороз, холод страшиый. Во-пераых, я лишила себя диеаного света окончательио: еще пока силы были, я азяла эти два окна забила — одно одеялом, другое — старым коаром, так, чтобы хотя не дуло сюда. Но это, собствеино, лншило меня света. И я приспособилась так: я приходила а темиоте н знала, что аот здесь у меия кроаать, залезала а эту иору, как я ее называла, ложилась до утра и а таком холоде... Но я как делала? Несколько подушек иа себя иавалиаала. Я сделала нору.

— И ие раздеааясь?

— Да, не раздеааясь абсолютио.

— Что, и а валенках?

— Нет, это я сиимала. Вот с ног снимала, пальто сннмала, а остальное не синмала, и так до весны не сннмала. И когда я утром вставала, то у меня к шее, аот здесь, примерзало асе. Отрыаала все это, поднималась, одеаала пальто н шла на работу...»

«Спала под даумя ватными одеялами и клала даа иагретых утюга: одии согреаал иоги, а другой грудь и руки. Утром одеяла покрыаались белым инеем» (Попоаа Ульяна Тимофеевна).

«Цвет кожн иеобъяснимый — многомесячные коптилкн, н асе это аъедалось... В валеиках спали... Свитер, валеики, пальто, брата пальто» (Бабнч Майя Яноана).

И после этого — баня! Представляете?

«Первая баня! — восклицает Майя Яноана. — Ой!.. В первые дни стояли часоа по аосемь — с десяти утра занимали очередь и к вечеру попадали. Я прорвалась туда недели через две.

Это был такой ужас, когда они все голые и падали — силы не было тазы нести. Господи! Какой кошмар там можно было увидеть! Мыла у многих не было, терлись-терлись некоторые и без мыла. И тут же падали. Медленно очередь шла, медленно мылись, но горячая вода была».

Елена Николаеаиа Аверьяноаа-Федороаа, которая вела дневник, аспоминает о том же:

«...Нам дали талончики — это уже март 42-го года. И ходили в Мытнинскую баию, талоичикоа очень мало, и давали лучшим работникам, не всем. Мы очень хорошо помылись».

Вода, дрова, тепло... И конечно же, хлеб. В первую очередь он, к нему и сейчас стягиваются глаеные нити воспоминаний, с ним связаны, может быть, самые острые и жестокие переживания. Граммами хлеба (ленинградскими «граммиками») измерялись в те дни шансы и надежды человека выжить, дождаться неизбежной победы.

И какие драмы — видимые и невидимые миру — разыгрывались ежедневно аокруг кусочка хлеба (ведь он был мерой жизни и смерти!), какие сложные, самые аысокие и самые низкие чувства клокотали в очередях, где дожидались хлеба, над «буржуйками», где его сушили!

Бесценные и безжалостные «граммики» — о них и сегодня гоаорят с аосторгом и с ужасом:

«Когда нам давали этот хлеб — 125 граммов, предстааляете?! И отпускали нам буханкой, и вот приносили мы аесы и начинали делить по 125 грамм.

Вы предстааляете, что а комиате! Вот асе эти рабочие смотрят. Даже глазам не аерят, что это такой кусок, и причем каждый боится за каждую каплю хлеба» (Сюткина М. А.).

«В наш дом попала авиабомба. Оиа не разорвалась, но нас выселили а соседнее бомбоубежище. Это были быашие царские аинные подвалы под зданием Эрмитажа, со стороны Даорцоаой набережной... Подаалы огромные, сводчатые, целая анфилада... Света не было, кое-где горели коптилки. В одной из сводчатых ниш, на нарах, ютилась мама — совсем деаочка — с тремя малыми детьми. На детей страшно было смотреть — крошечные старички: большая голова на тоиких ножках, еле переступающих по полу а темноте огромного подаала. 25 декабря я раио утром зашла а бомбоубежище. У титана (кипятильника) стояла деаочка-мама. Руки у нее тряслись, она со слезами радости показывала всем кусок клейкой и тяжелой буханки и асе поаторяла: «Прибавили, аидите, прибавили! Будет теперь ребятам...»

В этот день уаеличили норму аыдачи хлеба, и она получила на всех четырех — 800 граммоа.

И появилась надежда (Островская Зинаида Владимировна).

Попадались некоторые истории — неясные, вторичные — о том, как отнимали хлеб (подростки или мужчины, наиболее страдавшие от мук голода и наименее, как оказалось, выносливые). Но когда начинаешь спрашивать, уточнять, сколько раз, сами ли видели, оказывается, все-таки не очень частые случаи. Разное, конечно, в огромном городе бывало.

«Один раз я шла на работу утром, на углу Лесного и Нишлотского переулка ехал на лошади старикашка с хлебом. Хлеб был покрыт брезентом. Откуда ни возьмись, человек пятнадцать мальчишек в форме ФЗУ. Железными крючками повыдергивали хлеб и убежали. Остановить их было некому, да и невозможно. Бедный старик плачет: меня, мол, расстреляют! Но тут милиционер подскочил и ряд рабочих-очевидцев, составили акт; оказалось, не хватило пятьдесят две буханки. Что было дальше, не знаю, думаю, что старика ни в чем не винили. Это были не воры, эти ребята. Они были голодные, холодные, немытые и совершенно, совсем еще дети, у многих уже не было родных, а ведь работали они у станков» (из записок-воспоминаний Екатерины Павловны Янишевской, Гражданский проспект, д. 90).

Или разбило снарядом телегу с бочками, повидло разбросало. Хватают кто во что собирает! Но опять же не это диво, а совсем другое: машину снарядом разнесло, хлеб лежит, собрали и никто себе не взял!

«Начался сильный обстрел... Я кое-как доползла до булочной, на углу у нас на проспекте Стачек была булочная, сейчас там кафе. Крик там был, шум. Все бросились. Кто лежит на полу, кто спрятался за прилавком. Но никто ничего не тронул! Буханки хлеба были — и никто ничего» (Евгения Семеновна Козловская, пр. Стачек, д 8/2, работала в блокаду заместителем председателя Кировского райисполкома).

Неполной будет картина, если упоминать про один рассказы и умалчивать о других. Вот и об этих похитителях хлеба, хлебных довесков. О них рассказывают тоже по-разному. С одной стороны, очень врезались в память такие случаи. Еще бы: женщина, ее дети мечтали об этом «завтрашнем» хлебе еще вчера, ночью видели во сне, как едят его, — и вдруг чья-то рука хватает, запихивает в рот!.. Запомнилось, хотя самые лютые обстрелы могли уже выпасть из памяти. И так этого довесочка жалко — все тридцать лет он в памяти! Даже самим рассказчицам неловко. Но еще более жалко им тех подростков, мужчин, потерявших себя. И тогда, в тот миг тоже их жалели, хотя и кричали на них вместе с возмущенной очередью, даже били.

«Со мной вместе жила жена моего брата с ребенком маленьким, четырех годков, и ее мать-старушка, потом еще карточки ее сестры дали мне и просили, чтобы я пошла получить хлеб. Вот я пошла в булочную. Я получила хлеб на всю семью. Ну, дали мне такую маленькую буханочку и небольшой довесочек. Не знаю, сколько в этом довеске было, граммов пятьдесят, что ли. И вот только я беру у продавца этот хлеб, и вдруг какой-то парнишка, голодный, истощенный парнишка лет шестнадцати-семна-

дцати, как выхватит у меня эту буханку хлеба! Ну и стал скорей кусать от голода — ест, ест, ест ее! Я закричала: «Ой! Что же мне делать, я ведь на всю большую семью получила хлеб, с чем же я приду домой?!» Тут женщины сразу же закрыли дверь булочной, чтобы он не убежал, и начали его бить! Что ты, мол, сделал, ты оставил семью без хлеба! А он скорее глотает, глотает. Остатки буханки отобрали от него, и у меня этот довесок остался. Я стою и думаю: с чем же я домой-то приду? И в то же время и его так жаль; думаю, ведь это голод заставил его сделать, иначе он так не сделал бы. И так мне его жалко стало. Я говорю: «Ладно уж, перестаньте его бить». Этот случай мне запомнился, думала: надо же, чтобы голод человека на такой поступок толкнул! Ведь из-за голода он выхватил хлеб!» (Юлия Тимофеевна Попова).

Со слезами смущения, вины, удивления перед тем, что голод с нею сделал, вспоминает Таисия Васильевна Мещанкина про такой случай. Подошла она к магазину, и там как раз похожая сцена: выхватил парень хлеб, упал и ест, глотает, глотает лежа... Карающий гнев, обида в ней заговорила, она тоже стала его бить, толкать, чтобы спасти чей-то хлеб. Вдруг рука ее нащупала на земле кусок... Но лучше послушать ее, ее рассказ, начиная с тех трех дней в январе, когда в магазинах совсем хлеба не давали. Не было. Хлебозаводы стали.

«— В эти три дня тяжелые я одну ночь почувствовала — умираю. У меня длинная слюна бесконечная была. Рядом лежала девочка, моя дочка. Я чувствую, что в эту ночь я должна умереть. Но поскольку я верующая (я это скрывать не буду), я стала на колени в темноте ночью и говорю: «Господи! Пошли мне, чтобы я до утра дожила, чтобы ребенок меня не увидел мертвую. Потом ее возьмут в детское учреждение, а вот чтобы она меня мертвой не увидела». Я пошла на кухню. Это было в чужой квартире (мы там жили, мой дом на улице Комсомола, пятьдесят четыре, был разбомблен). Пошла на кухню и — откуда силы взялись — отодвинула столы. И за столом нахожу (вот перед богом говорю) бумагу из-под масла сливочного, валяется там еще три горошины и шелуха от картошки. Я с такой жадностью это поднимаю: это оставлю, я завтра суп сварю. А бумагу себе запихиваю в рот. И мне кажется, что из-за этой бумаги я дожила.

— Только бумага от масла? Масла не было?

— Да, бумага. Из-за этой бумаги я дожила до шести часов утра. В шесть часов утра мы побежали все за хлебом. Прихожу я в булочную и смотрю — там дерутся. Боже мой! Что же это дерутся? Говорят: бьют парня, который у кого-то отнял хлеб. Я, знаете, тоже начинаю его толкать — как же так ты, мы три дня хлеба не получали! И вы представляете себе, не знаю как, но евонный хлеб попадает мне в руку, я кладу в рот — чудеса — и продолжаю того парня тискать. А потом говорю себе: «Господи! Что же я делаю? Хлеб-то уже у меня во рту?!» Я отошла и ушла из булочной.

— И не получили хлеба?

— Я потом пришла за хлебом. Мне стало стыдно, я опомнилась. Пришла домой и простить себе не могу. Потом пошла и получила хлеб. Я получала двести пятьдесят граммов, я была рабочая, и девочка сто двадцать пять».

...Но настоящей трагедией была потеря карточек. Особенно если в начале месяца и особенно если карточек лишалась вся семья. Потерявший их мог считать себя убийцей всей семьи. «Я крикнула так, что остановился трамвай», — вспоминает Анна Викторовна Кузьмина. Рука вернулась к карману, а там — ни кармана, ни карточек... Крик был такой, что остановился трамвай, подошла какая-то женщина, предложила ехать с нею. Она-то, незнакомая женщина из столовой, и прокормила четырнадцатилетнюю Аню, ее сестренку и мать несколько критических дней какими-то остатками щей, какими-то крохами.

В воспоминаниях Екатерины Павловны Яннишевской есть сцена, кажется, вобравшая в себя всю трагедию утерянных карточек и особую нравственность первой блокадной зимы.

«Видела на проспекте Энгельса такое: везет старик полные дровни трупов, слегка покрытых рогожей. А сзади старушонка еле идет: «Подожди, милый, посади». Остановился: «Ну что, старая, ты не видишь, какую кладь везу?» — «Вижу, вижу, вот мне и по пути. Вчера я потеряла карточку, все равно помирать, так чтоб мои-то не мыкались со мной, довези меня до кладбища, посижу на пеньке, замерзну, а там и зароют»... Был у меня в кармане кусочек хлеба граммов сто пятьдесят, я ей отдала...»

Конечно же, сужался круг интересов, потребностей человеческих. Но те потребности, что оставались, приобретали значение, силу, какие не имели в другое время. В числе оставшихся и усилившихся не только потребность в пище да в тепле «буржуйки». Но и в тепле участия. Никогда так не нуждался ленинградец в помощи, поддержке, и никогда его поддержка так не нужна была кому-то другому, как в дни, месяцы, годы блокады. «У каждого был свой спаситель», — убежденно сказала нам ленинградка. Каждый в нем нуждался и сам был необходим, как хлеб, вода, тепло, другому.

Пища духовная, когда так мало было просто хлеба, она не обесценивалась, она значила больше, чем в «сытые» времена.

«Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы, — пишет Ольга Берггольц в предисловии к сборнику «Говорит Ленинград». Мы знаем это потому, что они находили в себе силы писать об этом в радиокомитет, даже приходить сюда за тем или иным запомнившимся им стихотворением; это были самые разные люди — студенты, домохозяйки, военные».

У блокадного Ленинграда была своя богиня Сострадания и Надежды, и она разговаривала с блокадником стихами. Стихами Ольги Берггольц.

«А ее стихи часто просто, просто вот так они настолько запоминались, настолько как-то ритмично укладывались в голову... Ну вот идешь и так, шагая, бормочешь эти стихи ее... «Пусть так стоит всегда зарей покрытый...» Когда-то я знала это наизусть, и как-то это очень помогало, когда я лезла на вышку и когда приходилось стоять там под обстрелом на нашей крыше библиотечной» (Озерова Галина Александровна, ул. Седова, 124).

«Потом по радио стали передавать стихи Ольги Берггольц. Это я отлично помню, действительно было здорово, это было под настроение. Это очень встряхнуло от этого животного думания о еде!» (Бабич Майя Яновна)

Казалось, хлеб, прежде всего хлеб, ну еще вода и тепло! И все говорили и думали, что все желания сосредоточились только на этом, на самом насущном. Ничего другого. Так ведь нет. В иссушенном организме душа, страдающая и униженная голодом, тоже искала себе пищи. Жизнь духа продолжалась. Человек порой сам себе удивлялся, своей восприимчивости к слову, музыке, театру. Стихи стали нужны. Стихи, песни, которые помогали верить, что не бесполезны и не тщетны его муки беспредельные. И еще многое нужно, просто необходимо было ленинградцу. Живой голос брата по судьбе — осажденного Севастополя. И уверенность, что Москва устоит и отбросит танки Гудериана. И обязательно — больше, чем даже хлеб, вода, тепло! — необходима была надежда, свет победы в конце ледяного тоннеля...

По этому тоннелю люди и двигались, зажав в себе все, что могло казаться лишним, не главным.

Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чувства его с невероятной остротой начинали воспринимать простые радости: солнце, небо, краски. Ничего не было вкуснее лепешек из картофельной шелухи. Никогда так ярко не светила электрическая лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное.

Александра Михайловна Амосова, сотрудник Эрмитажа, рассказывала, как весной 1942 года блокадники снова — но как бы впервые в жизни! — вырвались к зелени, к земле кормящей...

«Набрали мешки лебеды, конского щавеля (считался деликатесом этот дикий щавель), набрали всякой травы. И вот у меня было такое чувство, что хотелось лечь на землю и целовать ее за то, что только земля может спасти человека. Даже если бы в тяжелые времена, зимой, была бы эта трава, то, может быть, такой гибели, такого количества мертвых, смертности такой не было бы. Свет. Солнце. Где-то в небесах жаворонок поет. А здесь мы просто этой травы наелись досыта. Конечно, это не пища. Но помню это чувство очень хорошо: хотелось лечь, распластаться и целовать землю! Понимаете?! Землю, которая дает нам все — и хлеб, и все абсолютно, чем может существовать человек».

...Малейшего облегчения было достаточно, лишней пайки хлеба, тарелки крапивных щей, чтобы очнулась стиснутая до пре-

дела, замершая душа. И тогда с небывалым прежде восторгом, благоговением ценились простые радости: сухой чистый асфальт, оконная рама с целым стеклом, нагретая солнцем стена, зелень деревьев, ни в одну весну не были они такими зелеными, как в ту весну! Чудом была и кровать с чистыми простынями, и цветок, который можно было не рвать, не жевать, не готовить из него салат, а оставить просто цветком, который вырос на газоне.

На работе

Что же можно было противопоставить такому голоду? Довольно скоро многие почувствовали спасительную силу товарищества, старались соединиться, быть вместе. Происходило это и организованно, под руководством партийных комитетов. Происходило и инстинктивно, стихийно, соединялись через работу, переходили на так называемое казарменное положение. Приспосабливали в рабочих помещениях комнаты, ставили кровати, налаживали отопление, быт. Скучивались, собирались по цехам, по отделам, жались друг к другу, ища тепла, помощи. Да и работать так было легче, не ходить из дома и домой пешком в непогоду. Первыми, естественно, переходили на казарменное одинокие и те, у кого семьи были эвакуированы. Хуже приходилось, когда семья жила в городе и нельзя было оставить мать, жену, детей одних.

Многие на казарменном прожили всю блокаду, почти не выходя «в город». Все силы забирала работа, дежурства, восстановление разрушенных цехов. Мир съеживался, как сжимается человек на морозе, втягивает голову в плечи, уходит в себя. Так уходили в спасительное лоно своего предприятия, старались быть среди людей. На миру и смерть красна, миру со смертью тягаться легче.

Главный библиограф Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина Озерова Галина Александровна об этом так рассказывает:

«— Я думаю, что они умерли потому, что оставались в этой квартире одиночками. А мы — кто были на казарменном положении в первую, блокадную осень в Центральной библиотеке, — мы сохранились благодаря коллективу. Все-таки у кого было больше сил и сноровки, те занимались такими работами, как заготовка топлива, колка, пилка, как расчистка снега, как добывание воды. Заставляли людей — тех, которые укладывались и не хотели двигаться, — заставляли их двигаться и выходить на воздух. Ну, скажем, я на далекие концы города таскала на саночках дрова нашим сотрудникам, которые решили отсиживаться у себя на квартирах и уже не имели сил ходить в библиотеку. Они умерли.

— А вы таскали дрова им?

— Да.

— Ну вот, вы помните ваше появление в этих квартирах? Как это все выглядело?

— Это очень страшно: затемненные квартиры, замерзшие, совершенно желтые, опухшие люди.

— Встречи проходили молча?

— Да нет, мы говорили. Они интересовались, что делается у нас в библиотеке, кто жив, кто умер — вот самое главное; какие прогнозы относительно немцев, что, продвигаются они, не продвигаются... Но вот главным образом, как живет и как работает библиотека и кто из товарищей жив и кто как себя ведет, как держит себя, — вот такие разговоры были главным образом».

Но и «в городе» тоже происходила как бы концентрация. Внутри квартир все сселялись в одну комнату: чем теснее, тем теплее. Согревали друг друга своим дыханием. Переезжали к друзьям, близким. По две, по три семьи собирались вместе из разных районов города. Оживали родственные связи. Сообща легче было управиться, стоять в очередях за хлебом, носить воду, смотреть за детьми.

Казарменное положение было в той обстановке, может, самой действенной помощью людям. Организованность, воля, ум коллектива изыскивали, казалось бы, совершенно невероятные возможности. Работники типографии, которая печатала карточки для города, рассказывали: когда на эти карточки стали давать все меньше (с 20 ноября рабочим — 250 граммов хлеба, служащим, иждивенцам, детям — 125 граммов хлеба, черного, липкого, как замазка, водянистого, с примесью целлюлозы и опилок, и ничего кроме этого), начали искать, оглядывать, как бы проверять заново все, что было под рукой, в смысле съедобности, пытать окружающее воспаленными глазами голода.

«— Матрицы были. Там папиросная бумага и какое-то количество мучного клея, чтобы смазывать. Матрицы отработанные — свинца, красок нет, только бумага. Так мы мололи их, делали кашу и говорили, что каша ничего. Или столярный клей — это же студень.

— Получается, что у вас было профессиональное блюдо, из матриц?

— Да. Мы эту кашу ели, и ничего! Доля муки там была очень незначительная, в основном была бумага, клей и ряд других компонентов» (Евгений Александрович Тренке, наб. Мартынова, д. 12).

Питание хоть какое-то на производстве организовать было легче.

«Питались мы в столовой, — рассказывает Клавдия Петровна Дубровина и тут же переспрашивает: — Если вам, конечно, интересно. Питались по карточкам...»

Она работала в зиму сорок первого — сорок второго года токарем на заводе. В рассказах ее драгоценные подробности, но она то и дело стеснительно обрывает себя:

«Я кратко... Может, лишнее что, может, короче надо?»

«Нам выдали талончики. На них дадут немножко жидкой-жидкой каши, а мы еще подходим и разбавляем кипятком, чтобы ее

было побольше, вроде впечатление, что больше поел. Там кипяток стоял в столовой, и мы еще разбавляем. Потом у нас без карточек так называемый дрожжевой суп давали. Ну, в то время что только шло в рот, как говорится, то и ели. Вот потом мужчины, которые у нас остались по возрасту или по броне, потому что было что делать, знаете, вот даже в столовой сидит за столом и, видишь, упал и умер. Такой тихой смертью умирали, так спокойно...»

Мария Андреевна Сюткина, заканчивая свой рассказ, вдруг вспомнила, что у нее есть меню сорок второго года столовой одного из цехов, и прочитала нам названия блюд, которые заменяли мясные, рыбные, мучные. Но и это уже весна — лето 1942-го, когда с питанием стало немного лучше:

«Щи из подорожника
Пюре из крапивы и щавеля
Котлеты из свекольной ботвы
Биточки из лебеды
Шницель из капустного листа
Печень из жмыха
Торт из дуранды
Соус из рыбнокостной муки
Оладьи из казеина
Суп из дрожжей
Соевое молоко (по талонам)»

«Деда! А танковый жир?» — напомнила вдруг присутствовавшая при нашем разговоре внучка Зенькова, и Петр Ефимович сам не без удивления вспомнил, видимо, один из семейных рассказов:

«Во! Танковый жир ел. Боже мой! А знаете как? Одна моя знакомая работала. А до войны я в том цехе работал. Секретарем там был один созыв, освобожденным. Да. И вот она говорит: «Знаешь что, Ефимыч? У меня бочка целая жиру — танки что смазывают. Приходи!» И я взял. Какая прекрасная штука! Как мы его ели-то! И домой принес. Понимаете?..»

Главным в казарменном положении, в этой коллективной жизни была взаимовыручка, взаимодействие, которое поддерживало дух.

Часть судостроительного завода имени Жданова была эвакуирована на Выборгскую сторону, там начали делать мины, работали до декабря, пока была электроэнергия. А потом могли разойтись по домам, но многие продолжали оставаться на заводе, жили там.

Чем голоднее становилось, тем труднее было работать, но тем нужнее была работа и для фронта и для города, да и для самого ленинградца. Работа помогала держаться. И за работу держались. В этом вымороженном, безлюдном, обессиленном до предела городе продолжалась деятельность большинства учреждений. Почтальоны разносили письма, типографии печатали карточки, газеты, листовки, работали райисполкомы, детские сады, поли-

клиники, теплилась жизнь в архивах, в Публичной библиотеке, в симфоническом оркестре. Работа заглушала непрестанные, доводящие до безумия мысли о еде. Через работу люди приобщались к жизни страны, от которой они были отрезаны.

Г. А. Князев и его сотрудники продолжали писать «Историю Академии наук СССР». Эта работа в первую очередь нужна была им самим. Они исполняли свой долг, они, архивисты, историки, делали что могли, что умели.

Большинство же занималось куда более насущными делами — для того чтобы поддерживать жизнь города, а главное, для того чтобы обеспечивать Ленинградский фронт, и, кстати говоря, не только Ленинградский. Делали оружие, мины, снаряды.

Мария Андреевна Сюткина вспоминает, как на Кировском заводе жили в комнатах технологического бюро, как топили деревянными шашками, которыми выстланы были полы в цехах.

«Ну, значит, когда началась у нас весна, мы решили — так как каждый день сбрасывали на нас листовки: мол, все равно вы погибнете, помрете от голода, от холода, — мы решили, что должны народ как-то морально поднять. Вы понимаете, если каждый день такое! Надо как-то дух у людей поднять. Вот решили мы восстановить меднолитейный цех. Часть женщин у нас были стерженщицами. Нам дали задание — пятидесятидвухмиллиметровую мину делать. Делали по силам, чтобы можно было трамбовкой в ящиках-то трамбовать. Основной медный участок пустить нельзя — у нас не было металла. А для вагранки у нас был металл. Мы решили пустить вагранку. Но как пустить вагранку? У нас остался только один вагранщик из семи. Вагранщики были здоровые такие мужчины, высокие, и от голода они погибли. Остался один Чагинский. Он знал хорошо вагранку. Но что делать? У него зубы выпадали — цинга! Многие заболели тогда цингой, к весне-то. Решили обучать женщин на вагранщиков. И вот этому Чагинскому *мы пеленали ноги* (!), *чтобы его на ноги поставить и вести к вагранке* (от станции метрах в пятидесяти этот цех был). И *туда его под руки водили*. Он давал инструкцию, как пустить вагранку. Вагранку мы пустили. Женщины стали работать на вагранке. Участок этот у нас заработал. Как только заработал участок, вы представьте, народ ровно воскрес, у него какая-то живость появилась, даже улыбка появилась. Стал он верить, что все-таки мы победим».

Внутри самой работы все изменилось. Блокада и голод сделали особенным все, начиная от движения транспорта вплоть до, казалось бы, незыблемой технологии станочников.

Работа связалась с бытом, с семьей, связалась как никогда прежде. Рассказы о работе необычные даже среди всего этого невероятного быта. Сместились понятия возможного. В обыденной привычной обстановке цехов появились вещи, казалось бы, невозможные для производства. Темень. Женщины, не знающие

самых простых приемов работы. Мальчики и девочки, совсем дети. Все слабые, неумелые...

Федор Иустинович Козодой (ул. Тракторная, д. 13), начальник цеха, а потом партработник, секретарь райкома, сейчас, спустя три с лишним десятилетия, иачисто не может понять, каким образом они сумели без лифта, без крана втащить в четырехэтажное здание тяжелые станки, когда налаживали производство мин на Выборгской стороне.

Рассказы о работе поражают.

«— В каком же году это? Это в сорок первом году, значит, — старается припомнить Вера Антоновна Гаврилова (Касимовская ул., д. 14). — Завод пластмасс эвакуировался в Боровичи. Оборудование у нас было очень неплохое, очень дружный коллектив, как я вспоминаю. На заводе остались почти пустые цеха. Станки самые лучшие увезли. Все цеха уже стояли — пластмассового сырья не было. И вот мы начали осваивать гранаты Ф-1 и РГД. У нас шло это хорошо. Работала половина женщин, половина мужчин. Ночная смена в двенадцать часов, диспетчера нету, смотрю, там два станка стоят — людей нету. Иду искать. А мы перед этим приняли на завод по разверстке из детского дома ребят-ремесленников. Иду к ним в общежитие (общежитие рядом было). Смотрю: Петька живой лежит, спит, а сверху-то его мертвый...»

Работали по-всякому. Электроэнергии не было, не давали, если и включали на несколько часов, то в первую очередь тем производствам, которые делали оружие. А работать надо было и остальным. И тогда где можно работали вручную. На фабрике имени Бебеля было так, что крутили машины руками. Шили гранатные сумки, ремонтировали полушубки, чинили ремни.

«Летом будет легче, там свет будет, а зимой самое трудное время. В цеху холодно, не топят. Цех большой, окна с двух сторон. На улице мороз 30°. Руки, ноги отмерзают. Машины вертим руками, машины замерзшие».

Это из дневника Елены Николаевны Аверьяновой-Федоровой. Она читала нам свои записи, поясняла их. Читала, поясняла и плакала.

«26.I.1942 г. Сегодня так перемерзла на работе, несмотря на то, что тепло одета! Но когда в желудке пусто, то хоть что надевай — тепло не будет...

27.I.1942 г. Нигде не было хлеба. Очереди стояли с пяти утра. Открыли булочные —и пустые. Приходилось ждать, пока выпекут да подвезут. Шура стояла с семи утра и только в семь вечера получила хлеб. Двенадцать часов простоять на воздухе. А мы этот хлеб моментально съели. Ведь за целый день ничего во рту не было: конечно, если принесли хлеб, то не удержаться. Вот раньше могли его делить на какое-то время, а тут не до этого было.

Сегодня я работала один час, потом отпустили домой, чтобы достать хлеб.

Второй день иду на работу и ничего не ела. Как работать в таком холоде и что делать? Так и пошла. По дороге, на Кирилловской, около дома 22, брошены два покойника. Вот идешь, и хоть бы что!

Но хуже всего то, что сегодня только надежда на хлеб. Ведь продуктов опять не дают.

28.I.1942 г. Сегодня с работы не отпустили, несмотря ни на какие уговоры и просьбы отпустить домой. Директор у нас жестокий — не велел отпускать. Но что толку? Все равно работать никто не может. Машины все замерзли.

Кончили работу в 3 часа. Пошли домой. Опять плохо, опять ничего нет. Я пошла искать, где дают хлеб на 29-е. Ведь гибель без хлеба».

...Вернемся к семье Васильевых. Рассказ Зои Ефимовны мы приводили раньше, теперь обратимся к тому, что сообщил нам ее муж, Никандр Иванович, мастер Металлического завода. Если можно было бы не прерывать повествование, не возвращаться назад, не располагать рассказы один за другим, а как-то показать одновременно, что происходило с детьми Васильевых, и с людьми на его заводе, и дома с женой, а потом с ней в больнице, и сравнить, как в это же самое время работали и жили другие семьи, как работала почтальон Наталья Сидоровна Петрушина и трамвайщица Анна Алексеевна Петрова, и как работали в своих разбитых цехах кировцы, краснозаревцы...

В разных частях огромного города боролись, страдали, одолевали эти страдания и не одолевали их, и все в одни и те же дни, и все это сливалось в единую картину и не сливалось, потому что каждая судьба имела свою особую историю, неповторимые подробности, и память сохраняла их тоже по-разному.

Хотелось передать эту множественность жизни, не возвращаясь всякий раз назад. Хотя бы так: «А в это время». Или: «А в этот же час»... Но все равно приходится возвращаться. Возвращаться же — значит повторяться. И нам немало придется повторяться. Речь идет о том же — и все же о другом. Потому что каждый рассказ таит в себе новый, хотя бы небольшой поворот жизни. Потому что бесчисленные эти повторы в рассказах людей не были повторами. Они открывали новые и новые обстоятельства, казалось бы, достаточно известного. Они подтверждали и вели вглубь, придавали тем же событиям всеобщность, закономерность, объемность.

Вот рассказ Никандра Ивановича Васильева:

«— Мне сейчас шестьдесят один год, значит, в войну мне было двадцать шесть. В армии я не служил, потому что меня сразу взяли на броню. Когда война началась, я был старшим мастером: у меня было около восьмидесяти человек ребят и мужиков. И конечно, сразу же все — я сам призывал идти защищать Родину, — все ребята, конечно, пошли в армию. А меня сразу за рукав: «Ты что? (Я был, конечно, комсомолец.) Не только на

фронте воевать надо. Надо здесь воевать, цех иадо готовить, вооружение делать». Короче говоря, получилось, что от меня ушли лучшие люди, квалифицированные, а мне дали, конечио, женщин.

— И ремеслеников?

— Ремеслеников тогда мало было. Были, но они были настолько слабые от голодухи... Два-три человека их у меня было. А в основном, конечно, женщииы. Женщин забирали из столовых, отовсюду... Вы понимаете, что такое мастер? На заводе, в цеху? Ему нужно выполнять задание и работать с людьми. А люди, понимаете, голодные, холодные. Я вот не забуду, мы выполняли такой заказ. Уже «катюша» пошла, а нам дали задание: мы снаряды точили, женщины на операциях. Как сейчас помню, трндцать семь операций (меня даже наградили орденом Красной Звезды) и на всех — женщины. Вначале даже плакали, а потом освоили. Холоднна — минус двадцать два — двадцать пять градусов в цеху. А нам дали такие трубы длииные, с «Большевика» привезли. Диаметр миллиметров сто восемьдесят — двести, стенка толщиной миллиметров двадцать. Сталь такая вязкая (специальио для вооружения). Трубы метров восемь длиной, а нужио нарезать заготовки по восемьсот миллиметров. И резать иа строгальных станках, на большнх. А делается это очень долго, потому что нужно поливать, а вода замерзает на ходу. Стружка не вылетает. Резец ломается. А резцы в то время где ты возьмешь? Кузница там была тогда — три-четыре молотка. Я потом, значит, мужнков своих взял, которые были более или менее ничего, и сами резцы ковали. К чему я это говорю? А к тому, что этот холод, мороз нам с трубами помог. И на «Большевике» тоже мучились с этой резкой, самая тяжелая была операция. (Я сам токарем в прошлом был, до мастерства. Я стал мастером в тридцать восьмом году.) Мы стали делать так. Начинаешь иадрезать, примерио миллиметров десять надрежешь, потом тюк пс кольцу — все, готово, труба обламывается. Потому что она хрупкая на морозе. Короче говоря, мы удивили всех.

— И ровно?

— Ровно, как ножом. Короче говоря, все это шло до тех пор, пока основные люди у меня ие умерли. Вот помню такой случай. У меня до войны был один шлифовщик, единственный! Это такой мужик был! Ну, добротный наш русский мужик. Выпивал, закладывал, конечно. Ну, это неважно. Вы поймите, как он работал! И его иастолько хвалили на заводе! Ну, везде плакаты, иу, герой, понимаете? Я его поддерживал по-всякому. У меия были моряки, но и они голодали. Кое-что иам давали, а мы все ему совали. И вот этот мужик приходит ко мне и говорит: «Знаешь, Васильич (он так меня звал), я умру сейчас». Я говорю: «Да ты что! Ты один шлифовщик, ты что?!» — «Умру!» И он ушел нз кабинета. Что вы думаете? Приходит ко мне женщина минут через двадцать и говорнт: «Умер!»

То ли это особенность гибели от дистрофии, от голода, то ли обострившееся чувство смерти, которой так много было кругом,

но известно было в то время, что многие точно ощущали момент ее приближения. Как будто слышали ее подход, видели ее.

«— К чему я это говорю? Люди в таких тяжелых условиях работали, и действительно безотказно. До войны были указания: за двадцать минут опоздания — увольнение, потом судить. Чуть ли не каждый обеденный перерыв собирали людей: такой-то прогулял! А вот в тяжелое время блокады не было случая, чтобы человек, который еще может двигаться, чтобы он не работал. Не было таких.

— Так что, тогда не нужно было приказов?

— Никаких приказов! И я не забуду никогда. Я вижу, что народ валится от голода, а больше от холода. Я решил «буржуйку» сделать. Был у нас такой красный уголок, и в нем я сделал вместе с работягами «буржуйку». И решили: полчаса работать — десять минут обогрев. И я потом пришел к такому заключению, что они у меня за эти полчаса дают больше, чем за два часа... Назначили нового директора. Он в шинели начал ходить. Я и не знал, что он директор. Он до этого раз был у меня. Ничего не сказал. А потом приходит и говорит: «Где твои люди?» Я говорю: «Греются». — «Фронт требует оружия, задания надо выполнять, а тут у тебя люди сидят!» Я говорю: «Не сидят, а обогреваются. Они больше потом сделают». В общем, короче говоря, взыскание на меня наложил. Пришел курьер, принес мне выговор. А через две недели, когда он лучше познакомился, пришел извинился передо мной и издал приказ: везде «буржуйки» сделать! Вот так... В силу того что моя семья жила рядом, я, понимаете ли, в неделю раза два-три дома бывал. Тут быстро пробежать, минут пять. У меня две дочки были и жена. Мы жили тут, в доме сорок. И одна дочка умерла. Я ее сам схоронил. Потом жена свалилась. Ее положили не в стационар, а в госпиталь. Вот у меня одна дочка умерла, а вторая одна дома. А ей три, четвертый годик. Так я что? Натоплю плиту (мы не в комнате жили, а на кухне). Я дочку на плиту, тряпками накрою, а сам на завод. Потом прихожу. Бурдой накормлю, чтобы она не умерла. Так и бегал. Прибегу, накормлю ее, переодену, понимаете? И убежал. А она опять одна! Я думал, что она озвереет. Я другой раз прихожу, открываю дверь, а она стоит — маленькая девочка одна в квартире. Ведь все там умерли».

На место ушедших на фронт становились подростки и женщины. Так бывало на всех предприятиях. Город, который остановил у своих стен фашистские армии и устоял перед штурмом, продолжал снабжать своих защитников оружием. Даже на Большую землю попадала его продукция в самые трудные для Москвы месяцы. Сейчас кажется непонятным, как могли ослабевшие от голода детские руки поднимать, закреплять в станки тяжелые заготовки.

«Привязывались к станкам... Чтобы в станок не упасть. Не просто боялись упасть, а в станок чтобы не упасть, не искалечиться, — вспоминает **Михаил Петрович Пелевин**, который пятнадцатилетним мальчиком работал на заводе имени Кулако-

ва. — Нас, мальчишек, использовали на подсобных работах. Берегли металл, и доверить его порой нам, бывшим ученикам-ремесленникам, было не всегда возможно. В те дни брак исключался. И конечно, когда на время кое-кого из нас и ставили за станок, главной нашей заповедью становилось — не спеши!»

Нечего скрывать и того, что на завод такой мальчишка тянулся из последних сил еще и потому, что там можно было в заводской столовой на один крупяной талончик в 12,5 грамма получить сразу три тарелки горячего дрожжевого супа и бутылку соевого молока. Это молоко только-только начало появляться. Его изобрели тут, в блокадном городе.

Была у нас встреча с Ольгой Николаевной Мельниковой-Писаренко. Ее военная (да и послевоенная) судьба связана была со знаменитой «Дорогой жизни» через Ладогу (об этом будет ниже). Но было в ее рассказе и такое вот отступление:

«— Я никогда не забуду, что видела на Кировском заводе. Я случайно попала туда. Как раз мы оттуда возили дрова. Там много деревянных домов было. Это для госпиталей везли. И случайно я туда забежала. Смотрю — подростки, мальчики по двенадцать-тринадцать лет, девочки по четырнадцать лет стоят у станков и работают. Они заменили своих отцов или своих старших братьев. Этим подросткам подставляли скамейки или ящики, для того чтобы они могли работать. Рассказывали, что одна девочка, работая на станке, еще играла в куклы... Это неправда! Это она брала куклу, идя на работу. Она должна была брать с собой какую-нибудь, знаете, дорогую вещь, то есть для нее дорогую. Она куклу брала с собой, потому что считала ее такой ценной вещью.

— Это оттого, что дом могут разбомбить?

— Да. Она не играла, а это просто ее личная вещь. О какой игре в куклы можно говорить, когда она недоедала, недопивала, когда знала, что нужно деталь сделать. Она куклу брала, чтобы сохранить; дом может разрушиться, а эта ее дорогая вещь сохранится.

— А сколько этим девочкам было лет?

— По тринадцать-четырнадцать... Другой раз бежишь куда-нибудь, смотришь: стоит подросток. Говоришь: «Что ты стоишь? Давай выходи, уже всё, обстрел кончился». Подойдешь к нему, а он мертвый! Он, конечно, от голода умирал. И вот стоя, прислонясь к стене, умирали!»

Рассказывает Петр Ефимович Зеньков, бывший мастер Кировского завода:

«— Я двадцать пять дней пролежал в больнице, в стационаре... Потом поправился. Пришел в цех. Начальником был Иван Иванович Плотников. Он сейчас жив-здоров. Плотников и говорит мне: «Зеньков, расчищай у цеха снег. Надо начинать работать». А с кем работать? Вот у меня один был слесарь Маникин, а остальные все женщины. И девочки были по шестнадцать-семнадцать лет, слабые были, разный народ. Никто ничего не умеет. Сам я и мастер, и настройщик, и рабочий, что угодно! Сверло

заточу, резец заточу, резец установлю, пущу станок. А Нарышкина была у меня, так она посмотрит на меня и плачет, — почему-то она меня боялась, сам не знаю почему, и станка боялась, и меня.

— Это девочка была?

— Женщина! Пожилая. У нее муж старый большевик, еще с дореволюции».

А еще была работа — убирать трупы, свозить к траншеям, спасать город от эпидемий. Работа повседневная, постоянная, даже «привычная» уже. И все равно страшная для человека.

В блокадной памяти она «записана» наряду с другими работами и делами ленинградцев. Но когда эта «запись» звучит сегодня — не только слушающему, читающему, но и рассказывающему, пишущему, помнящему это, такое — не по себе...

А ведь ее, эту работу, необходимо было выполнять. Притом часто — женщинам, женскими руками.

«Я боялась покойников, а пришлось грузить эти трупы. Прямо на машины с трупами садились, сверху, и везли. И сердце было как бы выключено. Почему? Потому что мы знали, что сегодня я везу их, а завтра меня повезут, может быть.

Но кто-то ведь останется жив. Мы твердо верили, что город ни за что немцам не взять» (Арсеньева А. М.).

Сердце «выключалось» — такое не придумаешь, такое надо испытать, как испытала Анна Алексеевна Петрова (Бассейная, д. 74).

«— Потом еще была такая работа. Возили в 1942 году покойников, которые были последними в голодную зиму. Нас послали на Марата улицу — мое отделение МПВО. Приезжаем на трамвае. Брали в разных районах и местах. И разные люди были. В Кировском районе, там больше мужчин, крупные и потом животы большие, а когда несем носилки, то в этих покойниках переливается вода, как вроде в бочке. В Невском районе большинство — дети и старики. Нам сказали — без документов не брать трупы. Вот по этому поводу был у нас такой случай. День был воскресенье. Мы брали трупы в больнице Бехтерева. Там был только сторож. И вот я сказала своим подчиненным взять в покойницкой столько человек, сколько было документов. Пока я со сторожем оформляла бумаги, мои уже успели погрузить трупы. И здесь сторож стал ругаться, зачем не тех взяли, требовать, чтобы обратно сгрузили. К этим, мол, еще родные придут...

Девочки отказались сгружать, тогда этот сторож сам залез в кузов машины. За покойника, через плечо и обратно в покойницкую. Трупы не были застывшие, они гнулись в любом направлении, и вот таким образом сторож забрал своих покойников. Нам же пришлось самим забирать тех, что черные. Ругался шофер на меня: не дотрагивайся до трупов, а то не посажу в кабину!»

Она рассказывала без брезгливости, это была работа, жребий

пал на А. А. Петрову, и ничего тут не поделаешь, кому-то ведь надо было... Вы просили рассказать все как было, пожалуйста, вот так тоже было. И нам тоже необходимо рассказать об этом, не стыдясь, не жеманничая, отвергая все упреки в натурализме, антиэстетичности, рассказать, чтобы отдать должное всем, кто, подобно Анне Алексеевне, делал эту тяжкую работу.

Какие сложные функции обретали, казалось бы, самые незаметные, вроде самые простые професии, какую значительность и действенность они получили! Например, почтальон. Уже упомянутая нами Наталья Сидоровна Петрушина (Большой проспект, д 51/9) и сейчас еще очень подвижная женщина, несмотря на годы (она 1914 года рождения). Так и представляешь ее с тяжелой сумкой, а в блокаду сумка эта казалась куда тяжелее, и дом от дома стоял дальше, и лестницы были круче. Тогда ведь носили письма прямо в квартиру, в каждую квартиру, да еще лично адресату старались вручить.

«— Конечно, я и сама-то была еле-еле. Когда блокада началась, мы жили в Новой Деревне, там было общежитие. Бомбили рынок — там какие-то объекты были, — и наше общежитие, конечно, разбомбили. Ну, нас перевели сюда, на Большой проспект, дом тридцать один. Мы тут, значит, жили. Нас было шестьдесят человек. А я работала в сто двадцать девятом почтовом отделении. Это Каменный остров. Ну, кое-кто у нас уехал, а большинство, конечно, умерло от голода. Муж у меня на заводе погиб от артобстрела. Пошел туда и не вернулся. Дети во время войны тоже умерли, двое. Начался основательный голод: уже на карточки мы ничего не получали приблизительно с половины декабря.

— Вы продолжали работать?

— Работать я продолжала. Я как раз обслуживала улицу Академика Павлова, а там Институт экспериментальной медицины и вакцин-сывороток. Когда я туда приходила, это уже когда голод начался, мне работники медицинские объяснили: «Ни в коем случае, товарищ почтальон, как бы вы ни чувствовали плохо себя, не ложитесь и старайтесь работать».

— Это вам ученые сказали?

— Да, как раз там был профессор Гуревич (ему было много корреспонденции), он мне сказал: «Я, говорит, эвакуируюсь, потому что меня заставляют. Но я вам объясню: вы никогда не ложитесь. И не падайте духом. Сколько можете, столько и ходите». Ну вот, я эти наставки и от многих других слыхала и не падала духом! Корреспонденцию, пока возили нам, мы, значит, разносили, это пока морозов больших не было. А потом уже не стало у нас машин. Нам приходилось, значит, вот так делать: в четыре-пять часов два-три человека сами ехали с санками на почтамт. Там корреспонденции другой раз неделю не бывало, две, а потом она вся прорывается. Тогда мы ее забирали в мешки и везли. Но везли как? Друг друга подталкивали и в течение дня привозили.

— Вы помните, как ходили в дома?

— Мы корреспонденцию разбирали в течение дня, потому что шло писем по двадцать в квартиру. Это надо было разобрать. Вы себе представляете, мешки какие?! А разбирать? Рукам холодно, хотя и топили. Один разбирает, один несет. А лестницы эти! Несешь приблизительно часа два, потому что приходишь — темно. На лестницах темно, скользко, отходы, кто мог, сюда выливали, потому что туалеты не работали (воды не было), люди все на лестницу! Другой раз идешь, упадешь и обратно скатишься, потому что скользко, особенно темно когда. Ну, приходишь в квартиру: комнаты открыты, квартиры не запирались, темно, спотыкаешься. Другой раз придешь — человек лежит. Думаешь — мертвый! Потрясешь его немножко: вам письмо! Человек, если в сознании, так он, конечно, начинает шевелиться. А другому безразлично, письмо или что. Ну, начинаешь тормошить его. Если просит — прочтешь. Иногда даже такое сообщение читаешь, что такой-то без вести пропал или раненый, отправлен в госпиталь, — не плачут. «Ну, — говорят, — хорошо». А другой раз придешь — человек уже мертвый лежит на кровати... Идешь по улице, конечно, людей почти не видишь. А если идет человек, то его не узнаешь: это ребенок, или старуха, или девушка, или кто?! В таком все были состоянии.

Было у меня два таких случая. Отец ждал письма от сына. Пошел в столовую за питанием. Ну а питание какое там? Вода да две крупинки! И то не всегда давали. Постоишь в очереди и уйдешь, потому что не хватало и этого. Я пришла, а он сидит на лестнице. Я назвала его (забыла уж имя-отчество), говорю: «Вам письмо!» Он говорит: «Прочтите, пожалуйста». Я прочла. Сын пишет, что бои тяжелые, наступление как раз было, — и все. Он взял это письмо, поблагодарил. Потом говорит: «Знаете что? Помогите мне встать». Представляете себе — встать! Мужчина! Ну, правда, он худой был. Я начала поднимать — и сама уселась на лестнице. А нам было не встать, ни тому, ни другому. Вот такой ужас! Тут, правда, шел еще другой мужчина, видать, более сильный. И вот мы друг за друга так и поднялись. Ну, пошел он еле-еле домой. Потом еще такой случай: письмо тоже по дороге вручила одному мужчине (большинство так вот) на улице Академика Павлова. Так он это письмо даже не прочитал. Был обстрел, и волной его как отбросит. И он ударился об дом. Тут как раз работники Дома пионеров, дворники были. Они его и подобрали. Так что человек даже письмо не успел прочитать.

— А почему вас просили читать письма? Такие слабые были?

— Слабые, конечно. Уже не может человек даже рукой шевелить. Вот как тот мужчина, что на лестнице сидел, сеточку держал в руке. Он сел и уже не мог встать. У него руки закоченели уже. А поскольку человек не шевелится, с ним уже все.

Это почтальон. А вот другая профессия — печатник. И она получила непредвиденную значительность, даже более того...

Евгений Александрович Тренке (набережная Мар-

тынова, 12) работал в типографии имени Володарского в цеху, который печатал карточки.

Цехом этим, разумеется, интересовались разного рода жулики и фашистская агентура. Старались дезорганизовать работу цеха, выведать, какие карточки выпускаются на следующий месяц. Менялся и цвет карточек, и размеры их:

«...В конце месяца нам давали указание: цвет такой-то, сетка такая-то, размер такой-то. Мы за каких-нибудь шесть дней, работая, конечно, круглые сутки, не уходя, должны были их отпечатать... Это как деньги... Счет был строжайший. Бумага была специальная. Были карточные бюро на каждый район. Они должны были у нас за день-два принять эти карточки, по счету, строго. На прикрепление карточек населению давали два дня. Все это делалось, чтобы не успели изготовить фальшивые карточки».

Как же сами они обеспечивались, те, кто изготавливал карточки для Ленинграда? Да никак, на общих основаниях. Голодали. И сам Тренке голодал, и его семья. Сын его пятнадцатилетний, а за ним и жена Евгения Александровна умерли в начале 1942 года.

Люди работали, и работа их была необходима. Правда, зачастую связь ее с судьбами войны, города, других людей угадывалась смутно.

Но была работа, от которой все зависело, были при той работе люди, которые сознавали, видели: от того, сделают они или не сделают, сумеют вопреки всем трудностям или не сумеют, от них непосредственно зависит, умрут еще тысячи и тысячи сегодня-завтра или же продержатся...

Это пекари, работники хлебозаводов.

В квартиру Николая Антоновича Лободы (Новосибирская, д. 4) мы попали к обеду. Вера Николаевна, хозяйка, согласилась с нами, что раньше работа, а угощение можно и потом, и охотно, даже весело рассказывала о блокаде, о себе, о школьных своих годах. Муж ее угрюмо, как нам показалось, отмалчивался. «Ну, из этого человека много не вытянешь», — профессионально прикидывали мы. Так, кажется, и ушли бы, не попадись нам на глаза в ворохе семейных документов старая газета, в которой сообщалось про подвиг Лободы Н. А., который отремонтировал горячую печь, и благодаря этому хлебозавод смог к утру дать продукцию. Дать хлеб Ленинграду.

Рассказ его нам все-таки записать удалось.

«Однажды, — рассказал он, — работница прохлопала — и забила печь. Я примерно прикинул, что на семь метров от того места, где посадочный механизм ходит, там и садит формы. Отмерил и говорю: долбай! Вот продолбили, чтобы можно было влезть туда. А температура двести сорок градусов! Погасил печь, все! Сначала полил туда водой. Пар идет наверх. Сбил температуру. Наверно, уже было примерно сто шестьдесят — сто восемьдесят градусов. Обвязал голову, ватник намочил, валенки, ватные брюки, двое рукавиц. Влез туда. За первый раз я так и не смог. И уже чувствую, что я теряю соображение. Я тогда вылез, минут

десять посидел — и второй раз. Вот за второй раз выдернул все. Я говорю: «Ну, теперь закладывайте». И поехали! Стояли примерно около двух с чем-то часов — и пустили, то есть мы не сорвали снабжение хлебом. Меня за это правительство отметило: наградили за эту работу орденом Трудового Красного Знамени...»

Что можно было сделать

Улицы, засыпанные снегом, заваленные обломками порушенных домов.

Снег то девственно, не по-городскому белый, то густо присыпанный летучей копотью пожаров.

Город стал пешим. Расстояния обрели реальность. Они измерялись силой своих ног. Не временем, как раньше, — трамвайным временем, автобусным, — а шагами. Иногда количеством шагов. От этого город обрел новые очертания, независимые от транспортных маршрутов. Когда-то только своя улица и ближние к ней имели протяженность, выхоженную ногами, физически ощутимую. В блокадную зиму попасть с Васильевского на Петроградскую, с Выборгской на Невский означало поход, и готовились как к походу.

Тропинки крутят между снежными сугробами, заледенелыми троллейбусами, тропинки к домам, прорубям, к магазинам, тропинки через Неву, через площади, тропинки к райкомам, райсоветам. Тротуары завалены, люди ходят посреди мостовой. Окна повыбиты, заделаны фанерой, заткнуты подушками, матрацами, и всюду торчат трубы «буржуек».

На щитах, закрывающих от осколков витрины магазинов, объявления: «Продается гроб», «Делаю печки-времянки», «Меняю кубометр дров на пшено»... Объявления той поры — удивительные документы жизни. Они сохранились лишь на редких, случайных фотографиях да в чьей-то памяти, и то не буквально. И нет никакой возможности воспроизвести поразительные их тексты-свидетельства.

А ленинградские дворы, а ленинградские лестницы...

А столовые, где двигались безмолвные очереди людей с кастрюльками, котелками.

Можно без конца приводить поражающие воображение картины разрушения, голодного быта блокадников, картины города закоченелого, парализованного, обессиленного...

Куда труднее высмотреть за всем этим железные скрепы воли — энергичную, целеустремленную деятельность, которая поддерживала жизнь города в страшных условиях. Кому-то ведь приходилось распределять крохи электроэнергии, давать задания заводам, изыскивать сырье. Нужно было убирать трупы, хоронить, нужно было создавать стационары, собирать комсомольские бытовые отряды, набирать девушек в МПВО...

Ничего не делалось само по себе. Те же печи-времянки: надо

было наладить их производство силами местной промышленности, найти для этого железный лист или прокатать металл, а для этого выделить металлокомбинату электроэнергию... Открылись бани. Но для этого надо было дать им уголь, а уголь этот надо привезти... Все было проблемой почти неразрешимой и требовало прежде всего огромных усилий организаторских.

Уже в январе бюро Ленинградского горкома потребовало от исполкомов: отогреть замерзшие водопроводные сети и по графику начать подавать воду в верхние этажи домов для промывки фановой канализации. Выделяли керосин и бензин, чтобы отогревать замерзшие трубы. В свою очередь, для этого надо было снабдить домохозяйства паяльными лампами. И в это вникало бюро Ленинградского горкома, потому что в условиях блокады изготовить пятьсот паяльных ламп было серьезной проблемой. Постановления, решения тех месяцев, жесткие, категоричные, кажутся порой нереальными (а тогда и вовсе выглядели непосильными), и тем не менее они выполнялись, и выполнялись большей частью в срок, без отговорок и ссылок на обстоятельства. Без ссылок на обстрелы, на смерти исполнителей, на пожары, на отсутствие материалов. Причин хватало, решали не эти причины, решала настоятельная нужда, исполнение каждого пункта спасало жизни людей, спасало город.

Работа райкомов и райисполкомов проходила в условиях непривычных, даже невероятных. Город был тот же — те же районы, те же кварталы, домохозяйства, те же учреждения, те же склады, те же мостовые, школы, магазины. Но речь шла уже не, как прежде, о нуждах района, о планах улучшения быта, о ремонте — речь шла о жизни и смерти жителей.

Впервые на плечи партийных и советских работников легла такая тяжкая ответственность.

А возможностей у них становилось все меньше. Не было транспорта, фронт забирал врачей, милиционеров, строителей — физически крепких мужчин, — да они и сами рвались на передовую. Других забирала дистрофия. Голод не различал профессий — он косил литейщиков и прокуроров, водопроводчиков и композиторов.

Число мест в стационарах было ограничено. Иногда сами секретари райкомов распределяли эти спасительные места. Но перед этим надо было еще организовать эти самые стационары. Наладить там отопление, питание, уход.

А организация эвакуации с ее бесчисленными сложностями доставки людей, погрузки, регистрации. Одних надо было уговаривать, другим помогать, надо было устанавливать очередность, собирать детей, выделять сопровождающих.

Каждому из городских районов каждодневно приходилось заниматься множеством подобных проблем, среди которых, оказывается, не было мелких. Их невозможно ни перечислить, ни восстановить в живых подробностях. То, что нам удалось собрать, — всего лишь отдельные факты, они совсем не дают полной картины, но представление об этой работе они дают.

Сергей Михайлович Гастеев был одним из тех районных руководителей, которые непосредственно и занимались всем этим. Он работал в Ленинском районе начальником жилищного управления, заместителем председателя райисполкома. Вот он рассказывает про деревянные дома, которые давали на слом для дров. Людей оттуда надо было переселить в дома своего района, а для этого найти площадь, приготовить ордера, прописать.

«— ...За два-три дня, помню, мне надо было чуть ли не пятьдесят домов на слом срочно распределить госпиталям, детским садам и что остается — столовым, баням, прачечным. Нужно срочно было топливо, а топлива не было никакого. Стульями топили. Я видел сам — после бомбежки крышками от пианино и роялей топили... Войдешь в квартиру — ничего нет, пусто, сидеть негде. Поэтому очень строгое распоряжение было горисполкомов — срочно ломать. «Даешь топливо!» Люди замерзали. Разбомбят дом, или снаряд разорвется — все раскрыто, стекла выбиты, фанеры нет, закрыть нечем — люди уходят в другой район. К родным, к близким. Квартиры оставляют пустыми... Как снаряд разорвется — стекла все летят. Люди бегут, потому что страшный мороз. Куда — неизвестно. Потом их разыскивают. Мне приходилось при бомбежке срочно переселять людей, которые остались живы... Вызываешь нескольких управдомов, ближних от разбомбленного дома, и спрашиваешь: «Какие у тебя комнаты, квартиры свободны?» — и сразу по списку срочно переселял. Тут уж не до ордеров было. Люди на улице стоят, дрожат, негде же греться. Это моя обязанность была — бомбоубежища, газоубежища, квартиры, переселение и дома деревянные ломать. Мне давали, например, для района около Кировского завода сотню домов (Правая Тентелевка, Левая Тентелевка и другие), и я должен был в короткие сроки переселить людей в свой район.

— Как они перетаскивали свои вещи?

— На салазках, конечно. А было еще решение горисполкома каждому району приготовить помещение-склад и, прежде чем дома ломать, составить опись вещей жильца, который отсутствует. И вещи по описи на склад... И в этих складах заведующие должны были по углам расставлять мебель, вещи такого-то дома, такой-то квартиры... После этого только можно дома разбирать».

Трудно представить, каким образом ухитрялись в тех условиях соблюдать эту хлопотную юридическую процедуру во всех районах города.

В рассказе председателя Выборгского райсовета Александра Яковлевича Тихонова повторяется та же история.

«На всех деревянных домах мелом вывели ПС — «подлежит сносу»... Многие не хотели уезжать, особенно те, кто имел возле дома клочок земли. Были такие моменты: дом ломают, а бабушка сидит, не уходит: «Я туда не поеду». Люди ей доказывают: «Все равно нужно. Сама погибнешь тут без топлива, и люди погибнут»... А некоторых людей, которые переезжали, потом разбомбило, и им приходилось переселяться еще раз.

Была и другая тяжелая задача. Вот, например, был такой Дом

специалистов. Мы там, как и всюду, проводили инвентаризацию имущества всех эвакуированных. Сами инвентаризировали имущество, которое у них осталось, и хранили его на складе завода «Красная заря». Никакой техники у нас не было. Это сейчас можно сказать: «Приготовьте двадцать машин». А тогда были люди ослабевшие, попробуйте с их помощью вывезти ценные вещи на склады. Долго на этих складах потом вещи хранили, специально отопление устроили, подобрали кладовщиков, зарплату им платили, и они охраняли имущество граждан. Это казалось несколько фантастическим: город в блокаде, немцы обстреливают — и в этот момент райком, исполком занимаются не только сохранностью государственного имущества, но охраняют имущество уехавших граждан. Смотрели и чтобы квартиры не разрушались после бомбежки — фанерой заделывали окна, двери забивали.

Когда произошел прорыв блокады, были и такие эпизоды. Допустим, пишет гражданин: «Пришлите мне опись, как сохранилась моя квартира». Пишут из Средней Азии, из Свердловска, все запросы шли на райисполком. Надо было дать ответ. Создали специальные группы депутатов, актив, ходили на этот склад, шли на квартиру, если вещи сохранялись там, и составляли ответ».

Александра Петровича Борисова война застала на должности заместителя председателя исполкома Куйбышевского района, одного из центральных районов города. После войны с ним случилось тяжкое несчастье. Александр Петрович уже много лет слепой. По тому как внешне легко несет этот человек свою тяжелейшую беду, стараясь не удручать близких, можно догадываться, каким он был там, в блокадном своем районе, как много чужого горя брал на себя.

«Утром мы объезжали район. Едешь — тут трупы выброшены, тут оставлены. И не знаешь, откуда трупы. Это являлось тоже формой обеспечения живых — смерть не регистрировали, чтобы карточки оставались... Если придешь, спросишь: когда умер? — не скажут, что умер полмесяца назад, скажут, что сегодня умер, вчера.

— Карточки изымали в таких случаях?

— Нет, оставляли карточки...

— И что же вы могли сделать в таких квартирах?

— Некоторым помогали. Чаще удавалось спасти людей, которые как-то были связаны с производством, с учреждениями. А так только успевай трупы собирать. Груды трупов были при больнице Куйбышева. И в других пунктах сосредоточивали трупы, чтобы потом свозить на кладбище. Специальные машины были выделены, они ежедневно трупы собирали и увозили на кладбища... На Пискаревском кладбище много хоронили из нашего района. Рыли рвы. У нас были тракторы, мы мобилизовали людей из районных организаций. Набирали человек двести и туда направляли, чтобы они рыли рвы и зарывали. Картина ужасная. Трупов — глазом не окинешь! Особенно на Богослов-

ском и Пискаревском кладбищах. Трупы были всякие. И дети и старики, кто в сидячем положении, у кого руки подняты, у кого нога согнута...»

Захоронение мертвых — зимой это стало проблемой едва ли не первоочередной: грозили эпидемии, которые добили бы живых, если вдруг бы кончился мороз.

«Когда началась массовая смертность, — продолжает свой рассказ Тихонов Александр Яковлевич, — раскрепили кладбища. Нам досталось Пискаревское кладбище (за лесом здесь было). Мы должны были выкопать рвы силами населения нашего района. Трупы на улицах валялись. Район разбили на микрорайоны. К каждому микрорайону прикрепили исполкомовский актив. Создали бюро по захоронению. Вели учет: должны были ежедневно сводку давать в горком партии: сколько мы сегодня выкопали рвов, сколько похоронили. Самое максимальное захоронение мы делали до двух тысяч... Ну, месяца два длились массовые захоронения, а потом к весне цифра начала уменьшаться.

Я на кладбище в день бывал четыре раза. Начинал свой рабочий день с кладбища и кончал кладбищем...»

Ученые города изыскивали возможность изготовить какие-то полноценные заменители продуктов, чем-то помочь населению. Каждый район стремился участвовать в этом деле, выявляли сырье на своих предприятиях, предлагали оборудование.

Выборгский райком во главе с секретарем райкома Кедровым налаживал производство белковых дрожжей из древесины.

Эти знаменитые в блокаду белковые дрожжи спасли, наверное, немало ленинградцев. Белковые дрожжи выдавали как дополнительное питание. Во многих рассказах мы слышали о тарелках супа из белковых дрожжей. Но ни рассказчики, ни мы как-то не задавались вопросом, откуда появились эти белковые дрожжи.

Между тем с ними связано имя замечательного ленинградского ученого Василия Ивановича Шаркова, который не только разработал технологию производства этих дрожжей, но более того — он предложил использовать в качестве примеси к муке гидроцеллюлозу, наладил производство этой пищевой целлюлозы, и уже к середине ноября она стала поступать на хлебозаводы. Гидроцеллюлоза не содержала ничего питательного, но она увеличивала припек, позволяла давать населению установленную норму хлеба, делала его пористым, съедобным.

Доктор технических наук В. И. Шарков был одним из тех ученых, знания которых сохранили жизнь сотням тысяч голодающих горожан. Было создано 18 дрожжевых заводов, часть в Выборгском районе:

«Все делала промышленность нашего района. Было распределено, кому сделать эту часть к машине, кому сделать кузов, кому — контейнер, кому достать мотор, кому перемотать мотор. Все до малейших деталей распределили. Коллективно участвовали все организации. Быстро пустили цех. Производительность (в тоннах) была большой. Использовали для этого березу».

Тут же, при фабрике, и затем при хлебозаводах стали гнать витамин из хвои для хвойного экстракта.

«Некоторые сами приходили и спрашивали: «Чем я могу помочь в решении этой задачи?» Чувство локтя было необычайно высоким, может, выше, чем чувство желудка.

Остро стоял вопрос: как обогреваться? Распределили силы членов исполкома и создали утепленные чайные, чтобы ослабевшие люди, у которых не было отопления дома, могли попить кипятку. Установили кипятильники. Отапливали их дворники. Снабдили их топливом. Бытовые комсомольские отряды носили кипяток тем, кто по слабости не мог спуститься с верхних этажей. Часть депутатов раскрепили по квартирам, они слабым носили по карточкам хлеб. В чайных проводили беседы о положении на фронтах.

Мы наладили изготовление «буржуек» для населения, налаживали подвоз дров, создали склады».

Чем только не занимались районы. Вот, например, зимой 1942 года пускали трамвай через Ленинский район, и С. М. Гастеев вспоминает:

«Все пути заморожены, все рельсы залиты водой. А решено было пустить трамваи под Новый год, 1943-й. На моей обязанности было расчистить участок от Нарвских ворот до Калинкина моста. Мне дали сто женщин с «Красного треугольника». Целую ночь мы работали, пока не закончили. Лом, лопаты, кирки...»

Районным руководителям приходилось бывать там, где было особенно тяжело, где происходил обстрел, где горели пожары, где шла бомбежка, где лопнули трубы, где надо было мобилизовать людей, где что-то случалось... Память их поэтому вобрала немало событий чрезвычайных, историй впечатляющих. Так, у А. П. Борисова запечатлелась бомбежка Гостиного двора:

«Была в Гостином небольшая меховая фабрика. Женщины приходили с детьми, фабрика женская была, по сути. Началась тревога. Часть спустилась в бомбоубежище, а часть осталась на производстве. Здание обрушилось, и одна девочка с матерью попали в промежуток между сейфами. И дочь утешала мать. А дочери было семь лет. «Мама, нас спасут», — говорила она и поддержала мать. Мать потом, когда мы вытащили их, говорила: «Вот моя спасительница». Другая женщина оказалась между балкой и кирпичами. Ее зажало балкой так, что она пошевелиться не могла. Осторожно разрывали ее, потому что если быстро разбирать завал, то могли обвалиться стены. Трое суток по кирпичику разбирали. Пришел муж и все время находился возле нее. У нее единственная мысль была: спасут или нет? Мы в щель разговаривали с ней, и она говорила, что ее окружает смерть и, наверное, ей не вырваться. Все же спасли...»

Он был сначала инструктором Дзержинского райкома партии, Дубровский Анатолий Иванович.

Через комсомольскую работу, через спорт, учебу искал он свое место в жизни. Тут началась война, он вернулся из Каунаса в Ленинград, его направили работать инструктором в райком пар-

тни, и он сразу же уехал на оборонные работы — в первые дни, недели войны сооружение оборонительных рубежей было главной заботой райкомов, райисполкомов. Необходимо было обеспечить «ежесуточное количество работающих на оборонительных укреплениях до 500 тысяч человек» [1].

Все было впервые, и все было неожиданно, трудно, и не только людям молодым и неопытным, таким, как А. И. Дубровский. Опыта такой войны, таких испытаний и трудностей ни у кого не было. Зато была огромная самоотдача, преданность делу. Первые оборонительные рубежи ленинградцы строили за Новгородом. И уже там получили первое боевое крещение. Анатолий Иванович Дубровский, один из рядовых участников напряженной работы по организации населения на отпор врагу, и сегодня волнуется, когда вспоминает свои первые «инструкторские задания». В его рассказ о бомбежках, которым подверглись ленинградцы «на окопах», о раненых, которых ему пришлось эвакуировать в Ленинград, врываются такие картины войны:

«А тот эшелон под Шимском был с лошадьми, и там же были бензобаки. Бомбы попали в бензобаки и сам эшелон, эшелон загорелся, и помню впечатление, как горящие лошади выскакивали из вагонов и бежали... горели и бежали...»

Война сразу обжигала душу, но обстановка требовала хладнокровия, повседневной напряженной деятельности. В октябре вспоминает Анатолий Иванович, двухсотпятидесятикилограммовая бомба попала в здание Дзержинского райкома, пронзила его насквозь. Запомнился красный столб пыли... С особенной остротой и человеческой болью помнится ему тот день, когда погибли сразу трое его инструкторов (он уже заведовал оргинструкторским отделом райкома).

«Эти женщины — три их — всегда уходили с утра по делам на свои предприятия... Немцы к этому времени мало что фугасными и зажигательными нас забрасывали, так еще и шрапнельными стали бить. Чтобы побольше окон высадить. А зима, а мороз — дома без окон, понимаете? Под такой шрапнельный снаряд они и попали сразу все три. Шли по Чайковского, и там, где у нас 17-я пожарная команда и военкомат, там их и убило. Парамонова, Поздняк, а третья была новенькая, я даже фамилии не помню...» [2]

Нет, не просто было это для каждого в отдельности, какой бы пост человек ни занимал, — достойно делить, нести судьбу

---

[1] 900 героических дней. Сборник документов. М.—Л., «Наука», 1966, с. 47.

[2] Врач Б. Прусов написал нам, что в рассказе А. И. Дубровского есть неточность: одна из троих — Поздняк — была ранена, но осталась жива.

ленинградца-блокадника. Зато, если ты оказался на высоте, сегодня это помнится, сознается с гордостью.

«— Районный комитет в это время у себя не имел ничего. Я говорю о продовольствии. Работники райкома партии, так же как и все работники других организаций и те лица, которые остались в эту первую зиму охранять помещения после эвакуации или вообще не выехали, — они были в равном положении. Поэтому чем-то прямо помочь в этой части я, например, никому не мог. Единственно что... Нам вот давали эту похлебку — дрожжевой суп, ну, иногда вот придет секретарь партийной организации, знаешь, что он голодный, и вот у нас была столовая так называемая, ну, его пригласишь. И для себя и для других правило у нас было: не ложиться, как бы трудно ни было, не ложиться! Потому что практика показала: как ослабевший человек залег, так он уже большей частью не вставал... Ну, потом немножко оздоровило, разрядило обстановку с питанием, когда открылась Большая дорога через Ладогу. И особенно когда мы весной стали организовывать подсобные хозяйства. Сначала стали выводить людей, как говорится, на травку. И там они ползали, рвали и ели что можно и что нельзя. И потом, когда стали покрепче, стали копать огороды, заводить хозяйства. Каждая организация имела свои участки.

Что касается самого райкома партии, то нам были отведены грядки в Михайловском саду, и мы старались за ними ухаживать. Старались посеять такую культуру, которая побыстрее дала бы плоды.

— И мужчины тоже?

— Все, все! Начиная с первого секретаря и кончая техническим работником. Все копали, все сеяли, ухаживали... Как правило, нажимали на огурцы. У кого они получались, у другого вообще ничего. Выгорело, не взошло. Ну, тут делились... Ну а бо́льшая часть организаций выведена была за пределы района и там осваивала участки. И в последующем это были крупные, хорошо организованные подсобные хозяйства, с хорошей урожайностью. Мы даже выставку устроили готовой продукции. Многие и сегодня могут позавидовать тому, что мы получали. Потому что люди, которые наголодались, стали понимать, что и как растет и что с чем едят. Ухаживали как за своими родными...»

Работники райкомов, райисполкомов, всех организаций, которые направляли жизнь блокадного города, сами поставлены были в условия, которые исключали всякую деятельность для проформы, для видимости.

Силы, энергия, ум, чувство, совесть направлялись на самое главное и неотстранимое, без чего завтра в магазины не поступит хлеб, без чего насмерть замерзнут тысячи людей, навалятся эпидемии...

В овощах, которые удалось собрать, запасти для Ленинграда, завелся опасный грибок. Каждый понимал: грибок сожрет не

просто картофель, а тысячи и тысячи человеческих жизней, если немедленно не принять меры в масштабах всего города... Это заболевание фитофторой, которое появляется на пятнадцатый день после копки: начинается гниение, картошка «плачет», делается мокрая, и хранить ее уже нельзя, никакая сила не поможет.

Высокий, уже поседевший человек — Станислав Антонович Пржевальский[1], который работал до войны и в годы блокады управляющим Леназготплодоовоща, рассказывает о своей отрасли, о служащих своего учреждения, о своем «продукте» с не меньшим пафосом, чем любой военачальник о своих победах и поражениях. Еще бы: от того, сохранят его люди эту плачущую картошку или нет, реализуют или загубят ее, зависело очень многое. В блокадном Ленинграде, на всем Ленинградском фронте это понимали все, и поэтому решение принималось очень ответственно и на самом высоком уровне.

«— Я доложил в Смольный... Попков и Лазутин со мной поехали на комбинат. Я им сделал пробную закладку и сказал, что приезжайте через неделю — посмотрите! Приехали через неделю, разрезали сусек: клали хорошую, разрезали — худая! Вот тогда они убедились, что эту картошку надо съесть. И было решение Военного совета: запретить потребление крупы.

— На какое время?

— На определенное время, и пустить весь картофель в расход. Так что мы грамма не испортили картофеля. Все было использовано, но в очень короткий период времени. В данном случае овощи стали заменителем крупы. Овощи были съедены.

— Что, вся картошка урожая сорок второго года, которая поступила в Ленинград, была заражена?

— Вся, абсолютно вся. Вот какая была трагедия. До зимы мы не могли ее держать, до зимы мы все съели. Если бы оставить до зимы, мы похоронили бы все запасы».

...На обстреливаемый, голодный, замерзающий город наступал и еще смертельный враг — цинга. И с ним борьбу нужно было организовать. Заведовавший химико-технологическим отделом Витаминного института Алексей Дмитриевич Беззубов рассказывал, как готовились научные рекомендации «по извлечению витамина С из хвои». Об этом у нас уже шла речь.

Но инструкцию-рекомендацию «по получению антицинготной хвойной настойки в промышленных и домашних условиях» необходимо еще было реализовать, добыв или приспособив какую-то технику. Для нескольких миллионов жителей и солдат нужно было готовить спасительное средство. И надо было еще добраться до той хвои. И доставить ее в Ленинград... Только представив себе всю сложность в тех условиях, казалось бы, нехитрого дела — приготовить настой из хвои, — можно понять, почему Станислав Антонович Пржевальский назовет эту работу ученых, руководителей, ленинградских женщин эпопеей!

[1] С. А. Пржевальский умер в 1977 году — до того как был напечатан его рассказ.

«—И вот эта эпопея нигде не описана. Причем в литературе она выглядит, что вот, мол, хвойный иастой... Слез было в достатке — женщины приходили со стертыми пятками... Могу вам рассказать, как это было. Это на Дегтярном, пять. У нас там была иебольшая плодовоовощиая переработка. Вот там мы организовали переработку этого хвойного иастоя. Использовали мы наши шинковальные машины.

— Это те, которые капусту шинкуют?

— Да, да, те же самые машины. Мы нспользовалн нх для дробления хвои. Но для того чтобы сделать хвойный настой, иадо было хвою заготовить, причем ее иемало шло на это дело. В Парголовском лесу мы заготовляли эту хвою силами нашей погрузочио-разгрузочиой коиторы, где были только женщины.

— На это шла сосна?

— Да, сосновая хвоя. И вот каждый день группа женщин, голодных, шла в Парголово. Потом кое-как мы сумели организовать доставку нх на лошадях (машин-то нам ведь не давалн).

— А вначале просто волокли на себе?

— Да, на себе, даже без лошадей. Это от Калиииской конторы, от Пискаревки, примерио что-то километров шестнадцать было.

— Шестнадцать километров эту хвою иа себе иосили?!

— Сиачала на себе. Потом мы организовалн доставку на лошадях (у нас было иесколько лошадей иа нашей пискаревской базе) и доставляли ее иа Дегтярный, пять. Там ее дробили. Добавляли туда уксус. Этот иастой фильтровали. И я вам должеи сказать, что мы этот иастой делали в таких количествах, что обеспечивали все госпитали полиостью, все столовые. И больше того: мы даже оргаиизовали для граждаиского населения выпуск хвои в пакетах, с инструкцией, как приготовлять. Сами хвойные иглы мы освобождали от сучьев, закладывали в пакет и давали инструкцию, как приготовлять хвою. Если мне память ие изменяет, в день мы давали в аптеки что-то до двухсот тысяч доз. Причем торговали мы ими через аптеки ежедиевио, бесперебойно. И таким образом, как мне потом медики говорили, все-таки цинготиых заболеваний в том виде, как они ждали, не было. Вот это хвоя...»

И так в большом н малом. Впрочем, ничто не назовешь малым, еслн от него зависит жизнь стольких людей. Когда мы вспоминаем, говорнм про легендарную «Дорогу жизни», про хвойный настой, про топливо, воду, захороиение трупов, стационары, посильиую помощь голодающим иа дому, которую оказывали работники МПВО или комсомольские «бытовые группы», — за всем этим видим, ощущаем сложиейшую организаторскую работу.

Был такой лозунг: «Ленинграду помогает вся страна!» — н это действнтельио осуществлялось, несмотря на смертельиое кольцо блокады. Участвовали в этом тысячи и тысячи людей вне кольца. Вот один из характерных примеров, который мы берем из рассказа Стаиислава Аитоиовича Пржевальского:

«— По «Дороге жизни» и овощи поступали?

— Да, поступали, в большом количестве. Северо-восточные районы нам дали в те годы большое количество сушеного картофеля. Что мы сделали? Ведь эти северо-восточные районы были бездорожные. Это сегодня можно говорить о каких-то проездах на машинах. Мы организовали там производство сушеного картофеля, чтобы из этой глубинки вытащить картофель. У нас работали на дому. Одних надомников у нас было десять тысяч колхозников.

— Они сами сушили в печках?

— Колхозникам раздавали заготовленный картофель, и они его сушили. А часть мы сушили в своих сушильных печах, которые нам удалось как-то слепить.

— Десять тысяч надомников работало?

— Да, работали надомники, сушили картофель для города Ленинграда...»

Мы уже много приводили рассказов, где люди вспоминают, как голод заставлял каждого тревожно и с надеждой снова и снова осматривать, изучать углы и ящики в своей квартире — не завалялось ли что съедобное. Того, что прежде и не считалось съедобным... Но и целый город в голодной осаде вел себя почти так же, как и отдельный человек. Сгорели Бадаевские склады 8 сентября, а землю на том месте копали еще долго сами жители. Но также и организация — тот же Лензаготплодоовощ...

«— Много там сгорело сахара?

— Но я же его переварил весь на варенье, — возражает Станислав Антонович. — Правда, оно было с хрустом песочным. Осталось какое-то количество сгоревшего, который не поддавался обработке. Но тот сахар, который спекся, мы его пустили в дело».

И далее он рассказал историю, которую многие сегодня вспоминают с удивлением, даже веселым. Как блокадный город обнаружил у себя под ногами огромные «залежи» квашеной капусты.

«— Мне секретарь горкома партии звонит, Капустин: «Что ты сидишь? Знаешь, что у тебя на комбинате творится?» Я говорю: «А что?» — «Там, — говорит, — больше десяти тысяч народа копает весь твой комбинат». Ему об этом доложили. Я сел, поехал.

— А когда это было? Осенью?

— Это было в сорок втором году. Ну, поехал. Действительно, одних лопат там директор комбината насобирал пятнадцать тысяч. Они копают, лопаты бросают и капусту берут. Кто-то знал, что был перезавоз в Ленинград в тридцать пятом году (это еще до моего прихода на работу) квашеной капусты и ее не съели.

— В каком году?!

— В тридцать пятом.

— С тридцать пятого года она лежала?

— Прямо в бочках. А закапывали ее в песчаный грунт, причем в такой, я бы сказал, грунт, который создал хорошую среду для сохранности. И кто-то об этом знал. И вот пошла раскопка

этого дела. Ну, этой капусты там было пять тысяч тонн. Развесли ее в течение суток!

— Ну и какая она? Вы пробовали эту капусту?

— Прекрасная.

— Серьезно? С тридцать пятого года!

— Законсервированная квашеная капуста с сохранившейся консистенцией, вкусом. Все как надо!

— Брали бочку, а лопаты бросали? Пятнадцать тысяч лопат собрали, вы говорите?

— Пятнадцать тысяч лопат мы собрали. Их бросали люди.

— Значит, пятнадцать тысяч человек пришло?

— Да, выходит, так. Не останавливать же их, пусть продолжают и дальше. Так очистили территорию».

Условия сложились так, как сложились. Были и просчеты в завозе и хранении продовольствия, эвакуации населения на том первом этапе, когда имела место растерянность, непонимание масштабов происходящего, того, как и куда разворачиваются события. Даже великий положительный фактор, сыгравший огромную роль в стойкой защите Ленинграда, — страстная привязанность ленинградцев к своему городу, патриотизм — обернулся пагубными последствиями. Не уехали из города, не эвакуировались те, кто мог, кто должен был уехать не только в своих интересах, но и в интересах активных защитников города.

Достаточно напомнить, что смертельное кольцо блокады замкнулось и вокруг 400 тысяч детей. Остались матери, бабушки, а с ними и дети... Летом и осенью сорок первого не было достаточной настойчивости, твердости, последовательности в эвакуации населения, это пришло позже, в условиях несравненно более трудных, зимой, когда пришлось вывозить (и даже выводить пешком на сотни километров!) около миллиона женщин, детей, ослабленных голодом людей, в морозы, и все под теми же бомбежками и обстрелами.

Обо всем этом говорят, пишут самокритично многие, оценивая сложную обстановку тех лет.

«Надо сказать, и это не новость, — напоминает Иван Андреевич Андреенко, — что у нас до войны не была разработана система нормированного снабжения продовольственными и промышленными товарами на случай войны. У нас было разработано, как бороться с зажигалками, с пожарами и т. д., а как тут — нет... Я еще хочу сказать про одно тяжелое обстоятельство. Оно заключается в том, что в блокированном городе осталось 2 миллиона 544 тысячи человек и плюс еще в пригородных районах Ленинграда в кольце блокады 38 тысяч. Причем стариков много, детей более 400 тысяч, иждивенцев больше 700 тысяч. И вот в первую эвакуацию, которая у нас началась с 29 июня (Ленинградский Совет принял решение), мы фактически эвакуировали всего 636 тысяч. Причем даже разговор такой был, что обстановка накалилась, а ленинградцы не бегут, никто не бежит, никто не уезжает. Из районов поступали такие сообщения в Ленинградский Совет, что, так сказать, население

настроено никуда не уезжать и защищать город Ленинград. Видите, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, потому что нам нужно было не 636 тысяч вывезти, а в полтора-два раза больше, а может быть, и в три раза больше. Тогда мы не терпели бы такого положения, какое терпели, — ведь осталось 2 миллиона 544 тысячи.

Вот потом, когда было специальное постановление Государственного Комитета Обороны об эвакуации народа по Ладоге и приехал Алексей Николаевич Косыгин, в один конец стали завозить продовольствие, а в обратный людей вывозили. И надо сказать, что с января сорок второго года по октябрь сорок второго вывезли более 900 тысяч. У меня где-то была точная цифра... Вот она: с января сорок второго года по октябрь сорок второго включительно всего эвакуировано 961 тысяча 79 человек. Осталось около 700 тысяч к сорок третьему году. Да, в ноябре — декабре 1943 года было уже только такое количество населения».

Фамилия Ивана Андреевича памятна блокадникам. Трепетно ожидаемые всеми сообщения о нормах выдачи продуктов скреплялись его подписью: «Андреенко И. А.». Он рассказывал нам:

«Андрей Александрович Жданов говорил: «Использовать надо «Ленинградскую правду» и радио. Кто у нас несет персональную ответственность за снабжение? Андреенко Иван Андреевич... (Я заместителем председателя Ленинградского городского Совета работал, заведовал отделом торговли.) Пусть, — говорит Жданов, — он и сообщает народу...»

Была горькая необходимость сообщать о все новых снижениях и без того голодных, а в конце уже и смертельных норм. Иван Андреевич в те дни и недели (октябрь — декабрь 1941 года) отнюдь не казался блокадникам добрым гением. И он это сознавал. Вознаграждением были дни, когда началось улучшение обстановки, с организацией «Дороги жизни». И можно было подписывать своей фамилией совсем другие сообщения...

«— Я помню, как в декабре я был вечером у секретаря горкома партии Алексея Александровича Кузнецова. Еще раз мы просмотрели наличие запасов продовольствия. Снижать хлебную норму населению уже некуда было, нельзя уже было, народ и так умирал. Разбирали-разбирали, прикидывали. Алексея Александровича я до войны знал, встречался с ним. Он был волевым человеком, много сделал для того, чтобы сохранить больше жизней ленинградцев, но таким мрачным я его еще не видел. И все-таки он потом говорил (об этом записано у меня): «Знаешь, мы не можем опускать руки, нельзя!» И привел он такой пример: «Знаешь, что мне на Кировском заводе сказал один рабочий? Камни будем грызть, но Ленинград не сдадим!»...» Пошли мы к товарищу Жданову, доложили. И снизили мы тогда нормы продовольственные не населению, а военным, морякам и солдатам. В декабре месяце плохо было дело. Что дальше делать? Снижать некуда.

— А завоз? Через Ладогу?

— А завоз сначала был такой, знаете, — по капле. Тогда у нас были неприкосновенные запасы — сухари в армейских соединениях и мука, рассредоточенные на военных кораблях в Кронштадте. Это были неприкосновенные запасы. Военный совет Ленинградского фронта принял решение использовать эти сухари и эту муку для снабжения моряков, солдат и населения, потому что дальше нельзя было никак снижать».

Вот наконец! Перелом наконец наметился...

«Когда с 21, 22, 23 декабря завоз муки стал превышать расход, тогда мы все у Андрея Александровича Жданова собрались. Потом перенесли рассмотрение этого вопроса на заседание Военного совета. И приняли там решение: с 25 декабря сорок первого года рабочим прибавить 100 граммов, значит, вместо 250—350 граммов, а остальным группам населения прибавить по 75 граммов.

Я должен вам сказать, что прибавка, конечно, была небольшая, но как народ, понимаете ли, это встретит?! (Тогда занимались тоже тем, как народ на это реагирует.) Потому что люди не знали (это было вечером сделано), что они придут в булочную, в магазин, а им не 125 граммов будут давать, а 200 граммов.

Люди почувствуют в этом деле силу не столько оттого, что человек стал наедаться этими добавочными 75 граммами, нет, а веру в то, что дело идет все-таки к тому, что мы одолеем этого фашиста и справимся с вопросами, связанными со снабжением».

У каждого руководителя, хочет он того или нет, есть репутация в народе. От этого суда не уйти никуда. А тем более человеку, который сообщал вам приговор: жить или не жить, будет повышение или, наоборот, снижение скудной хлебной нормы... Спрос с такого человека особенно большой. Тем более что быт в тех условиях не был отделен от работы. Все просматривалось насквозь. Большинство жило на казарменном. Можно представить, с какой требовательностью к себе старался относиться всякий честный работник. К себе и к другим... О «щепетильности того времени» говорит Станислав Антонович Пржевальский, приводя такой случай, пример:

«Командующий фронтом заболел. И адъютант приехал ко мне, зная о том, что у меня по распоряжению Павлова в совхозе Мяглово было оставлено пять живых дойных коров, причем с запиской врача приехал, что требуется молоко. Я Андреенко докладываю, что вот совершил такое действие: выдал пять литров. Ну и что я от него получил? Он говорит: «Понимаешь, что в военное время за такие дела расстреливают? Какое ты имел право без разрешения продовольственной тройки давать? У нас есть продовольственная тройка». Я говорю: «Я дал не кому-нибудь, а командующему, которому продовольственная тройка подчинена». Он говорит: «Независимо ни от чего. Раз есть порядок, значит, он не должен нарушаться». Я говорю: «Вас-то ведь не было, все равно вы бы не отказали». — «Нет. В следующий

раз таких вещей не делать!» Вот вы понимаете отношение человека к тем порядкам, которые были установлены?»

Все еще энергичный, собранный и не потерявший в жизненных передрягах, послевоенных невзгодах скорую, живую улыбку, Иван Андреевич хранит в памяти как большую награду себе такой случай:

«Однажды на одном заводе — я не помню теперь на каком — после выступления я шел с директором и секретарем парткома. Идем. И вот кто-то басом так говорит: «Ну вот он какой, Андреенко! Сам себя-то накормить не может, куда же ему общим котлом управлять?!» А я был очень худой. Если бы я был полный, конечно, сказали бы: «Ясное дело!» Но за меня вступились женщины, они назвали этого: «Боров ты! Значит, он не заедает твое, а заедал бы твое, то он во какой был бы!»...»

...Когда изучаешь условия жизни, работы в блокированном городе, когда размышляешь о людях, которые должны были принимать непростые, трудные решения, неизбежно приходишь к этому — взаимооценкам руководителей и руководимых. Руководишь людьми так, как понимаешь, как видишь, как ценишь их. У Ивана Андреевича Андреенко взгляд на ленинградца-блокадника отнюдь не упрощенный, не отвлеченно-романтический — обращались люди разные в самые критические моменты жизни, спасая себя и близких...

В рассказах Ивана Андреевича немало хорошего о людях тех лет, он понимал цену проявлений — притом массовых проявлений — сознательности, дисциплины, доброты человеческой. В условиях, которые, казалось бы, должны были развязать самые эгоистические и грубые инстинкты: массовый голод — состояние критическое!..

«— Был такой случай. Это было что-нибудь в ноябре или декабре сорок первого года — в самое трудное время. В одну из булочных в Володарском районе (ныне это Невский район) зашел мужчина крупного такого телосложения. Он непохож был на всех покупателей и продавцов (они тоже мало чем отличались от покупателей). Он, значит, посмотрел так и сразу пошел к полке и сказал: «Слушайте, что я вам скажу. Нас хотят уморить голодом!» И стал эти батоны хлеба, эти самые кирпичики швырять. «Берите, говорит, и ешьте!» Понимаете? Но народ не брал. Присутствующих там было человек двенадцать. И было три продавца. Они сообразили, и хотя они не особо сильные были, но количеством его взяли — они его свалили. И еще школьники участие приняли в этом деле — побежали в отделение милиции (телефона-то не было). Пришли, его забрали. Он оказался провокатором.

— А вообще была дисциплина?

— В Ленинграде в то время, я помню, в этом отношении было хорошо. Ну, вначале народ привыкал. Я уже об этом говорил: как мы привыкали, так и остальные привыкали. Случаи ограблений были единичные. Ну, тогда можно было что? Вы же знаете, что за килограмм хлеба можно было золотые часы купить.

— А кто же на рынке занимался этой торговлей?

— Разные люди приходили туда. Я могу такой пример вам привести. Тоже на толкучку, понимаете, парень пришел. В семье осталось только два мальчика — один постарше, другой помладше. Карточки у них есть. Отец на фронте. Мать погибла от голода. И они пришли на рынок продать бушлат. Они пришли туда. У них мужчина купил бушлат за триста граммов хлеба. Ну, вот пришли домой и хлеб съели. А на другой день проснулись — бушлат-то, значит, они проели, а карточки где? А карточки остались в бушлате. Парень, который продавал, запомнил покупателя по бородке. И этот мужчина с бородкой пришел к ним. По карточкам — там адрес был написан — нашел, принес и отдал. Видите?

— А как вы узнали про этот случай?

— Ну как, донесения же были. По Ленинграду всегда собирались всякие проявления и отрицательного и положительного характера. Отрицательных было мало, но были, а положительных, конечно, было больше.

— А вам шли донесения по какой линии?

— В Ленинградский Совет. Насчет продажи продовольствия у меня есть еще такой случай. Машина с хлебом шла. В машину попал снаряд. Шофера убило. Это действительно так было. Темно. Народ собрался — хватай и беги! Но ведь этого не сделали, все сохранили до крошки. Вызвали милицию, все погрузили и повезли... Или, понимаете, такой случай с двумя школьницами. Загорелся магазин... Нет, их четыре школьницы было. Так вот, четыре школьницы бросились в этот магазин и стали таскать вместе с работниками сахар и еще крупу, что ли. И одновременно одна побежала и доложила, чтобы приезжала, значит, пожарная команда. Так спасли очень много продовольствия, предназначенного для выдачи. Такой случай... Но я вам еще не сказал, что, как это ни странно, хотя было очень туго, а все-таки Ленинградский Совет, наш исполком при поддержке Военного совета Ленинградского фронта, городского и областного комитетов партии приняли решение об организации школьных елок с первого по десятое января сорок второго года. У меня есть один документ. Вот он: «Устраивать новогодние елки в помещениях, обеспеченных бомбоубежищами». Ленглавресторан организовал обслуживание участников новогодним обедом без вырезки талонов из продовольственных карточек и елочными подарками. Вот пришли ленинградцам мандарины из Грузии. Тогда решили, что эти самые мандарины надо доставить в Ленинград к Новому году, и доставку эту поручили шоферам триста девяностого автобатальона. И они были доставлены. Когда новогодние елки проводили, давали детям эти подарки».

Эти фантастические в тех условиях мандарины помнят сотни людей. Память эта теплой волной связывает тех, кто добывал, доставлял их в Ленинград, кто их получал, брал детской ручкой, прятал, прижимая под одеждой, уносил домой — маме...

Эти рассказы мы приводим в главе «Ленинградские дети».

Особая большая тема ленинградской блокады — организация «Дороги жизни». По литературе хорошо известно, кто и как участвовал в осуществлении, реализации спасительной идеи, каких усилий, трудов, самоотверженности от руководителей и от работников ледяной трассы это потребовало. Но это особая тема. Скажем лишь, что браться за такую невиданную по смелости и сложности задачу — организацию ледяной дороги через Ладогу — можно было, лишь веря в то, что люди наши способны на невозможное...

Неудивительно, что у многих бывших блокадников и поныне особое чувство товарищества и долга друг перед другом. Чтобы понять, почему Емельян Сергеевич Логуткин, генерал-майор, получивший боевую закалку еще в Испании, до сих пор озабочен судьбой ветеранов МПВО — неотступно добивается, чтобы наконец приравнены они были к «полноценным бойцам, участникам Великой Отечественной войны», — надо послушать рассказы его об этих «девочках семнадцати-девятнадцатилетних», которые, заменив ушедших в окопы мужчин, вынесли и смогли все...

«— Я рассказывал о тяжелом периоде блокады, я имею в виду первую зиму. Это была, я бы сказал, самая страшная схватка с врагом у стен Ленинграда. Кроме защиты непосредственно города, перед нами часто стояла задача помогать фронту.

— Вы говорите, восемь тысяч отправили на фронт?

— Да, восемь тысяч.

— В какие дни?

— В самый трудный момент, и оказалось, что у нас, если не ошибаюсь, осталось всего две с половиной тысячи личного состава. Я поставил вопрос: а что дальше? И доложил командованию, в частности начальнику штаба фронта генералу Гусеву Дмитрию Николаевичу: «А что дальше будем делать? Не с кем город будет защищать». Он мне сказал: «Емельян Сергеевич, не беспокойтесь, мы вам поможем». Через некоторое время вызвал командующий фронтом Говоров. Командующий выслушал и тоже сказал мне: «Мы вам поможем». Через некоторое время меня вызвал начальник штаба фронта генерал Гусев и сказал: «Радуйтесь, Емельян Сергеевич, к вам идет пополнение!» — «Какое? Кто? Откуда?» — «К вам придут женщины-ленинградки». А потом я спросил: «А что вы так смотрите на меня?» — «Женщины к вам придут!» Я говорю: «Слушайте! Из армии?» Он мне сказал тихим голосом: «Вы поймите, поймите, товарищ Логуткин, дорогой! У нас мужского контингента в Ленинграде не осталось. А теперь вы сделайте выводы сами, сделайте все, чтобы они были солдатами!» Через некоторое время к нам пришли около семнадцати тысяч женщин-ленинградок, молодых женщин и девушек. Это был замечательный контингент... Знаю хорошо историю вообще, нашу военную историю: пожалуй, никогда не было такого случая, чтобы кадровые части войск комплектовались женщинами. Я вообще этого не встречал. И поэтому первое время мы растерялись... пока поняли, что и с этим составом нуж-

но уметь воевать, тем более что враг готовил наступление на город. И мы стали их обучать.

— Это начало сорок второго года?

— Если не ошибаюсь, март сорок второго. И мы стали их обучать, личный состав обучать».

Легко сказать — обучать. Извечно мужскому делу — женщин, часто почти девочек, да еще голодных, истощенных до предела.

Как это выглядело поначалу и как было, потом рассказывал нам (не без юмора, тоже извечно мужского) Калягин Иван Васильевич — бывший подводник, а позже — помощник директора Кировского завода по МПВО...

«— Ну, во-первых, когда женщин привели в казармы (а казармы у нас были тоже запущены; мужчины ведь не особенно там ухорашивали хоромы свои — они не всегда и помоют), вот в эти хоромы пришли женщины. Школы мы занимали и детские сады.

Ну, как положено, командиры роты оставались мужчины. Скомандовали: «Смирно!» И вот, вы представляете себе, — встал строй женщин: закутаны в платки, волосы торчат отовсюду, лица синие! Я поглядел — напугался. Отвел командира роты Лапина и спрашиваю:

«Почему у тебя все женщины беременные? Ведь они только пришли еще».

Он говорит:

«Да нет, что вы! Это они травы наелись. Знаете, травы нащипают, наварят баланды-супу и едят. Есть-то хочется?!»

А ведь женщины оставались женщинами, старались даже понравиться: иначе, чего доброго, и не возьмут...

Арсеньева Александра Михайловна так вступала в «комсомольский полк», подруга увидела ее и позвала:

«Знаешь, говорит, работать очень много приходится, но кормят три раза в день горячей пищей».

Я говорю:

«Люсенька! Ну, как же меня возьмут? Ведь я как былинка — на меня дунь, и я упаду!»

Она говорит:

«Знаешь что! Ты накрасься! Ты хорошо одевалась, приходи нарядная. Тебя примут. Ты только покрасься!»

А у меня ни помады, ничего уже нет. Я у соседки прошу помаду, крашу щеки, крашу губы. Надеваю шляпу меховую и иду! Ну, эта Люсенька Будакова, которая в Алтайском крае нашлась теперь, она уже командиру сказала, что вот развитая девушка, очень политически подготовленная, художник — она много наговорила, — рисует, пишет и черт знает что. (Я тогда там все стихи писала.) Командир уже был как-то подготовлен. Когда он меня встретил, я хорошо держалась, и вот он меня послал на Песочную. Знаете Песочную? С Баскова переулка, с конца Баскова переулка — на Песочную идти оформляться в штаб полка! Это было ужасно!

— Он поверил вашему румянцу?

— Стойкая краска была! Но когда я дошла до этой Песочной — обратно, думала, не дойду! Где-то лежала, где-то сидела и думала: как же мне дойти? Но надо же, надо! У меня ребенок на Моховой сидел один. И вот ребенок меня подгонял все время — ребенок! Если бы не ребенок — я пала бы духом. Но у меня девочка — хорошенькая такая девочка была. Мне нужно было встать ради дочери. И вот я шла, шла. Иду по Марсову полю и вдруг вижу: мужчина наклонился, нагнулся, что-то в снеге выковыривал, и в рот — красные какие-то, малиновые пятна. И все идут, выковыривают — и в рот. Я нагнулась: оказывается, кто-то сироп пролил какой-то. Тогда давали сироп, и вот капельки сиропа выковыривали из снега! И я выковырнула этот сироп, немножко! Иду, иду, иду. Бегом. Остановлюсь. Нет, нельзя останавливаться — упаду. Надо идти — там же дочка. Опять про свою доченьку! Ну вот, дошла. Командир спрашивает:

«Не устала? Принесла документы?»

Люся мне мигает, а я улыбнулась такой глупо-глупой улыбочкой: «Нет!» И думаю: только бы ноги выдержали, только бы не упасть!

«— Ну, потом мы их привели в порядок, — говорит Калягин И. В. — Я сперва струсил, рапорт подал (потому что я специалист морского флота и меня приглашали во флот), — отпустите меня! Ну, получил соответствующую отповедь.

— Взбучку?

— Да. Меня назвали трусом. Что, говорят, захотел паек первой нормы? А тут боишься с голоду помереть? Ну, это меня задело, и я, конечно, остался. Нам предстояло сделать из этих женщин солдат. Я потом командовал полком по восстановлению железнодорожной линии до Пскова и, работая на Карельском перешейке, работая на минных полях, имел дело с воинскими частями. И когда командиры частей воочию убеждались, что это за народ, я неоднократно слышал от них, говорят: «Любую роту мужчин меняем на твоих девчат».

«— Сейчас, — вторит Калягину генерал Логуткин, — вспоминая прошлое, я бы прямо сказал: перед нашими женщинами мы, солдаты, офицеры, мужчины, должны снять шапки, поклониться. Ведь это они сбрасывали зажигательные бомбы с крыш домов, со зданий, тушили пожары, откапывали заваленных, помогали голодным, умирающим, хоронили мертвых, спасая город от эпидемий... После прорыва блокады, вернее, после снятия ее, наши части — подчеркиваю, все те же девушки — по заданию командования Ленфронта помогали частям фронта громить противника. В тяжелых зимних условиях, часто на заминированной территории наши полки, двигаясь за наступающими войсками, восстанавливали железные дороги на главнейших направлениях. Они восстановили двести два километра железных дорог, пятнадцать железнодорожных мостов и семнадцать мостов деревянных. Они разминировали много площади, для того чтобы наши

войска прошли. Когда я был на одном из иаправлеиий и по этим дорогам, которые восстанавливали иаши бойцы, двигались эшелоиы войск, то из вагонов солдаты и офицеры так кричали «ура», так они приветствовали со слезами на глазах этих замечательных бойцов-девушек, благодарили! Дальше. Нельзя списать со счетов и такие мероприятия, как разминирование пригородов Ленинграда. Вот взять Пулковские высоты, Пушкин, Колпиио, Петродворец и миого, много других. Ведь там были миллионы мин и снарядов! Кто их размииировал? Большииство из иих размииировали солдаты МПВО.

— То есть девушки?

— Девушки. Они обезвредили иа большой территории более семи миллионов взрывоопасных предметов. Что это? Разве это ие героизм? Разве это можио забыть? (Калягин И. В.: «Много подрывалось. Потери были».) Оии же восстановили почти все основные здания города. Ведь из них подготовили тысячи штукатуров, электромоитеров, шоферов, плотинков и других иеобходимых специалистов... Это же они восстановили набережиую Фоитаикн, оин проложили трамвайный путь по Старо-Невскому, они восстановили сотни зданий школ, больниц и т. д. ...Вот передо мною сейчас встает картииа, как мы отправляли людей после демобилизации. Но они не ушли! Ведь раз демобилизоваиы — можно домой! Так иет! Этого нельзя забывать. Они ие ушли домой, они пошли по разнарядке восстанавливать промышленность на заводы, фабрики и во миогие другие места...»

С помощью МПВО делалось и великое дело, чрезвычайио важное для обороны всей страиы, — вывозили из Леиинграда зимой 1941/42 года уникальное оборудование, броневую сталь, цветные металлы, необходимые для промышленности Урала.

Люди, с которыми мы встречались, которых расспрашивали, записывали, называли нам имена своих коллег и товарищей по работе, им отдавая все заслуги, говоря о труде и подвиге известных и забытых руководителей блокадного фронта, которые вносили в жизнь города волю и спокойствие, распорядительность и смекалистый поиск выходов из положений, зачастую безвыходных. О тех, кто сначала в уме, а затем на карте и по не ставшему еще льду Ладоги прокладывал дорогу к спасению, кто иашелся и распорядился, когда стали хлебозаводы и город замер в предсмертиом забытьи, дать электроэнергию с военных кораблей, кто добыл и снабдил горожан семенами и картофельными глазками весной и летом 1942 года, когда ленинградцы сделались еще и земледельцами, — всего и всех ие перечислить и не назвать.

Нас поражали иеиссякаемые резервы душевных сил людей. Но также поражало и другое: чего можио добиться организованностью, какие возможиости создавала та работа, которую называют таким холодным словом — оргаиизацнониая. Сколько можио, оказывается, сделать, когда иичего уже сделать нельзя, какие можно найти слова, какие чувства извлечь, как миого

можно (спокойно!) потребовать от других и от себя самого, когда, кажется, никто и ничего уже не в состоянии...

Подсчитано, что за неполных шесть военных месяцев 1941 года рабочий Ленинград сдал Красной Армии и Флоту 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 2405 полковых и 648 противотанковых пушек, около 10 тысяч минометов, изготовил свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов, авиабомб. Кроме того, на Кировском заводе, на заводе «Металлист» и других было отремонтировано около 500 танков и более 300 орудий. Адмиралтейский, Балтийский и другие заводы перевооружили, отремонтировали 186 кораблей.

В труднейшем 1942 году было эвакуировано около миллиона человек.

И все это, и все это в тех условиях, в таких условиях!..

Изо дня в день

Для живых жизнь продолжалась: работа, тревожные мысли о последней радиосводке, заботы о еде, тепле, близких, — в сутках были все те же двадцать четыре часа, каждый день проходил сквозь человека и ни один мимо. В рассказах, в сегодняшних воспоминаниях блокадников много точных фактов, состояний, деталей. В них и повседневная жизнь запечатлена: память (особенно женская) цепко, резко зафиксировала невероятную реальность тех дней и ночей.

Но именно дневники особенно полно передают дыхание того времени, знобящей повседневности, когда жизнь и смерть сошлись предельно близко, склонились вместе с блокадником над его чуть теплой «буржуйкой»...

Как ни странно, многие вели дневники. Некоторые по старой привычке, по давней привычке к бумаге, перу. Нередко в этих дневниках не только умение фиксировать факты и переживания, но и стремление осмыслить заново и человека, и историю, и вообще целый мир: война, блокада давали для этого предостаточно и поводов и «материала». К такому типу дневника относятся «подневные записки» директора Архива Академии наук СССР Георгия Алексеевича Князева «В осажденном Ленинграде», которые передала нам его вдова Мария Федоровна Князева. Документ этот (в нем более 1200 машинописных страниц!) заслуживает специального изучения и разговора. Пока приведем лишь некоторые места, раскрывающие саму «идею» дневника Г. А. Князева.

«Ухожу на службу[1]. Стараюсь думать о работе, об истории культуры... Пишу о себе не как о субъекте, а как объекте. Все, что я пережил, переживают и многие другие... Многие переживают то же, но все и кончается «трепыханием» сердца, смутно отражаясь, без ярких образов, без ясной мысли в мозгу. Сколько

[1] Г. А. Князев жил неподалеку от Архива АН СССР, на 7-й линии Васильевского острова, д. 2 — дом Академии наук. Он ездил в инвалидной коляске, ноги были парализованы.

переживаний! И все они забываются, затухают, испаряются. Потом все кажется по-иному, *как надо после*. И какими героями, умниками становятся многие на самом деле обыкновенные люди. Котурны, ходули являются на сцену, лишь когда смотрит зритель.

Но никто не знает, что делается в душе человека, когда он сам с собой, со всеми своими противоречиями, подъемом и упадком духа. Вот мне и хочется запечатлеть такого человека... Самое позорное для воина — малодушие, трусость. То же и для нас — невоенных. Но 24 часа в сутки «обывателю» иначе не удается остаться в натянутом, как стальная струна, положении. Всякую струну нужно настраивать».

Вот человек, автор дневника, и настраивает себя — и через дневниковый самоконтроль также. Чтобы не позволить голоду сожрать вместе с мышцами и душу. Записывая то, что наблюдает на «малом радиусе» (дом, улица по дороге к архиву, работа), старается выходить на «большой радиус».

О «невоенных» защитниках Ленинграда, о погибших и погибающих от голода, обстрелов говорит с уважением, но, поскольку это и о себе, формулирует так: «пассивные героические защитники Ленинграда», «героические пассивные защитники» (имея в виду, что не видят врага и не могут нанести ему прямого урона).

«Интеллигентщина! Да, да, чем мы были, тем и останемся... У нас есть еще стыд, совесть. Это старые, «смешные» интеллигенты создавали великую русскую гуманистическую культуру и предпосылки Великого Октября... Я все силы напрягаю к тому, чтобы сохранить в отношениях с людьми предупредительность, мягкость, чтобы легче было. У меня нет хлеба, но есть покуда слово, бодрое и доброе слово. Оно не заменит хлеба... Но как противно, когда другие, не имея хлеба, швыряются камнями...

1941. X. 12. Воскресенье. Сто тринадцатый день.

Целый день приводил свои папки с бумагами в порядок. Запаковал в три папки — одну в другую — свои записки. Сохранятся ли они или пропадут: сгорят, взрывная волна развеет их? Что бы там ни случилось, сложил их, а также и все ранее написанное в книжный шкаф на нижнюю полку».

Среди разных предположений ему ни в ноябре, ни в декабре, ни позже не приходит мысль, что записи его могут достаться вошедшим в город фашистам. Ни разу в дневнике, который в любую минуту мог оборваться смертью, следовательно, в документе искреннем, думается, исповедально откровенном, — ни разу Князев всерьез не представляет себе падения Ленинграда. Он не то чтобы гонит эту мысль как слабость, но просто *представить себе* этого не может.

Дневник свой он вел не для того, чтобы занять время. Архив АН СССР продолжал работать. Под руководством Г. Князева продолжалось создание «Истории Академии наук», сотрудники хо-

дили на работу, собирали документы, часть документов, наиболее ценных, эвакуировали. Это был дневник рабочего человека. Каждодневные записи по нескольку страниц производились после рабочего дня. В них не только описание тревог, бомбежек, голода, в них — работа архива, быт учреждения, сотрудников, общественная жизнь города.

Интересно по дневнику следить, как менялись взгляды и оценки самого автора и на войну, и на голод, и на назначение человека. В такого рода подлинных документах драгоценны подробности городского быта, вид улиц, зданий, запахи, краски, звуки — все, с помощью чего можно представить себе Ленинград того времени. Детали такого рода уцелели большей частью лишь в дневниках. Там они сохраняются в подлинности, независимые от капризов памяти.

«Сфинксы, мои древние друзья, одиноко стоят на полупустынной набережной...

Напротив них мрачно глядит заколоченными окнами массивное здание Академии художеств. Каким-то тяжелым белым величием оно и теперь подавляет. Поредел и обнажился Румянцевский сквер. Там бивак. Бродят красноармейцы, горит костер, лошадь щиплет остатки пожелтевшей травы. Около обелиска стоит какой-то фургон; по аллеям — несколько грузовых автомобилей; остальные, почти целиком наполнявшие сад, куда-то ушли. На Неве темная свинцовая вода рябит под падающими крупинками мокрого снега. Против Сената стоит трехтрубный военный корабль, почти закрывая с Невы величественное здание. Дивный памятник Петру потонул в насыпанном кругом него песке... Основатель города — в темноте деревянного футляра с песочными мешками... Осенний пейзаж. Я каждый день и каждый раз взволнованно переживаю видение этой дивной ленинградской панорамы. Выходя из дверей парадной, я первым взглядом убеждаюсь: целы сфинксы, цел Исаакий, цела Адмиралтейская игла, цел ангел с крестом на Александровской колонне...

1941. XI. 8. Суббота. Сто сороковой день войны.

Печальное зрелище представляет собой ряд старинных домов по набережной от 1-й линии до университета: все они стоят с вылетевшими или разбитыми окнами. И Меншиковский дворец был, по-видимому, в центре взрывной волны, все его круглые окна вверху и окна в среднем этаже над балконом зияют пустотой, не осталось ни одного стекла. В нижнем этаже выбиты только отдельные стекла. В крыльях Меншиковского дворца также множество разбитых и вылетевших стекол, исковерканных рам. Такие же разрушения в доме б. Архива военно-учебных заведений и в филологическом факультете университета. Что случилось, так я и не мог понять: разрушений от бомб самих зданий нет, цела и набережная. Дворник сказал мне, что бомба упала в Неву близко от берега и разбила все стекла на набережной. Но, может быть, это результаты разорвавшихся снарядов вчерашнего артиллерийского обстрела, когда мы утром слышали

канонаду. Есть и третий вариант. Напротив, у Сената, стоит трехтрубный военный корабль с морскими дальнобойными орудиями. Из них, говорят, третьего дня во время налета стервятников было сделано несколько залпов. Мне и раньше говорили моряки, что если ударят дальнобойные орудия с кораблей на Неве, то у нас на набережной все стекла из окон повылетят.

В Академии наук покуда все по-прежнему; только старые рамы в окнах Зоологического и Этнографического музеев закрывают пластырем из фанеры.

Всматривался в набережную противоположного берега Невы. Новых разрушений в окнах не видно, потому что большинство из них давно забиты щитами.

1941. XI. 19. Трубы кораблей, стоящих вдоль набережных по Неве, окрасили в белый цвет. Автомобили грузовые из окрашенных зелеными пятнами покрылись белою краской, под цвет снега.

Нева начинает затягиваться льдом.

Около здания Первого кадетского корпуса по Съездовской линии все время у ворот и подъездов толпятся женщины, молодые, старые, дети, ожидающие свидания с родными — ранеными и выздоравливающими бойцами. Иногда почему-то толпа быстро перебегает с одного места на другое, заглядывает в окна. У одних вдруг глаза повеселеют, другие стоят угрюмые, раздраженные или совершенно ко всему равнодушные. У некоторых узелочки в руках.

И без того плохо одевавшиеся ленинградцы теперь совершенно потеряли всякий стиль, особенно женщины. Вчера видел пару: он в военной форме, она под ручку с ним в серой стеганке, ватных штанах-шароварах и коричневой феске с кисточкой. А лицо молодое, простое, довольное. Идет, по-видимому, с женихом или молодым мужем. Одежда других сборная, с «хронологическими наслоениями». Трудно, почти невозможно будет восстановить впоследствии художнику, писателю эту толпу, как она выглядит на улице; неизбежно придется прибегать к выдумкам и бутафории».

Такие дневники редкость. Большинство людей записывали свои переживания, свою борьбу за жизнь, за близких. Есть дневники — трагические повествования о судьбе какой-либо семьи или человека, о том, как он отчаянно сопротивлялся, как работал (большинство дневников вели люди работавшие). Попадались нам дневники, описывающие главным образом, где и что съедено, как отоваривали карточки, сколько продуктов выдавали. В одном из них со всевозрастающей скрупулезностью В. Беляков записывал:

«6 января 1942 г. Ходил в столовую на Чубаровом пер. Скушал четыре порции каши из дуранды — больше ничего не было. За кашу оборвали 50 гр. крупы... Каша плохо переваривается, чувствую боли в желудке...

16 января. За хлебом стоял около двух часов. Встал в 5 ч. утра... и только в 8 часов получил теплый хлеб... Обед сегодня принял сказочный характер, он длился с 11 ч. до 16.30. За это время скушал одну тарелку щей, один суп-лапшу и один перловый суп. Много пил воды, лицо сильно опухло...»

С непонятной ныне настойчивостью перечисляются почти ежедневно эти цифры, тарелки, граммы. В этом была жизнь, а может, это казалось самым важным, самым ценным и для истории? И тут же изо дня в день тянется рассказ о том, как он, Беляков, искал, кто бы ему переделал боксерские перчатки в рукавицы, потому что руки мерзли беспощадно, а надо было носить и дрова, и хлеб, и воду.

Многие только с наступлением блокады принялись — впервые в жизни — записывать. Люди вдруг ощутили, что оказались в центре событий таких, в которые завтра они сами не поверят: да было ли, могло ли такое происходить, можно ли было пережить все это? Вот записи нашего разговора с Галиной Григорьевной Бабинской. О ней мы уже упоминали — высокая немолодая красивая женщина, живущая в старой «петербургской» квартире, где и рояль, и стены, и лепной потолок тоже как бы часть «блокадного дневника».

«— Вот обваленный потолок был заделан потом, знаете, как это ни странно, пленными немцами.

— Что? Вот эти рисунки — это они делали?

— Нет, там штукатурка просто была. Вот эта заплата, светлая, это заделали они. У нас сосед был, которому дали немцев на ремонт его комнаты, а он к нам их направил ремонтировать потолок. Это было, наверно, в сорок шестом или сорок пятом году. Если не в сорок четвертом. Здесь нужно восстановить лепнину и роспись, но это дорого, и руки не доходят. А вот осколки стекла тут, в рояле, блестят до сих пор. В доме напротив взорвалась бомба. Дом был тогда двухэтажным (сейчас надстроено два этажа). Я была на работе. А мои мама и бабушки оставались здесь. Это был сорок второй год. Сейчас я старший научный сотрудник Государственного музея этнографии народов СССР. Так что я этнограф, до некоторой степени путешественник. Заодно мы еще и туристы: вдвоем с мужем лодочники. Вот у нас и байдарка тут стоит.

— Дневник писался, когда вам было девятнадцать лет?

— Да, мне было девятнадцать.

— Скажите, с какой мыслью вы его писали?

— Трудно сказать. Вероятно, все-таки события были таковы, что как-то остаться незафиксированными они просто не могли. Самая главная мысль была та, чтоб когда-то, когда все это кончится (а в этом сомнения не было, раз мы писали такие вещи), вот когда все это кончится, и самой читать, и, очевидно, прочесть тем, кто этого не видел.

— А до войны вели дневник?

— Ну, школьный, какой-то там ерундовый... Привычка писать у меня, надо сказать, и до сих пор сохранилась.

— И уверенность была, что выживете?

— То есть в этом не было никакого сомнения! Это какая-то глупая надежда была. Вот даже идешь по улице — обстрел и бомбежка, и почему-то думы о том, что это может коснуться меня или моих близких, у меня никогда не было: где-то с кем-то что-то, но не со мной и не с моими близкими.

— А какая у вас была семья? С кем вы тогда жили?

— Я, мама, две бабушки было на тот момент».

Галина Григорьевна читала нам свой дневник и поясняла его время от времени:

«— «15 декабря 41 года. Прошел последний трамвай. Трамвайные пути занесены снегом и покрыты льдом. Провода повреждены. Вагоны стоят на путях»... А надо сказать, что потом я стала работать в Трамвайно-троллейбусном управлении и восстанавливала как раз вот ту самую трамвайно-троллейбусную сеть, о которой первые строчки моего дневника. «25 декабря. Увеличили норму хлеба: со 125 граммов до 200 граммов (это служащим) и с 250 до 350 — рабочим. Кузька спасен от смерти...» Кузька — это кот. Этого кота мы собирались со дня на день съесть, со дня на день покушались на его жизнь. Кот был чистый, домашний, очень хороший и очень любимый. И запись эта не случайна, поскольку каким-то образом этот момент был отсрочен. Ну, мы думали, что он вообще спасен, но ничего не получилось. «28 декабря. В квартиру перестала поступать вода. Приходится брать ее в первых этажах... Деликатный момент: 30 декабря последний раз пользовались уборной. Двор принял первый «подарок» в конвертике...» Понятно? Да? Можно не комментировать. «Редко чистим зубы. Моемся не больше одного раза в сутки. Вода в ведрах и банках на кухне замерзает. В конце января переставились в комнате: в комнате «буржуйка». Греемся, готовим пищу три раза в день и пользуемся ею (то есть «буржуйкой») как освещением. 18 января. Догорела последняя свечка. В керосиновую лампу налит бензин. Пользуемся ею только во время еды...» А вот это существенно, это вообще говорит о нашем состоянии: во время утреннего завтрака, на кровати, рядом с обеденным столом, в той вот комнате умер Меншиков. Это одной из наших бабушек приемный сын. Ну, это, в конце концов, неважно — приемный, не приемный. Важно то, что человек лежал тут же в комнате на кровати, пока мы принимали вот эту самую долю утренней пищи. Он умер, но завтрак был доведен до конца. Наступило уже какое-то торможение, не было места для таких эмоций, которые естественны для нормального человека и для нормального состояния... «За рытье могилы и похороны просили килограмм хлеба и 300 рублей деньгами».

— За похороны триста рублей?

— Да, и один килограмм хлеба. А где взять килограмм хлеба, когда по карточке не хватает, а на рынке совершенно бешеные цены. Вот поэтому так и свозили — в простыне, на саночках и куда-то в угол. В связи с этим обязательство управхоза

(это, видимо, по распоряжению милиции — управховами милиция, наверно, ведала): «Обязуюсь трупы умерших безродных граждан не вывозить на кладбище без гроба». Потому что часто трупы находили во дворах, на чердаках, на лестницах. «По словам врача К., умирает 80% мужчин»... Это все середина января. «Дрова из сараев переносятся в квартиры, потому что из сараев и дрова тащат, и сараи разбирают на дрова... Мама ежедневно распределяет нормы хлеба по кускам...» Это то, что я вам уже говорила. Ну, вся эта норма делилась на три части в день, а потом еще каждая эта часть должна была делиться по членам семьи. «На улицах нет ни одной кошки, ни собаки: все съедены в январе. А еще в начале ноября дохлые кошки валялись, завернутые в бумагу».

— Выбрасывали?

— Их тогда еще выбрасывали, а теперь уже нет.

— А кошка ваша уже съедена?

— Еще нет... «В начале ноября получено разрешение на разборку предохранительных ящиков из-за недостатка света днем, в связи с чем резко ухудшилась светомаскировка... Декабрь и январь — месяцы астрономической смертности: люди мрут возле дома, на улице, на работе... Умирая буквально на улице от голода, перенося сверхъестественные лишения — отсутствие света, тепла, бытовых удобств и т. д., а главное, достаточного количества пищи, — никогда не слышно ни жалоб, ни пораженческих разговоров...» Вот так у меня записано. И это действительно было так: абсолютно никто ничего. Характерно, что большинство ленинградцев чем дальше, тем больше принимали свои желания за действительность. Так было с прорывом кольца блокады, прибавкой норм, занятием Мги и т. д. Тут еще записан целый ряд моментов: закрыты парикмахерские, закрыты кинотеатры, Театр комедии, Ленинского комсомола. Музкомедия работала сначала периодически, вскоре прекратила свое существование. Город замер. «Объявление на двери магазина: «Продается новый гроб». Дальше идет цена, размер...» 17 января. По Пионерской улице резво пронеслась овчарка. Прохожие проводили ее жадными бессильными взглядами». ...Вообще удивительно, потому что откуда эта овчарка, да еще так резво пронеслась?..

— Может быть, военных?

— Да, может быть... «Выгорают каменные здания. Пожары длятся неделями. Мер к тушению не принимают: нет воды, неисправен водопровод. Затопило проспект Карла Либкнехта на участке Блохина — Пионерская и Введенская. Это почти от Тучкова моста и Пионерской и Введенской. Вода вышла на панель, в воду попадают автомобили до половины колес». И тут вот страшное случилось. Я сама тоже видела. Вышли мы на улицу. И вот здесь, около моей школы (через дорогу от школы, где я училась), в воду попала женщина. Ее вытащили и поставили на приступочку перед дверью школы. Но ее ведь только поставили. Вот так прислонили к стенке. Но так как мороз был силь-

нейший, то, видимо, ничего не могли с ней сделать. Вот так и оставили. Я ее видела сама, вот такую замерзшую.

— Стояла замерзшая?

— Ну да, потому что двигаться она не могла. Дойти до дому она не могла, и дотащить ее тоже никто не мог.

«Характерная фраза одной старухи: «Попадись он мне, сукин сын (речь идет о Гитлере), я бы ему дала баню!» А сама старуха еле говорит от слабости и старости. Все деревянные дома, ларьки и стадион Ленина — все снесено на топливо... 15 апреля. Из трампарка вышел первый маршрут пассажирских трамваев — 3, 7, 9, 10 и 12. Пошли уличные часы на Большом проспекте... Осенние плакаты «Все на фронт!» сменились плакатами «Все на огороды!»... Объявления о продаже гробов сменились объявлениями о продаже мебели, домашней утвари, носильных вещей... Карточки отовариваются целиком, но продукты отнюдь не дешевле (рыночные, разумеется), достать их почти невозможно, еще более невозможно, чем зимой... Разрушенные дома маскируются декоративными стенами. Очень долго разрушенный дом на углу Невского проспекта и улицы Герцена (где было здание института) был замаскирован всякими фанерками, плакатиками и т. д. Места, где разрушены здания, разработаны под гряды...» Ну, дальше целые страницы всякой лирики...»

Теперь из дневника Елены Николаевны Аверьяновой-Федоровой.

«— Как вы начинали этот дневник, почему?

— А я не начинала... Я даже не знаю, что меня толкнуло... Я провожала человека, он пошел добровольцем на фронт. Думаю: надо записать, как там будет что... Ну, не знаю...

— Прочитайте, пожалуйста, что вам самой кажется интересным.

— А мне сейчас это кажется уже не очень интересным... Значит, сначала идет про этого Федю. Потом: «Хлеба стали давать уже 600 граммов». Уже начинается сбавление. Дальше: «14 августа 1941 года. К нам пришли жить бабушка, тетя Таня, кока (моя крестная) и сестра. У них ничего, кроме своих карточек, нет. У Тани немного крупы, килограмма два, картошки килограмм и сахару немного, у бабушки ничего. Но зато у нас с мамой крупы (пшена) 4 килограмма, чечевицы 3 килограмма, риса 4, манной 2,5, овсянки килограмм и что-то еще, сахару 6 килограммов (нет, песку 5 килограммов), чай, кофе, соль, горчица... Все продукты пустили в общее пользование: варили все на всех, ни с чем не считались. Купили капусты на 150 рублей, посолили и все время варили щи, а потом кашу и каждый день ели досыта. Все было хорошо, да еще получали продукты по карточкам. В сентябре мы еще жили прилично, так что хватало на пять человек. Только вот каждый день вечером в 7 часов начиналась бомбежка. Но мы в убежище не ходили».

Чувствуете: «все время варили щи», «каждый день ели досыта» — какая досада и горечь сопровождают эту опрометчивость! Спустя два-три месяца эта нерасчетливость будет мучить голод-

ными виденнями. Кто мог знать, как оно все обернется. У опытных, старых питерцев, видевших голод двадцатых годов, и у тех не было ни предчувствия, ни предусмотрительности.

А Елена Николаевна продолжала листать дневник:

«— Дальше идет опять про Федю... Ага, вот: «Плиту топим через день. Готовим все на плите. Керосина не дают, приходится жечь дрова. У нас их пока много. Думаю, на зиму хватит. Больше пока никто не дает, хотя в коммуне пять человек. Ну а все-таки держится наше хозяйство, пока все есть. О дальнейшем не беспокоимся. Ну ладно, надеюсь, что хватит на всех, а там видно будет, что дальше. Мы еще живы. Ведь это очень много. Бомбят, и страшно. Разрушено много домов, ну, конечно, не без жертв».

А с Федей... Хочешь не хочешь — ни обойти, ни миновать, она входит, врывается в блокадное существование, история той первой любви. В Ленинграде, как нигде, фронт и город сплелись, соединились родственно на все девятьсот дней. На фронт уходили пешком, с фронта тоже. Город был виден из окопов, видно было, как он горел, выгорал. Каждую ночь светились вдали багровые оскалы пожарищ. А днем силуэт города, знакомый, родной, изученный до малейшего изгиба, курился и тлел копотным дымом. Город поедали обстрелы, бомбежки, пожары. А трубы не дымили. Ни заводские, ни бесчисленные печные над снежными волнами крыш. И воздух был прозрачен, оптически чист, так что видно было далеко. Никогда еще город не проступал с такой четкостью на бледном северном небе. Город был виден с переднего края из-под Пушкина, и с Пулковских высот, и с Красного Бора.

«9 октября. Сегодня ездила к Феде на ст. Шушары. Опишу все по порядку. Еще с вечера собрала все, что отвезти; взяла ему носки теплые, шлем его, просил привезти трубку, табак и вместо хлеба купила пряников, 600 граммов конфет «Крыжовник», сахару, вина даже маленькую бутылочку, папирос, конверты, бумагу — все. Утром собралась, вышла в 6 часов. Зашла за Наташей». Была у меня такая знакомая, которая ходила вместе со мной... «Очень много часовых пришлось пройти — либо уговаривать, либо обманывать, либо дать папирос за то, чтобы пропустили. Одних обошли минным полем, а не по шоссе, и долго шли полем, а потом уже около Шушар вышли на настоящую дорогу. Но здесь опять патрули не пропускают, говорят: «Куда вы идете, там фронт». И верно, стреляют очень здорово. Но я решила не отступать, все равно идти. Наташа говорит: «Ну, ладно, пойдем домой». Я говорю: «Нет, теперь уже почти пришли, осталось немного, и обратно я не пойду. Можешь возвращаться, я пойду одна».

Пошли вдвоем. Встретили военного. Он помог уговорить часовых, и нас пропустили. По дороге мы встретили женщину — военного врача, и как раз того полка, где наши ребята. И того и другого она знает. И вот благодаря ей мы скоро нашли землянки, где они находятся. Но их недавно разъединили, и Кузю пе-

ревели дальше, а Федя остался здесь. Наташа пошла дальше, я стала ждать Федю, так как его на месте не было: он был связным. За ним командир послал бойца, а меня пригласил в землянку погреться, так как на улице было холодно, а я была в осеннем пальто, замерзла. И вот я зашла в землянку. Вскоре пришел Федя. Сперва мы даже не знали что сказать, ничего не нашлось. Командир его отпустил. Сказал: «Пойдите погуляйте. Когда проводишь, то придешь и скажешь».

Вот мы с ним пошли в один дом. Там была хозяйка. Усадила, угостила нас. Поговорили. Потом опять начался обстрел. Перешли в землянку, там было неуютно. Потом я пошла домой. Все, что привезла, ему отдала. Конечно, он был рад и мне и подарку. Так он проводил меня до первого поста. Дальше ему идти было нельзя. Я пошла домой опять пешком по шоссе. Вышла из Шушар в 2 часа, а в 6 часов вечера мне нужно было на работу. А идти далеко, да и устала и тяжело. Но ничего, зато Федю видела! Только стала подходить к мясокомбинату, опять начался обстрел, и так близко снаряды рвались — прямо жутко! Остановиться нельзя — время не ждет, боюсь опоздать на работу. Бежала, согнувшись, до самого трамвая. Устала как собака! Приехала домой уже в шестом часу и только успела поесть, переодеться — надо уже на работу. Пришла на работу усталая, спать охота. В 8 часов тревога. Пошли в бомбоубежище, так я там уснула. Немножко отдохнула. Но я не смогла даже работать — так я устала.

10 октября. Сегодня от вчерашней прогулки все тело болит, как будто на мне возили тяжести, до чего все болит! Но зато Федю видела! Не знаю, доволен ли он или нет, что я к нему, несмотря ни на какие трудности и обстрелы, все-таки приехала, но я довольна, что его видела. Он выглядит хорошо, рассказал мне, как были в боях, как по пять дней ничего не ели, как их часть разбили, как они хотели бежать в Ленинград, но по дороге встретили своих и остались в Шушарах.

Да, в 18 лет так много испытал — не хорошего, не легкого, а тяжелого. Он рано понял, что жизнь тяжелая, и теперь ему еще и войну и бои пришлось пройти. Молодой, а пережить пришлось много. Вот за это он мне еще больше дорог, что ничего хорошего не видел и опять пришлось нести тяжелые испытания. Война! «Вот, — он говорит, — у меня нет ни отца, ни матери, а ведь у других есть, и ни к кому никто не пришел, а вот ко мне ты пришла». Я ему говорю, что постараюсь тебе заменить отца и мать, друга и сестру, всех и все, что зависит от меня, я всегда для тебя сделаю. И я свое обещание выполняю...» Я еще думала тогда, что встретимся, долго была надежда. Погиб он...

«11 октября. Федя просил меня достать перчатки и рукавички. И вот я решила достать через фабрику. Мне помогли в фабкоме, выдали не только рукавички кожаные, стрелковые, хорошие, но и теплое белье, и я поеду к нему в воскресенье еще раз, свезу. Спасибо, они позаботились, помогли мне все достать для Феди.

Сегодня собирали деньги для подарков бойцам. Все давали

по пять-десять рублей, а я уже не считала, дала тридцать. Ведь это же наши бойцы, они нас защищают.

14 октября. Сегодня сбавили норму хлебу до 500 граммов.

15-е. Опять сбавили норму до 400 граммов.

16-е. Сегодня опять ездила к Феде в Шушары. На этот раз пришлось потруднее. Ездила одна — Наташа больше не захотела. Я решила добраться, как бы трудно ни пришлось».

И добралась. Сколько написано книг, сколько примеров подвига женской любви, и все равно вновь поражаешься, слушая это скупое, неумелое описание походов из города на фронт, в окопы. Пока голод не навалился. Потом уже сил не было.

«— Из тех ребят, что ушли у нас добровольцами, почти никто не вернулся. Девочки некоторые вернулись. Их как-то отправили сразу дальше за Ленинград. Они вернулись, несколько человек, двое или трое. Я до сих пор еще подруг встречаю.

— А Федя, он с вашего завода?

— С нашей фабрики, где мы тогда работали... «17 января 1942 года. Тяжелое время! Уже семь месяцев как продолжается война с Германией. Все, что мы пережили за это время, очень трудно описать. Но эти трудности еще не кончились, а только сейчас самый тяжелый период этого времени. Опишу некоторые факты. 15 января. В этот день мы хоронили свою бабушку, и то, что я увидела в этот день... Я никогда не могла подумать, что может такое случиться. Хоронить пришлось без гроба, потому что гробов нигде не купишь, а сами сделать не в силах, а кого-либо просить это сделать можно только за хлеб. Но где же его взять, когда мы сами получаем 350 граммов в день и, кроме хлеба, больше...» (Плачет.) Что это такое!.. Даже не думала, что буду плакать... Ну, ничего... «Ну где же его взять, когда мы сами получаем 350 граммов в день и, кроме хлеба, больше ничего. Уже 18 дней как живем на одном хлебе. Голод продолжается уже четвертый месяц. Мы съели все, что у нас было, общей коммуной, и все было хорошо. А теперь, когда у нас уже ничего не осталось...»

— Вы продолжали жить вместе?

— Да. А вот сейчас будет распад. Когда у нас ничего не стало, начнется распад, все будут уже уходить. Мы с мамой останемся вдвоем. Правда, она потом на оборонные работы уйдет, а я на казарменное перейду. Но самое-то трудное время я работала на фабрике и жили мы все-таки дома.

— Вам тогда было двадцать, а маме?

— А маме было пятьдесят. Она тысяча восемьсот девяностого года... «Не давали ничего продуктов. Еще в том месяце кое-какие продукты давали, но зато хлеба давали только 250 граммов...» Это еще, значит, в декабре было двести пятьдесят граммов. Это в блокаду была самая маленькая норма рабочим, а потом — триста пятьдесят. Но у нас были рабочие карточки, мы работали... «А продукты такие, что в тот голод, в восемнадцатом году, даже, наверно, совсем...» Не разбираю, что написано... «Хлеб очень плохой, с примесями разными... Но сейчас даже и

этого не дают... Везли мы бабушку на кладбище на санях по очереди: я, мама, Таня, Шура. Сами едва ноги волочили. От такого питания не знаю, как мы все еще живем... А друг за другом — беспрерывная цепь с покойниками, большинство без гробов. Но этого мало. Хорошо, если везут свои родственники, а то того хуже — провезут целый грузовик нагруженный, раздетые, разутые, кто как и кто в чем...» Собирали людей на улице. Идет человек, падает, умирает — и его в машину. И вот там, на кладбище, такие большущие братские могилы были... «Шесть грузовиков и три повозки на лошадях — это при нас привезли, — полные покойников. Смотреть жутко! А сколько уже перевозили и не успели зарыть! Рабочие, которые присланы сюда с фабрик и заводов (потому что заводы не все работают), не успевают вырывать ямы, хоронить. Хоронят теперь всех в общую могилу, без гробов, друг на друга... Вот еще месяц назад, т. е. 19 декабря, когда мы хоронили Коленьку...» Сестренки Шуры маленький сынишка, мой племянничек... «...то могилы были уже за пределами кладбища, на новых участках. А теперь еще дальше общие могилы».

— Это какое кладбище?

— Охтенское, Большая Охта. Оно и до сих пор существует. Там большие братские могилы. Вот туда мы везли бабушку. А Коленьку мы хоронили еще на нашем месте, где у нас папа похоронен, на Георгиевском кладбище — так оно называлось... «22 января 1942 года. Свету нет, воды нет, движения нет. Трамваи не ходят. Автомашины проходят очень редко. Зато очень много пешеходов с санями, гробами, с мертвецами. Это единственное движение по городу. Магазины все закрыты, только булочные да некоторые продуктовые магазины, и те пустые и темные. Люди все опухшие, страшные, черные, грязные, тощие. Прошло семь месяцев. Кажется, что прошло семь лет. Все постарели. Молодые стали такие страшные, старые, что просто жутко смотреть. Очень много домов разрушено. Кто вернется сюда, то навряд ли узнает город сразу. Но все это не так страшно, как голод. Мы меньше всего ожидали, и это получилось... Только бы все это пережить! Тогда уже будем ценить каждый кусочек хлеба — не так, как раньше, даже не хотели смотреть на него... А теперь вся жизнь зависит от этого хлеба и воды. Вот как сегодня: воды нигде не было, вот и хлеб не выпекали. Разбило водонапорную башню, и не было воды на хлебозаводе, была задержка, и в очереди пришлось стоять за ним по 4 часа на таком морозе!..

15 февраля 1942 года. Самое большое несчастье — у мамы украли хлебные карточки. Ведь это же смерть. До 1-го еще далеко. Без хлеба жить невозможно. Что делать? Когда я пришла с работы и мне мама об этом сказала, я прямо не знала, что делать. Сгоряча я ее поругала, потом разревелась. Но ведь этим не поможешь. Пошли на рынок. Купили 500 граммов, заплатили 150 рублей. Спасибо, что продали. Но ведь каждый день невозможно покупать на рынке, никаких же денег не хватит. Хорошо,

еслн будут давать кое-какие продукты, а еслн нет, то очень тяжело пережить это время. Я приложу все силы, потрачу все деньги свои н Федины, но только бы выжить. А живы будем, все потом наживем. Только бы пережнть! Очень тяжело, но что же делать? На маму сердиться не могу. Наверно, судьба наша такая».

В комиате за столом, кроме иас тронх, — светящаяся тихой старостью щупленькая мама Елены Николаевны. Запомнилась: как дерево, что по-осеннему светит кроной, сняет. Молча, внимательно слушает, как ребеиок страшную сказку, у которой, уже знает, конец все-такн благополучный...

У каждого был свой спаситель

Мы записали миожество рассказов, из которых видио, как люди выжили, хотя по всем объективным данным должны былн умереть. Одна из жеищин, Александра Михайловна Арсеньева, зто чудо сформулировала так: «У каждого был свой спаситель». И действительно так. Не в том только смысле, что миогие выжили лишь потому, что в самый трудный момент кто-то кого-то поднял на улице, вернул утерянную карточку, поделнлся последним. Была н более сложиая завнсимость.

Люди остались в жнвых потому, что их держало на ногах чувство любви, долга, предаииостн — ребенку, дорогому человеку, родному городу...

Как говорит Ершова Зоя Александровна (ул. Мартыновская, д. 19):

«— Спасла нас всех (ну, всех ли, я не знаю) надежда, любовь. Ну я любила мужа, муж любил семью, дочку. Ои блнзко служил, воевал. И вот когда мы садимся что-нибудь е́сть, карточка его около иас стоит, и мы ждем, что должен вернуться. И вот только ради любви, ради иадежды этой мы все могли выжить. Очеиь было тяжело. Вот сейчас ие представляю себе — ну как мы выжили».

Спасались, спасая. И если даже умерли, то на своем последием пути кого-то подняли. А выжили — так потому, что кому-то нужиы были больше даже, нежели самому себе. Вот и А. М. Арсеньева помнит, что нынешией своей жизиью оr обязана людям, которые спасали ее. И не раз.

«Кто меня спас? Вот недавно я нашла своего, можно сказать, спасителя. Она меия устроила в комсомольскнй полк. Нашла я ее совершеино случайно: она приехала на встречу школьных друзей из Алтайского края.

А первый мой спаситель? Я даже ие помню его фамилии, но знаю (мы работали с ним вместе), что он был шофер. Кого ои возил, уже теперь ие помию, зиаю, что его звали Саша. Очень снмпатичиый пареиь был. И вот как-то ои приехал к одной

женщине и решил забрать своего племяннника. Привез он ей спирту немножечко, чуть-чуть гречневой крупы н, конечно, чурки — отапливаться. Вот онн сидят за столом, какой-то сыр, как мыло, едят. А я лежу. Саша смотрит: «Кто это у тебя?» — «Да вот женщину нашли без сознання. Была бомбежка. Не знаю, кто она такая». А я-то его узнала, я так слабо-слабо говорю: «Саша!» Он так посмотрел, подошел ко мне и говорнт: «Александра Михайловна! Это вы?» Я говорю: «Я, Саша».

И вот он пошел на работу (а я там была списаиа как пропавшая без вести), пошел, сказал, где я. Ко мне пришли, потом уже на саночках доставнли домой; больничный дали. А я уже умирала! Ну, девочки у нас былн хорошие. Онн с меня снимали платье (у меня платье с Невского, 12[1] — золотнстое, шелковое). Вот это платье выстирают (я лежу голая) — наденут, выстирают — наденут. Каждый, кто прнходил, все почему-то платье стирали. Я лежала в чистом, у меня не было вшей. На работе я осталась главным бухгалтером. Ну какой я главный бухгалтер, если я думала только о хлебе? И дочку я взяла с собой на работу...»

Сколько их, подобных случаев! Каждый отдельно может показаться нечаянным, но, когда слышишь о них подряд, начинаешь понимать, что за этим стоит.

«Идем мы с Ларисой (дочь моей подруги Лены) через Баварский мост, что у «Красной Баварии», подходит моряк и говорит: «На, девочка, держи от дяди Вани!» — и дал килограммовую банку американской тушенки. Мы бегом домой, н все четверо ели, не разогревая», — вспоминает Вера Ивановна Павлова (Тосно, ул. Боярова, д. 52).

Такие случаи запоминаются во всех подробностях. На всю жизнь врезалось: и Баварский мост, и облик этого безвестного моряка, и как они ели эту тушенку, которая, может, спасла их, и Ларису и Колю, взрослых ныне людей, у которых уже свои дети. И когда В. И. Павлова навещает свою подругу Лену, которая уже нянчит детей Ларисы, они вспоминают того моряка на Баварском мосту, и он уже существует и для внуков, которые его никогда не видели.

«В конце ноября мы потеряли хлебные карточки, — пишет нам Зинаида Владимировна Островская, — запасов у нас никаких не было, потеря эта для нас могла оказаться роковой. В соседней квартире жила семья Иваиенко. Кроме четверых взрослых, там еще застряла семья невестки из Луги с тремя детьми. Младшая дочь хозяйки, Ирина, была замужем за капитан-лейтенантом, который погиб в первые дни войны...»

И вот выстраивается цепочка спасающих и спасенных: моряки, сами жившие на полуголодном пайке, время от времени приносят семье погибшего товарища какие-то продукты («тогда ведь все исчислялось на граммы»), и что-то перепадает, в критический для них момент, и соседям... («Валентина Ильинична

[1] Известное в Ленинграде ателье.

Иваненко... принесла нам стакан риса. Сейчас невозможно представить, что это тогда значило. А ведь у нее самой было 8 голодных ртов. Мне это вовек не забыть. Из их семьи остались в живых только Ирина и невестка с детьми, эвакуировавшаяся в феврале».)

Незнакомый, безвестный, безымянный солдат спас Марию Ершову. Он пришел к ней на прием в поликлинику, стал жаловаться на расстройство желудка. Она спросила, что он ел. Он сказал — конину.

«Я всегда очень застенчивая была, а тут впервые попросила, не сможет ли он достать мне конины. Он говорит: «Доктор, что вы? Неужели вы будете есть конину?» Спросил адрес и принес мне большой кусок конины. Ну, я взяла, потом поделилась с соседками».

Она рассказала это с удивлением. Столько лет прошло — и до сих пор удивительно и, может, стало еще удивительнее. Потом задумалась и вспомнила, что ведь был еще человек, который ее спас без всяких даров, делясь совсем другим.

«Я уже получала рабочую карточку. И все равно я продала все, что могла, на рынке. Зарплата у меня была приличная по тому времени, я все-таки врач. И я ведь все только для себя. Детей-то увезли. И все равно я умирала. Меня тогда спасла соседка. Ее сейчас уже нет в живых. Но я встречаюсь с ее дочерью Аллой. Один раз я просто не пошла на работу — не могла. Наконец моя соседка обнаружила, что я дома лежу, встать не могу. Есть нечего. Совершенно не отапливаюсь. Она забрала меня к себе. Мы жили в одной квартире. Полина немножко крепче была. Ломала, таскала какие-то дровишки, топила. Ее дочери было лет шесть, наверное. Полина согреет нас, чай нагреет. Я заболела в этот период воспалением легких. Так она пойдет на базар, поменяет там черный хлеб на кусочек чего-нибудь сладкого. Однажды дочь оставила ей вот такой кусочек хлеба — не съела сама. Мамочку она любила. И вот моя соседка Полина Георгиевна этот кусочек долго не ела, хранила. Потом все-таки съела».

Никто не мог оставить на память даже кусочек того ленинградского хлеба. Каким бы дорогим, святым он ни был. Все же мы допытываемся:

— Почему соседка взяла вас к себе? Что ее заставило?

Ершова думает. Сперва она отвечает:

— Мы в одной квартире жили. — Потом говорит: — Мы дружили. — Потом она находит какую-то во всем этом более важную, насущную мысль: — Мы до сих пор дружим. Сейчас мои внучки дружат с ее внуками, ездят к ним в гости, они сюда приезжают.

Мысль ее как бы восходит к достойности этой дружбы, к знатности ее происхождения. Блокадные испытания как бы украсили «генеалогические древа» обеих семей; порядочность, благород-

ство во время блокады стали семейной гордостью. Так, по крайней мере, наблюдалось во многих семьях потомственных ленинградцев.

В трудовых коллективах, устойчивых, коренных, таких, допустим, как Кировский завод, Публичная библиотека, Металлический завод, милиция — там тоже репутация блокадных лет является как бы гарантией порядочности.

Историк Татьяна Николаевна Токарева помнит, знает счастливые моменты своего блокадного жития-бытия, и связаны они все с тем же — с человеческой взаимовыручкой, добротой и добром, сделанными тебе, сделанными тобой...

«— А у нас печурки не было. Была квартира, но не было печурки, а была большая печка, в которой мы жгли классические энциклопедии и так далее. Они не хотели гореть, но в общем ничего, жгли. И вот мы идем с хлебом. Короче говоря, мы с мамой его получили, и навстречу идет печник и несет печку. Мы его спросили — что да как. Он говорит: «Эту я уже продал, хотите, пойдем ко мне». И мы пошли. Это было на Белевском поле. Пришли, приходим в его квартиру. У него восемь человек детей.

Причем у него там племянница и половина детей уже лежащих, собственно говоря, с голодухи, не встающих и очень слабых. Сам он еще ходит, жена — тоже. Да, вот он дает нам эту печурку. А у нас положение такое, когда нам идти домой, собственно говоря, незачем, там отец лежит, он лежит мертвый, и мы не сумели его похоронить, ничего не смогли сделать... А печник говорит: «А знаете что? А у нас тепло, оставайтесь у нас. Есть и у вас нечего и у нас нечего, но у нас зато тепло».

И мы остаемся. Мы с матерью остаемся. Он нам стелет на полу, тут же и его дети, восемь человек. Хозяйка приносит откуда-то из развалenного рядом дома дрова, и вот печурка все время горит. Все лежат почти вповалку. Что можно было обсуждать, как не вкусные рецепты? И разговор идет очень долго — всю ночь. И мы остаемся у него три дня...

И вот мы остаемся. И тогда решаем пойти посмотреть почту, пойти домой...

— ...А от кого вы ждали почту?

— А у меня муж был на фронте... посмотреть газеты и так далее. Мы приходим — газет нет. Причем тут выясняется, соседи напротив говорят: «Да вот приходил какой-то военный, забрал газеты. Но мы ему сказали, что вы умерли, потому что вас три дня не было (а это уж обычно было: если три дня не было человека, значит, уж он погиб). Но все-таки он сказал, что он еще зайдет». Короче говоря, это, оказывается, был мой муж. Он снова пришел. Приехал с фронта и без всяких, конечно, извещений, с мешком за спиной, со сгущенным молоком,

пшеном и так далее. Первое, что мы решаем, — это пойти к этому печнику. И тут, естественно, все очень экспромтно. Значит, мы забираем туда еду...

И там у него остаемся до вечера. Ну... такая немножко сентиментальная история. Печник очень доволен. Он умный был, интересный дядька. Я бы сказала, категория людей, которые недавно из деревни вышли, они откуда-то из деревни приехали. Это такие большие семьи... Вот у него восемь человек. Ну, и проходит много времени. А мама моя преподавала в школе. После блокады мы возвращаемся в Ленинград, — это, наверно, сорок шестой год, — и мама, естественно, поступает обратно в свою школу (в Володарском районе). Вдруг какой-то парень подходит и говорит, что вот... в общем начинает говорить, что «я очень рад вас увидеть», что «папа много говорил о вас». Ну в общем выясняется история семьи печника: отец умер и умерли четверо детей его. Осталось четверо мальчиков, часть их осталась.

Это было очень трогательно, что в их семье память о нас и вообще обо всей этой истории, — что мы пришли, мы остались, мы с ними разговаривали, они приняли как бы нас в свою семью, а мы были такие несчастные, в общем ужасные, конечно, — и как-то все это было очень трогательно. Мне не хочется это детализировать...»

Открывали других, открывали и себя — с лучшей стороны. Блокадная жизнь, конечно, обнажила и самые затаенные, скрытые пороки человеческие, которые в обычной мирной жизни часто маскировались красивыми речами, заверениями, умением понравиться, быть душою общества и тому подобными способностями. Но происходило и обратное. За молчаливостью, угрюмостью, резкостью, неучтивостью вдруг открывалась такая готовность помочь, такая сила нежности, любви, сочувствия!..

Сотрудница Эрмитажа Ольга Эрнестовна Михайлова говорит:

«— Блокада нас настолько крепко связала, что разъять эту связь мы не можем до сих пор. Блокада раскрывала людей до конца, люди становились как бы голенькими. Ты сразу видел все положительное и отрицательное в человеке. Доброе начало, хорошие стороны расцветали таким пышным цветом! Могу рассказать вам об Анне Павловне Султан-Шах, которая работает в отделе Востока. Она и сейчас еще работает. Она пятьдесят с лишним лет работает в Эрмитаже. Это человек, который сделал для Эрмитажа колоссально много. И вот она в блокаду взяла на себя заботу о пожилом поколении Эрмитажа.

— А ей сколько было лет?

— Она была средних лет. (Сейчас ей восемьдесят с чем-то.) Вот как она за ними ходила, как старалась их сохранить (ну,

это громко звучит, но все-таки можно так сказать): дать горячий чай, навестить лишний раз, если не пришел на работу, — сходить, выкупить хлеб, помочь там что-то сделать. А ведь сама была не в лучшем положении, чем все. Она не на каких-то особых была хлебах, она тоже работала, как и все. Удивительно, что и сейчас она осталась такой же, хотя внешне это человек даже немножко суровый, не сразу скажешь, что она такая добрая. А если человек имел какие-то плохие задатки, он и оставался плохим, может быть, даже становился хуже. Жадный, безусловно, мог стараться выжить за счет другого. А тот, кто не был эгоистом, тот все-таки так не делал, он последним делился».

Уже знакомая вам Таисия Васильевна Мещанкина горячо убеждала нас (сама она убеждена в этом), что голубые глазки у девочки, которая со двора всегда так бросается ей навстречу (соседки дочка), — оттуда, из блокадного времени. Не такие, а эти глазки были у девочки, которую она подобрала на снегу...

«— ...Идет женщина, шагов тридцать впереди, а сзади нее идет девочка. Эта девочка уже падает и отстает. А девочка лет пяти. Я иду этой стороной, где завод «Прогресс». Дочка у меня в детском саду. А эта девочка поскользнется, потом встает и опять карабкается по этой каменной стенке. А эта бабушка (бабушка, может быть, такая же, как я) оглянется на нее и опять идет. Почему она ребенка не берет? Я не могла стерпеть. Я перешла дорогу (дом 13 напротив детского сада) и беру эту девочку. А она вот так смотрит на меня. У нее были какие-то особые красивые глаза. Эта девочка в серой шубке, в серой шапке меховой. Это в самый сильный мороз. Не знаю, откуда у меня взялись силы? Я этого ребенка беру на руки и несу в этот детский сад, где была моя девочка.

Нина Николаевна мне говорит:

«Куда вы несете?»

«Нина Николаевна! Я не могла пройти так мимо».

Только я ее внесла, как она говорит:

«Я кушать хочу!»

А там пахнет супом, хлебом. Я говорю:

«Нина Николаевна! Я иначе не могла, простите! Отнимите от моего ребенка паек, возьмите эту девочку.

Я не знаю, почему я не могла, я больше ничего не сделала, только вот это».

Однако вернемся от знакомого к тому, другому, незнакомому человеку, к встречному.

Кто он был, этот человек, который помог работнице Лидии Георгиевне Охапкиной тащить санки с вещами, а главное — с посылкой, где были продукты, присланные мужем с фронта?

История Лидии Георгиевны Охапкиной — это особый рассказ, жаль нарушать его цельность, но очень уж подходящий пример.

Наступал вечер. Целый день она ходила, таща за собою эти

санки, оформляла предстоящий отъезд, спасительную эвакуацию, и вот теперь надо было возвращаться домой, с улицы Чайковского на Васильевский остров.

«Чемодан и посылку мне было везти очень тяжело, и я выбивалась из сил. На улицах Ленинграда, как только стемнеет, совершенно народу не было. Улицы были пустынные, тихие, была пурга, из-за нее идти еще труднее. На дорогах и панелях лежал снег. Его в ту зиму никто не убирал. Ноги мои тонули в снегу, и я их еле передвигала. Часто останавливалась, тяжело дышала. Вся взмокла, чувствовала, что по лицу и спине бежит пот. Стала считать шаги. Раз, два, три, так до десяти, потом останавливаюсь, передохну. Опять раз, два, три, снова останавливаюсь. Я себя сравнивала с усталой лошадью, которую бьют кнутом, а она не может сдвинуться с места. Один раз я остановилась, чтобы передохнуть, а двинуться потом совсем не могла. Навалилась на свою поклажу и с ужасом думала, что же мне делать. Времени час ночи. На дороге ни души. Я шла по набережной Невы, подальше от домов: боялась, что кто-нибудь от домов, из-под ворот, может меня убить и отнять посылку. А бедные мои дети долго будут плакать и, не дождавшись меня, умрут. От этих мыслей у меня разрывалось сердце. Они уже с восьми утра не кормлены, находятся сейчас в холодной, нетопленой комнате, в темноте. А я здесь, на улице, и никак не могу до них доехать. Что делать? Что? Постучаться к кому-нибудь, попросить помощи? Оглянулась кругом — темно. Да кто ночью пойдет? Скорей прихлопнут меня и все заберут. Нет, надо как-то двигаться самой. Чуть тронула санки. Опять считаю: раз, два... Вдруг откуда-то взялась женщина, подошла ко мне и говорит: «Давайте помогу». Я обрадовалась. Она взялась за веревку и повезла, а мне велела толкать сзади. Я за ней не успевала. Она повезла одна. Я забеспокоилась, что она увезет. Стала ей кричать: «Остановитесь, подождите!» — но она продолжала везти не оглядываясь. Я хотела за ней бежать, но сразу же упала. Лежу и думаю: ну вот, теперь она увезет, а я здесь замерзну. Смотрю — ее уже нет. Я встала, потихоньку пошла, гляжу — мои санки стоят и на них все лежит как лежало. Я обрадовалась, думаю — спасибо ей, спасибо! Взялась и повезла опять сама. Доехала до Литейного моста, хотела через него проехать. Задыхаюсь, дышу тяжело, вся взмокла, с бьющимся сердцем. Но мосты охранялись. Стояли двое военных с винтовками и меня не пропустили. Как я их просила, как умоляла, плакала! Они одно твердили: «Нельзя!» Они советовали куда-то в обход. Но я уже не могла, у меня совершенно не было сил. Вот здесь, у санок, я замерзну. Значит, второй раз у меня срывается отъезд. Тогда потерялся сынишка, а сейчас я не могу. Обессиленная и одинокая, на всей улице ни души, я полулежала на санках по эту сторону Невы, а дети по другую. Живы ли они? Может быть, уже умерли, кричавши меня, голодные, в холодной темной комнате? От этой мысли я как ужаленная вскочила. Надо с санками проехать по тропинке по Неве, но ее за-

мело, и я не могу найти ее точно. Оставила санки на набережной, спустилась, попробовала немного пройти, но сразу почти до коленей утонула в снегу. Поднялась. наверх. Вдруг вижу — едет грузовая машина. Я стала кричать: «Помогите! Помогите!» Машина остановилась. Спросили меня, в чем дело. Я объяснила. Машина была военная. Один солдат перебросил мои санки, помог мне забраться, и мы поехали. Ехали недолго. Главное — перевезли меня по другому мосту. Им надо было в другую сторону. Они торопились по делам. По их озабоченным лицам я поняла, что им не до меня. Но все же я им очень благодарна. Потом уже еле-еле я добралась сама, доехала наконец до дома. Время было уже три часа ночи».

В сущности, через всю историю Лидии Георгиевны Охапкиной проходит цепь подобных вызволений, выручек, цепь, которая вытягивала ее, возвращала к жизни.

У каждого был свой спаситель. Они появлялись из тьмы промерзших улиц, они входили в квартиры, они вытаскивали из-под обломков. Они не могли накормить, они сами голодали, но они говорили какие-то слова, они поднимали, подставляли плечо, протягивали руку. Они появлялись в ту самую последнюю, крайнюю минуту, когда человек, прислонясь к стене, сползал вниз, когда, присев на ступеньку подъезда, он уже не находил сил подняться. Это была особая, пограничная минута между жизнью и смертью, последнего одинокого дыхания в груди, как писал Твардовский, это было

то неисходное томленье,
что звало принять покой.

И тут могло помочь лишь что-то со стороны, только извне еще можно было вернуть человека, удержать. Нужен был кто-то, кто бы капельку помог, поскольку «все, что мог, ты лично одолел, да вышел весь». И кто-то подходил, отдавая свои силы, и силы эти часто помогали отползти от той тьмы кромешной.

«— Я вот что вспоминаю, — сказал Нил Николаевич Беляев. — Я был на бюллетене некоторое время — январь и февраль сорок второго года. Сходил днем в поликлинику. Получил «добро» на то, что можно идти на работу. Ну, лечить меня, конечно, ничем не лечили, а просто немножко за эти дни пришел в себя. Дело в том, что у меня было не только простудное заболевание. Меня тогда почечные дела очень мучили. Я получил на оборонных работах, на окопах, сначала воспаление почек, а потом привязалась почечно-каменная болезнь, и меня стали преследовать почечные колики. А эта вещь — если вы не знали, так лучше вам и не знать. Это страшное дело. Вот в январе меня впервые посетило это явление, и я был на бюллетене. После того как я немножечко оправился, я решил сразу же после поликлиники, в этот же день, пойти на работу, проверить, как и что, потому что я знал, что на работе в это время почти

никого не было. Мы работали в это время с моим товарищем — хороший такой товарищ, пожилой уже человек, Дмитрий Иванович Воробьев. И мне хотелось известить его, узнать, как идут дела, потому что одному человеку там трудно было.

— А где вы работали?

— В Радиокомитете. Это здесь, на теперешней Малой Садовой. Тогда называлась улица Пролеткульта. Было это в часа четыре или три пополудни. Это февраль, двадцать восьмого февраля сорок второго года... Не доходя до Московского вокзала, я почувствовал, что не дойду. Под вечер такой мороз закрутил, что я думаю: свалюсь, замерзну. Я решил вернуться. Повернул назад, миновал Суворовский проспект и был уже недалеко от дома — я жил на Невском, в доме сто пять. А это случилось около дома сто один. Я привалился к стене передохнуть. Привалился я с таким расчетом, чтобы не упасть. Там стояли такие откосы, наполненные песком и землей, защищающие прежние витрины магазинов. Я думал: тут я постою, немножечко приду в себя, направо или налево я не упаду, потому что меня задержат эти стенки. Но потом чувствую — напрасно я остановился. Лучше бы мне было собрать силы и как-нибудь доползти. Потому что стоило только остановиться и дать ногам покой, как хвать! — они дальше-то и не идут! Я тут, значит, стою в горестном раздумье. Как быть? И самым обидным мне казалось, что через один дом — мой! Я у сто первого; значит, сто третий — и я буду у сто пятого. Но, к сожалению, Невский безлюден, едва-едва ползают дистрофические люди. Но, на мое счастье, подошла какая-то женщина. Довольно молодая еще, очевидно, в лучшей силе, нежели я. Спросила: «Вы что, гражданин?» Я говорю: «Что? Стою и двигаться дальше не могу. А дом рядом».

И вот это обстоятельство, что я сказал «дом рядом», повлияло положительным образом. Если бы я где-то далеко жил, она, конечно, со мной не стала бы связываться. А так как это было через дом, она сказала: «Ну, я сейчас попытаюсь вас довести. У вас там есть кто-нибудь?» Я говорю: «Дома мать должна быть». (Мать еще была жива в это время.) И она взяла меня под руку. Я обхватил ее за плечо. Постепенно-постепенно, значит, добрели до дома. Подняла она меня, так сказать, по лестнице до третьей площадки. Позвонила. За дергалку, конечно, не в электрический. Электричества в это время не было. Сдала прямо из рук в руки матери. Мать сначала перепугалась: что же это такое? Думала, что я совсем плох. Но уж когда зашел в квартиру, она видит, что я в таком состоянии, в каком был все эти месяцы. (Она была в несколько лучшем состоянии, чем я в то время.) И обрадовалась. Поблагодарила эту женщину. Двери закрылись. Когда мы немножко одумались, у нас возникла мысль: как же так, я не спросил, кто эта женщина, откуда? Здешняя ли она? Приезжая ли откуда-нибудь или постоянная ленинградка? Потому что мне хотелось потом ее повидать и как-то отблагодарить буквально за спасение жизни. Но тог-

да, откровенно говоря, не очень большая надежда была на это. Поэтому я перестал об этом тужить. Думаю, наверняка мне не выжить, а может быть, и она в таком же положении, как я, все равно ее не увидишь».

Что может быть проще, естественней, чем помочь подняться человеку, довести его до дома? Если это не делают сегодня, то только в случае какого-то позорного равнодушия, черствости, подлого эгоизма. Никто ныне не может вообразить, что человек пройдет мимо просто от бессилия, что у кого-то не найдется сил протянуть руку, нагнуться. И в голову не придет вообразить, что человек хочет помочь — и не в состоянии. Представить, как это было трудно, можно лучше всего из рассказов не тех, кто помог, а кто не смог помочь. Именно они открыли нам всю непосильность этого, казалось бы, такого простейшего порыва.

Бывшая трамвайщица Варвара Васильевна Семенова:

«— Как-то я шла с Петроградской стороны. И упал дядька. Знаете, такой, видно, был солидный, высокий мужчина. И лежит. Он кричать не может, только вот так руками показывает. Подошла. Ну а что? Я одна ничего не могу сделать. Пешеходы проходят, проходят. Все такие, знаете, страшные, что самих тоже кто бы поддержал. Потом как-то иду, а впереди женщина. И упала она. Худенькая такая! Эту я подняла кое-как. Она сама немного помогла, и я подняла ее. Она просит: «Доведи меня до той вот парадной». Я говорю: «Нет, милочка! Скажи спасибо, что я тебя подняла. Я сама, говорю, завалюсь, и меня никто не поднимет. Я подняла, давай-ка иди!» А скользко! Не то что не посыпали, но и лед-то не скалывали. Вот так.

— А куда вы шли-то?

— Я на Крестовский ходила. Ведь тогда все пешком. А я ходила почему? Потому что дров-то не было. А у меня брат был портной, и у него стол был длинный такой, как бы верстак. Доски толстые такие. Я доски помаленечку оттуда таскала. И внук пойдет и откуда-то палочки притащит. И вот «буржуйку» топили и на ней сушили сухарики. Каждый свое место занимал. Уйдет один, второй садится. Обязательно сушили сухари.

— Зачем сушили?

— Сушили потому, что думали, что так-то спорее. Кладем сухари и наливаем кипятку горячего, соль, немножко перцу и пьем эту воду. Потом еще одну плошку воды выпьешь и уже потом берешь сухари размокшие как на второе. И это настолько въелось, что и после блокады так ели — сначала жидкое из тарелки, а потом густое».

Было и бесчувствие, была черствость, воровали карточки, вырывали кусок хлеба, обирали умирающих («Умирать-то умирай,

только карточки отдай!»), всякое было, но удивительно не это, удивительно, как много было спасений, подобных беляевскому! Таких рассказов мы услышали множество. Сколько их было — безвестных прохожих! Они исчезали, вернув человеку жизнь; оттащив от смертельного края, исчезали бесследно, даже облик их не успевал отпечататься в мерклом сознании.

Казалось, что им, безвестным прохожим, — у них не было никаких обязательств, ни родственных чувств, они не ждали ни славы, ни оплаты. Сострадание? Но кругом была смерть, и мимо трупов шли равнодушно, удивляясь своей очерствелости. Большинство говорит про себя: смерть самых близких, дорогих людей не доходила до сердца, срабатывала какая-то защитная система в организме, ничто не воспринималось, не было сил отозваться на горе. И все же отзывались. Обострилось другое чувство — гражданское, а кроме того, город-фронт рождал солдатское чувство взаимовыручки. Каждый в какой-то степени чувствовал себя фронтовиком, и помогал он не просто упавшему прохожему, а своему однополчанину. Армия сражалась рядом, где-то у трамвайного кольца, и законы воинской чести становились общими законами города.

«...В каждой квартире покойники лежали. И мы ничего не боялись. Раньше разве вы пойдете? Ведь неприятно, когда покойники... Вот у нас семья вымерла, так они и лежали. И когда уж убрали в сарай!» (М. Я. Бабич)

«У дистрофиков нет страха. У Академии художеств на спуске к Неве сбрасывали трупы. Я спокойно перелезала через эту гору трупов... Казалось бы, чем слабее человек, тем ему страшнее, ан нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы это в мирное время, — умерла бы от ужаса. И сейчас ведь: нет света на лестнице — боюсь. Как только люди поели — страх появился» (Нина Ильинична Лакша).

Весь сохранившийся запас душевного участия отдавали живым.

Какое-то особое властное чувство заставляло людей подавать руку тем, кто сползал в небытие. Довести до дому — по тем временам это был подвиг. Зачастую это было единственное, что мог сделать человек человеку. На это самопожертвование часто уходили последние силы. Такая простая вещь, самая вроде элементарная, была, может, одним из высоких проявлений человечности. Для чего это делалось? Для себя, для своей души, для того, чтобы чувствовать себя человеком. Для того, чтобы выстоять, не поддаться врагу.

Безвестный Прохожий — пример массового альтруизма блокады. Он обнажался в крайние дни, в крайних обстоятельствах, но тем доподлинней его природа.

Большинство спасателей остались безвестными. Но некоторые обнаруживались. Черты их проступали слабо и случайно в рассказах, которые, в сущности, лишь называли, только обозначали судьбу, заслуживающую исследования, подробной истории.

Николай Иванович его сперва назвали. Кажется, Лебедев. Наверное, Лебедев. Детская память ненадежная. Ирине Киреевой (ныне работнику Эрмитажа) было тогда четырнадцать лет. Она не представляет, сколько было там детей, в стационаре, который организовал Лебедев. Он ходил и собирал по Дзержинскому району истощенных ребятишек, бесконечно хлопотал, добывая для них какие-то маленькие дополнительные пайки.

«— Мы спаслись, потому что с двоюродной сестрой оказались в больнице у Николая Ивановича. Он заполнил абсолютно все теплые помещения, которые можно было отапливать. Помню, когда привозили детей, они часто уже есть не могли, так были истощены. Меня поразило и то, что в три с половиной года дети стали совершенно взрослыми... Это было страшно. Это декабрь, тут уж был голод. В сентябре — октябре нас зажигалками забрасывали. Тогда мы, ребята, еще дежурили на крышах. К этому относились легко. Как-то все было любопытно... Теперь уже наступило другое. Помню, привезли ребят-близнецов... Вот родители прислали им маленькую передачу: три печеньица и три конфетки. Сонечка и Сереженька — так звали этих ребятишек. Мальчик себе и ей дал по печенью, потом печенье поделили пополам. Остаются крошки, он отдает крошки сестричке. А сестричка бросает ему такую фразу: «Сереженька, мужчинам тяжело переносить войну, эти крошки съешь ты». Им было по три года.

— Три года?!

— Они едва говорили, да, три года, такие крошки! Причем девочку потом забрали, а мальчик остался. Не знаю, выжили они или нет...»

О нем бы разузнать подробнее — кто он был, Николай Иванович Лебедев? [1] Как он все это делал? Собрать то, что еще не кануло в Лету: ведь это человек, который спас сотни детей.

Их встречалось немало в разных рассказах — работников роно, врачей, учителей, бойцов комсомольских отрядов, бытовых отрядов, тех подвижников, спасителей, кому обязаны жизнью ленинградцы. Многие из этих людей заслужили специального повествования, надо было разыскать материалы о них, но мы успевали лишь подхватить мелькавшие имена, оттащить хоть так от потока забвения...

Спасали людей по-разному.

Помогало порой самое что ни на есть скромное посильное участие. Мария Ананьевна Щелыванова перед войной усыновила мальчишку Валерия, о котором, впрочем, будет еще отдельный рассказ. Сама она работала в домоуправлении, никаких добавоч-

[1] После публикации в журнале «Новый мир» мы получили письмо от Д. Г. Басаневской, где она пишет: «Я очень хорошо знала Николая Васильевича Лебедева (а не Ивановича, как написано)... это был замечательный человек и врач...»

ных возможностей, как говорится, у нее не было. А имелась еще лишь обязанность донора, которую она возложила на себя, чтобы чем-то еще помогать фронту.

«— В общем, вот так. Я когда вернулась, Валерий, конечно, сразу ко мне пришел: «Тетя Муся! Я уж к вам». — «Ну, — говорю, — давай, ладно». Больше того. У моего мужа была племянница. Она была студенткой технологического института. Она уже была на третьем курсе и вышла замуж. Муж был инженер, его послали в Барнаул, они прожили всего три месяца. И вот эта Нина была послана на окопы. У меня Валерик в комнате (а комната двенадцать метров, меньше этой), и вот теперь Нина. Она вообще-то жила в общежитии, где Лесное, но она туда даже не пошла, а пришла ко мне. Она из Новороссийска. У нее такое широкое лицо было, нерусское немножко, и толстые-претолстые черные косы. И вот эта Нина приходит — прямо дистрофик, ни щек, ничего нет, так она изменилась на этих окопах. Даже говорить не могла. Я говорю: «Нина, а карточки у тебя есть?» Она говорит: «Есть карточки». — «А хлеб ты выкупила?» — «Я, тетя Муся, за три дня вперед все съела». За три дня! А у меня только ежедневное, я не давала себе брать вперед. Я говорю: «Ну хорошо, Нина, раздевайся, будешь у меня жить».

Вот, значит, Валерий, а теперь Нина. А у меня какие запасы продуктов были? Сейчас я вам расскажу. Я запасов, как другие люди, не делала. У меня даже хранить их негде было. У меня и шкаф был такой комбинированный. Все время я легкомысленно жила — не было никогда никаких запасов. Но вот однажды, еще в первые дни, я иду, и лоточница продает рис в пакетах по полкило. Никого не было. Я подхожу, говорю: «Можно полкило?» Она говорит: можно. Я беру полкило. Потом я приостановилась и думаю: может быть, она мне дала бы еще? Нет, думаю, я возьму лишнее, а другому не достанется. В общем, я решительно отправилась домой и забросила этот рис как НЗ за печку, высоко, далеко, чтобы не достать. Ну вот, эта Нина прямо, знаете, как ненормальная от голода, прямо не знаю что. Я говорю: «Нина, я тебя три дня буду кормить своим хлебом (я получала как донор карточку рабочую, но я еще делилась с Валерием), я выровняю твою карточку, и ты будешь как все».

— А донорам давали что-нибудь еще, кроме хлеба?

— Вы знаете, в это время ничего не давали. Нина пришла ко мне в октябре. Тогда — весь сорок первый год — ничего больше не давали, только карточку хлебную рабочую... Вот я ее так выровняла. Она все время такая странная ходила и говорила, чтобы собаку купить. Я говорю: «Чего это ты, Нина, собаку хочешь купить?!» — «А я хочу ее съесть». Вот она по рынкам и ходила.

Ну, соседки у нас были пожилые, они много курили и ее научили курить. Вот про этих соседок я тоже расскажу. Они были старые девы. Они хлеб меняли на курево. Они видели, что я и Валерию делю хлеб, и Нине. Вот они думали, что Мария Анань-

евна как-то особенно умеет все это делать. Анастасия Алексеевна даже сказала: «Какая Мария Ананьевна предусмотрительная! Если бы мы знали, что донорам будут давать карточку рабочую, мы бы тоже пошли в доноры». И вот однажды они меня прямо обескуражили: у них было такое блюдо большое специально для хлеба; они положили вот такусенький кусочек хлеба свой и несут вдвоем это блюдо с вот таким ножом и говорят: «Мария Ананьевна, вы так хорошо умеете хлеб делить. Мы все с Леной говорим, как вы умеете хлеб делить. Вот разделите нам этот хлеб». Я, конечно, не подаю вида, что никак особенно я не могу делить, говорю: «Давайте». Беру нож и режу: «Вот это вам на утро, это на обед, а это на вечер». — «Спасибо, Мария Ананьевна, большое спасибо!» И понесли это блюдо. Потом эти старушки перебрались к брату на Советскую и там умерли от голода. Это были наши соседки. Хорошие были у нас соседи. Мы дружно жили — пять комнат, двенадцать человек. Мы никогда друг другу даже резкого слова не сказали».

Опять: всего-то хлеб поделить, разрезать на три кусочка, по сути, лишь знак, движение навстречу. И это поддерживало, выручало.

«— А ведь с Ниной, знаете, что случилось? Про рис я не рассказала? Она однажды у меня заболевает... Да, я не сказала, что у меня брат от голода умер, у жены. И я вот как его хоронила. Как это страшно! Может быть, вы мне потом позволите рассказать?

— Да, конечно. Сначала о Нине.

— Сначала про Нину? Хорошо. Нина ходила по рынкам, хотела что-то купить там, но я об этом не знала. Однажды она отравилась и стала умирать: волосы поднялись, потом ногти посинели. Она умирает! А я только похоронила брата. Отвезли его на это кладбище страшное, на Смоленское, где я видела столько покойников! Меня такой ужас обуял, что я ее тоже должна буду хоронить! У нее желудок расстроился, рвота поднялась. Я говорю: «Нина, что ты съела? Расскажи, в чем дело?» И вот она мне говорит: «Извините меня, тетя Муся, я пошла на рынок и купила там кусочек — вот такой — масла и там же его и проглотила, это масло». Оказалось, что это было мыло, только сверху помазано маслом. И она его проглотила. И вот она умирает! Тогда, конечно, «Скорой помощи» не было. И тут я вспомнила про этот рис, полкило-то. Какие тут лекарства? Человек умирает, уже руки синие. Я беру этот рис, отвариваю его. Дала ей отвар горячий, и она его выпила, а потом и весь рис съела. И вот до сих пор... Сейчас покажу ее карточку!»

Те, кто спасал, те, кто за кого-то беспокоился, кому-то помогал, вызволял и кого-то тащил, те, на ком лежала ответственность, кто из последних сил выполнял свой долг — работал, ухаживал за больными, за родными, — те, как ни странно, выживали чаще. Разумеется, правила тут нет. Умирали и они. И вы-

жнвали всякие жулики. Кировский райком партии выдвинул в начале 1942 года Анну Александровну Кондратьеву заведовать райздравом. Секретарь райкома В. С. Ефремов просил прежде всего обратить внимание на детские ясли, на детей. Анна Александровна — потомственная путиловка. Все ее родные были связаны с Кировским заводом. В общей сложности, как она подсчитала, они проработали там более трехсот лет.

Она начала с яслей Кировского завода. Выяснилось, что кто-то разрешил «на базе яслей питаться ряду сотрудников». Получалось так, что дети умирали, а родственники сотрудников «питались». И в туберкулезном диспансере тоже открылись хищения...

Среди людей происходила как бы поляризация. Либо поступать по чести, по совести, несмотря ни на что, либо выжить во что бы то ни стало, любыми способами, за счет ближнего, родного, кого угодно. Подвергались тяжелейшему испытанию все человеческие чувства и качества — любовь, супружество, родственные связи, отцовство и материнство.

Особую историю рассказала нам Мария Васильевна Машкова. Ей было поручено в 1941 году эвакуировать детей сотрудников Публичной библиотеки, однако дорогу перерезали, и вскоре ей пришлось вернуться с детьми в Ленинград.

«— ...В числе детей, с которыми я уезжала, был мальчик нашей сотрудницы — Игорь, очаровательный мальчик, красавец. Мать его очень нежно, со страшной любовью опекала. Еще в первой эвакуации говорила: «Мария Васильевна, вы тоже давайте своим деткам козье молоко. Я Игорю беру козье молоко». А мои дети помещались даже в другом бараке, и я им старалась ничего не уделять, ни грамма сверх положенного. А потом этот Игорь потерял карточки. И вот уже в апреле месяце я иду както мимо Елисеевского магазина (тут уже стали на солнышко выползать дистрофики) и вижу — сидит мальчик, страшный, отечный скелетик. «Игорь? Что с тобой?» — говорю. «Мария Васильевна, мама меня выгнала. Мама мне сказала, что она мне больше ни куска хлеба не даст». — «Как же так? Не может этого быть!» Он был в тяжелом состоянии. Мы еле взобрались с ним на мой пятый этаж, я его еле втащила. Мои дети к этому времени уже ходили в детский сад и еще держались. Он был так страшен, так жалок! И все время говорил: «Я маму не осуждаю. Она поступает правильно. Это я виноват, это я потерял свою карточку». — «Я тебя, — говорю, — устрою в школу» (которая должна была открыться). А мой сын шепчет: «Мама, дай ему то, что я принес из детского сада». Я накормила его и пошла с ним на улицу Чехова. Входим. В комнате страшная грязь. Лежит эта дистрофировавшаяся, всклокоченная женщина. Увидев сына, она сразу закричала: «Игорь, я тебе не дам ни куска хлеба. Уходи вон!» В комнате смрад, грязь, темнота. Я говорю: «Что вы делаете?! Ведь осталось всего каких-нибудь три-

четыре дня, — он пойдет в школу, поправится». — «Ничего! Вот вы стоите на ногах, а я не стою. Ничего ему не дам! Я лежу, я голодная...» Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя! Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер.

Через несколько лет я встретила ее. Она была цветущей, уже здоровой. Она увидела меня, бросилась ко мне, закричала: «Что я наделала!» Я ей сказала: «Ну что же теперь говорить об этом!» — «Нет, я больше не могу! Все мысли о нем». Через некоторое время она покончила с собой».

Распад человеческой личности кончался трагически.

Амплитуда страстей человеческих в блокаду возросла чрезвычайно — от падений самых тягостных до наивысших проявлений сознания, любви, преданности.

Сплошь и рядом, когда мы допытывались, как выжили, каким образом, каким способом, что помогало, то оказывалось — семья сплотилась, помогала друг другу, сумели создать в учреждении, на предприятии коллектив, кто-то требовал, заставлял подчиняться дисциплине, не позволял опускаться. Мать Марины Ткачевой заставляла детей всю блокаду чистить зубы. Не было зубного порошка — чистите древесным углем. Много значило для этой семьи то, что не был съеден кот. Спасли кота. Страшный он стал, весь обгорелый оттого, что терся боками о раскаленную «буржуйку». Но не съели. И это по чисто детской, сохранившейся от тех лет гордости — первое, что сообщила в своем рассказе Марина Александровна Ткачева. И такое тоже поддерживало, поднимало самоуважение людей. Из самых разных историй и случаев убеждаешься, что для большинства ленинградцев существовали не способы выжить, а скорее способы жить.

Братья меньшие

Мы убедились, что блокадная память способна удержать многое. И на многие годы. Нужна лишь готовность спросить у нее правду, выслушать правду. Всю правду. Хотя бы через тридцать пять, через сорок лет.

Но если память сохраняет выборочно, что-то ретуширует, от чего-то отказывается забыванием, то дневники безразличны ко времени. Годы ничего не могут поделать с ними. В дневниках важна личность автора, то, насколько он был бесстрашен.

В дневник учительницы Ползиковой-Рубец К. В. вписаны странички из дневника школьницы. Те, которые девочка по имени Валя ей показала: имелось в виду, что Валя прочтет их на школьном утреннике 30 апреля 1942 года. В дневнике Вали записаны события, совсем еще близкие по времени и всем, кто должен был ее слушать, знакомые по собственным переживаниям.

Но смотрите, сколько волнений в связи с этой идеей: прочесть, послушать то, что все они, и чтец и слушатели, знают, помнят и без дневника.

«Волнуюсь неимоверно, — записывает Ксения Владимировна. — Как пойдет это все дело? Дети страшно заинтересованы, но что скажет гороно? Мы любим все приукрашивать. Особенно волнует дневник Вали. Она пришла ко мне с ним и сказала: «Я прочту только то, что могу. Все я не могу прочесть». Я, конечно, не настаивала».

«Валя дает дневник непосредственно Лебедеву (работник Института истории партии. — *А. А., Д. Г.*). Мне она говорит: «Там очень, очень тяжелые вещи». Глаза полны слез, и они медленно стекают».

«3.V.1942. Даю урок в VIII классе, — продолжает учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец. — Начинается обстрел, и ученики заметно нервничают. Это результат 1 Мая[1]. До того ими все спокойно переносилось. И я ловлю себя на мысли, что возможность смерти стала реальнее.

Валя сует мне тетрадь. «Прочтите и решите, давать ли мне это?»

Тоненькая грязноватая тетрадь. На обложке полустертый эпиграф. Его разобрать не могу.

Привожу те выписки, которые она мне помогла прочитать.

«9.X.41 г. Итак, начинаю описание протекающей жизни и событий. Возможно, завтра начнутся занятия в школе. Я с нетерпением жду этого желанного дня, когда приступим к занятиям. Скучно!

Одно развлечение — ирландский сеттер Сильва. Собираюсь в клуб Связи смотреть кино, но... напрасно, идти не могу, много там «народа» нежелательного мне пошиба.

15.X. За протекшее время я многое пережила.

Сильву решили убить — и как!

Александр Петрович решил покончить с ней так: сперва оглушить молотком, а потом зарезать, но получилось не то, что предполагали, а именно: Сильва сильно завизжала, и во избежание сильного шума А. П. бить ее не стал.

Убить мы ее хотели, с одной стороны, ради мяса, а с другой — что кормить ее нечем. Когда ее убивали, я вся переволновалась. Сердце так сильно билось, будто желало выпрыгнуть из груди.

Потом мы уже придумали способ: решили убивать кошек и кормить ее их мясом.

А. П. одну убил, я содрала шкурку, выпотрошила ее и разрезала на куски. А другие кошки с таким удовольствием разрывали мясо своего сородича, что было удивительно смотреть.

Я тоже решила попробовать вкус кошачьего мяса, поджарила с перцем и чесноком, а потом стала жевать... и что же, мясо

[1] 1 Мая немцы особенно яростно обстреливали город.

оказалось довольно вкусным, что, пожалуй, не уступит и мясу говяжьему, а вкус — будто ешь курицу.

20.X. Я теперь отлично понимаю, что такое голод. Раньше я себе точно не представляла этого ощущения. Правда, меня немного тошнит, когда я ем мясо кошки, но т. к. я хочу есть, то и противное кажется вкусным. Да я ли одна так голодна? Кто же в этом виноват? Я никогда не была злой. Я всем старалась сделать что-нибудь хорошее. А теперь я ненавижу этих сволочей немцев за то, что они исковеркали нашу жизнь, изуродовали город. Город пустеет.

3 ноября 41 г. Сегодня мы пошли учиться. Как я рада! Обещали кормить обедом и давать 50 гр. хлеба в день без карточек. Учителя все новые...

Бедную мою Сильву хотят усыпить. Жалко.

8.XI.41 г. Вчера был праздник. 24-я годовщина Октября.

Немцы не бомбили, против ожидания.

Пока учусь. По геометрии получила «хорошо». Учительница по русскому все время нас ободряет. Она говорит, что к Новому году война кончится. А правда ли? Сейчас очень тяжело.

А. П. очень злится, что нечего есть. А при чем тут я и мама? Где же мы возьмем? Одна надежда, придется засолить Сильву. Ее надолго хватит. А мне ее жалко.

Что делать?

12.XI. Обед в школе давать прекратили. Все по карточкам. Положение тяжелое. Хлеба, наверное, завтра убавят, получим по 150 гр. У мамы тоже почти ничего не достанешь. Учителя советуют подтянуть кушаки. Город в окружении. Засолили кошку. Сильва еще живет. Вероятно, скоро и ее засолим. От Алика совсем нет писем. Сейчас иду обедать к маме. Покормит или нет? Не знаю.

15.XI. Пока с учебой все благополучно. Имею две четверки и одну пятерку, а троек нет. С едой очень плохо. Сегодня не было во рту ни крошки до 3-х часов. А потом съела одну тарелку жидких кислых щей без хлеба и выпила две чашки чаю с 1 конфеткой за 4 руб. 20 коп. килограмм. Голова кружится от недоедания. А что будет дальше?

Надо все-таки учиться как можно лучше, все это ведь зачтется на дороге предстоящей жизни! Надо мужаться! Быть выносливой и пока терпеть. Другого выхода нет.

13.XII.41 г. Наконец-то я выбрала свободное время, чтобы изложить свои мысли и желания.

Сколько перемен произошло за этот период времени! Сколько бед стряслось! Сколько перенесено тяжких минут!

Мою бедную Сильву украли и съели. О кошках сейчас говорят как о лакомстве (но, увы, их нет). Александр Петрович оказался очень гадким человеком: несознательным, вымогающим из всех все, заботящимся только лишь о себе, лодырем, лицемером, подлипалой и сплетником (в общем, со всеми отрицательными качествами). Я его поняла, поняла его и мама. Но как от него изба-

виться? Он очень зол и может убить ни за что ни про что (как говорят).

Мы собираемся бежать из города (не из боязни бомбежек немцев и голода, а от него чтобы избавиться). Мама болеет, стала как тень. Она все старается для нас с отчимом, сама не съедает, иногда потихоньку плачет. Я знаю, что она беспокоится об Алике, от него нет ни одного письма. Я стараюсь ее поддерживать. Неужели она не выживет? Я боюсь об этом думать. Наша милая и дорогая соседка Пелагея Лукинична уехала. Я рада за нее и желаю ей от души счастья за ее доброту. Ведь это исключительный человек! Она обещала похлопотать и о нашем отъезде. Хочу бросить все! Уехать на юг и там зажить тихой и мирной жизнью, как отшельник!

18.XII. Недавно мне хотелось уехать из города. Уехать и жить как «отшельник». Ну не глупо ли это? А как же учеба? Ведь полгода проучилась! Права ли я, ненавидя отчима? Не могу отдать себе отчета. Почему я забочусь о всех, а он только о себе? Это мне противно. А может быть, голод его сделал таким. Ведь до войны он был другим. Он хотел заменить мне отца! О! Если бы я могла, то придумала Гитлеру жуткую смерть. Он вина всему. Он виновник войны, а война калечит людей.

25.XII.41 г. Сегодня исключительный день! Прибавили хлеба на 75 гр. Мне полагается теперь 200 гр. и также маме 200 гр. Какое счастье. Все так рады, что от счастья чуть не плачут! Отчим сегодня нестерпим. Мне стыдно ему грубить, но я не могу больше. Он съел весь хлеб свой, а потом мамин и мой. Сегодняшняя прибавка для нас не существует.

Ненавижу его! И не понимаю, как можно так подло делать.

29.XII.41 г. Говорят, что счастье не всегда сопутствует человеку. Да, отчасти это верно, но сегодня для меня день счастья! А почему? Рада смерти моего отчима Куклина. Я так ждала этой минуты! Я его страшно ненавидела. Голод раскрыл его грязную душу, и я его узнала. О, это жуткий подлец, каких мало. И вот сегодня он умер. Умер он вечером. Я была в другой комнате. Бабушка пришла и сказала: «Он умер!» А я сперва не поверила, потом мое лицо исказилось в ужасной улыбке. О! Если бы кто видел выражение моего лица в эту минуту, то сказал бы, что я умею жестоко ненавидеть. Он умер, а я смеялась. Я готова была прыгать от счастья, но силы у меня были слабы. Голод сделал свое дело. Я не могла даже хорошо двигаться».

Несчастная девочка как бы сама увидела свою ужасную улыбку... Да, поведение отчима, растерявшего слишком многое под гнетом голода, было прямой причиной ее ненависти. Но улыбка, ужаснувшая саму девочку, также и от потерь, незаметно понесенных и самой Валей. И кошки, которых она потрошила, и покушение семьи на жизнь любимицы Сильвы — все имело значение. Дело не в том, съедобны ли, «вкусны» ли «меньшие братья» наши. А в том, что они тоже наше «предполье». Без них, без человеческого к ним отношения мы не вполне люди...

Судьба животных блокадного Ленинграда — это тоже часть трагедии города. Человеческая трагедия. А иначе не объяснишь, почему не один и не два, а едва ли не каждый десятый блокадник помнит, рассказывает о гибели от бомбы слона в зоопарке. Многие, очень многие помнят блокадный Ленинград через вот это состояние: особенно неуютно, жутко человеку, и он ближе к гибели, исчезновению оттого, что исчезли коты, собаки, даже птицы!..

Ф. А. Прусова вписала в свой дневник услышанное по радио из стихотворения Веры Инбер — то, что она сама видит, переживает: «Ни лая, ни мяуканья, ни писка пичужки».

А вот у Г. А. Князева:

«Я все записываю, что попадает в мой кругозор. Но вот давно уже в мой кругозор не попадает ни одной собаки, ни одной кошки, ни одного голубя... Даже воробьев не вижу, хотя для них пища на улицах имеется. Первых съели. Воробьи, должно быть, померзли от сильных морозов. Правда, одну живую собаку я знаю, это у Лосевой. Она держит ее в комнате, никуда не выводит. Потерявши мужа, она привязалась к своему псу, как к другу. Сейчас она взяла девочку, дочку погибающей О. А. Девочкой она не совсем довольна. Вера у нее временно, но и то делает ей честь, что она взяла ее к себе в такое трудное время».

Нам передали рукопись Ирины Корженевской, и, хотя автор рукописи вполне сложившийся писатель и то, что мы процитируем, уже вполне литература (а в нашей книге это скорее недостаток, чем достоинство), мы в виде исключения приведем несколько отрывков:

«...Хлебный магазин, где я получала паек, находился на углу напротив. Там, как и везде, окна заложены мешками, и продажа идет при свете коптилки. Недавно я заметила, что у входа в магазин сидит овчарка. Шкура и скелет. Она сидит и смотрит на входящих и выходящих, и глаза у нее горят и просят. Но кто может с ней поделиться? Все проходят, не глядя, а она все сидит и сидит. Смотрит на каждого, и на меня в том числе. Однажды я видела, как она шла к своему посту. Она шла на трех лапах. Передняя левая болит. Может быть, вывихнута? Где же ее хозяева? Умерли или выпустили ее, чтобы сама кормилась?

Собачка деликатна. Просит без унижения. Взгляд ее говорит: «Я умираю от голода. Может быть, вы дадите хоть крошку?»

Я приласкала эту собаку и приподняла губу, чтобы взглянуть на зубы. Совсем молодая овчарка. И я поднялась к себе на четвертый этаж. Отпираю дверь, и — глядь — овчарка пришла за мной. Как раз я накануне нашла зеленый хлеб. Придется с ней поделиться. Я дала ей окаменелый кусок, и собака жадно его грызла. Потом я обмыла бутылку и напоила ее теплой водой. Собака ничего не просила, была благодарна, свернулась калачиком и уснула. А ведь не может быть, чтобы она не понимала, что людям сейчас очень трудно...

Сколько времени жила у меня эта собака, я не могу вспомнить. Помню только, что я уходила, а она оставалась. Она не виляла, когда я возвращалась. Может быть, ей было трудно вилять, а может быть, овчарки вообще не виляют. Я была рада, что у меня дома есть кто-то живой и он ждет меня. Иногда я разговаривала с ней, но большей частью мы молча смотрели друг на друга. Я назвала эту собаку Проспером. Проспер значит «Благополучный». Глядя на лихорадочно горящие глаза Проспера, я думала, что может прийти момент, когда кто-то из нас обезумеет от голода и бросится на своего случайного друга, чтобы съесть его. Но пока я в здравом уме, я не могу убить существо, попросившее у меня приюта. Собака же настолько слаба, что, пожалуй, не в состоянии броситься на меня. Кроме того, овчарки благодарны и помнят и обиду и ласку.

Я начала ощущать, как я слабею. Я плохо спала, видела съестное во сне. Поминутно просыпалась и слушала, как тикает в репродукторе. Выключать радио было нельзя — оно предупреждало о налетах. Но ночные налеты случались редко, а днем и вечером немец бомбил всегда в одно и то же время.

Зеленый хлеб кончился, и я возобновила разведку в квартире. Нужно было найти и топливо. Табуретки были уже сожжены, сожжен и мой кухонный столик. Теперь я обратила взоры на большущий кухонный стол ветеринара. Его хватит надолго, но разрубить мне таки будет трудновато, а прежде всего нужно освободить его.

Я выдвинула верхний ящик. Там лежали кухонные ножи, деревянные ложки, каталка для теста... Засунув руку подальше, я нащупала что-то необычное... Это оказался чистый белый узелок величиной с кулак... В нем было что-то сыпучее... Может быть, горох? Я развязала узелок и увидела кукурузные зерна. Вот сюрприз! Но откуда в Ленинграде кукуруза? До войны как-то продавали кукурузную крупу, похожую на манную. Из нее можно было варить «мамалыгу»... Но цельных зерен кукурузы в Ленинграде, пожалуй, не сыщешь... И зачем они здесь, где не должно быть съестного, да еще засунуты в самый дальний угол и завязаны наподобие синьки?.. А ведь если их сварить, они разбухнут вдвое и я смогу протянуть еще два-три дня.

...Я съела всего несколько зерен и дала горсточку Просперу, а утром я разделила кукурузу на две части. Одну отдала Просперу, а другую положила в кулек и после лекций отнесла тете Оле.

...Проспер не выдержал. Зеленый хлеб кончился, кукурузу он съел... И вот дня через два после этого, когда я уходила в институт, он встал и вышел вместе со мной.

— Я не стану тебя удерживать, — сказала я ему. — Но право же, у меня тебе все-таки лучше... Я наверняка не убью тебя, и в моей комнате немного теплей, чем на улице... Мне будет без тебя грустно...

Все-таки он ушел. Я видела, как, пошатываясь, он поплелся к помойке. Наивный пес!»

«Внизу, под нами, в квартире покойного президента, упорно борются за жизнь четыре женщины — три его дочери и внучка, — фиксирует Г. А. Князев. — До сих пор жив и их кот, которого они вытаскивали спасать в каждую тревогу.

На днях к ним зашел знакомый, студент. Увидел кота и умолял отдать его ему. Пристал прямо: «Отдайте, отдайте». Еле-еле от него отвязались. И глаза у него загорелись. Бедные женщины даже испугались. Теперь обеспокоены тем, что он проберется к ним и украдет их кота.

О любящее женское сердце! Лишила судьба естественного материнства студентку Нехорошеву, и она носится, как с ребенком, с котом, Лосева носится со своей собакой. Вот два экземпляра этих пород на моем радиусе. Все остальные давно съедены!»

Вот так же «носилась» с живым существом и еще одна женщина, Маргарита Федоровна Неверова, а потом произошла трагедия. Да, трагедия, если и спустя три с лишним десятилетия воспоминание об этом мучит человека, саднит душу.

«...Я вышла из дома. Пошли мы с моей собачоночкой, вот такой маленькой, за хлебом. Вышли. Лежал старичок. Вот у него уже так молитвенно три пальца сложены, и он так, замерзший, лежал в валенках.

Когда мы пришли в булочную, хлеба не было, моя собачоночка вдруг меня носом тык-тык-тык в валенок. Я наклонилась.

— Ты что?

Оказывается, она нашла кусочек хлеба. Мне отдает его. Причем я, знаете, как ворон, вскочила, хлеб зажала. А она на меня смотрит: «Дашь ты мне или не дашь?» Я говорю:

— Дам, миленький, дам!

А я из этого хлеба такую похлебку наварила, что вы даже не представляете, как мы с ней угощались!

А обратно мы шли — этот старичок уже лежал без валенок. Ну, оно конечно, ему на том свете валенки ни к чему, — я понимаю... Да, вот уже крест сложил и не донес, бедняжечка.

Перед войной было очень много птиц в комнате там всяких...

— Канареек?

— Нет, канареек не было, только лесные были. В общем, у нас было 18 аквариумов шестиведерных с рыбами разными экзотическими (это было хобби мужа), а я двадцать четыре птицы завела, сто восемьдесят горшков с цветами у нас было...

— А сколько у вас комнат было?

— У мужа — три, а у нас — одна была. У нас было шесть собак. Потом, правда, пять раздали, потому что такие собаки были породистые. Оставили вот только нашего маленького фокстерьерчика Зорю. Потом ее наш сосед сожрал.

— Украл, да?

— Нет, хуже, чем украл, за горло меня схватил и... Вот когда дом начали ломать, надо было вещи мне куда-то переносить, а я — сами понимаете — не могу. Вот только единственно на детских саночках возила книги сюда. Так вот за то, что он помог мне перевезти крупные вещи, он взял буфет, оттоманку, шкафы...

Я уже сейчас даже ие помню что... и иа закуску — собаку, чтобы я ему скормила. А собака-то была маленькая, там и есть-то иечего было. Оиа была настолько голодная, что у нее вообще ничего не было. Ну вот, вы поиимаете, зто собака, которая с колен у меня не уходила, а особеиио в блокаду; все-таки какое-то тепло от меня исходило...

— И все-таки отдали вы собачку?

— Вот я долго сопротивлялась, потом говорю ей: «Зорик, ну все равно, ну пойдем». И так загадала... (А он уже и оттоманочку перевез к себе, все перевез...) Я ему говорю: «Сеия, ну возьми еще что-нибудь... икону, возьмн икону. Только не бери собаку. Пусть она умрет смертью. Все равно уж она... Есть ведь ей нечего».

И вот характерный случай. Пришли... Я загадала... Если оиа встанет и пойдет — я ее заберу. Черт с ним, пусть у него вещи останутся, пусть все там валнтся... (И я бы не держалась за вещи, еслн бы я знала, что муж не вернется. Господи, сколько мне надо!.. Я к вещам до снх пор равнодушна.)

А вот, преставьте себе, она пришла, села. Я встала, пошла к дверям — она даже не повернула головы. Я дошла до порога... Она отвернулась от меня (вот так) и не шевельнулась! Я вышла за двери — ну вот на один марш я спустнлась — и сразу вернулась. Говорю: «Сеня, отдай собаку! Бери что хочешь, или... ие надо... пусть, не помогай мне ничего...»

— «А я, — говорит, — ее уже убил...»

Вот вы знаете, вот зто первый раз за войну я ревела. Я не плакала... Я мужа провожала, а ие плакала. Я как-то окаменела... А тут я...»

А что, если потому отвериулась собачка, что поияла — предала ее хозяйка?

А может, просто жертвовала собой — ради хозяйки, раз ей это иужно?..

Сколько лет прошло, а мучит зто Маргариту Федоровиу — по патуре женщину жизнелюбивую и ко миогому относящуюся иронично.

У нас записан рассказ работника Эрмитажа Ольги Эрнестовны Михайловой — о том, как девушка отравилась, увидев, как ее мать потрошила домашнего любимца — кота. Вот что для человека оставалось мерой нравственного и безнравствеиного в условиях, когда, казалось, мера зта могла резко снизиться. И снижалась — для других людей. Романтик н в то же время трезвый историк — Г. А. Князев записывает:

«...Даже в лоне семьи некоторые не доверяют друг другу и держат, например, хлеб при себе в запертом портфеле. Подглядывают друг за другом. Грызутся, как голодные собаки, из-за куска. Как скоро может скатиться человек с вершин культуры до своего первобытного звериного состояния!»

Еслн зто правда, то и другое тоже правда: в тех же условиях другие люди сумели сохранить себя, не допустить себя до «звериного состояния». По-разному превозмогали условия, самих

себя. Некоторые потом все-таки не выдерживали. Но и не выдерживали тоже по-разному...

«...Поэтому я глубоко убеждена, — говорит Михайлова О. Э., — что, кто был приличный, кто был порядочный, тот и остался порядочным. Кто был непорядочный, в том, безусловно, все черты человеческие, отрицательные, они, наверно, развивались.

Тут очень много что можно сказать, и разные чувства обуревают тебя, когда ты вспоминаешь. Обуревают и чувства тяжелые, и чувства радостные, потому что в это тяжелое время все-таки встречались с такими удивительными людьми. Как я сказала, в то время люди были как бы голенькими, их сразу можно было почувствовать, увидеть. Все раскрывалось. И вот это было счастье общаться с прекрасными людьми.

И вот еще такой случай с моей подругой детства, которая жила в нашем доме. Она покончила жизнь самоубийством.

— Не выдержала?

— Она сама пошла в Публичную библиотеку, прочла там какие-то книжки, составила яд. Не буду называть ее фамилию. Она дочь когда-то известного ученого (он умер до войны). Почему она это сделала? Потому что осталась с матерью. А у них был кот большой. И мать съела кота собственного, которого они обожали, любили его, до войны все было для него. Вы знаете, как иногда животные становятся такими маленькими божками в семье!

Когда она увидела, что ее мать съела кота, она подумала, что уже все кончено, в жизни все кончено, что принципы, которые раньше были, какие-то нормы у них в семье, они рухнули, и даже сама любимая мать это сделала, самый близкий ей человек. Вот такие вещи были. Она тоже была доведена до дистрофии, но вот силы, моральные устои у нее все же оказались сильнее, чем у матери. Очевидно, она понимала, что это уже деградация внутренняя идет, идет все дальше, дальше и дальше. В общем, для нее была трагедия увидеть мать в этом свете.

— А мать знала, почему она покончила с собой?

— Я не знаю, но думаю, что мать, несмотря на то что она оплакивала свою дочку и теде, до конца этого не понимала. У некоторых людей совершался маразм на почве дистрофии, если у них были какие-то предпосылки, как я говорю, в худшую сторону от природы. Вот тут эта дистрофия и на почве дистрофии другое, будем его условно называть — маразмом. Я думаю, что мать не понимала. Ее вот дочь точно понимала. Я с ней виделась уже после того, как мать съела кота. Она мне это рассказывала с ужасом: «Ты понимаешь! Мать съела кота, Максима съела! Содрала кожу и съела, и все собственными руками. И предлагала мне!!!»

И по тому, как она мне это рассказала, для меня было ясно, что это тупик был».

По-разному люди видели, ощущали надвигающийся тупик. И по-разному вели себя: не в силах были удержаться и приближались к нему или же спасались от него — тоже по-разному.

Да, та девушка не выдержала. Но по-человечески не выдержала, а не по-животному.

Князев ее, пожалуй, понял бы. Хотя у него запас прочности больший. Больше аргументов в пользу борьбы до последней возможности, больше веры в себя, в человека.

Не только спасали животных, но и спасались сами через животных, детям детство их возвращали. Ведь Ленинград-то был после сорок второго года лишен какой-либо живности. Ни кошек не было, ни собак, ни птиц — ничего. Сохранился только один уголок в городе, не чудом сохранился, а любовью нескольких человек. Об этом удивительные вещи рассказала нам Мария Мечиславовна Брудинская:

«— Мне надо было прежде всего подготовить животных, животные не подготовлены совершенно. Надо было как бы дрессировать, чтобы они производили какое-то впечатление. Прежде всего нужно было текст какой-то выработать, чтобы рассказывать ребятам. Клетки сама я делала для животных, чтобы можно было ехать.

Была у нас маленькая полупони, такая лошадка маленькая — Мальчик. И Тимоша — не сторож, а конюх, но хороший по душе человек, который соглашался с нами ездить. Ведь все надо было грузить. И вот мы стали возить этих животных. (То, что вы видели на рисунках на фотографиях, — это роскошь, это уже в самом конце, когда у нас была машина.)

Вот мы устанавливали эти клетки, привязывали их. И там мы втроем — Тимоша, я и вот Тамара Семеновна — ехали в те точки (как я называла), куда я получила договора. Вот приезжали. Нас встречали очень хорошо. Но не думайте, что мы ждали какой-то поблажки в смысле еды. Нет, там все было учтено, так что ничего не обламывалось, грубо говоря, нам.

— Это сорок третий год?

— Да, в сорок третьем году. Выбирали большую комнату, расставляли этих животных. Дети шумели, потому что для них это было...

— Они не видели ни собак, ни кошек?

— Да, да, да. Глаза огромные. Они сидели, смотрели. Ну, я маленькую такую вступительную лекцию читала им, а потом, значит, показывали: собачки танцуют, лисичку можно потрогать (она не кусалась). Чем ее кормить — они не знали, суют ей конфетку-крошечку, которую им дали.

Ну, вот у нас эта обезьянка Инка, — она была довольно свирепая, так что к ней вообще трудно было подступиться.

Ну, вот потом, когда все это представление кончалось, мы опять все укладывали. И вот один раз мы ехали по Невскому и в страшный обстрел попали. И вы знаете? Не о себе тут думаешь, а как спасти животных. Мы проскочили во двор (по-моему, здания Публичной библиотеки), у них большой двор. Мы встали под арку. Я как раз наклонилась к этой клетке, где сидела обезьяна Инка, а она, злодейка, вместо благодарности, почувствовав, что что-то темно, что-то необычно (они ведь очень реагируют на все

это), и она начала меня щипать и драть халат, который на мне был. Ну, уж тут приходится терпеть!

Все-таки выбрались и уехали. Это кончилось благополучно. А раз мы вдвоем ехали к Рукавишниковой (так ее фамилия). И только мы поднялись, вот памятник Суворову, а это, значит, Троицкий мост, и о чем-то разговаривали, и вдруг какой-то шум — мчалась пожарная машина и не заметила эту несчастную тележку, а там у нас утки были, там у нас были курицы, цыплята какие-то, — т р а х! И мы оказались все на земле. Она сломала у нас оглоблю.

— А вы на пони ехали?

— Да. Ехали одни. Я левой рукой всегда правлю. Мальчик испугался, потянул меня вперед дальше. Я только ушиблась, но не растерялась, взяла его, он дрожал. Настолько был сильный удар, что у него слетела даже подкова с задней ноги. Привязали его к первой попавшейся скобе и начали собирать. И можете себе представить: вот эта самая тележка, и эти кудахчут, шум. Народа мало очень, бежит кто-то, но он же не может нам помочь. А ведь это же как собственность, это как ценность, за нее ты отвечаешь.

Вот я собрала все в кучу (Рукавишникова мне кое-как помогала). Надо было оттащить от дороги куда-то в сторону. Я оттуда, с Троицкого этого моста, тащилась с этим Мальчиком в зоосад, чтобы дать знать, что мы вот хоть и потрепались, но целы. И оттуда уже за нами приехала телега большая, которая подвозила корм для животных. И все это хозяйство забрали.

— Скажите, а дети младшего возраста животных не знали?

— Не знали. Откуда они могли знать? Там же малыши. И школьники почти не знали, уже забыли. Собак ведь не было совсем — их съели, — ни голубей, ни собак, ничего живого.

— Скажите, а вот как зоопарк уцелел, выжил в сорок первом, сорок втором году?

— Запасы были. Ведь у нас же там Удельнинский парк. Косили сено. Слон в сорок первом погиб. Бомбежка была, и его ранило. Очень потом жалели и ругали (это уже когда я поступила туда), ругали, что не сохранили мяса, — могли его засолить или еще как, а его закопали, и так колоссальное количество мяса пропало. А вообще, несмотря на голод, несмотря на обстрелы, в зоологическом саду животные не погибли. Нет, нет. Вот заболел и умер своей смертью тигренок. Большинство животных отсюда было вывезено, не помню точно, кажется, в Саратов. А часть осталась. Не могли вывезти слона и не могли вывезти огромную бегемотиху Красавицу.

— Она выжила?

— Выжила. Она умерла собственной смертью уже мафусаиловых лет.

— Не покушались потом на ее мясо?

— Нет. Бывало, по-моему, не на мясо, а на корм для нее покушались.

— Но она же травоядная?

— Но тогда и трава шла. Вы знаете, что я вам хочу сказать: она больше всех нам доставляла мучений. Она ведь не может жить без воды — у нее трещины на коже делаются. Там, сзади зоопарка, есть такой канал, и нам приходилось просто на саночках возить воду без конца. Это был тяжелый для нас наряд, прямо, знаете, по очереди нас заставляли это делать. И вот несколько раз в день ее обливали, смазывали (если не съедали) всякими животными жирами.

А так, понимаете, этот зоопарк был на балансе на продовольствии в городском Совете, так что обезьянам выделяли витамины (как там доставали — я просто не знаю).

Отопление тоже было для нас очень трудным. Я жила на Васильевском острове. Так всегда я шла из зоосада (ну, конечно, с противогазом, само собой) с вязаночкой каких-нибудь дров, щепок — все маленькие кусочки, но чтобы прийти домой и подтопить «буржуйку».

Ну что еще я вам скажу? Потом мы организовали катание детей на пони. Там оставались два пони. Сбруи не было — коекакая, рваная. И я сама шорником была: шила седельники всевозможные, хомут обтягивала, все это делала. Тележка наряжена была. И вот Тимоша, наш знаменитый Тимоша — мы его все страшно любили... Тимоша—это старичок, который нам помогал. И вот он возил этих ребятишек, и, конечно, это страшная радость.

Тяжелое впечатление, конечно, производили эти самые посещения раненых в лазаретах. Это ужасно прямо было. Ведь они, понимаете, прикованы иногда к кровати, с ужасными ранениями, и все-таки улыбались. А эта улыбка так дорога была! Не нужно было ничего, лишь бы только он улыбнулся.

— На вашу обезьянку?

— Конечно, уже старались, выворачивались, чтобы как-нибудь идти к ним на встречу.

Много детей стекалось к нам. Знаете, что принимали мы только тех, которые хорошо учились, чем-либо отличались, помогали старшим или что-нибудь еще. И они охотно шли, очень охотно. А работа тоже была такая, что они должны были убирать зоосад, помогать в кормежке, а главным образом наблюдать данное животное, записывать. Мы выезжали с ними в Удельнинский парк, наблюдали перелет птиц или животных мелких этих.

Вы знаете, холодища эта, щели, промерзший потолок, иней. И ребята — юннаты — и мы все-таки что-то такое делаем. Не думаем о каком-то хлебе, а о хлебе духовном, тут у нас и Брем «Жизнь животных»...»

Чем люди живы?

Голод терзал, насмерть убивал детей на глазах у ленинградских матерей. И дети видели муки своих матерей, но поняли их

по-настоящему, может быть, лишь спустя много лет, когда сами стали матерями, отцами.

> Магдалина билась и рыдала,
> Ученик любимый каменел,
> А туда, где молча мать стояла,
> Так никто взглянуть и не посмел.
>
> *Анна Ахматова*

У нас имеется несколько записей, где одновременно и об одном вспоминает мать и ее ребенок, теперь уже взрослый человек. Вот один из таких современных рассказов Ольги Ивановны Московцевой и Валентины Александровны Гавриловой (дочь будем называть Валя, хотя она уже давно взрослая).

«Ольга Ивановна:

— Я в охране была, и нам разрешили дрова брать. Попрошу одну соседку, вторую, наберем дров — они тащат, я тоже дотащу до дому и скорей на дежурство. Потом эти дрова расколем — и на рынок, там рядом рынок был, Клинский. Мне-то самой нельзя стоять продавать. Я Валю поставлю. Я привожу ее на тележке еле живую, чтобы она только стояла около этих дров, чтобы чувствовалось, что есть человек. А я наблюдаю стою. И вот, знаете, один раз такой посчастливился нам день: подошла ко мне женщина и сказала: «Я, — говорит, — вам дам килограмм крупы».

Валя:

— Пшена, килограмм пшена!

Ольга Ивановна:

— «Пшена кило. Никому не говорите. Я вам свою квартиру не покажу. А только вы мне к дому подвезете и свалите эти дрова». А мне нужно и дрова везти, и Валю тащить на санках,

— Вы дрова везли, а ее посадили наверх?

Ольга Ивановна:

— Да, она не ходила. Ну, довезли. Дали нам эту крупу. Куда ее девать? Валя кричит: «У нас отберут, у нас отберут эту крупу!» Я говорю: «Ладно, давай запрячем тебе за пальто».

Валя:

— Тогда отбирали.

Ольга Ивановна:

— Да, бывало. Ну, я ей крупу сюда запрятала и говорю: «Садись в санки, а лучше ложись. Я тебя повезу домой». И вот мы привезли крупу домой. Уж Валя эту крупу берегла, ведь она за хозяйку у меня была. Я приду с работы, она нальет мне супу и считает, сколько крупин. До того досчитается, что суп холодный. Я заплачу, мне тепленького хочется с улицы, а она все считает: «Доктор мне сказал, чтобы ты не откусила лишний раз от меня, ни я, чтобы было поровну. Тогда будем живы». Знаете, с головой у нее что-то было — она была как ненормальная.

Валя:

— Да, я была ненормальная.

Ольга Ивановна:

— Как ненормальная: у нее ни памяти не было, ничего.

— А это какой год был? До Ладоги?

Ольга Ивановна:

— Да, да, да. До Ладоги, я еще не работала на Ладоге. На Обводном был оборонный завод, там муж работал. Меня и взяли туда в охрану — я уже больная была, у меня была третья группа инвалидности. Вот отсюда дрова и брали. Это до Ладоги было.

Валя:

— Тогда давали шроты, дуранду...

Ольга Ивановна:

— У меня шерсть была, я вязала чулки, повару отдавала. Что было, я все ей давала, а она мне луковичку даст, шелуху отдаст. Из шелухи я делала котлеты картофельные, из дрожжей суп дрожжевой делала. Потом клею мне дали. Из клея сделала студень (клей вот этот, которым клеют). Я не могла есть, а Валя ела. Она ела с удовольствием этот клей как студень.

— А насчет крупы это ей врач внушил в больнице?

Ольга Ивановна:

— Да, да. У нее с легкими было неблагополучно, все время с легкими было неблагополучно. И вот, значит, врач ей давал соевое молоко. Придет она и делает вроде кофе. Я хочу, чтобы она съела, а она — чтобы я. Вот сидим спорим. Она мне: «Я не буду есть, умру — тогда и ты умрешь. А если я буду есть, а ты нет — ты умрешь тогда, но и я без тебя». Мне приходилось уступать ей и все делить поровну. И потом: продукты получала она. Вот вижу — половиночка конфетки осталась. Я говорю: «Валя, почему ты это не съела?» (Я все хочу, чтобы она побольше меня ела.) Она мне: «Нет, нет, что ты! Я только половину конфеточки. Доктор сказал, чтобы мы все поровну ели, все поровну. Тогда мы будем с тобой жить».

Валя:

— Относительно того, как спастись в таких условиях, по радио Ленинградскому, например, говорили: «Не ешьте сразу свои сто двадцать пять граммов, делите пополам». У меня хватало сил делить пополам. Я за окно почему-то прятала, за раму, потому что крысы были, мыши. Это поначалу. А потом уже ни мышей, ни кошек, ни собак — ничего в Ленинграде не было. И вот я делила так: кусочек съедала утром, кусочек вечером. Я прислушивалась к тому, что говорили по радио.

Ольга Ивановна:

— У нас был котенок. Я говорила — унесите его куда-нибудь. А крестный пришел и говорит: отдайте его мне, я его съем. А Валя как заплачет: «Что ты говоришь! Кошечку хочешь съесть!» Потом я уговорила соседку, она кондуктором работала. Я говорю: «Слушай, Катя, скажи Вале, что снесешь кошечку в столовую, она там будет жить, ее кормить будут, а потом ей вернут. Но только туда нельзя ходить, нельзя смотреть. Кончится война, и тебе тогда вернут». Уговорили.

Валя:

— И еще запомнилось: мне очень хотелось жить. Я так хотела жить, так велика была сила эта, что я была готова подчиняться всему, что говорили, всем советам, только бы выжить! Просто удивительно как-то! Еще мне запомнилась продавщица, которая выдавала нам паек. Были случаи, когда не выдавали пайка: не было муки или хлебозавод не выпустил хлеба по каким-то причинам. Даже такие случаи были! А вот когда все было благополучно и хлеб привозили, это были очень большие буханки. На меня производило впечатление, что они очень большие были. Но они были мерзлые. И продавщица не могла буханку хлеба разрезать ножом, она ее рубила топором. Это я очень хорошо помню. Булочная находилась в нашем доме, в доме семьдесят шесть. Тут мы и блокаду пережили. И вот она топором рубила эти буханки, чтобы отрубить маленький кусок — сто двадцать пять граммов. Вперед не отоваривали, потому что мало было в Ленинграде таких возможностей, чтобы вперед отоваривать. И у меня тогда была мечта: «Мама! Неужели мы доживем до того времени, когда в булочной будут полные полки хлеба?!» Мне не верилось, что такое будет время. Я не мечтала о каких-то булочках, хотя бы только хлеба были полные полки. И я говорила: «Какие же мы будем счастливые, когда мы доживем до этого!» Я дожила до этого времени, увидела полные полки хлеба... Но до сих пор мы сушим сухарики, не выбрасываем хлеб.

Ольга Ивановна:

— Она говорила, что мы будем очень богато жить, когда у нас будет вдоволь хлеба и соли (ведь и соли тогда не было), будем с тобой пить кипяток с солью и хлебом!

Валя:

— И еще такой момент я запомнила. Мы жили рядом с Варшавским вокзалом: Московская застава, много заводов, рядом Бадаевские склады. Поэтому и бомбили очень сильно этот район. Пулковские высоты недалеко, и Московский район принимал все эти снаряды. Как только начинали бомбить, я себя считала счастливой, что живу в первом этаже, потому что сверху все бежали к нам прятаться. Обычно первый этаж считался плохим: темновато там, сыровато, а во время войны это было большое счастье. Это, может быть, нас спасло, потому что в наш дом много снарядов попадало в четвертый этаж, в третий, и тогда все бежали к нам спасаться. Мама меня в этот момент так наряжала: она снимала с меня мое детское пальто и надевала свое, потому что оно было из бостона, с меховым воротником и было все-таки подороже, чем мое детское. Она вешала мне мешочек на шею и туда клала карточки и свои и мои и говорила: мало ли что может случиться, на первое время, на первый месяц у тебя будут карточки, ты мои вещи продашь, мое пальто и как-то просуществуешь, а может быть, блокаду прорвут, и ты сумеешь эвакуироваться...»

Ленинградская женщина... Она жила чуть дольше, чем могла жить, если даже потом смерть, иссушив, сваливала. Ее «задержи-

вала» — на день, на два, на месяц — мысль, страх, забота о ребенке, о муже...

«И вот, знаете, другой раз я чувствую, что слабею, слабею. Совсем руки, ноги холодные. Батюшки! Я же умру! А Вова? И, знаете, я вставала и что-то делала. Этого я просто сейчас объяснить не могу» (Александра Борисовна Ден).

Многие из них только благодаря этому и сами выжили — вопреки научным подсчетам, что, мол, лежащий неподвижно теряет меньше калорий, чем тот, кто ползет на заледеневшую Неву за водой, через силу тащит на саночках дрова, сутками стоит в очередях за хлебом для ребенка... Тут и наука должна была что-то пересматривать или вспоминать забытое. «Мне надо было принести продукты на себя и еще на пять человек, которые сидят и ждут меня, нужно было принести ребенку соевое молоко, мне нужно было пойти получить карточки на жителей дома; вообще мне все время приходилось ходить, и, вероятно, поэтому я выжила. Я почти не отекала. По-моему, я в блокаду лежала один день» (Ольга Иосифовна Рыбакова, инженер, работала управхозом: ул. Кутузова, 12).

Е. С. Ляпин, доктор физико-математических наук, профессор математики, сам все это и наблюдавший и переживавший, высказался так:

«Но один момент я все-таки отмечу, ибо он для нас сыграл свою роль, да и для многих людей тоже. Я говорил с врачами в этот период, и потом они это подтвердили. Ведь нормально люди себе представляли, что человек — это вроде печки: пока дрова подкладывают — печь горит, если нет дров, их не подкладывают, дрова сгорели — и печка потухла! Ну а человеку подкладывают там всякие калории, на этих калориях он живет, действует. А когда их нет, то расходуется то, что накоплено в организме: жировые отложения, мускулы. Он все это съедает. Когда у него все «сгорело» (всякий физик знает энергосистему), нечем двигаться — он умирает. Но часто человек умирал тогда, когда в его организме какой-то еще небольшой запас калорий — в физическом, примитивном смысле — оставался: печка работать еще могла, а он умирал. Человек-то все-таки не печка. Человек очень сложное устройство, необычно сложное. В этом отношении важную роль играло то, как человек себя вел, насколько он мог бороться. Я помню людей в начале голода, которые перестали мыться, перестали бриться. Если получали по карточкам, то тут же, в магазине, все съедали сразу. Если давали на три дня, они съедали все в один день, а потом у них ничего не было. И это не ужасные, безвольные люди, нет, нормальные, хорошие люди. Они исходили из принципа той же самой печки: на движение человека тратятся калории, калорий не хватает, надо лежать, лежать столько, сколько можно. Не надо шевелить пальцами, надо лежать. И это было ошибкой, потому что человек не печка. Правда, идешь по комнате, тем более умываешься, тем более холодной водой, тратишь на все это какие-то калории. А на самом деле

так ты продолжаешь оставаться человеческим существом, которое в какой-то степени функционирует.

Надо сказать, что многие люди в этом отношении стали на позицию соблюдения жесткого режима, конечно, режима, соответствующего тем условиям, которые были, но это было твердо на каждый день. Для тяжелого периода блокады обед состоял из кипятка, в котором размачивали пятьдесят граммов несъедобного хлеба. Ели из тарелки ложкой. Можно подумать, что я о пустяках говорю: не все ли равно, когда съесть свои сто двадцать пять граммов, размачивать хлеб или нет, есть ложками или так. Нет, и это было важно. Надо было создать какой-то ритм, похожий на жизнь нормального человека. Это я знаю по себе, знаю по своим близким, знаю и слышал от врачей, которые могли наблюдать все это в массовом порядке. Конечно, это не гарантия; естественно, что в конце концов никакой режим не действует, если человек не получает пищи, рано или поздно смерть его захватит.

Повторяю, это не гарантия, но это отодвигало насколько можно гибель. Надо сказать, что я свои мысли, свои чувства старался держать в норме; опускаться так, как опускались некоторые люди, — это было неправильно и ошибочно».

...У нас имеются два дневника — матери и сына Прусовых. Дневник матери, Фаины Александровны, особенно интересен: медицинская сестра, писавшая его, не только яркая личность с трагической материнской судьбой, но и человек с литературным даром. Она и сыну подсказала записывать. Когда студента-медика мобилизовали в армию, она взяла толстую тетрадку, сказала: «Записывай туда самые интересные вещи, потому что есть такая фраза: «И плохие записки современников ценны для потомков». Есть в записках ее сына врача Бориса Прусова странички, затрагивающие ту же проблему калорий — пищевых и, так сказать, «духовных калорий».

«Моя мама Прусова Фаина Александровна была медицинской сестрой с довольно большим стажем. Работала когда-то операционной сестрой у профессора Грекова в Обуховской больнице. И потом работала в хирургии в больнице Софьи Перовской. Благодаря нашей маме мы и выжили, потому что как-то она поднимала дух всех нас. Мы не опускались: мы мылись элементарно, делали себе какую-то ванну. Причем очень интересно, что у нее была своя теория, которая, кстати, подтвердилась жизнью: не залеживайтесь, не залеживайтесь! Когда я как медицинский работник пытался ей возражать: «Мама! Когда ты лежишь, то ведь энергии тратится меньше, питания ведь надо меньше», — она говорила: «Это парадоксально, но факт: кто ходит — будет жить и работать. Ходите!» Когда я совсем выбился из сил (это в сорок втором году) и уже не хотел ходить в институт, то сестра и мать сказали: «Ты должен кончить медицинский институт. Ходи! Если ты не будешь ходить, ты умрешь!» И я ходил. Я хо-

дил от Марсова поля до площади Льва Толстого ежедневно туда и обратно и еще делал квартирные вызовы и принимал больных в больнице Софьи Перовской.

Вот такая была мама. Кто бы к нам ни пришел, у нас всегда было чисто. Стол всегда был накрыт скатертью. Как-то всегда было весело. Все убрано, аккуратно, чисто. И вот эта самая чистота, вот эта самая дисциплинированность матери — она передавалась нам. И это, по-моему, помогло нам выжить. Мать никогда не давала нам падать духом... Паек делился, каждому давалась порция, причем, как они уже потом признались, мама с сестрой в самое трудное время больше давали мне, не знаю почему. Но вот что самое интересное: мама считала, что у нее в комнате чисто, всегда вымыт пол, все блестит, но когда уже сняли блокаду и она сняла затемнение (шторы), дали электричество, она посмотрела на обои и сказала: «Господи, господи! До чего же я себя обманывала! Все-таки в какой грязи я жила...»

Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн:

«5 мая. Я после бюллетеня вышла на работу. Завод выпускает новый военный заказ. Народу мало. Из старых рабочих почти никого нет. Вымерли, а часть уехала... Я осваиваю новые детали. Все хожу еще в зимнем пальто. Настоящий заказ гораздо интереснее прошлого. Во-первых, разнообразие деталей и гораздо точнее, притом из цветного металла. Сегодня привезли в столовую икру из дуранды, мне дали один килограмм. Раньше я бы в рот не взяла, а теперь мне это кажется очень вкусным.

13 мая. Пошла Эдика навестить... Вечером слушаю сообщение Информбюро, затем иду в булочную, выкупаю 250 граммов хлеба и, если есть, масло. Помажу на хлеб и наслаждаюсь. Затем ухожу на работу. Придя с работы, разогрею чай, напьюсь и ложусь спать. Я работаю самостоятельно, заменяю и мастера и контролера, подсобницу, нарядчицу и др.

Сегодня мы проводили заводское собрание. Подвели итоги мая месяца. Задание мы выполнили.

Сегодня была врачебная комиссия. У меня признали дистрофию первой стадии. Стали отбирать самых больных дистрофиков на усиленное питание. Я не мечтаю попасть. Десны у меня уже выровнялись. Я даже удивилась, что я так легко отделалась и зубы на месте остались. Сегодня нам дали по одному литру соевого молока.

10 июня. Ко мне подходит парторг и говорит: «Вот тебе справка, и пойдем скорее к врач ». — «А зачем?» — «На усиленное питание»...»

Ленинградская женщина отчаянно и бесстрашно сражалась против голода. Это был ее фронт. Те, кто выжил в Ленинградс, обязаны не только войскам, не только «Дороге жизни», но и женской стойкости, женскому терпению, выносливости, женской силе и, наконец, ее любви.

А ведь как ей хотелось и тогда быть не самой сильной и выносливой, а «всего только» женщиной, которую кто-то бы и по-

жалел. Иногда так невмоготу ей было изображать и самую сытую и самую здоровую в семье...

«Вот я вспомнила такой случай. Давали одно время вместо сахара так называемые соевые батончики. Ну, там было не столько сои, сколько... я не знаю, что там было. И я их делила между нами тремя. И я помню случай или два, когда я им свою порцию отдавала и выходила в коридор. И один раз я вышла в коридор и заплакала. Знаете, вообще-то я и до сих пор довольно равнодушна к еде: есть так есть, нет так нет. А вот тогда... До сих пор помню, как я вышла в коридор и заплакала» (Александра Борисовна Ден).

Ей, женщине, матери, жене, приходилось быть сильнее, выносливее, мужественнее самой себя.

Ленинградские дети

«— Я выхожу со двора своего, рядом с Генеральным штабом, и вижу — около калитки, совсем прижавшись, сидит мальчик. Мне показалось, что ему лет шесть. Я спрашиваю: «Что ты здесь делаешь?» Он говорит: «А я пришел сюда умирать». — «Умирать? Ты смотри, какой ты, — раз ты смог сюда прийти, ты не умираешь! И где ты живешь?» — «Я живу на Мойке. У нас очень темный двор и квартира очень темная. А здесь вон как светло. (Это на Дворцовой площади.) Я пришел сюда умирать». Ну, я со своими девочками взяла его к себе в архив. Мы его напоили теплой водой, какие-то корочки ему дали. И клею столярного, вот этого самого. И он нам сказал: «Если я останусь жив, я всегда буду есть этот клей».

— А сколько же ему было лет?

— Мне казалось, что ему лет шесть. А ему оказалось одиннадцать. Я его спросила: «Ну почему ты пришел сюда? У тебя никого не осталось?» Он сказал: «А разве ты не понимаешь? Если бы у меня кто-нибудь остался, я не пришел бы. Папа на фронте, мама умерла, лежит. Сестренка умерла». Ну, я отвела его в детскую комнату и сказала его адрес (он знал свой адрес), они туда пошли. А больше я о нем ничего не знаю». (Из рассказа Л. А. Мандрыкиной.)

«Ленинградские дети»... Когда звучали эти слова — на Урале и за Уралом, в Ташкенте и в Куйбышеве, в Алма-Ате и во Фрунзе, — у человека сжималось сердце. Всем, особенно детям, принесла горе война. Но на этих обрушилось столько, что каждый с невольным чувством вины искал, чтобы хоть что-то снять с их

детских плеч, души, переложить на себя. Это звучало как пароль — «ленинградские дети»! И навстречу бросался каждый в любом уголке нашей земли... До какого-то момента они были как все дети, оставались веселыми, изобретательными. Играли осколками снарядов, коллекционировали их (как до войны коллекционировали марки или бумажки от съеденных конфет). Убегали, прорывались на передовую, благо фронт рядом, рукой подать. Азартно закидывали песком в своем дворе немецкие зажигалки, словно это новогодние шутихи.

«Едем дальше, до Обводного канала, — вспоминает бывший водитель трамвая Анна Алексеевна Петрова, — здесь, на мосту Ново-Каменном, дети метлами сметают бомбы в Обводный канал, прямо в воду...»

Калягин И. В.: «Ну, мальчишка решил, что, если побегу кругом, кричать, никто не услышит. Побегу кругом — дом загорится. Он решил прыгать с большого дома на нижележащий дом.

— Сколько этажей?

— С четвертого на двухэтажный. Два этажа. Что думать? Он прыгнул и зажигалку выкинул. И тоже фамилия затерялась».

А потом они становились самыми тихими на земле детьми.

«Сидим мы, и вокруг нас, вокруг школы, разорвалось шестнадцать снарядов! Стекла все выбиты. Мальчишки все за меня вот так пальчиком держались. Вы понимаете почему? Очевидно, я... Я чувствую, что я дрожу. Я напрягла все силы, чтобы, понимаете ли, вот эту дрожь убрать. И вы знаете, мне это удалось! Вы знаете, вот я напрягла все силы! И потом я себе внушила, что я сейчас не в Ленинграде, что я сейчас в Молодине у мамы, что все совсем хорошо» (Рогова Нина Васильевна).

«Впереди меня стоял мальчик, лет девяти, может быть. Он был затянут каким-то платком, потом одеялом ватным был затянут, мальчик стоял промерзший. Холодно. Часть народа ушла, часть сменили другие, а мальчик не уходил. Я спрашиваю этого мальчишку: «А ты чего же не пойдешь погреться?» А он: «Все равно дома холодно». Я говорю: «Что же ты, один живешь?» — «Да нет, с мамкой». — «Так что же, мамка не может пойти?» — «Да нет, не может. Она мертвая». Я говорю: «Как мертвая?!» — «Мамка умерла, жалко ведь ее. Теперь-то я догадался. Я ее теперь только на день кладу в постель, а ночью ставлю к печке. Она все равно мертвая. А то холодно от нее» (Игнатович З. А.).

Ленинградские дети разучились в ту зиму шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились, так же как их мамы и бабушки и так же как их первыми умиравшие отцы, дедушки...

«Люди, даже дети, не плакали и не улыбались» — об этом многие вспоминают. Как говорила Ольга Берггольц «своим» ленинградцам: «...горе больше наших слез». А для улыбки, оказывается, тоже необходимы силы. А сил столько не было, не хватало на работу, на жизнь!.. Когда минула страшная зима смерти, голода, женщина однажды — что-то сказали, сделали при ней — почувствовала: «...с лицом моим происходит нечто, какое-то не-

привычное положение мышц...» А это человек снова заулыбался...» (Из рассказа Лидии Сергеевны Усовой.)

«— Помню, как стояла за хлебом, — говорит нам, но грустно смотрит куда-то глубоко в себя, на ту блокадную тринадцатилетнюю Галю, певица Ленинградской академической капеллы Галина Александровна Марченко. — У нас был такой большой двор, и нужно было стороной как-то обойти домика полтора, и там была булочная. Я помню, мы стояли в очереди с вечера, стояли сутками, напяливали на себя абсолютно все. А мама не могла, в общем-то, двигаться, она скорей как-то ослабла. Она все время грела мне кирпичи, у нас на «буржуечке» всегда лежали кирпичики, два или три. Я устраивала себе на грудь теплый кирпич, чтобы согреваться. Помню — замерзну, приползу домой, мне дадут другой кирпич, и я опять, у меня сил было больше, уползаю вместе с кирпичом. Помню, что мама меня просто обогревала этими кирпичами. Ну, в конце концов я получала своим по сто двадцать пять граммов хлеба и возвращалась домой.

— Бывало, чтобы вы смеялись?

— Мы не смеялись, в общем, я не помню такого случая. Мы вообще не разговаривали, потому что просто сил не было. Нет, не могу вспомнить, чтобы я смеялась. Я все время ходила с карточками, потому что мама боялась потерять их: ведь это же смерть.

— А вы плакали?

— Нет, и плакать не плакали, просто уже было какое-то безразличие. Мы уже не спускались в бомбоубежище, а просто закрывались у себя дома и никуда не ходили.

— Вот нам рассказывала одна женщина, как она впервые после всего пережитого улыбнулась и как сама удивилась этому забытому мышечному движению. Вы не помните свою первую улыбку?

— Про улыбку я не помню. По-моему, я улыбнулась уже тогда, когда мы уехали в эвакуацию. Может быть, раньше. Нет, когда мы были уже в Жихареве».

Александра Александровна Агронская, заведующая нотной библиотекой Ленинградской академической капеллы, милая, с улыбчивыми ямочками женщина, сразу посерьезнела, погрустнела, как только заговорила об улыбках, которых так мало было, которые так редко светились на детских лицах. Жила она в детском доме, блокадном детском доме (мать — «по мобилизации», отец — на фронте).

«— Ну а вот дети как себя вели? Кто-то ел сразу, кто-то прятал, да?

— Вы знаете, я могу только сказать, что мы очень мелкими частичками ели. Мы никогда не кусали хлеб, а отщипывали, отщипывали кусочки хлеба и брали в рот. И в столовой (у нас была большая комната, где мы, все дети, ели), в столовой мы по очереди имели возможность облизывать кастрюли после второго, ну, после каши...

— А очередность кто устанавливал?

— Воспитательница. Нас там много, детей, было.

— По очереди или в порядке поощрения?

— Нет, это по очереди. Вы знаете, я думаю, что мы не очень озорничали. Нас, по-моему, не за что было наказывать, только расшевелить можно было. Во всяком случае, когда я в школу пошла... Вот запомнила имя своей учительницы в первом классе — Елена Игнатьевна. Это была двести вторая школа, на Желябова... Она, когда мы впервые чему-то засмеялись в классе, — это уже было, наверно, в сорок четвертом году, в конце, класс почему-то захохотал, — она после этого пошла по домам, обошла родителей и всем говорила: «Сегодня ваши дети смеялись!» Это было самым важным сообщением.

— А детский дом где был расположен?

— Детский дом был на Некрасова. Там церковь какая-то снаружи, а во дворе у нас был детский дом. Во время одной из прогулок этот детский дом был разбит снарядом. Дети не пострадали, нас перевели в другое наше помещение.

— А в самом детском доме не удавалось вас рассмешить?

— Я думаю, нет, хотя мы и танцевали. Вот Лисичкой я была... Еще помню — у нас постановка была, «Снегурочка», и я там Снегурочкой была, пела, но, наверно, это было не очень весело, я так думаю.

— А дети все вашего возраста или были и постарше?

— Были и старше дети, были и помоложе.

— А потом из детского дома вернулись домой?

— Да, из детского дома я вернулась домой вместе с сестрой.

— А отец?

— А отец у меня недавно умер. Он всю войну прошел. Он был в Германии. А потом работал — хочу похвастать! — в экспедициях. На «Оби» и «Лене» ходил в Антарктиду. И сейчас его именем названа банка в Антарктиде.

— Агронский?

— Нет, Пожарский.

— А почему у вас другая фамилия?

— А вы знаете, я замуж вышла. — Смеется. — Вообще, конечно, воспоминаний много, в основном не очень веселых. Мне страшным показался тогда даже день снятия блокады. Мы с сестренкой и мамой были дома. Мы жили в самом центре города — на Софьи Перовской. Здесь, вы знаете, канал Грибоедова, все рядом, самый центр города. И ничего по радио я не слышала, никаких объявлений, ни сестра, ни я. Мы с мамой вышли на улицу, и навстречу попалась мамина приятельница. Она что-то ужасно громко кричала, подхватила маму, и они побежали, а мы с сестренкой остались. И в этот момент такой грохот был! Вы знаете, во время войны такого грохота я не помню и такого страшного ощущения, что что-то рушится... Весь город осветился. А оказывается, это был салют!.. Мы с сестренкой упали в сугроб. Нас какие-то мужчины военные вытащили оттуда, из этого сугроба. Мы страшно плакали. Нас еле-еле успокоили.

— Вы еще не знали, что произошло?

— Да, мы не поняли, в чем дело. Мы вообще не представляли себе, что такое победа. Для детей победа в то время еще была очень отвлеченным, по-моему, понятием. Но к тому времени, ко дню снятия блокады, мы, понимаете, уже что-то ели, нам что-то давали, не только хряпу, ну я вот из школы приносила в кружке кашу, и ее можно было поесть. Нам уже казалось, что это лучше. И конечно, снятие блокады — день этот был очень знаменательным, хоть мы с сестрой очень испугались».

Все же мы попросили вернуться к той учительнице, о которой Александра Александровна рассказала вначале. Упоминание о ней не давало покоя. В первом смехе детей она увидела событие. Она оценила это событие как великое, может быть, решающее. Настолько, что обошла всех родителей. Она разносила эту весть как самый дорогой подарок — они смеялись! Они снова смеются!

«— Как вы узнали, что она ходила?

— Нам родители сказали. Я не знаю довоенной судьбы этой учительницы, я не знаю ее домашней жизни во время войны. У меня сложилось такое впечатление, что она жила только школой и только нами. Мы приходили в школу голодные, холодные. Она нас раздевала, смотрела, что у нас внизу надето. Заворачивала (у кого ничего нет) в газету, сверху надевала платье, чтобы дети не мерзли. Если кто-то начинал плакать на уроке, у нее всегда какие-то корочки находились в кармане. Кофта у нее была большая, карманы где-то внизу (может быть, такое впечатление тогда было). Вот она нам давала эти корочки пососать, лишь бы мы не плакали. Во время обстрела она нас собирала в коридоре и буквально укрывала собой. Очень часто навещала нас дома. Если кто-то из детей хотя бы раз не придет в школу, она в этот же день шла домой. Как она себя чувствовала, я этого ничего, конечно, не знаю, не знаю, была ли у нее семья, или она была одна, потому что я у нее проучилась только первый, второй и начало третьего класса.

— И дальнейшую ее судьбу вы не знаете?

— Я ее больше не видела. Я перешла в другую школу. Потом, когда я вернулась в свою школу, ее там уже не было.

— А как ее имя и отчество?

— Елена Игнатьевна.

— А фамилию не помните?

— Нет»[1].

...Воспоминания детей, то есть тех, кто были в блокаду детьми, непохожи на воспоминания взрослых, хотя сейчас рассказывают их нам люди взрослые, сами уже отцы, матери, даже бабушки.

Память детская сохранила чрезвычайно много, донесла точно,

---

[1] После публикации в «Новом мире» нам стали звонить ее ученики: «Это же Николаева, Елена Игнатьевна Николаева!..»

ярко. Какие-то картины нынешним сознанием даже не расшифровать. И какие-то страхи тоже малопонятны нам.

Шестилетнему тогда мальчику Вите (Виктору Васильевичу Корбунову) из всех бомбежек врезалось: огромный шкаф заплясал на ножках! И то, что в их детском саду после бомбежек осколки стекла были в кроватках.

Володю (Владимира Рудольфовича Деиа), которому тогда было лет двенадцать, мать выпустила на улицу гулять. Был февраль 1942 года. После невылазного сидения дома от воздуха его слегка шатало. Но больше всего его потряс высокий снег, выше головы — снежные траншеи, сугробы, заваленные снегом первые этажи, снежные горы. И снег не городской, а чистый, сверкающий, слепящий. И вот спустя тридцать пять лет, тоже в феврале, он поехал в Кировск кататься на лыжах.

«Вот там я иду по улицам и — что такое? Какие-то странные ассоциации. Вот этот снег! Тротуары, конечно, занесены не так, как здесь было. Ну, скажем, если газоны, то они выше головы засыпаны снегом — это всю зиму чистят и отбрасывают».

Через этот чистый снег, через полярную снежность вдруг ожило детское, блокадное. Оно возвращается, оно вдруг обнаруживается в характере, привычках, сновидениях. У каждого по-своему, да и так, что человек порой и не знает, откуда у него это.

У шестилетнего Коли (Николая Викторовича Хлудова) снег связан с голодом: «Когда выпал снег, мне стало постоянно хотеться есть». Так это и соединилось для него.

Картинки, вырезанные детской памятью, обычно сверкают всеми красками.

«У Финляндского вокзала внимание мое приковывали троллейбусы, зимующие на площади. Рядом стоял сгоревший дом. Его тушили, и струи воды, упав на крыши троллейбусов, застыли огромными ледяными столбами. В лучах весеннего солнца столбы искрились и просвечивали, и все кругом мне казалось похожим на ледяное царство» (Лидия Ивановна Мельникова).

А восьмилетней Жанне (Жанне Эмильевне Уманской) блокада вспоминается как страшный холод. Все время холод, под одеялом, в шубе — и все равно холод. Еще огромная корзина, обшитая кусками ватного одеяла, в которой мать носила обед. Хлеб, кусочками, в двести граммов, прятали в чемодан, а чемодан клали в диван, чтобы не съедать этот хлеб сразу.

«Как-то не существовало ни утра, ни вечера. Ничего. Казалось, что темень сплошная все время. Я научилась различать циферблат часов. И до сих пор, к стыду своему, вспоминаю, что помню только час, когда мама должна была покормить меня. Иногда я знала, что утро, иногда не знала, потому что практически мы не спали, в какой-то дреме ночью были. Говорят — хлеб спит в человеке. А поскольку хлеба не было, нам не спалось».

Внутри блокадной муки, среди всех бед, лишений, ужасов, смертей главной трагедией были дети. О них заботились прежде всего и городские учреждения, и само население, их страдание, их положение для всех было наимучительной болью. И даже в помутненном голодном сознании взрослых дети, детское сохранялось, как правило, святым.

«Продукты с базы возила на санках одна взрослая женщина-экспедитор. Она всегда брала с собою двух мальчиков лет по четырнадцать. Вот наступила моя очередь. База находилась за Нарвскими воротами. Туда и обратно мы шли пешком. Туда налегке, обратно схватившись за веревку санок. Один из нас всегда шел сзади наблюдающим. На одном из ухабов сани накренились, и соевые конфеты рассыпались из коробки на снег. Вокруг нас моментально образовалось тесное кольцо из проходивших мимо пешеходов. Экспедитор замахала руками, заохала, из ее крика поняли, что конфеты везут в детский дом, да и мы, два заморыша, были хорошей иллюстрацией. Народ толпился вокруг нас, растопырив в стороны руки, глаза горели, но никто не наклонился. Мы собрали все конфеты в коробку, подобрали кульки, поправили сани и двинулись дальше. Люди еще долго провожали нас глазами» (Александр Иванович Любимов).

Дети-старички, безулыбчивые, молчаливые, вялые, все понимающие и ничего не понимающие. Немцы, война, фашисты где-то там, за городом, да и сама блокада оставалась для шести-восьми-десятилетних детей понятием отвлеченным. Конкретными были темнота, голод, сирены, взрывы, — непонятно, почему все это обрушилось на людей? Куда исчезла еда, куда исчезли близкие? Война не воплощалась в людях, во врагах, в полицаях, в чужой речи, как это было, допустим, на оккупированных землях. Мы говорим о малышах, те, кто постарше, быстро взрослели. У малышей же детство прекращалось. Непросто было этим маленьким старичкам потом возвращаться в жизнь, в детство, к самим себе.

Нина Васильевна Ковалева, женщина очень импульсивная, живая, вдумчивая, рассудительная, рассказывает о себе, девочке, так, что невольно хочется ту девочку от нее же защитить, от ее беспощадной памяти.

«— Сколько вам лет было тогда?

— Шесть. Мама закутала меня во все, что было. Я помню — на мне какие-то тряпки, платки. Пальто несколько штук даже было надето.

— Наверное, холодно было и для того, чтобы вещички с собой взять?

— Не знаю, для чего это было сделано. Помню, я какая-то неповоротливая была. По-моему, лишь одна десятая доля этих тряпок была я сама. Запомнила, что ехали на подводе, потом куда-то заехали. Какой-то мужчина в тулупе движение остановил. Говорит: «Куда? Немцы!» И мы повернули. Мама, по-моему, рядом была. Она спрашивала: «Нина! Есть хочешь?» Я ужасно хотела есть, а сказать не могла. Кричу где-то внутри: «Мама,

хочу есть!» А сказать не могу. И так страшно было оттого, что язык не поворачивался.

— А почему не могли сказать?

— Впечатление, что язык совсем размяк, вата какая-то. Не могу ни шевельнуться, ничего. Просто трупом была. А внутренний голос кричал: хочу есть!.. Помню дальше еще эпизод, когда нас уже привезли на Урал. Куда сначала, даже не помню. Помню, я сидела где-то в углу. И нам делили пряники. Пряники делили не поперек, а вдоль, чтобы видимость целого пряника была, а не половины... Эти пряники давали и все спрашивали: «Вкусно?» А я даже не понимала. Помню, сидела и рассуждала: что такое вкусно, невкусно? Что такое хочется есть или не хочется есть? Клянусь, сижу в углу, и вот эта мысль у меня: что такое значит «не хочу есть»?.. Потом помню на Урале такой эпизод. Когда дети все спали, я побежала в поле. Все говорили: хлеб растет. Я понимала это в буквальном смысле. Думаю, надо раскопать ямку — и там буханка свежего хлеба. Я ее возьму и сыта буду. Сижу копаю, копаю. Ямку глубокую выкопала, а хлеба-то и нет! Сижу реву. И вот, помню, какой-то очень высокий дядька идет: «Что ты здесь делаешь?» Говорю — хлеб копаю. И вот знаете, или люди добрые были, или мне так казалось, взял меня пожилой человек, посадил на плечи, куда-то принес. Помню — в темную комнату. Картошки он мне дал и долго рассказывал, что хлеб надо сначала посеять, потом вырастить, убрать, муку смолоть, потом испечь. Тогда это хлеб будет... И помню, няня у нас была толстая. Бывало, она прислонит меня к своему животу и вот гладит, гладит. А до меня не доходило, настолько отупела вообще. Даже когда в школу пошла, плохо соображала. Долго такая была.

— А мама где была?

— Я даже не знаю. Когда нас переправили через Ладогу, сажали в машину (или на подводу, не помню), кажется, мамы уже со мной не было. Сестра моя болела. Помню, она лежала в больнице, в палате. По-моему, туберкулез у нее был. Ей давали ложку сахарного песку и кусочек масла. Она есть не могла. А я пряталась под кроватью, и она меня кормила. Долю, которая ей полагалась, она мне давала, а я слизывала с этой ложки.

— Она ложку под кровать совала?

— Да. Я говорила: «Валя, когда еще тебе будут давать?»

— Вы долго лежали? Близко ваша палата была?

— Нет, я не лежала. Я не знаю, что было. Помню, что она лежала в кровати, ей давали сахар и масло. Она есть не могла, а я была под кроватью и все слизывала. А потом — настолько я отупела! Я помню, когда мы уже возвращались, мы ехали с Валей в поезде. Я так боялась поезда! Меня волоком волочили в вагон! Боялась ужасно паровоза, пара, дыма. Валя говорит: «Вот смотри, мама сейчас тебя будет встречать». Она была старше. Если мне было шесть, ей — девять. Она уже в разумном возрасте. А я... я слово «мама» уже забыла. Вот я помню, мама уже на перроне, Валя говорит: «Вот мама идет». А я маму отталки-

ваю и говорю: «Где же моя мама?» Валя говорит: «Да вот она! Здесь!» А я очень долго ее не принимала. Я до такой степени ее не принимала, настолько была злой, что вот мы уже в школу пошли, мне выдавали дневники или тетрадки, так я двойки ставила сама себе и подкладывала маме и из-за угла подглядывала. Что это такое было? Чувства такого, что у меня есть мама, что я ее нашла, этого у меня не было.

— А она хорошо обращалась с вами?

— Конечно, хорошо. Ведь она столько пережила, видела своих детей в ужасном положении, думала, что потеряла их. Как она могла плохо относиться? Она очень страдала, но мне ее страдания вроде даже доставляли удовольствие. Я не знаю, что это такое. Сейчас я даже понять не могу той злости. И жалею об этом. Ведь я совсем другая стала. А в то время была какая-то ужасная, и до меня долго ничего не доходило. Я вот помню, учительница математики задачку на простейшие числа вдалбливала. Долбит, долбит — не понимаю! Даже до двадцати не научилась считать. Не знаю, что это такое! Ужасная была.

— А где ваша мама сейчас?

— Мама на пенсии. Папа тоже на пенсии. Больные люди. Мама особенно больна. Отец поздоровее ее, мужчина.

— А мама часто вспоминает Ленинград, блокаду?

— Знаете, не вспоминает. Мы не спрашиваем, а она не говорит. Как-то я попыталась: «Может быть, расскажешь что-нибудь?» А она вроде, знаете, закричала на меня: «Нет, не хочу!» Кино о войне она вообще не смотрит, старается не ходить на эти фильмы. Слово «война» она не переносит сейчас и не хочет ничего слушать.

— Расскажите про День Победы, пожалуйста.

— Вот такой случай был. В конце войны нам давали творожные сырки, соевые. Помню День Победы у Пяти углов. Музыка всякая гремела, граммофоны из окон орали. Весна уже была. Полно народу. Я запомнила, что два солдата несли большой крендель, громадный белый крендель. По-моему, это был настоящий крендель. Все им что-то бросали. С балкона цветы летели и какие-то бумажки. А у меня ничего не было в руках, только один этот сырок. Я подошла и отдала солдату, который нес крендель, свой сырок.

— Он взял его?

— Не помню, взял или не взял, в общем, отдала вместо цветов — подарок».

В детском стационаре Ирине Киреевой запомнилась девочка. Ее привезли уже умирающую. Девочка была старше Ирины.

«Она мне говорит: съешь, пожалуйста, мой хлеб (ну сколько там? Норма — 125 граммов хлеба), я не доживу до завтра. Лежит она рядом со мной. Койки стояли очень близко друг к другу, чтобы побольше можно было впихнуть.

Помню, как я всю ночь не могла спать, потому что думала: взять хлеб или не взять? Все знают, что она не может уже есть. Но если возьму этот хлеб, то подумают, что я его украла у нес.

А страшно хотелось есть. Страшная борьба с собой: чужое же! Так я хлеба не взяла. Вот сейчас, когда говорят: голодный может все сделать, и украсть и прочее, прочее, — я вспоминаю чувства свои, ребенка, когда чужое, хотя мне и отдавали его, я взять все-таки не могла. А девочка действительно умерла, и этот кусок хлеба остался у нее под подушкой».

Скрытая полемика нет-нет, а вспыхивает в самых разных рассказах. Сводится она, грубо говоря, к двум суждениям: одни, как Ирина Киреева, считают, что человек не имеет права терять своего достоинства, нарушать законы человечности, честности, чести. Они не прощают, не оправдывают случаев, когда люди воровали хлеб, отнимали его у ближних, пускались на мошенничества, хитрости. Они сами прошли через все испытания, не оступясь и не поступясь ничем, и как бы заработали право на такую требовательность. Другие тоже испытали пытки голодом и видели, как голодному человеку трудно отвечать за свои поступки.

Полемика эта — один из тех споров, которые не решаются с помощью математической логики. Они длятся, тянутся годами, поколениями, отражая разное устройство человеческой души, разнообразие ее воли, стойкости, ее воспитания, а может, и еще каких-то неизвестных нам свойств.

...Позже нам встретился еще один случай, подобный тому, когда дети впервые засмеялись в классе. Почти такая же история, но все же другая. Мы приведем и вторую. Выбирать между ними трудно.

Это было глубокой осенью 1942 года. Некоторые школы начали работать. В школе, где училась Ирина Киреева, собрали всего один класс, человек семнадцать детей.

«Мы удрали с урока. Вдруг нам захотелось совершить такую проказу. А двери закрывали, чтобы мы не выходили на улицу. Мы сломали дверь на черный ход и убежали с урока. И натолкнулись на нашего заведующего роно. Он сказал: немедленно идите в школу! Потому что были обстрелы и нам не разрешали ходить по улице. В общем-то, нам нечего было делать и на улице. Мы вернулись в школу, пришли к завучу, а она вдруг заплакала.

...Теперь я понимаю, что учителя радовались, потому что это был первый детский проступок и, в общем, дети возвращались к жизни, это было ясно и им чрезвычайно приятно».

Эпизоды эти и похожие и непохожие. В первом смех, во втором озорство: разные реакции учителей, но одинаковое понимание события. Каждый случай по-своему примечателен. Другие оттенки, другие чувства и обстоятельства. Можно ли было нам отобрать из них одно и при этом не обеднить всю картину?

Всякий раз, ограничивая себя, мы видим не выигрыш, а потери, потери...

Когда рассказ за рассказом слушаешь день за днем, является мучительная потребность еще и еще раз убедиться, что улыбка возможна, что детство возможно, что все это есть, есть, бывает, возможно!

«— Мы сидели, и они говорили только о еде: «Мама приносила яблоки», «Мама варила манную кашу»... Одним словом, они сидели как старички и говорили только о еде. И вдруг от этих ребят выбегает девочка в беленьком платьице и на скакалочке запрыгала. Все ребята так недоуменно на нее посмотрели. Я даже не поинтересовалась, чья это девочка, но было очень приятно, она, как бабочка, вспорхнула, она даже, знаете, в меня вселила бодрость, легкость какую-то» (Рогова Нина Васильевна).

Вплоть до декабря 1941 года по Ладоге пробивались к Ленинграду буксиры с баржами. К этому времени Военный совет фронта уже сделал все для подготовки будущей «Дороги жизни». 21 ноября 1941 года пошел, потянулся по первому льду конный обоз, вскоре пошли и автомашины, 60 автомашин двинулись к восточному берегу озера за мукой. Ленинград стал получать хлеб. Но потребовались недели и месяцы, пока на карточки стали выдавать уже не 125 граммов, а 200, потом 300 граммов. Хлеб подвозили, пробиваясь через вьюги, минуя ледяные полыньи, трещины, машины из Кобоны. «Дорога жизни» не сразу могла восполнить тающие запасы продовольствия в городе. Страна слала Ленинграду все, что могла. Эшелоны с подарками, партизанские обозы. А назад, из Ленинграда, машины увозили матерей с детьми. Самых бедствениых. Двадцать тысяч солдат, офицеров, вольнонаемных обслуживали «Дорогу жизни». Они делали что могли, да еще и то, что невозможно в обыденной жизни. Героизм этих людей составляет одну из самых прекрасных страниц истории Великой Отечественной войны. Они были герои — каждый опять-таки по-своему, своим отдельным, неповторимым поведением.

«Все мы очень боялись умереть на льду. Почему? Потому что мы боялись, что нас рыбы съедят. Мы говорили, что лучше пускай нас убьет на земле, на мелкие куски разорвет, но только не на льду. Особенно я. Я была трусиха. Я этого не скрываю. Трусиха. Боялась, что меня рыба съест! И вот с тех пор я стала бояться воды. А когда девчонкой была, я хорошо вообще плавала. Я спортсменкой была когда-то... А потом, после ледовой дороги, стала бояться воды. Даже не могу в ванной сидя мыться. Я обязательно должна просто под душем стоять. Боюсь воды».

Так говорит о себе кавалер ордена боевого Красного Знамени, получившая его в числе первых на Ленинградском фронте, боец, о котором в свое время писали в очерках и Фадеев и Симонов, Ольга Николаевна Мельникова-Писаренко. Слушаешь эту маленькую-маленькую (хочется именно дважды повторить) женщину и

веришь, что ей было страшно, так же как веришь в ее орден (третий по счету, полученный ленинградками), в ее подвиг на «Дороге жизни»[1].

«— Эвакуация началась во второй половине января. Сперва эвакуировали тяжелораненых. Очень страшной эта эвакуация была. Эвакуировали детей, больных женщин... Это назывался ценно-драгоценный груз, потому что это живые люди были, истощенные, голодные! Эти люди были настолько страшные, настолько исхудалые, что они были закутаны и одеялами и платками — чем придется, только бы проехать эту ледовую дорогу. А перед рассветом, когда машины проезжали через Ладожское озеро, шоферы очень мчались, для того чтобы быстрее проехать эти тридцать — тридцать два километра, — перед рассветом мы находили по пять, по шесть трупиков. Это были маленькие изможденные дети. Они уже были мертвыми, потому что представьте: ребенок на полном ходу вылетал из рук матери, он при вылете скользил, ударялся об этот лед... Мы старались узнать — чей это ребенок? Разворачивали, но там ни записки, ничего не было. Это были дети от восьми месяцев до годика, мальчики и девочки.

— Мать не могла удержать?

— Вы поймите, мать держит ребенка на руках. Допустим, машину тряхнет на ледяном бугре, и у матери от слабости ребенок вылетает из рук. Она же была так слаба: у нее дистрофия чуть ли не третьей степени, может быть, даже третьей. Ее ведь на руках сажали на эти машины, чтобы переправить на Большую землю. А иногда ехали целые колонны с детьми в закрытых машинах, в автобусах. Это уже были дети детсадовского возраста, школьного возраста. И хотя те машины были закрытые, но отопления не было. Они очень холодные были. Не то что у нас в данный момент — отапливаются и автобусы и троллейбусы. И нередко во время пурги, метели у машины перехватывало радиатор, так как вода замерзала мигом. Для того чтобы разогреть этот радиатор в открытом ледовом поле, шоферу приходилось затратить полтора часа, а может быть, даже и все два. И хорошо, если он близко остановится от палатки, тогда детей мы забирали в палатку, оказывали им медицинскую помощь, кормили. То есть чем мы кормили? Давали по кусочку — граммов пятьдесят — сухариков. Чай сладкий давали. И если видели, что ребенок плохо себя чувствует, мы делали все, чтобы он доехал до Большой земли. Приходилось порой делать уколы — камфару вводить, чтобы сердечко работало.

У меня в палатке в феврале стояли сибиряки-уральцы: здоровые такие мужчины были эти бойцы — мои санитары. И вот они говорили: «Ольга Николаевна, ведь эти дети мертвые!» Говоришь: «Нет, они живые, у них еще бьется сердечко, они живые». А то, что у них были такие безжизненные глаза, это лишь от-

[1] Мы встретились с Ольгой Николаевной Мельниковой-Писаренко, когда она работала в музее «Дорога жизни».

того, что они очень были истощены. Часто у них, у этих детей, на личике даже росли волосики.

— Как у старичков?

— Да. Мы их и называли маленькими глубокими старичками. Когда эти дети попадали в палатку, у них отсутствовали и сила, и воля, и движения не было (не то что у наших сейчас детей). Бывало, возьмешь их ручонку — тонкой-тонкой кожицей обтянута. И все косточки буквально через эту кожицу можно было пересчитать. И вот когда шофер приходил и сообщал, что машина готова, что можно их снова погрузить в автобус, дети, знаете ли, такое сопротивление оказывали! Они не хотели уходить из тепла. Они чувствовали, что им здесь уделили внимание, что им дали кусочек сухарика, сладкого чаю. Они сопротивлялись. Ну, мы уговаривали, что еще в лучшее место попадете, вам там дадут супу, дадут мягкую булочку, там вас будут лечить и там будет еще теплее. Хорошо вам будет. Я говорю: «Мы будем вас сопровождать до самой Кобоны». И приходилось порой сопровождать машины до самой Кобоны, для того чтобы успокоить малышей. Видя, что мы с ними едем, они успокаивались. А глазки их были настолько мертвые, знаете, даже никакого блеска не было, мертвые глаза, как стеклянные, если можно так выразиться. Когда вот этот сухарик давали, у них на миг появлялся блеск, а потом как-то моментально этот блеск тушился».

Это о детях самых маленьких, еще ничего не сознававших, не понимавших, о тех, которые, выжив, сегодня сами ничего рассказать не могут. Они не помнят. Они были в возрасте, когда живут еще без памяти. Если ныне и появляются перед ними какие-то смутные картины раннего детства, то расшифровать их значение они не могут.

Из всего выслушанного, записанного несколько рассказов выделялись значительностью и памятью, правдой чувств, донесенных сквозь годы. И в первую очередь рассказ Марии Ивановны Дмитриевой (проспект Газа, 54). Правда, Марию Ивановну надо видеть рассказывающей или хотя бы голос ее слышать, чтобы прочувствовать ее блокадную повесть на всю глубину. Но раз уж не рассказ ее слушаете, а читаете запись, то хоть что-то надо сказать о ней самой.

Эта покрупневшая и, конечно же, постаревшая (в сравнении с военной фотографией) женщина — воплощение доброты. Деятельной доброты. И рассказ ее — тоже действие, требующее огромной душевной отдачи. Она так видит, так чувствует происходившее тридцать пять лет назад, что как бы снова участвует во всем, о чем рассказывает вам. И вы уже сами не рассказ слушаете, а словно спешите с нею, с ее бойцами самозащиты от барака к бараку, от пожара к пожару, от смерти к смерти...

Свои объекты начальник группы самозащиты ЖАКТа Кировского района Мария Ивановна Дмитриева и сегодня все помнит по номерам.

«— Случилось это примерно в декабре. Или в январе? Было это зимой. Был большой мороз. Начался обстрел. Обстрел был очень сильный. Мы долго пробирались туда. Это улица Швецова, там дом был обстрелян, дом сорок семь, напротив и сюда еще ближе — дом тридцать шесть. Вот мы бежим. Дом тридцать шесть. Тут даже незаметно. Снаряд ушел как-то в окно. И оказывается, через окно — вот стекла пробитые! — прошел и в квартире разорвался. И убило девушку. Мы уже на обратном пути только увидели. Но она уже все равно мертвая была. Стоит на коленях среди комнаты в одной нижней сорочке. Видимо, она вскочила, хотела бежать куда-то, но не успела. И у нее голову снесло. Только одни волосы лежат. А девушка лет восемнадцати. Мы пробрались в дом сорок семь. Примерно около часу ночи было времени, может быть, и второй уже. Я пришла туда, кричу — нигде никого не слышно. Окна освещены. Лестницы темные. Ну, у меня фонарик был, на пуговице висел, чего-то и он плохо горел. Пошла наверх, во второй этаж. Кричу — нигде никто не отзывается. И вот первую дверь, на которую я напала на втором этаже, открыла. Я не помню — фонариком сначала я освещала или там горел какой-то свет? Не могу уточнить. И только открыла, а эта Демина Катя, молодая женщина, сидит на диване около печки (печка там была такая круглая). У нее на одной руке ребенок маленький, месяца три, может быть, и меньше, а на второй — так поперек ног — лежит еще ребенок, мальчик, года четыре. Я подошла, смотрю, начинаю спрашивать — свет-то плохой! Тут фонариком я своим осветила. А у нее, смотрю, половина головы оторвана осколком — вот так! Она мертвая. А этот ребенок, которому месяца два или три, не знаю, — живой! Представьте себе! Как он сохранился? А тот, что на коленях лежит, мальчик, лет трех-четырех (он большой, рослый такой), этот мертвый. У него ножки перебиты и поясница.

— Снаряд разорвался снаружи?

— А куда ребеночка отдали?

— Ребеночек у нас долго находился: вот здесь дежурный приемный пункт был, вроде яслей, на этой — как улица называется, забыла, — между Балтийской и Швецова. Мы много туда сдавали детей».

Конечно, сила воздействия той или иной истории зависит от таланта рассказчика. Но еще и от правды. «Если все действительно рассказать...» Дмитриева рассказывала все, что помнила.

«— Вот был один мальчик в тридцать шестом доме. Мать его геолог, осталась где-то там, где она работала. А он был с бабушкой. Такой красивый парень. До сих пор вспоминаю. Все мне хотелось взять его к себе. Не было сил, потому что я работала много. Я ведь не находилась дома, не ночевала.

— Простите, вы не замужем были?

— Замужем. Мой муж на фронте был.

— А детей у вас не было?

— Были, с моей мамой эвакуировались. Я здесь была одна. Но я люблю детей, поэтому мне так было жалко. Причем он такой толковый, красивый. Думала — вот это такого человека вырастить можно! Я не знала, что он до такой степени отощавши был. Бабушка у него умерла. Где мать была — неизвестно. Отца у него не было. И вот я дежурила, а он был у меня в конторе, ночевал здесь.

— Сколько лет ему?

— Ему лет восемь-девять было, но он уже в полном сознании был. Вот он мне ночью-то про себя и рассказал. В последнюю ночь. Утром я пришла, а он мертвый лежит. Вы можете себе представить! Я еще вечером принесла и отломила ему от своего пайка корку хлеба: у него и карточек не было. Я в тот вечер дежурила, и мы с ним разговаривали. Я еще подумала, что он утомился, спать хочет, потому что он не сидел, а лежал. А у него, видимо, сил не было. Но он не ныл, не жаловался ни на что. Я его еще спросила: «Алеша, как же так получилось?» Он говорит: «А вот как, Мария Ивановна. Я думал, что она хорошая, она ведь при бабушке к нам ходила, эта тетя. А вот бабушка умерла, она взяла меня к себе и карточки наши взяла». Я говорю: «Она и вещи ваши взяла?» — «Она все у нас взяла. А потом сказала, что она не может со мною заниматься». В общем, попросила его о выходе. Ну, я не думала, что люди так могут... Вот он пришел сюда, к дому. Что делать? Мы еще мало чего могли. Среди месяца карточки не дали бы. Это только к началу месяца можно было чем-то ему помочь... Да, вот был еще случай — мне подкинули ребенка.

— Прямо вам, к дому вашему?

— Да не к дому — к двери моей, к квартире! А было так. «— Я шла домой по лестнице. Никого не было. Это днем. Захожу к себе. Плита была на кухне. Горсть каких-то сучков или дров, не знаю, чтобы чаю согреть. Вдруг слышу — плач где-то на лестнице. А у нас по лестнице ни одного ребенка не оставалось. Что такое? Ребенок? Прислушалась. Может быть, кошка? Нет, кошек всех давно поели. Выхожу. У моей двери сидит ребенок и в такое черное сукно, грубое, как шинели у железнодорожников, закутан. На голову тряпка какая-то навернута. И весь завязан, с глазами. И вот он плачет. Я подошла. Про все забыла. Взяла его на руки и понесла домой. У меня плита подтоплена, немножко теплая. Поставила стул у плиты, его развязала. Мальчик. Он не говорит почти. Плохо очень говорит. «Мальчик, где твоя мама?» — «Мама умея». Значит, умерла. «Неня, Неня убежал». Значит, братишка, наверно, его посадил, бросил его тут, посадил и убежал. Ну, может быть, кто-нибудь и подсказал.

— К вашей двери?

— Да, именно к моей двери... «Неня, Неня убежал». — «Где же твой Неня?» Ну, он не знает ничего, адреса не знает. Тоже хороший такой парень. Крупный такой, черноглазый. Что делать? Правда, я тут поставила ведро воды, помыла его. Грязный, запущенный такой — кошмар. Помыла. Вместе с собой покорми-

ла. Мне надо на работу. Взяла его с собой. Принесла туда. Позвонила Котельникову Ивану Васильевичу, начальнику уголовного розыска. Он всю свою жизнь проработал у нас в районе. А я тоже всю жизнь прожила в Кировском. Ну вот, я говорю: «Иван Васильевич, вот такое дело. Что мне делать с ним?» А он говорит: «Ну что же, сдавай сюда». Я говорю: «Сдавай! Так там не берут безо всего-то, просто так, надо направление какое-то. Какое направление я дам?» Он говорит: «Да, действительно, с некоторых пор там это требуют, а то, бывает, своих детей приводят. Подожди. Сейчас я пришлю солдата. Принесет направление». А у нас было несколько женщин, они детей у нас отводили в приемник. Мы их на другие дела не брали, а на это они еще были способны. И одна из этих старушек, Устя, уже не помню ейной фамилии (она потом быстро умерла), эта Устя пошла вместе с солдатом. Сдали этого парня. А вот еще случай, улица Швецова, пятьдесят шесть, по-моему, дом этот потом весь разбило. Тоже не выходят и не выходят из квартиры. А нижняя квартира. Людей-то ведь мало осталось в домах. Иду. Да не одна я, взяла двух человек с собой: ведь кто его знает, там почти никто не живет, дом-то разбитый весь. Вот закрытая комната. Уж мы бились-бились. Дворничиха принесла много ключей, и вот мы стали открывать. Открыли. И что увидели, какую картину? Открыли дверь — стоит кровать. Мать лежит мертвая. Молодая женщина, Белова ей фамилия. А муж на фронте. А ребенок — не знаю, ему года полтора — живой. И вот по ней лазает, причем тащит ейные груди в рот и сосет их. Кошмар какой-то! Ну, как вы думаете?! Вот такая картина перед глазами. Ну, что делать, взяли этого ребенка...»

Прервем пока рассказ Марии Ивановны...

Голод и дети, блокада и дети — самое большое преступление фашистов перед Ленинградом, ленинградцами. Мучая голодом, убивая детей, они жалостью к детям пытали ленинградцев, дожидаясь, чтобы или вымерли защитники Ленинграда, или сдали его — сдали весь северный фланг Восточного фронта.

В рассказе Ивана Васильевича Калягина о действиях МПВО Кировского района, где он был командиром, есть небольшой эпизод, в котором собрались как бы вся сила и вся боль материнская...

«Я помню такой случай, когда доложили, что вот тут, на Тракторной улице, снаряд не разорвался в квартире. Ну, послал туда пиротехника. Пиротехник поехал туда. Приехал. Оттуда звонит, что не может снаряд отобрать. «Как не можешь снаряд отобрать?» — «Не могу. Приезжайте сами». Приехал сам. Зашел в комнату. Лежит женщина на полу, обняла снаряд, закутала в шаль (от теплый еще) и не отдает его. Не отдает снаряд! Стали выяснять, в чем дело. Оказывается, у нее грудной ребенок был. От страха, в панике родственница схватила ребенка и унесла.

А мать осталась. Увидала этот снаряд и решила, что это ребенок. Ну, то есть человек был уже в ненормальном состоянии...»

Когда они попадали иа Большую землю, их узнавали сразу: ленинградские дети!

И их не узиавали.

Узнавали по старческим личикам, походке, но прежде всего по глазам, видевшнм все! Видевшим все то, что леиинградцы «скрыли от Большой земли...» (Ольга Берггольц).

Знакомые же или родиые, если встречали своих, часто ие могли нх узнать. Как тот военный (об этом в записках вспоминает о себе Лидня Георгиевна Охапкина), что вскочил на прибывшую в Череповец машииу, посмотрел на жену, детишек своих и хотел слезать: ие узиал! А когда позвали: «Папка!» — он взглянул еще раз и... «зачем-то шапку сиял».

Галина Александровна Марчеико лишь после того, как выехала из блокадного Ленинграда, поняла, какая она «иа нормальный взгляд»:

«— В Вологодской области мы попали в какую-то деревню. И рядом оказалась деревня, в которой у моей соседки родные жили. А девчушечка их приезжала когда-то в Ленинград, к нам заходила в гости. И вот когда мы приехали, она обратилась ко мне: «Бабушка, а где Галя?»

— Это о вас тринадцатилетней? Так были одеты?

— Так была одета, да н сама кожа да кости. «Кланя, — говорю, — Галя — это я». Оиа заревела и говорит: «Я тебя не узнала!»...»

Троицкая Ольга Гавриловна (Дегтярный пер., 39), воспитательница детского дома, припомииает о первых впечатлениях, реакции детей, когда они из блокадиого, уже ставшего привычным мира попадали в нормальный, обычный.

Первые впечатления ребят:

«— Ольга Гавриловиа, посмотрите, трава растет!» (А мы ее тут же выстригали и ели.)

Или:

«Вы знаете, наш проводник картошку варит, а шелуху выбрасывает!» — с ужасом говорили они мне. И вот я рассказала проводнику об этом. Оиа говорит: «Ну уж картошкой-то я вас угощу». И мы сидели и ждали, пока она иас угостит, ио так и не дождались...

В группе у меня была девочка (фамилию ее забыла). Ее привезли с какого-то маленького полустанка. Там на ее глазах сожгли поселок, убили мать и остальных жителей, а она куда-то забилась и таким образом спаслась. Она сидела как мышка. Но все-таки — ребеиок, хотелось ее как-то оживить, что-то ей расскажешь, но оиа иикак ии на что не реагирует. Я обратилась ко всем своим родственникам — поискать у себя, чтобы дать ей какие-то игрушки. Наконец я собрала какие-то пестрые лоскутки и принесла ей, и вдруг она к ним потянулась! Или — один

мальчонка. По Ладожскому озеру плыла баржа. Ее разбомбили, все утонули, а на мальчнке была отцовская куртка (надувной жилет), и он в ней не утонул. И вот нам передали его в детский дом. Мальчишка ходил как волчонок, никого не подпускал к себе и не разрешал сиять с себя эту куртку.

«Я помию, что раздался какой-то страиный звук во дворе. Я спросил маму, и оиа сказала, что иичего страшиого, что это отдирают доски от забора. Оказывается, что зеиитки готовили. Это было в самом иачале войны. Вот первое детское впечатление в начале войны».

Это рассказывает Жаниа Эмильевиа Уманская, которая сейчас поет в Академической капелле.

«— На улицу я выходила очень редко, очеиь редко. Вндела этот заснежениый город, страшный беспорядок иа улицах, массу трупов. Мама как-то старалась отвлечь мое виимание. Видела я и последиюю агоиию человека: человек карабкался, не мог встать, цеплялся за стеику. Ужасио было. Но в детское воображение это как-то не вселяло такой ужас и отчаяиие, потому что это проще тогда казалось. Сейчас, уже умом, понимаешь, сколько жуткого пришлось пережить. Запомнила я блокадную елку новогоднюю. Возможно, это будет интересно. Я ребенком тогда была. Это был трагический день — одиннадцатое яиваря, день, когда умер отец.

— Где ои умер?

— Дома. Ему пришла повестка на фроит. Ои был в запасе, высший комсостав, а до этого ои был иа окопах. Очевидио, там очень тяжело было с продуктами: он пришел весь опухший. И вот когда он пришел по этой повестке в военкомат, ему сказали, что на фронт ему уже иельзя идти, забраковали. И как-то быстро-быстро (я считаю) подкоснло всех оставшихся мужчин в Ленинграде (это как раз первая зима, первые месяцы сорок второго уже года). Ои мне отдавал потихоньку от матери все крохи жалкие, которые ему выпадали. Я этого ие поимала, чтобы отказаться. В общем, он себя обкрадывал. Ои уже лежал, ие вставал и все пытался как-то меня поддержать, как-то мою жизнь сохранить. Теперь это все поимаешь!

— Не помните, о чем он говорил с вами?

— Этого не помню. Он мало говорил. «Береги мамочку», — он говорил. «Слушайся ее, не расстраивайся, если что-нибудь случнтся», — иногда говорил. Но я не поимала, что должно случиться. Вот одиннадцатого яиваря дали билет на елку. Я уже не помню происхождение этого билета. По-видимому, я должиа была учиться где-то в первом классе. Пошла я одна. Сказано иам было, что такой мешочек должиы сшить. Эти мешочки надевали под шубеику, чтобы иикто не видел, как понесу обратио подарок, потому что люди были всякие, и озверевшие от голода были. Не все могли держать себя в руках, не у всех оставалось чувство порядочности. Всякое случалось. И вот, как сейчас помню, тощие мы все какие-то, маленькие, заморенные дети, и такой же фокус-

ник-мужчина: пиджак на нем болтается, горло шарфом повязано. Он пытался показывать какие-то фокусы. И такие безразличные сидят ребятишки. Потом не выдержали, и один спросил: «А скоро нам обед будут давать?» Насколько мало детского оставалось у нас у всех. Ну, дали обед. Он показался роскошным по тем временам. И подарки дали. Не помню, что там было: яблоко, печенье, какая-то конфета. Я запихала этот подарок в мешочек — и под пальто. Но если кто-нибудь обратил бы внимание, то на моей физиономии ясно было написано, что я что-то страшно берегу, несу, руки сжаты около этого подарка, выражение испуганное.

Я благополучно принесла этот подарок домой. И когда мы с трудом согрели чай, буквально на свечке, мама говорит: «Иди разбуди папу, он что-то крепко спит. У нас будет праздник, пусть у нас это будет Новый год». (Нам нечем было встретить Новый год, когда он был.) Мне показалось, что отец как-то очень странно раскидался, раскрылся. Он всегда меня просил: «Жануля! Подоткни мне одеяло, тут дует, там дует». Я пришла, папа, пап, папа, пап! А он, в общем, никак! Я закричала, маму позвала. Мама говорит: «Успокойся, успокойся! Он спит». И увела меня. А он почему-то в другой комнате лежал, он еще раньше попросился, может быть, он чувствовал свой конец, и его перенесли туда. До меня это не доходило, я не понимала, я даже никогда не спрашивала, почему он в другой комнате лежал. И так решила, что женщины в одной комнате, а мужчины должны быть в другой. Короче говоря, наступила его кончина. Умер еще у нас сосед. Мы общими усилиями снесли их на кухню, завернули в одеяла. Месяц они лежали на кухне, потому что сил не было их унести.

А из ума не идет та новогодняя елка, заморенные дети и такой же заморенный фокусник-мужчина. Он показывает фокусы, сидят безразличные ребятишки. И все мечтают об обеде. И сам фокусник, и его зрители. И невозможно было ничем развлечь, вернее, отвлечь от желания есть.

О новогодних елках 1942 года помнят многие школьники. Обычная для тех дней школьная елка была, например, у Леонида Петровича Попова. Ныне он инженер и, кстати говоря, много помогал нам в сборе материала.

«Сидели мы в классе. Окна были затемнены, в коридорах тоже. Нас развели по классам. Когда мы пришли, был концерт. Я его не помню. Помню, елка без огней стояла, сумеречный свет дня.

Недавно я с дочерью пошел в эту школу на елку. Встал у окна и стал вспоминать... Помню, как мы сидели, но какой там был концерт, совсем не помню — никакого внимания на него не обратили. Сидели мы в пальто, а потом пошли в столовую.

В столовой мы разделись. Раздали нам суп из хряпы, котлеточка маленькая, хряпа на гарнир, на третье был кисель из эссенции. Пообедали, быстренько все съели. Пошли по классам. Каждый класс пришел к себе. Там на ощупь стали раздавать — сосчитано каждому было — восемнадцать изюминок в шоколаде.

Каждый проверил: восемнадцать изюминок! Спрятали — ни одной не съедим здесь, съедим дома. Это было уже в шесть часов вечера. Матери страшно беспокоились. У нас могли отобрать подарки, могли избить. Мы выходили из школы по два-три человека и, пробираясь почти на ощупь, пришли домой. Матери обрадовались тому, что мы пришли и еще подарки принесли».

Он не помнит, что за концерт был и что была за елка, а прежде всего помнит восемнадцать изюминок в шоколаде. Казалось бы, все ясно. Но вот на что невольно обращаешь внимание: все ребята отчетливо сознают, что не обратили внимания на фокусника, на концерт, на елку. Свое безразличие помнят, свою недетскость. Задним как бы числом осознают и эту елку, устроенную с таким трудом, и этого фокусника, все не воспринятое ими, то, что для них как бы не было и тем не менее было.

Во фронтовых записках артиллериста Сергея Герасимовича Миляева много страниц посвящено неотступным мыслям солдата о детях, которые там, в Ленинграде, — совсем близко и для фашистских снарядов близко!

Накануне 1942 года С. Г. Миляев записал:

«31.12.41—1.1.42. Начинаю записывать в новой книжечке в последний день 41 года — закончу в первый день 1942 года. Итак, подведем итоги: 1) 6 месяцев 10 дней войны, точнее — 190 дней. Я — 180 дней в армии, 40 дней на передовой. Артиллерист. Участвовал в «местной» операции стрелком взвода. Почти освоился со своей новой ролью командира-артиллериста. 2) За 40 дней от семьи, от ребят ни одной весточки. (Втайне надеюсь, что живы, поэтому никаких выводов пока...) 3) На фронте положение улучшается для нас: наступление, начатое в декабре, продолжается, хотя и медленно. Москва в безопасности, Ростов тоже. Начата десантная операция в Крыму (заняты Керчь, Феодосия). Но Ленинград еще в кольце, а значит, еще очень тяжело моим героям, моим маленьким героям...»

«21.1.42. Большая радость: получил письмо от ребят наконец-то, датированное 4 января. Есть, таким образом, надежда, что они сейчас живы. Письмо сдержанное, но по существу отчаянное. Как это пишет 13-летняя девочка. Маленькие герои! О матери и от матери ни слова, должно быть, она больна или сердится, думает, что я могу помочь...

«Здравствуй, дорогой папа!

Твои письма мы получили все. Извини, что не ответили. В комнате холодно, руки мерзнут. Печку нам поставили, но топим, когда есть что варить. Дров нет. Много я все равно не напишу, а хочется рассказать обо всем. В школу я не хожу. Шурик очень похудел, плачет все время. Валечка тоже. Думаем, что скоро будет лучше. Хлеб выкупаем (1 кг.) и сразу съедаем, потому что есть больше нечего. Редко что-нибудь варим. За водой ходим к остановке. Вода за ночь застывает. Я ничего не читаю, и не хочется. Пиши чаще. Когда мы получаем от тебя письма, нам как будто становится теплее. Папа, Василий (в квартире брат тети

Нюши) 24.12 умер. И Вовин отец (помнишь, к Шурику мальчик ходил) тоже умер. Писать больше не о чем. О плохом писать не хочется, а хорошего мало. Привет от Шурика, Инны и Валички. До свидания. Люда. 4.1.42. Пиши чаще».

«23.1.42. Жилин привез сразу два письма от ребят и Марии... Мария пишет: на лестнице умерли 18 человек. Жилин говорит, что хуже всех выглядит Шурик и Валя, остальные из моих, говорит, выдержат. Особенно понравилась Мария — энергией и стремлением удержаться. Мария так и пишет: «Цепляемся за жизнь». Да, голод оказался много страшнее бомб и снарядов. Сейчас, надо полагать, дело пойдет на поправку. Даже нам прибавили 100 гр. хлеба. По-моему, лучше бы прибавили ленинградцам, чем нам, армия еще может терпеть».

Чтобы почувствовать цену последних слов, надо прочесть запись, сделанную до того, как прибавили эти 100 граммов:

«17.1.42 г. Я пытаюсь ходить поменьше... два дня, как чувствуется общая слабость. Очень обидно, если сковырнусь не от пули, а от голода...»

Люди, которые изыскивали, изобретали пищу и витамины из бог знает каких заменителей; голодающие врачи, которые невольно на самих себе ставили «эксперименты» по основательно забытой дистрофии и лечили от нее ленинградцев; люди, добывающие топливо, тепло, сберегающие культурные, научные ценности, детские жизни и т. д. и т. п., — в героическом противостоянии Ленинграда это не было столь очевидно, как залпы Кронштадта. Но это было противостояние и не менее важное — для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта. Поэт Сергей Наровчатов, воевавший под Ленинградом, как-то заметил: солдаты могли удерживать Ленинградский фронт, голодая и замерзая, потому что знали: есть живые души в Ленинграде, мы не болото, мы Ленинград удерживали.

Усилия безвестной женщины-матери, спасающей в городе жизнь детей, продолжались и завершались в атаке танкистов или пехоты, в артиллерийской дуэли с фашистскими детоубийцами...

В блокадном музее ленинградского педучилища № 5 учительница Любовь Борисовна Береговая показала нам оригинал письма из Ленинграда на фронт — тринадцатилетней Тани Богдановой отцу. Как хочется ребенку-ленинградцу, как необходимо ему пожаловаться солдату-отцу и как боится ранить своей болью, своей близкой гибелью того, кто спасает Ленинград! А ведь тринадцать лет ей, Тане Богдановой!

«Дорогой папочка! Пишу я вам это письмо во время моей болезни когда думала, что я умру и пишу из-за того что я жду смерть, а потому что она приходит сама неожиданно и очень тихо. В моей смерти прошу никого нивинить. (В тексте ничего не правим. — *А. А., Д. Г.*) Сознаться по совести виновата я сома, так-как нивсегда слушалась маму. Дорогой папочка я знаю, что вам тяжело будет слышать о моей смерти да и мне-то помирать больно нехотелось но ничего не поделаешь раз судьба такая. Я знаю, что трудно вам будет понять мою болезнь так я о ней

пишу вам ниже. Сильио старалась поддержать меня мамочка и поддерживала всем чем могла что было. Она даже для меня отрывала и от себя и ото всех понемногу но так-как было очень трудно поддержать пришлось поэтому мне помереть. Папочка болела я в апреле, когда иа улице было так хорошо и я плакала, что мне хотелось гулять, а я немогла встать с кровати так спасибо дорогой мамочки она меия одела и вынесла на руках во двор на солнышко погулять. Дорогой папочка вы сильно не расстраивайтесь ведь и мне то умирать больно нехотелось потому-что скоро лето да и жизнь цветет впереди. Пишу я вам это письмо и сома плачу, но сильно боюсь расстраиваться так-как руки и ноги иачинает сводить судорога, а ведь как не заплакать, жить больно хочется... Я сильио старалась, что-нибудь поделать что б ие приходить в забытье но иет иа это никакого желания лежу и каждый день жду вас, а когда забудусь то вы мне начиииаете казаться. Я уже стараюсь иичего не думать, но мысли ие выходят из головы. Ну дорогой папочка очень не расстраивайтесь и к словам моей смерти прошу отнестись похладнокровнее. Очеиь я благодарна одной только мамочке да сестренкам с братишкой за всю их заботу и уход за миой, а особенно мамочки, которой я не могла высказать словами свою благодарность, спасибо большое ей, ведь они меня поддерживала всем чем могла».

Солдат Богданов вернулся с войиы. Но дома у него погибло пятеро детей. И в их числе — Таня.

Сергей же Миляев увидел своих до того, как погиб сам. Оин живут и сегодня, его дети. Но тогда ближе к смерти были они.

«19.2.42. С 11 часов утра 13.2 до 5 часов утра 16.2 дома в семье. Город смерти встречал и провожал трупами, темнотой, грязью, тишиной, зловещей тишиной. Встречен слезами и трупом Валички, отвез ее на братское... Шурик распух. Мария, Инна, Люда, думаю, выдержат... Через 4—5 дней опишу все, сейчас же такой тяжелый осадок, что нет силы писать. Кроме того, физически так устал, вот уже два дня не могу отойти, прошел за 11 часов 60 километров.

20.2.42. По-прежнему физическая слабость, умственное отупение, благо, что занят делом, а то бы... Подождем...

22.2.42. Итак, я иачинаю «Повесть для себя» о Ленинграде февраля 1942. В предрассветном тумане далеко высятся силуэты главных зданий красавца — родного города. А в 9.00 я уже был на улицах предместья (2-й Муринский).

Первая встреча — гроб, салазки с трупом, без гроба, словом, саночки с трупом. Город внешне выглядит так, как он рисовался со слов других моему воображению: грязь, сугробы, снега, холод, темнота, голод, смерть.

Однако, пройдя пешком до Литейиого моста по пр. Володарского, завернув к Московскому по пр. 25 октября, пройдя всю Невскую заставу и далее, везде встречал хмурые, измождеиные, но твердые мужествеиные лица.

11.00 я у двери своей комнаты, с тревогой в сердце стучу и

говорю: «Ребята, откройте». Там радостные восклицания: «папа» и рев, слезы. Мария: «Валичка померла».

Самое страшное — декабрь 1941 — январь 1942. Февраль уже стал месяцем надежды на самое лучшее: скорейший разрыв блокады (правда, февраль прошел, осталось 5 дней, и кольцо еще не разорвано полностью, и стремление к «слоеному пирогу» для немцев не освобождает пути ж. д. к городу и может скоро обернуться скучно, когда Ладога начнет пениться весенней распутицей). 500 гр. рабочим, 400 служащим, 300 иждивенцам и детям немного подброшено мяса, крупы, сухих овощей... Я привез 1 кг хорошего мяса, немного рыбы, крупы, хлеба. С жадностью варили и ели три дня. Сам я отлеживался, отдохнуть давал ногам, готовил их к 60-тикилометр. переходу, ходил только за водой и немного пилил дрова. Печурки дымоход плох, в комнате дымно, холодно, неприятно.

Радио работало все дни до ночи на 16.2 (я вышел из дома в 5.00. 16.2.42. по направлению к Финляндскому вокзалу), плохо согревался.

Первые мои слова при входе домой: «Живы! Родные!» И это чувство, что в основном взрослые мои и жена живы — это успокоительно бодрое чувство не покидало меня все время.

Людочка ходила по моей просьбе в книжно-канцелярские магазины. Книг нет (закрыто), бумагу, блокноты, карандаши купила, говорит, что 99 проц. магазинов закрыто. Кстати о торговле: торгуют на рынках. Валюта: хлеб, табак. За хлеб и табак (последний становится дороже хлеба) все, буквально все можно купить. Мародеры, спекулянты... Злость забирает, когда вспомнишь, что так же, как N, сволочи устроились в городе, и, конечно, не голодают...

День первый моего пребывания в городе 18.2 промелькнул быстро. Поели уху, чайку попили, топили печечку, надымили, легли спать и всю ночь в разговорах не заснули. Передо мною развернулась картина щемиловского быта в эти страшные для Ленинграда дни: ужас перед смертью, борьба титаническая за жизнь... Это как у Гейне: «И покуда не поймешь смерть для жизни новой — хмурым странником живешь на земле суровой...» Много отвратительного. Но такова жизнь: мать 4 детей отнимает от груди маленького, чтобы не умереть самой. Маленький гибнет. Но зато живы еще трое, которые без матери бы умерли. Справедливо решение матери? Безусловно, да. Мать. Мария покупала краденые карточки на хлеб, правильно делала, да, она спасала жизнь троих ребят.

Шурик стал «старичком», «гномом», и еще тысячу эпитетов и прозвищ ему давали в семье за его угрюмый вид, за сидение у огня и нежелание даже пройтись по комнате, за его разговоры только о еде, вплоть до того, что требовал «выделите мой хлеб отдельно», за сою и воду, которую он тайком пил и ел, и вследствие этого уже трижды опухал.

Вот и сейчас он в пальто, опухший, бледный, кожа да кости,

только две черные бусинки-глазки говорят еще о прежнем розовом Шурике.

Настроение Люды: «Не читаю и еще 1—2 мес. не буду. Не могу». Тела у Марии и девочек от голода грязные, от дыма и отсутствия бани вот уже 3 мес.

В комнатах ленинградцев горшки и ведра... чтобы затем вылить в люк канализации. Это днем и ночью, уборные не работают. Судя по «Ленправде» в городе много, уже много домов пустили канализацию и отогрели водопровод и отопительную систему. Может быть, скоро это будет и на Щемиловке? Света нет, достали газолин, горит хорошо. Я ведь здесь привык к коптилке. Электро скоро не ожидают. И если чистят трамвайные рельсы, пути, то разговоры такие: «Пустят два-три паровозика с прицепом по 4—5 вагонов — возить рабочих на работу».

Действительно, очень мучительно ходить голодными или полуголодными, во всяком случае, вконец отощавшему человеку из-за Невской, напр., на Петроградскую сторону.

День второй моего пребывания начался хорошо: к утру в мягкой постели, под одеялом, почти раздетый, я хорошо заснул. Утром чай с сахаром. В обед мясо с крупой и каша на второе. «Как в мирное время», — с радостью говорили мои галчата, поедая по 2—3 порции супа, по полной тарелке каши. Это отмечали день рождения Людочки и Шурика (18 февраля Люде 14 лет, Шурику 6 лет)... Людочка сходила за покупками, достала за 50 рублей пачку «Норд», я лежал и блаженствовал.

А вот сегодня обещают дать 12 грамм (двенадцать — не путать!) в честь праздника, и я эти крохи, живя без курева с 18.2, т. е. 4 долгих дня, жду как манны небесной.

Людочка пешком дошла до Садовой. Принесла почти все, что я просил. Очень устала.

День, сутки, третьи, что был я дома, прошли в попытках натопить печь, согреться. Затем у соседа около хорошей жаркой печечки погрел ноги, натер их нашатырным спиртом. Лег спать до 4-х часов. Спал вторую и третью ночи крепко и долго.

Затем начались сборы. Поцелуи. Выход в темную, мягкую (снег даже не хрустит, а мнется) ночь. Два часа ходьбы до агитпункта Финляндского вокзала, оттуда дальше.

В 8.00 шел по окраине города, полный впечатлений бодрости и мучительного уныния, свежести и грязи, героического дыхания великого города...»

Миляев С. погиб в 1944 году в боях под Витебском.

«...Не пережившим блокаду», записывает в дневнике учительница Ксения Владимировна Ползикова-Рубец, «никогда не понять», что смерть здесь «такая же неизбежность, как на фронте».

Вот ее запись от 2 марта 1942 года:

«Сижу в кабинете завуча. Появляется маленькая хорошенькая девочка — дочь Бубина, которого я хоронила в октябре: «Здрав-

ствуйте, Ксения Владимировна, — а у нас в доме все умерли!» — «Кто все?» — спрашиваем мы с завучем в один голос, глядя на хорошенькое и абсолютно не грустное личико.

«Сперва бабушка, а потом мама и Володя в один день, а меня взяла к себе тетя, а квартиру нашу, пока я была у тети, обокрали, вот я теперь и пришла за вещами, которые у нас были в бомбоубежище, такой красный узел».

Так вот пытается защищаться детство, детская психика: не вбирает, отталкивает...

«А по дороге Валя Петерсон эпически спокойно рассказывала о зиме, — записала Ползикова-Рубец 3 августа, — о том, как отец умер от голода, как «папа любил лес и охоту», как ей было трудно прокормить сеттера и как они его съели».

И снова: «По дороге эпически спокойно рассказывал (мальчик Колобов) про гибель матери на дежурстве от фугасной бомбы. Балка раздавила ее грудную клетку. Он с отчимом выскочил в кухню. Останься они в комнате, и их не было бы в живых. Соседка в вагоне говорит о поседевших висках 19-летнего сына на фронте: «Вот и он, верно, так спокойно бы говорил о моей смерти, был раньше такой заботливый, ласковый, а теперь совета не добьешься; спрашивала, эвакуироваться ли, а он отвечает — как хотите...»

Взрослых поражало, пугало спокойствие детей, их равнодушие к смерти близких, к потерям. Что это было — детская неспособность воспринять чрезмерное горе, всеобщее бедствие, что обрушилось на них? Или это защитная реакция неокрепшей психики?

Мы не знаем, как объяснить это, но мы увидели другое, не менее поразительное. Встретив этих бывших мальчиков и девочек блокады спустя тридцать пять лет, мы обнаружили, как свежо помнят они те самые события, не стараются уйти от горьких воспоминаний, подобно многим, кто был постарше. Наоборот, читают все о тех днях, знают блокаду, включаются в поиски материалов, собирают блокадных своих однокашников... Живет в них тяга к той заледенелой, голодной, лишенной детских радостей поре. А главное — то тогда непережитое, вроде бы отстраненное горе потерь, все страдания виденные, они, оказывается, навсегда вошли в сердце, отпечатались в детской, еще податливой душе. Они продолжают жить, прочувствованные стократно. Многих они сделали сердечней, отзывчивей к страданиям других, к чужой беде...

А впереди еще два года...

Ушли самые долгие месяцы блокады — зима 1941-го и весна 1942 года. Они-то в основном и унесли жизни ленинградцев, которые умерли в городе или какое-то время спустя, многие уже в эвакуации.

Выходил из зимы, из холода и голода Ленинград трудно, но выходил. Надо еще было спасти себя от весенней эпидемии —

убрать с улиц трупы, нечистоты, все, что оставили голод и бессилие истощенных людей. Руками их же, обессиленных. Ленинградцы шли на очистку города, как на фронте шли в атаку. Надо было очистить дома, дворы, квартиры и не умереть весной, летом от неизлечимой глубокой дистрофии и не дать умереть другим. А тут — снова опасность, ожидание вражеского штурма. И злобные, ночные и дневные, обстрелы, слепые — «по площадям» и прицельные — по трамвайным остановкам, госпиталям, кинотеатрам...

«Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки, глядела долго и неотрывно, — рассказывала Ольга Берггольц выжившим ленинградцам про них самих, как рассказывают человеку про кризис болезни, когда он миновал, — но она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заславшие к нам смерть, опять просчитались».

Город чувствовал себя как человек после тяжелейшей болезни: слабость, но и невероятный прилив душевных сил, жадность к жизни.

«Я работала санитаркой в эвакогоспитале № 68 на углу Б. Пушкарской, — пишет Вера Ивановна Павлова из Тосно. — Ни воды, ни света, почти у всех был голодный понос. И вот в такой палате почти умирающие вдруг закричали: «Ребята, победа, ура, ура!» Это был апрель 1942 года, по-моему, 15 апреля. И полезли кто как мог к окнам. Ура! Победа! Оказывается, зазвенел трамвайный звонок и прошел трамвай, который всю зиму стоял на Большом проспекте. Если бы вы видели, сколько было радости! Кто посильнее, говорили: «Это уже победа!» — убеждали, объясняли...»

В некоторых записях и дневниках звучит восторг, ликование летних дней 1942 года, когда на город хлынули потоки солнечного света, запоздалого тепла, зеленые листочки появились на ветках, трава брызнула из развороченной земли.

Такая вот безоглядная, нерассуждающая радость вычитывается в дневнике девятнадцатилетней Галины Бабинской:

«27 июня 1942 года. Город — как хочется писать о нем, о нашем Ленинграде! Тот, кто не перенес эту зиму здесь, не чувствовал, не перенес всех ее трудностей на себе, не может понять радости ленинградцев, наблюдающих возрождение своего родного города. Об этом хочется говорить и говорить без конца, говорить об этом возвращении к жизни. Сейчас в особенности оживление города заметно на каждой мелочи. Незаметно это для постороннего глаза, для глаза, не видевшего Ленинград зимой.

Улицы и проспекты совершенно чистые, с шумом и звонками. Как приятно слышать эти звонки, сидя дома у окна за работой. И так, со звонками, пробегают мимо сверкающие чистотой стекол трамваи. Всего несколько маршрутов, но все-таки это настоящий трамвай. И сколько человеческих жизней спас трамвай. Трамвай

спас жизни! А прежде говорили наоборот. Да, нам понятно это выражение — трамвай спас жизни!

На трамвайных остановках толпы. На улицах снуют взад и вперед деловые люди. Но есть и женщины нарядные, мужчины, женщины, ребятишки. В садике у театра особенно нарядная публика: женщины с модельными прическами, в изящных туфлях, в изящных платьях всех цветов радуги; мужчины в начищенных костюмах, в нарядных ботинках. Но главным образом военные. На некоторых девушках исключительно складно сидят шинели, девчата здоровые, румяные, веселые.

В кассах кинотеатров и театров, в Музыкальной комедии — очереди. Перед началом спектаклей у подъездов собирается большая толпа неудачников, не имеющих билетов. В саду Дворца пионеров концерты джаза Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. Открывается сад отдыха. Дает концерты филармония. На улицах группа людей возле очередного номера свежей газеты. Народ заходит в промтоварные и продуктовые магазины. Продавщицы в чистых белых халатах. На полках чистые белые занавески. Продукты выдаются в срок и без очередей. А на углах чистильщики сапог. Парикмахерские полны дам на маникюр и горячую завивку — со своим керосином!..»

Или как вспоминает С. С. Локшин пословицу тех дней: «Заходите с керосинками — выходите блондинками!»

Вот как оно воспринималось после блокадной зимы! Здесь все гиперболизировано. Но преувеличенность эта, ликование, умиление, жажда видеть, находить только хорошее показывает не столько весну и лето 1942 года, сколько лютость ушедшей зимы, нечеловеческий ужас пережитого.

То, что очистили город, что ослабевшие руки сумели поднять лом, воткнуть лопату, вывезти тачку, было чудом. Сегодня, издали, это воспринимается естественно. Вышли, выходили день за днем люди во дворы, на улицы, площади, скололи лед, убрали завалы грязи, отбросов, нечистот, вывезли, вычистили, отмыли... Что-то похожее на теперешние апрельские субботники. Но тогда у самих же ленинградцев результаты работы вызывали изумление. Они не предполагали, что сумеют это сделать, что осилят. Секретари райкомов, председатели райисполкомов знали, что сделать это необходимо, но не понимали, каким образом высохшие, вялые от слабости, похожие на призраков люди смогут справиться — вручную, без механизмов, машин — с таким гигантским трудом.

Почти у каждого блокадника бережно хранится справка, которую давали тем, кто участвовал в очистке города.

Как же было в городе летом 1942 года?

Город грелся.

Люди стояли, сидели на солнышке, стараясь прогреть замерзшее, казалось, до самых костей тело. Холод выходил медленно, долго. До июня стены домов еще дышали холодом. Солнце было

также и светом, от которого отвыкли. Люди наслаждались ярким светом, открывали окна, забитые фанерой, завешенные одеялами, тряпками. Солнце беспощадно высвечивало внутренности комнат. Закопченные стены, потолки. Обломки несожженной мебели. Выкорчеванный на дрова паркет. «Буржуйка». Тряпье на кроватях, диванах. Грязь, грязь, нечистоты, обломки, осколки стекла, посуды — следы бомбежек... Опустели книжные полки. Повсюду проступали следы потерь и смертей. Во что превратились лестницы, дворы! Крыши продырявлены, прожжены зажигалками, пробиты осколками. Из всех окон торчали трубы «буржуек». Открылись от снега развалины, остовы горелых домов...

Человеку нужна возможность оглядеться, увидеть себя и ужаснуться. Это было необходимо.

Город оживал.

Откуда-то появились силы. Заготавливались дрова, торф для электростанции. Исчезли очереди за водой, заработал водопровод, не везде, но в дома один за другим стали подавать воду, хотя бы в нижние этажи. Открывались бани, прачечные. Стали изготавливать подошвы. Их штамповали из старых автомобильных и авиационных покрышек. Реставрировали одежду. Стали шить пальто, костюмы. Делалось много. Однако обстрелы продолжались. И бомбежки. Питания не хватало. На скудном пайке истощенный организм не способен был полностью восстановить силы. Давали куда больше, чем зимой. Уже с 11 февраля 1942 года ленинградцы начали получать: рабочие — 500 граммов хлеба, служащие — 400 грамов, дети и иждивенцы по 300 граммов, стали выдавать крупу, сливочное масло. И все же этого было недостаточно, питания не хватало, нужны были витамины, овощи...

«На нашем дворе на дереве появились первые листики. И вот из окна своего дома я вижу: подошел к дереву гражданин, стал срывать эти листья и класть в рот, а затем открыл портфель и начал бросать листья в портфель... Это дерево и сейчас стоит около стены дома в нашем дворе...» (Вера Яковлевна Бокина)

В парках и садах невозможно было увидеть ни одного одуванчика. Из листьев одуванчика варили щи, из корней, мясистых, сочных, делали лепешки. За одуванчиками приходилось ездить все дальше — в Удельную, Озерки. По знакомству двенадцатилетнюю Марину Ткачеву пропустили за одуванчиками в зоопарк.

«На рынках стали траву разную продавать — по 30—40 рублей за сто граммов щавеля просят, а то и хлеб им давай. Я купила крапивы и сварила щей, а на следующий раз лебеду сварила. До чего голод довел людей, смотришь, на вид приличная дама, нагнувшись, щиплет травку и кладет в рот, как коза» (Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн).

Люди мылись в банях, приводили себя в порядок, чистили свои жилища, вскапывали огороды, заготавливали дрова — исподволь готовились к следующей зиме.

В июле 1942 года Л. М. Филиппова получила самый для нее дорогой подарок — пакет лебеды. В то время это был драгоценный дар, но тут важно и что предшествовало этому подарку. Любовь Михайловна до сих пор волнуется, стоит коснуться того случая. А дело обстояло так.

Зимой пришло к ней письмо с фронта от ее товарища по горкому комсомола И. К. Ковбаса. Он спрашивал, чем можно помочь его жене и дочери. Л. М. Филиппова сама получала 200 граммов хлеба, что она могла? Но она была женщиной огромной энергии и собранности, недаром все эти годы она руководила парторганизацией Государственной Публичной библиотеки.

...«— Думаю, пойду к я Попкову, председателю горисполкома, пойду к Петру Сергеевичу. С чем пойду? Использую свой депутатский билет. Ведь не для себя, для помощи. И действительно, написали записочку на Тамбовский холодильник: двести граммов сухарей, плиточка шоколада, сушеная картошка, какая-то крупа. Я к Попкову в Смольный райо утром пришла, оттуда на Тамбовскую. Я такая была счастливая, что столько получила! Только бы мне застать родных Ковбаса живыми. (Илья Кириллович был комиссаром какой-то бригады.) Дошла я до Невы. Уже вечер. А чтобы сократить расстояние, не через мост пошла, а по Неве, там к Александровскому саду была дорожка. Вьюга страшная! И вот вы знаете, что самый страшный момент в моей жизни. У меня пакет, там шоколад, я иду через Неву и уже падаю. Как бы не съесть! Этого чувства я вам передать не могу никакими словами. Страшный случай. У меня там шоколад и сухая картошка, а я должна донести. Понимаете? Иду через Неву. Вьюга задувает, думаю, мне уже не дойти. Как я тогда с ума не сошла, не знаю. И все-таки я иду, иду, иду. Вот улица Ленина. Нашла этот самый дом. Поднялась на третий этаж. Ищу комнату, где они жили (это была коммунальная квартира). Вхожу. Мне стало легче, что я донесла.

— Борьба с собой была для вас труднее, чем с вьюгой?

— Этого не передать. Это было страшно. Когда я переступила порог этой комнаты, мне стало легче, что я донесла. Я такая же голодная, такая же больная, не могу двигаться, но уже счастливая. Думаю — были бы только живы! Вижу — с одной стороны кровать, с другой стороны кровать. Спрашиваю: «Ксения Петровна? Люся?» В ответ слабый голос Ксении Петровны и более сильный девочки. «Я вам от отца принесла привет!» Ну, знаете, что тут было! Мало того что счастье преодоления! Я какой-то стул очередной, какие-то книги оставшиеся вытащила, растопила «буржуйку», поставила кипяток. Они, конечно, поднялись. Мы сели около этой «буржуйки». Они меня угощали, и я, уже не стесня-

ясь, поела, потому что я иначе с улицы Ленина до Публичной библиотеки не дошла бы. Это был очень счастливый случай. К счастью, они обе выжили. Потом мне удалось их отправить на Большую землю, эвакуировать, тоже через горком партии. И вот — самый дорогой подарок, который я получила в блокаду. Я прихожу домой, лежит большой-большой пакет — Любови Михайловне Филипповой. Я уточняю: это когда они встали и окрепли, весной. Я их после отправила. Они тот паечек разделили и обе выжили. И жили уже на Крестовском острове, были на своих ногах, собрали там лебеду и весной сорок второго года вот такой большой пакет принесли мне и трогательное письмо. Из этой лебеды мы наделали таких котлет! Такой у нас был пир! Ведь они уже умирали обе — девочка и Ксения Петровна. И тот паек, который я принесла и они постепенно ели, их все-таки спас, я так считаю. Еще помню какие-то одуванчики, которые мы тоже ели. Но главное — лебеда. Одуванчики — в салат, а из лебеды очень хорошие можно было сделать котлеты. Это был роскошный подарок!»

Рассказывает З. А. Игнатович:

«— В первую весну сорок второго года, когда появилась трава, то народ как будто превратился в животных: любую травы срывали и ели. Ни одной травки в Ленинграде не оставалось под забором. Однажды мы с одной из сотрудниц, Софьей Хатановой, поехали в Ботанический сад, хотели договориться с ними, чтобы разные травы посылать им на анализ. Надо было выяснить, какие травы ядовитые, какие неядовитые. Ботанический сад был закрыт на замок. Мы позвонили. Когда мы туда вошли, увидели купырь вот такой высоты! Господи! Нас попросили подождать, пока придет научный сотрудник. Мы же стали этот купырь есть — с таким удовольствием!

— Купырь — это трава?

— Трава. Листья ее похожи на листья моркови. И мы этого купыря так наелись. Никто не трогает, везде пусто, и мы ели. Когда вышел к нам Никитин, нам стало неловко. Мы договорились что травы мы на анализы, конечно, будем посылать. Мы его спросили: а можно нам купыря нарвать? Он говорит: «Это же сорная трава». Я говорю: «Ну, все равно». И вот мы с ней набили две сумки, пришли в лабораторию. Наелись все и были счастливы. С таким удовольствием ели эту сорную траву: купыря наелись!»

«Июнь месяц 1942 года. С каждым днем организм слабел, хотя хлеба прибавили, я уже получала 400 граммов в сутки, но есть еще больше хочется... Бомбежки, обстрелы, воздушные тревоги продолжались, но было хорошо тем, что мы грелись на солнышке, как мухи...

Июль месяц 1942 года. На улице тепло. Распустились деревья, выросла трава. Мы с мамой и другие ходили на кладбище и со-

бирали какие-то корни, варили и ели. Крапивы и травы почти не было, так как голодные люди собирали все для питания...» (Из дневника Ульяны Тимофеевны Поповой)

К тому времени Ульяна Тимофеевна Попова начала работать в столовой кассиром. Рассказывая о своей работе, она упоминает и меню, и обстановку в столовой того времени:

«Давали щи из сушеной морской капусты и дрожжевой суп, давали кашу, на 200 граммов талон, а также выдавали на номерные талоны дополнительно шротовую запеканку.

...Тарелки вылизывали... Вечером я клеила вырезанные талоны по сто штук на бумагу... Клеить талоны было не на что. Не было бумаги. Клеили на газеты или на старые ноты, которые кто-то приносил».

Что ни рассказ, то свое, непохожее на другие, восприятие весны 1942 года. По-разному люди выходили из блокадной зимы, по-разному оживали. Не ко всем возвращалась вера.

Было интересно обратиться к наиболее полному из всех дневников — как встречал весну и лето 1942 года на своем «малом радиусе» Г. А. Князев. В записях его чувствуется усталость. Он все время подбадривает себя, обнадеживает, но это все труднее дается ему.

«26 мая 1942 г. Плохо здоровье академика физиолога Ухтомского. У него на почве запущенной цинги началась гангрена. Врачи считают его положение безнадежным. Здоровье академика Крачковского все время колеблется, как пламя свечи. На днях у него был консилиум. Его взяли под наблюдение лучшие врачи города.

3 июня. Около нашего архива разломаны ворота на дрова... Некоторые «охотники» выпиливают балки на чердаке... Самый страшный для быта ленинградцев вопрос — как просуществовать зиму?

12 июня. На моих глазах от голода погибает Матрена Ефимовна, наша бывшая домработница, которую я взял временно на службу. Она на иждивенческой карточке. Сегодня она вся почернела. У нее, как она призналась мне, начался голодный понос».

Он изо всех сил хочет сохранить объективность. Он тщательно отмечает все хорошее, любые успехи, приметы возрождения жизни.

«22 июня. На грядах в Румянцевском сквере поднялись всходы... Совершенно не встречаю транспорта с покойниками — ни ручного, ни автомобильного. Вероятно, не в те часы провозят, когда иду на службу. Вижу немало людей, и нестарых, с трудом передвигающихся, некоторые держатся даже за стенки дома.

Напротив нашего дома на самом берегу продолжают женщины рыть траншеи.

В городе, по крайней мере на моем участке, малом отрезке радиуса, очень чисто; каждый день подметают. Дворники — сплошь женщины. В Академии художеств в одном окне сегодня маляр вставлял стекло.

28 июня. Большая тревога на сердце. Под Севастополем непрерывные ожесточенные бои... Писать ли дальше записки? Слишком они становятся тяжелыми.

Нам, современникам, не видно всего, а то, что мы видим, может быть, совсем не то, что должно войти в историю. Нужны ли такие записки, как мои, не очень ли они односторонни, субъективны?.. И все-таки продолжаю писать. Я уж десятки раз пояснял, что веду свои записи как современник великих событий, но не активный их участник. Я обязан и должен сделать свое дело, записывать до тех пор, покуда в состоянии буду писать.

М. Ф.[1] катастрофически худеет. Карточек не хватает. Пайка не выдают. Купить по спекулянтским ценам ничего не удается. Сжимаю зубы и гляжу судьбе в глаза...

Пришлось прервать выписку. С воем и визгом проносятся над крышей снаряды и где-то рвутся недалеко. Подошел к окну. В дворовом садике копаются в песке ребятишки; кто-то идет с кувшином. Яркое солнце, почти безоблачное небо. М. Ф., к счастью, только что вернулась домой. Мы вместе. Чего же беспокоиться? Продолжаю.

Страшные опять приходят мысли в голову... Неполучение пайка поставило нас в тяжелое положение. М. Ф. плохо себя чувствует.

Борюсь. И буду бороться. Еду сейчас проверять дежурство в архиве. Исполняю свой долг до конца...»

...Весна и лето 1942 года воспринимались по-разному Г. А. Князевым и девятнадцатилетней Галиной Бабинской. Сперва кажется, что это совершенно разные города. Или разные времена блокады. Но стоит вдуматься, вглядеться — и окажется, что они не опровергают друг друга и даже не противоречат. Существовало и то и другое. Все зависело от того, кто смотрел, какими глазами. Надо наложить несколько разных картин, чтобы возник перед нами медленно оживающий Ленинград 1942 года, где еще умирали, не в силах оправиться от дистрофии, и где вскапывали, обрабатывали каждый клочок земли в садах, парках, на бульварах под огороды. Можно понять Галину Бабинскую, когда любая малость виделась ей преувеличенной. Две-три встречные женщины в туфлях и летних платьях были событием, надеждой, счастливой приметой. Чистильщик сапог вызвал восторг. И можно понять Г. А. Князева,

---

[1] М. Ф. — Мария Федоровна, жена Г. А. Князева; она-то любезно и передала нам дневник покойного мужа и много помогла понять в личности и в трудах Георгия Алексеевича.

который понимал, что блокада продолжается, Ленинград по-прежнему в упор расстреливают вражеские орудия, и впереди вторая блокадная зима, а силы кончаются.

Из многих свидетельств мы отбирали не только схожие, но и разные, несовпадающие, разноречивые. Мы не хотели выводить из них среднее. Среднее не значит истинное.

Все четыре Евангелия излагают одно и то же. Четыре автора описывают одну и ту же судьбу, одни и те же события, но каждый по-своему. И если подойти к этим произведениям как к явлению литературному, то возникает вопрос: зачем, почему эти четыре повести существуют вместе? Почему читательский интерес не гаснет, не падает по мере чтения каждой новой повести? Каждая следующая дает все меньшую информацию, все меньше нового. Авторы повторяются, хотя у каждого есть свое — и свой слог, и свои факты, и свое видение. И все же все четыре повествования вместе интереснее, чем каждое в отдельности. Они образуют какое-то устойчивое единство, несмотря на все повторения, несмотря на разные толкования... А может, именно благодаря этому? Они как бы поддерживают друг друга, помогают, высвечивают, почему-то не мешая, а усиливая друг друга. Какое взаимодействие между ними происходит? Таинственное, сложное это взаимовлияние не укладывается в известные законы литературы. Когда Ренан пробовал на основе четырех Евангелий и всей известной ему литературы написать «Жизнь Иисуса», получилось произведение, лишенное художественной силы. Такая же судьба постигла и «Евангелие» Л. Н. Толстого, созданное как нечто сводное, более точное. Пример этот поучителен...

Четыре Евангелия создают объемность: можно обойти со всех сторон, то есть с четырех сторон обсмотреть историю Христа. Разноречивое, многоликое повествование людей о блокаде повторяется и не повторяется, и несется дальше, и уходит в глубь страданий, испытаний. Впрочем, дело не в одних только страданиях, страдания открывают нам более важные свидетельства, которые можно услышать в этих рассказах, — границы человека, пределы человеческие. Они расширяют эти сферы силы и высоты человеческой, продвигают их в пределы, казалось до этого, необитаемые, безумные, где нельзя соблюдать законы морали, где душа гибнет, а оказывается, и там человек может остаться Человеком.

Эта бессмертная, эта вечная Мария Ивановна!

А Мария Ивановна из ЖАКТа — помните ее, командира группы самозащиты? — она все еще там, возле своих «жилых объектов»... И сегодня память ее мечется между домами и ба-

раками, тащит и нас следом туда, где с громом и дымом разорвался снаряд, или где, наоборот, подозрительно тихо, или куда ее послало письмо фронтовика, встревоженного молчанием своей семьи...

Сегодня Мария Ивановна Дмитриева занимается садоводством, ждет к лету в гости внучек («Две девочки-школьницы, чудесные»), пишет письма дочери, живущей на Севере с мужем-летчиком, обсуждает с соседками местные новости...

Но память ее блокадная при малейшем толчке снова там, возле «жилых объектов»...

«— А здесь был у нас сильный обстрел, на Швецова, тридцать восемь. Вернее, здесь так было: вначале, нам казалось, нас сильно обстреливали, а когда разместились здесь «катюши», вот тогда действительно началось... Здесь есть завод металлолома, и туда подвели рельсы и поставили «катюши»... Их быстро выкатят, нацелятся и стреляют. Потом они уйдут, а мы-то остаемся. По нас и били. Так били, что дома были разрушены на нет. Получилось это примерно, если не ошибаюсь, в марте месяце. Это днем было. Я помню, что уже позавтракала, пошла в контору. Начался свирепый обстрел. Я дошла до конторы. И не помню, кто вскричал: «Мария Ивановна! Там разбили дома!» Снаряд попал в тридцать третий дом. Ну, было трудно подойти. Пошла я. Пошла, пробралась всетаки. Это далековато, к Тентелевке, туда, в стороне дом. Вот пришла, вхожу. А там какой-то стиль был, не знаю, — на обе стороны комнаты, а посредине коридор сквозной. Вроде строители жили или что-то такое.

— Общежитие?

— Да, как общежитие. И были не квартиры, а только комнаты. Причем длинный коридор. Двухэтажный дом. Ну вот, я прошла по первому этажу, никого нет. Стукнулась туда, сюда, все закрыто. Тогда я наверх прошла, а там стенка разбитая. Дом-то деревянный, и когда его снарядом стукнуло в угол в верхние перекрытия, бревна-то встали как карты. Но это в одном углу только, а остальные все нормально.

— А вот в этих закрытых комнатах, куда вы толкались, там, может быть, люди были?

— Вот я и думала, только никто не отозвался. Потом, когда я уже обратно повернула (но обстрел еще не кончился, и осколки жих, жи-их в этот дом), шла назад, я услышала какой-то звериный рев, просто ненормальный, просто зверь ревет, причем шибким таким, сильным голосом. Я остановилась. Потом вышла на улицу и смотрю наверх: как там разбита квартира и где? Стала прислушиваться: откуда звук издается? Вижу — из этой разбитой квартиры. Я подошла к двери, слышу, что здесь. Но дверь настолько плотно закрыта, что не шевельнуть ее нисколько. В это время бежит ко мне мальчик, подросток, лет ему пятнадцать-шестнадцать. Очень хотела бы теперь его найти, увидеть. Это Юрик Лебедев. Я его запомнила. Родители у него эвакуировались давно. Старший брат, летчик,

ушел на фронт, это он мне рассказал. А он был в ремесленном железнодорожном училище. У них наверху была квартира (тоже все разбило). И вот он появился откуда-то. (Юра после, когда ремесленное эвакуировалось, часто приходил к нам помогать — тушил зажигалки и всякое там другое.) Ну вот. Я говорю: «Где же это кричат? Кто здесь живет? Я во все двери толкалась — везде закрыто». А он говорит: «Ах, это Дуся!» Он в доме всех знал. Я говорю: «Ну а как же мы с тобой туда попадем? Дверь-то не поддается». Он говорит: «Подождите, Мария Ивановна, сейчас». Ну, он юркий такой, худенький. Он пошел другой стороной. Отсюда стреляли, а он другой стороной обошел и говорит: «Я сейчас в эту дыру, которая пробитая, пролезу». Я говорю: «Осторожней смотри: осколки». Пролез. И кричит: «Мария Ивановна, я здесь!» Дверь бы нам нипочем не открыть. Оказывается, от толчка снарядом вещи попадали. У них гардероб большой стоял, и этот гардероб на дверь опрокинулся. Ну, Юрик этот гардероб отодвинул, приоткрыл дверь, и я туда вошла. Там, знаете, известь, мел, как облако! Потому что все осыпавши, вся штукатурка. Вот такие груды штукатурки! Ну когда немножко это вроде стало осаждаться, я увидела, кровать стоит. Она вся завалена, потом диван или оттоманка, тоже вся завалена. И везде доски раскиданы. Я говорю: «Подожди, Юрик, не двигайся». Потому что я услышала писк какой-то, что-то вроде писка, кошку, что ли, придавило. Я говорю: «Подожди, Юрик, мы должны осторожны быть». Ну вот — и вдруг опять рев этой женщины! Она без сознания, израненная, под кроватью! Она почему-то затиснута под кровать. Кровать низкая, железная, и она заткнута туда.

— Может быть, от обстрела забилась?

— Может быть, она заползла, а скорее волной ее забило туда. И опять таким же голосом страшным она заревела. Только поэтому мы увидели, что кто-то под кроватью лежит. И вдруг опять писк — вот такой, вроде котенка. Не знаем, с чего начинать. Я говорю: «Юрик, как можно осторожнее шагай, потому что придавишь». Вы знаете, на цыпочках шагали через эти плиты-то, штукатурку.

— Которые на кровати лежали?

— Нет, на кровать-то мы не ступали. На полу. Теперь, значит, стол. Он посередине стоял, но ничего там от стола не осталось, только доски лежат. Подошла я, как взяла, средняя доска и поднялась. К моему удивлению (я, честное слово, не знаю, как без языка не осталась!), лежит вроде бы ребенок. Но грязный, в глине какой-то, в извести, мокрый!

— Голенький? Только еще родился?

— Да, конечно, только родился, из утробы матери. И вы знаете, за ним тянется пуповина. Это от матери, из-под кровати, через это все... Кошмар! Никогда ничего такого не видела. Но в это время, я не знаю, откуда что-то бралось. Я говорю: «Юрик, ищи воды. Воды и ножницы!» Юрик побежал. Бегал,

бегал (их квартира тоже наверху). И несет мне: «Мария Ивановна, не нашел я ножниц. Вот нож принес и графин, хвоей настоянный». «Ну, — я говорю, — она, наверно, кипятком налита. Ничего страшного». А у кровати, знаете, такие красивые свесы вязаные. Ну, я выдернула этот свес из-под обломков, кромку от него, так, сбоку, оторвала пупок перевязать. Все это встряхнула — больше делать-то нечего, у нас ничего другого нет. Подошла, свесом этим накрыла ребеночка — и на кровать в уголок. Завернула я ребеночка. Он запищал. От грязи задыхается, плакать-то не может, понимаете ли, как котенок пищит. Я говорю: «Ну вот я пупок перевязала, нужно обрезать, чтобы не тащился». А сама не знаю, сколько оставить. Оставила сантиметров восемь, наверно.

— Вам никогда не приходилось принимать роды?

— Никогда не приходилось, конечно, где же там. Не приходилось и не видела даже никогда. Ну вот, я пупок обрезала ножом. Перевязала.

— И Юрик помогал?

— А Юрик мне вот что сказал. Я говорю: «Сейчас будем вытаскивать больную оттуда». А он: «Мария Ивановна, неудобно мне». — «Что ты! Мы спасаем жизни! И ты о каком-то неудобстве говоришь. А как же врачи? Да ты что? Никаких неудобств! Слушать не хочу!» И он принялся мне помогать. И вот я этого ребеночка завернула. Потом говорю: «Теперь ты мне поливай». Он из графина мне поливает. А я хоть завернула, но один конец оставила (свес-то ведь длинный), и вот он мне на этот конец льет. Я стала чистить изо рта все, чтобы дыхание открыть ребенку. И он заплакал настоящим голосом. А то он задыхался от этой грязи. На кровати расчистили местечко. Положили ребенка. Молчит. Давай вытаскивать. Как ее вытащить? Она оказалась такая здоровая, такая сильная женщина, причем косы распущены, расплетены. Длинные, ниже поджилок волосы — красивые светлые волосы. Боже мой! Мы с ним тащили-тащили ее. А у нее так: у нее здесь на голове изранено все, видимо, осколком. И волосы прилипли, с кровью, грязью. И она как шевельнется, у нее сильная боль: потому она и кричит. Я говорю: «Знаешь что, Юрик, простит она нам, если живая будет. Давай обрежем это, чтобы ее не тревожило».

— Волосы?

— Волосы.

И я ножом эту прядь. А другие пряди оставила. Я говорю: «В больнице отмоют». Ну вот, мы ее вытащили. Вытащили — она без сознания. Только изредка прямо, знаете, каким-то тигровым голосом ревела. Ужасное что-то! И вот подтащили ее к дивану. Мы все эти плиты, знаете ли, расчистили. Мы теперь уже ходили свободно, потому что расчистили себе дорогу. Мы ее подтащили к дивану, но никак нам ее не положить на диван. Вся грязь за нею тащится. У нее место не вышло, ничего, понимаете? «Юрик, ты держи. Немножко приподнимем. Ты только держи, подставь колено. А я здесь буду заворачивать». Все-

таки положили! Только мы успели положить, еще тут подбираем все, вдруг девушка бежит. «Марья Ивановна, — кричит,— Марья Ивановна! Вы живы?» Мы уж забыли об обстреле. Обстрел-то не кончился, вспышки, осколки! Это была Муся, Смирнова ее фамилия. Из дома тридцать шесть. А квартиру не знаю. Молоденькая девушка, тоже, наверно, вот такая, как Юрик, ей лет шестнадцать. Я говорю: «Жива я, Мусенька, жива». И еще говорю: «Нам необходимо сейчас же вызвать машину. Ты иди обратно к телефону. Осторожно пробирайся!» — «Я осторожно. Вы-то осторожнее, ведь он сюда все бьет!» И потом она мне сообщила: «Марья Ивановна! Еще разбило дом шестьдесят седьмой на Тентелевке, все пробило одним снарядом, и печка там упала». А там лежали все больные, и печка — круглая, большая — им на ноги. Они все и умерли. Я говорю: «Муся, мы тоже должны закончить здесь все. Вызывай машину. Скажи, что роженица, они быстрее приедут». Ну, правда, быстро-быстро, мы не успели тут прибрать по-настоящему, как машина приехала. Сдала я их.

— Ни фамилии, ни имени не помните?

— Имя ее Дуся. А фамилия? Если только вот найдете Юрика этого Лебедева, то он, конечно, знает. Они в одном доме жили. Он наверху там, во втором этаже жил. Он знает хорошо. Чего-то такое... Нет, не хочу, потому что я перевру, так я хочу сказать. После этого я справлялась. Вернее, как? Не справлялась. Меня вызвали как-то в Дом культуры (уж, наверно, года через два после этого всего, после войны). Вызвали в Дом культуры и попросили рассказать отдельные эпизоды. Там были стенографистки. И когда я закончила, я говорю: «Вот что я не знаю: я забыла даже посмотреть — мальчик это был или девочка. Очень сожалею. И не знаю сейчас, жив ли он». Тогда поднялась какая-то женщина со стула и говорит: «Мария Ивановна! Жив мальчик, и жива его мать». Они получили комнату, когда она вышла из больницы. Долго лежала в больнице, где-то у Черной речки, на Петроградской. Так я не нашла. Все хотела написать в бюро добрых услуг — может быть, они бы нашли.

— А Юрик после куда делся?

— Про Юрика тоже не знаю. Когда все тут кончилось, он исчез. Наверно, они получили площадь. Лебедев Юрик. Его брат — летчик. Мать и отец были эвакуированы».

Когда рушился под тяжестью преступлений несостоявшийся «тысячелетний рейх» и фашистскому Берлину непосредственно стали угрожать окружение, штурм, Гитлер вдруг вспомнил про Ленинград.

А в циркуляре рейхсфюрера СС Гиммлера, ставшего командующим группой войск «Висла», Ленинград приводился как пример поведения жителей, обороны города, создания неприступной крепости. Циркуляр № 40/10 завершался фразой:

«Ненависть населения создала важнейшую движущую силу обороны».

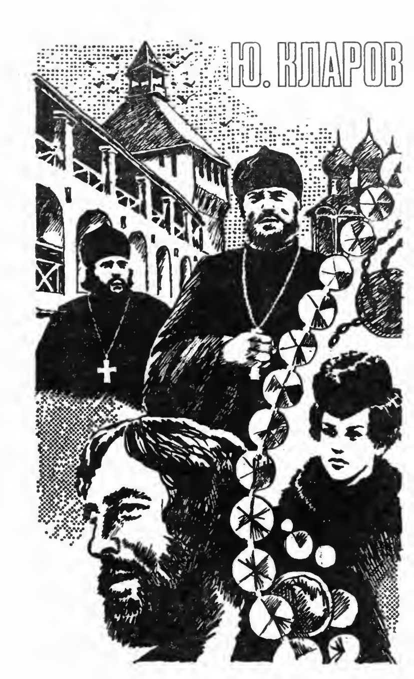
С каким «научным» хладнокровием старались они удушить, истребить, стереть с лица земли Ленинград. Не получилось. Теперь приходилось «научно» (с учетом ленинградского опыта) спасать собственную столицу.

Да только ни там, ни здесь их каннибальская «наука», их самые предусмотрительные приказы не могли решить задачу, привести их к победе.

Нужно было что-то большее, чем блудливый страх перед расплатой, за жизнь свою страх.

Нужно было что-то такое, что сильнее любых приказов, всех мук голода. Что сильнее и страха и смерти. Именно то, чем держались ленинградцы, что питало волю и героизм советских людей под Москвой, и в Севастополе, и в Сталинграде, и в партизанских краях и республиках, — великая, высокая человеческая правота и оправданность борьбы до последнего дыхания.

Мария Ивановна, бессмертная, вечная Мария Ивановна не капитулировала. Капитулировали они — те, что старались убить ее бомбами, снарядами, похоронить под стенами обрушившихся домов, уморить голодом, холодом, усталостью, безнадежностью. Победила она и тот безымянный мальчик, который родился, казалось бы, в самом царстве смерти. Жизнь победила.


Ю. КЛАРОВ


СТАНЦИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ-
ХАРЬКОВ
РОМАН

Пролог

В президиум Московского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов

Строго конфиденциально

На ваш запрос от 27 ноября 1918 года о монархической организации «Алмазный фонд» и ценностях, коими она располагала, сообщаю:

Сведения о существовании вышеименованной организации были нами получены и переданы в ВЧК в ходе дознания, учиненного по факту известного хищения национальных сокровищ России из Патриаршей ризницы в Московском Кремле.

Непосредственно руководивший розыском заместитель председателя Московского совета народной милиции тов. Косачевский (в настоящее время находится на подпольной работе на Украине) установил, что во время ограбления в патриаршей ризнице наряду с церковными находились и иные, неизвестные ценности, не внесенные ювелиром патриаршей ризницы гражданином Кербелем в опись похищенного. Так, в частности, там хранились так называемый «Батуринский грааль» — вырезанная из цельного перуанского изумруда чаша весом 182 карата, которая некогда принадлежала сподвижнику Петра Первого князю Меншикову; шедевр русского ювелирного искусства «Два трона»; известная ювелирам жемчужина «Пилигрима», фамильная драгоценность рода Юсуповых; изготовленный в ювелирной мастерской Мелентьева в Риге «Золотой Марк» и другие вещи, украденные преступниками вместе с церковным имуществом.

Как выяснилось, эти ценности были привезены в Москву из Петрограда бывшим заместителем начальника Царскосельского гарнизона полковником Василием Мессмером. По объяснению Мессмера, эти вещи отдали ему на хранение его друзья.

Однако проведенные тов. Косачевским оперативные действия и опрос причастных к делу лиц показали, что в действительности вышеуказанные ценности принадлежат не частным лицам, а петроградской монархической организации, именующей себя «Алмазным фондом».

В дальнейшем об этой организации группе тов. Косачевского удалось добыть дополнительные данные. Из оных следовало, что «Алмазный фонд», созданный в 1917 году, вскоре после высылки царской семьи в Тобольск, представлял собой некое подобие кредитного банка, призванного финансировать освобождение царской семьи и формирование монархических офицерских отрядов на юге России. Казначеем совета «Алмазного фонда» являлся полковник Василий Мессмер (застрелился в марте сего года на квартире отца).

Как явствует из прилагаемой справки, «Алмазный фонд» в силу различных объективных и субъективных причин не сыграл какой-либо существенной роли в борьбе против Советской власти. После Октябрьской революции значительная часть его членов эмигрировала за границу. Совету «Фонда» не удалось установить постоянных и устойчивых связей с монархически настроенным офицерством, а крупные денежные суммы, переданные Борису Соловьеву для организации побега из Тобольска царской семьи, были последним присвоены.

Между тем имущество «Алмазного фонда», состоявшее из ювелирных изделий, пожертвованных его членами, к концу семнадцатого года оценивалось в 20—25 миллионов золотых рублей. Опасаясь обысков, казначей «Фонда» Василий Мессмер вначале хранил все эти ценности в Валаамском Преображенском монастыре, где находился его брат Олег Мессмер (в иночестве — Афанасий). А затем все ценности были им перевезены в Москву и с разрешения московского митрополита помещены в патриаршую ризницу.

Церковное имущество, похищенное из патриаршей ризницы братьями Прилетаевыми, было обнаружено и изъято группой Косачевского частично в Саратове у скупщика краденого Савелия Бровина (он же Савелий Чуркин), а частично в Москве, в особняке Лобановой-Ростовской, где в марте сего года размещался анархистский отряд «Смерть мировому капиталу!». Однако, за исключением колье «Двенадцать месяцев», ничего из ценностей «Алмазного фонда» найти не удалось.

Арестованный по делу патриаршей ризницы помощник коменданта Дома анархии Д. Ритус (расстрелян по постановлению МЧК за убийство, грабежи и прочие преступления в апреле сего года) утверждал, что как ценности патриаршей ризницы, так и ценности «Алмазного фонда» после ликвидации Прилетаева на даче в Краскове были им самолично доставлены в особняк

Лобановой-Ростовской и вручены под расписку командиру отряда «Смерть мировому капиталу!» анархисту-коммунисту Галицкому.

После апрельской операции ВЧК по разоружению анархистов в Москве Галицкий был арестован и доставлен в уголовно-розыскную милицию. На очной ставке с Ритусом он подтвердил показания последнего, но заявил, что один из чемоданов, привезенных помощником коменданта Дома анархии, он передал на хранение своей сожительнице Эгерт.

Проверить объяснения Галицкого не представилось возможным, ибо гражданки Эгерт по указанному им адресу не оказалось. Опрошенные тов. Косачевским соседи Эгерт показали, что она в конце марта выехала из Москвы в неизвестном направлении. При обыске на квартире Эгерт ничего из ценностей «Алмазного фонда» обнаружено не было.

В связи с указанными обстоятельствами и учитывая бесперспективность дальнейших поисков ценностей «Алмазного фонда», которые Эгерт, видимо, вывезла из Москвы, розыскное дело было прекращено производством 5 сентября 1918 года. Постановление о прекращении утверждено начальником административного отдела Московского Совдепа тов. Рычаловым 5 октября сего года.

Копии документов из вышеименованного розыскного дела и копию описи драгоценностей «Алмазного фонда» прилагаю.

Приложение на 72 листах.

Начальник уголовно-розыскного подотдела административного отдела Московского Совдепа Н. Давыдов
Москва. 9/XII — 18 г.

Глава первая

«Лучезарная Екатерина»

I

В Москву я вернулся весной двадцатого. Поезд тащился из Киева более трех суток и прибыл на Брянский вокзал утром.

Старик паровоз долго и мучительно откашливался, а затем, отхаркнув густые клубы пара и скрипнув своими ревматическими суставами, затих, прижавшись к заплеванной щербатой платформе.

Утро было серым и мутным. Сквозь давно не мытые стекла вагона чернильными пятнами на промокашке расплывались лица выстроившихся вдоль перрона бойцов заградотряда. Они отбирали у мешочников привезенные с благодатных южных краев пшеницу, картошку, яйца. Заградотряды были символом военного коммунизма и продразверстки: «Спекуляцию — к стенке!»

Пассажиры стремительно ринулись к выходу из вагона. Наиболее предприимчивые выскакивали из окон на противоположную сторону, где стоял изукрашенный плакатами агитпоезд. Шмяка-

лись на рельсы мешки с хлебом, всполошенно кудахтали обезумевшие от ужаса куры. Вереща и повизгивая, мчался под колесами агитпоезда поросенок. Перрон огласился бабьими воплями, пронзительными свистками и забористым матом. Но заградотрядников было мало, и большей части приезжих удалось прорваться на привокзальную площадь, где их уже поджидали москвичи. В переулках, дворах, подворотнях продовольствие обменивалось на одежду, обувь и мануфактуру.

Столица республики встречала сырым, дующим с реки ветром, промозглым холодом и тяжелым, застоявшимся запахом нежилого, давно покинутого хозяевами дома.

Я решил не дожидаться трамвая, а взять извозчика, благо извозчичья биржа располагалась рядом с трамвайной остановкой.

— Сколько до Варварки возьмешь?

Пожилой извозчик оценивающе посмотрел на меня:

— Чем платить будешь? Ежели бумажками, не сойдемся. Нам, граждании хороший, дензнаки ни к чему. Нам бы что по части пропитания.

Когда я достал из вещевого мешка небольшой шматок сала, он взвесил его на ладони, понюхал, поскреб ногтем:

— Лежалое небось? Да уж ладно. Где наша не пропадала! — Он тщательно завернул сало в платок. — В лучшем виде доставлю, с ветерком!

Насчет ветерка было сказано так, по привычке. И сам извозчик, и его мосластая кобыленка уже давно успели забыть про быструю езду. Лошадь шла валким шагом в меру подвыпившего мастерового, старательно обходя раскинувшиеся вдоль дороги грязевые озера.

Москва изменилась. И все перемены так или иначе были связаны со словом «исчезать». Исчезли ярко выкрашенные заборы и палисадники, которыми зимой растапливали «буржуйки». Исчезли спиленные и превращенные в дрова деревья многочисленных скверов, бульваров и садов. Исчезли висевшие некогда чуть ли не на каждом доме кумачовые флаги.

Заколоченные крест-накрест досками витрины магазинов, дома с облупившейся штукатуркой, унылые очереди у хлебных лавок...

О былом лишь напоминали зеленеющий свежевымытой листвой Пречистенский бульвар да бывшее Александровское юнкерское училище на Знаменке. Основательно пострадавшее в семнадцатом во время штурма красногвардейскими отрядами, оно теперь казалось только что отстроенным — сверкающие стекла окон, девственная чистота стен. Над крышей здания развевался красный флаг, а на булыжной мостовой у фасада вытянулась длинная вереница мощных «паккардов», «ройсов» и вертких «нэпиров».

В училище теперь размещались Реввоенсовет и Главный штаб Красной Армии.

Лошаденка покосилась на автомобили и прибавила шагу. То ли ее взбодрил едкий запах керосина — бензин, точно так же, как и овес, исчез в восемнадцатом, — то ли она почуяла долгожданный

конец пути, но по Знаменке и Кремлевской набережной мы промчались с обещанным мне ветерком.

А вот и Варварка.

— Какой дом-то? Этот, что ли? — спросил извозчик и, остановившись у глубокой, ведущей во двор кирпичной арки, вяло и безнадежно сказал: — На чаек бы...

С щедростью загулявшего сибирского купца, стремящегося поскорей освободить карманы от избытка золота, я сунул ему триста целковых. Но он лишь презрительно хмыкнул. Увы, теперь на эти деньги нельзя было выпить ни водки, ни чаю, разве что приобрести на Сухаревке коробок спичек или несколько фунтов все той же соломы.

Я достал из мешка два соленых огурца, и лицо извозчика расплылось в улыбке.

— Премного благодарен, — сказал он.

На расположенном в глубине тесного двора двухэтажном особнячке не было никакой вывески. Тем не менее в годы гражданской войны дорогу сюда хорошо знали сотни людей. Отсюда они направлялись в распоряжение местных подпольных центров на оккупированную немцами Украину, в Поволжье, Крым, Сибирь. Здесь снабжали деньгами, документами, адресами явок и конспиративных квартир. Разрабатывали системы связи и обучали технике конспирации.

Возле особняка охраны не было. Но когда я вошел в подъезд, стоявший за дверью красноармеец придирчиво проверил мои документы.

— Вы к кому, товарищ?

— К Липовецкому.

— Имя?

— Мое?

— Товарища Липовецкого.

— Зигмунд.

— Отчество?

— Брониславович.

— Правильно, — удивился красноармеец, который, кажется, подозревал во мне агента Антанты.

— А кого вы здесь еще знаете?

Я почувствовал, что мое терпение кончается, но все-таки назвал две-три фамилии.

С видимой неохотой он отдал мне документы.

— Надеюсь, все?

— Можете пройти. Второй этаж, комната пятнадцать.

Я поднялся по лестнице и оказался в небольшом зале, посредине которого стоял нелепый кожаный диван, приспособленный для чего угодно, но только не для человеческих ягодиц. Тем не менее два года назад именно на нем я долго беседовал с неким длинноволосым человеком в кургузом пиджачке с протертыми локтями и в мальчишечьих башмаках, которого привела ко мне Роза Штерн.

«Длинноволосый мальчуган», как его тут же окрестил Зиг-

мунд, рвался на Украину, где хотел подготовить покушение на гетмана Скоропадского. Я никогда не был поклонником террора, но считал, что если одним гетманом станет меньше, то ни Россия, ни Украина от этого не пострадают. Расходы же были невелики. По раскладкам моего собеседника, гетмановская голова должна была обойтись сравнительно дешево, не дороже нескольких мешков пшеницы на Сухаревке.

Внешность анархистского боевика и его манера держаться симпатий не вызывали. Он походил на невоспитанного подростка, которого слишком мало секли в детстве и тем самым безвозвратно упустили золотое время. Самоуверенный и честолюбивый, он говорил чересчур громко странным металлическим голосом, излишне часто употребляя местоимение «я».

Однако рекомендация Штерн кое-что да значила. Роза плохо разбиралась в людях, но смыслила в боевиках. И я склонялся к тому, чтобы пойти ему навстречу. Но Зигмунд начисто отверг мое предложение, и «мальчугану» лишь выдали скромную сумму для возвращения на его родную Екатеринославщину.

В дальнейшем я не раз вспоминал о посетителе в кургузом пиджачке, который собирался во славу анархии превратить с помощью адской машины высокородного гетмана в куски кровоточащего мяса, и о нашей беседе на этом продавленном диване. Как-никак, а «длинноволосого мальчугана» звали Нестором. Фамилия же его была Махно...

Любопытно, что о своем неудачном визите на Варварку не забыл и сам батька.

Когда в конце девятнадцатого года махновская «Революционная повстанческая армия Украины», разросшаяся за счет мелких партизанских отрядов до восьмидесяти тысяч, прорвала деникинский фронт и заняла Бердянск, Никополь и Екатеринослав, я был направлен ЦК КП(б)У в ставку строптивого батьки с весьма деликатным поручением — выяснить его ближайшие планы.

После одной из встреч батька вызвал своего казначея и приказал выдать мне под расписку пятьсот рублей керенками, ту сумму, которую мы ему ассигновали в июне тысяча девятьсот восемнадцатого... «За Нестором Ивановичем никогда не пропадет, — сказал он своим металлическим голосом и обнажил в улыбке крупные желтые зубы. — Как там диван, обновили?»

Диван не обновили. Кожа пришла в полную ветхость. Из дыр торчали ржавые пружины.

Миновав диван, я свернул по коридору налево и распахнул хорошо знакомую мне дверь.

Зигмунд, бородатый и низкорослый, как обычно, сидел за своим просторным столом в глубине комнаты и что-то быстро писал, нервно ерзая локтем по раскиданным на столе бумагам. На скрип двери он поднял голову, уставился на меня близорукими глазами и недовольно буркнул:

— У нас принято стучаться, товарищ!

— Постараюсь учесть.

— Вот, вот, постарайтесь, — сказал он и осекся, поспешно схватил со стола пенсне, нацепил его на переносицу.

— Косачевский?!

Встреча приобретала несколько театральный характер.

— Живой?!

— Живой, — как можно убедительней подтвердил я, опасаясь взрыва эмоций: Зигмунд не был чужд сентиментальности.

Мои опасения подтвердились. Колобком выкатившись из-за стола, Зигмунд подскочил ко мне и вцепился обеими руками в отвороты шинели. Мы поцеловались.

— И впрямь живой, — удивленно сказал он, отстраняясь и заглядывая снизу вверх в мое лицо. — Никак не думал, что еще раз тебя увижу.

— Почему?

— Да тут у меня один сукин сын был... Рассказывал, как тебя расстреляли...

«Сукин сын» было единственным сильным выражением, которое Зигмунд взял себе на вооружение из богатейшего арсенала русских ругательств. И тут, на мой взгляд, сказывалось некоторое пренебрежение к многовековой истории Руси, где этот арсенал трудолюбиво и любовно пополнялся еще со времен татаро-монгольского ига.

— Так что же тебе рассказал этот «сукин сын»?

По старой тюремной привычке Зигмунд ходил по комнате, заложив руки за спину, а я, удобно расположившись в кресле, слушал рассказ о последних часах своей жизни.

Моим убийцей, как выяснилось, был один из участников восстания в Москве левых эсеров, бывший командир отряда ВЧК Дмитрий Попов, который после разгрома восстания нашел себе прибежище у Махно. Узнав о моем приезде в Екатеринослав, Попов якобы посоветовал батьке убрать меня, или, как выражались махновцы, «украсть». Но тот заупрямился. Ему не хотелось из-за какого-то Косачевского осложнять и без того неважные отношения с большевиками, дивизии которых в хвост и в гриву гнали деникинцев. Тогда Попов решил обойтись без батьки. Когда Косачевский возвращался в Киев, в его вагон ворвалось несколько махновцев...

Расстреляли меня на каком-то полустанке, недалеко от насыпи железной дороги.

За исключением того, что перед смертью я запел «Интернационал», все выглядело довольно достоверно, тем более что на совести Попова было немало подобных дел. Но «Интернационал» — это уж слишком.

— Ты же знаешь, что у меня никогда не было ни слуха, ни голоса.

— Что? — Зигмунд остановился, недоумевающе посмотрел на меня. — Ну, знаешь... в такой ситуации иногда появляются и слух и голос. — Он снял пенсне, протер стекла. — Никак не ожидал, что увижу тебя. А ты вот... Даже пощупать можно. Чудеса!

— Еще поцелуемся? — поинтересовался я.

— Иди к чертовой матери!

«К чертовой матери»... Прогрессом не назовешь, но все-таки некоторый сдвиг.

— А ты, оказывается, время зря не терял. Еще что-нибудь освоил?

Он засмеялся:

— О тебе на прошлой неделе Ермаш справлялся. Я ему сказал, что тебя уже давно нет в живых.

Фамилия ничего мне не говорила.

— Кто такой?

— Начальник Центророзыска.

— Ермаш... — После сыпного тифа, который свалил меня в Новозыбкове, память мне порой отказывала, но фамилии я все-таки запоминал неплохо. — Где он раньше работал?

— В ВЧК. А еще раньше — где-то в Сибири или на Урале. Кажется, тоже в ЧК.

— Не помню такого.

— Откуда же он тебя знает?

— Представления не имею.

Липовецкий, отличавшийся дотошностью, наморщил лоб и задумался. Он не выносил, когда что-либо оставалось не выясненным до конца.

— Постой, постой, — сказал он. — Ты же когда-то работал в Совете милиции. Верно?

— Верно.

— И занимался розысками ценностей «Алмазного фонда».

— Собирался заниматься, — уточнил я.

— Ну собирался. Вот потому-то Ермаш о тебе и спрашивал,— подвел он черту. — Центророзыск интересуется «Фондом».

— Но ведь дело прекращено еще в восемнадцатом.

— Значит, возобновили.

— В связи с чем?

— Вот чего не знаю, того не знаю, — безразлично сказал он.

Зигмунд, занимавшийся с небольшими перерывами подпольной работой уже добрый десяток лет, считал ее единственным стоящим делом, которым должен заниматься профессиональный революционер. Все остальное в его представлении было второстепенным, не имеющим существенного значения. И конечно же, меньше всего Липовецкого могла интересовать судьба каких-то там ценностей. Центр всего и всея находился здесь, на Варварке, все остальное — обочина.

Он поинтересовался моими планами. Они были крайне неопределенны. В связи с наступлением Красной Армии сеть подпольных центров на Украине и в Сибири неуклонно уменьшалась. Похоже было на то, что гражданская война долго не продлится. Поэтому на Варварке делать мне было нечего. Рычалов предлагал работу в Московском Совдепе, но окончательного ответа я ему не дал.

— Недельку передохну, а там видно будет.

Зигмунд неодобрительно хмыкнул: неделю отдыха он считал непозволительной роскошью.

— Остановиться у тебя есть где?

— Нет, конечно. Я же перекати-поле.

— Тогда будешь жить у меня. Я здесь рядом обитаю — во 2-м Доме Советов, бывший «Метрополь».

— У тебя же жена и дочка?

Зигмунд помолчал, а затем неохотно сказал:

— Ида в Ревеле. С месяц, как туда направили. И Машка при ней. Вот так...

— Какие-нибудь известия получал?

— Получал. Недавно товарищ оттуда приезжал. Пока как будто все в порядке.

Зигмунд тщательно протирал стекла пенсне, и я понял, что на эту тему больше говорить не следует.

— Ну так как?

Никаких возражений против 2-го Дома Советов у меня не было.

II

Если Липовецкий считал, что центр земли находится в двухэтажном особняке на Варварке, то Борин был убежден в том, что весь мир всего лишь филиал сыскной полиции, а в душе каждого скрывается сыщик.

«Не следует забывать, Леонид Борисович, что человек создан по образу и подобию божьему, — как-то в шутку сказал он,— а всевышний — великий мастер сыска».

В высказывании Борина имелась доля истины. Видимо, действительно в душе некоторых представителей рода человеческого живет сыщик, который терпеливо дожидается своего часа.

К этим «некоторым», судя по всему, принадлежал и я. Сказанные Липовецким мимоходом слова о том, что Центророзыск вновь заинтересовался «Фондом», не только не пролетели мимо моих ушей, но гвоздем засели в памяти.

Я мысленно перелистывал немногочисленные страницы этого дела, в котором основное место занимал допрос Галицкого.

Галицкого доставили ко мне сразу же после разоружения черной гвардии. Он был взвинчен и раздражен.

«Как вы думаете, Косачевский, — спросил меня после очной ставки с Ритусом бывший командир бывшего партизанского отряда, — чего бы мне сейчас больше всего хотелось?»

Отгадывать желания этого милого молодого человека в мои обязанности не входило. Но Галицкий на это и не рассчитывал.

«Больше всего мне бы хотелось поставить вас к стенке, — любезно объяснил он. — Ведь вы, большевики, разоружили не нас — вы разоружили революцию. — А затем мечтательно добавил: — Может быть, вы сами пустите себе пулю в лоб, Косачевский?»

Я вынужден был его разочаровать: так далеко мои симпатии к нему не заходили.

Естественно, что начавшаяся подобным образом беседа ничем путным закончиться не могла.

Разговорить его не удалось. Он неохотно и односложно отвечал на вопросы. У меня создалось впечатление, что, рассказывая об Эгерт, он чего-то недоговаривает, а говоря о ценностях «Фонда» и просто лжет.

Впрочем, на успех первого допроса я и не рассчитывал. Галицкому надо было дать возможность остыть, трезво взглянуть на происшедшие события, которые не имели никакого отношения к разоружению революции. Но в те суматошные дни, когда я уже приступил к работе на Варварке, я не мог уделить ему достаточно времени. Поэтому результатами нашей встречи были лишь впечатления и изъятая у Галицкого при обыске фотография Елены Эгерт, волоокой женщины с неправдоподобно красивым лицом.

Больше Галицкого никто не допрашивал. А в мае тысяча девятьсот восемнадцатого ему, по ходатайству анархиста Муратова, известного под кличкой Отец, дали возможность беспрепятственно покинуть Москву.

Где теперь этот юноша — бог весть.

Не были «разработаны» ни брат покойного Василия Мессмера, монах Валаамского монастыря Афанасий, ни любовница Галицкого очаровательная Елена Эгерт, ни ее соседи по дому.

Даже частично не проверялась версия о том, что Галицкий солгал и чемодан с ценностями отдал на сохранение не Эгерт, а где-то спрятал. (Никто из соседей не видел среди вещей Эгерт желтого кожаного чемодана с металлическими бляхами.) Повисло в воздухе и предположение Борина о том, что Афанасий, поспешно покинувший в марте восемнадцатого Валаам, имел отношение к исчезновению ценностей «Фонда» и был каким-то образом связан с Эгерт. Между тем это предположение основывалось на показаниях дворника. По его словам, Эгерт в марте дважды навещал человек средних лет в монашеской одежде. Первый раз он приходил один, а вторично с каким-то господином.

И еще одно очень любопытное обстоятельство, о котором я узнал много месяцев спустя в Брянске от сотрудника Зафронтового бюро ЦК КП(б)У Яши Черняка. Он мне рассказывал, что в мае восемнадцатого, когда в Екатеринбурге находилась привезенная из Тобольска царская семья, вокруг которой вертелись всяческие монархисты и плелись нити заговоров, Уралсовет принял некоторые предупредительные меры по очистке города. Одной из них была высылка из Екатеринбурга в Алапаевск членов царской фамилии: великого князя Сергея Михайловича, бывшей сербской королевы Елены, сыновей великого князя Константина Константиновича, князя Владимира Палея и сестры царицы Елизаветы Федоровны.

Их прнвезли в Алапаевск и разместили в школе 20 мая. А в начале июия в городе появился иекнй монах, который снял квартнру рядом со школой. Звали этого моиаха Афанасий, и по описаииям Черняка он очень походил на брата Васнлня Мессмера.

Черняк, командовавший тогда в Алапаевске интернациональным красногвардейским отрядом, которому впоследствин была поручена охрана школы (вначале члены царской фамилии находилнсь на вольиом положеиии), говорил мне, что Афаиасий доставил ему немало хлопот. Монах несколько раз встречался с сестрой царицы и велнким князем Сергеем Михайловичем, передавал им деньгн, письма. Не чуждался он н благотворительности, которая носила слишком одностороиний характер: монах помогал только семьям красиогвардейцев, охранявших школу...

Афаиасием, разумеется, заинтересовалнсь, но арестовать его не удалось: он успел скрыться.

В ночь с 17 на 18 июля в связи с наступлением белых все члены царской фамилин былн расстреляны.

А когда в город вошли белые, здесь вновь объявился вездесущнй Афаиасий.

Черняк, оставшийся тогда в Алапаевске для подпольной работы, рассказывал, что Афанасий органнзовал розыск расстрелянных. Тому, кто нх найдет, было обещано пять тысяч рублей золотом. А затем ои вместе с игуменом Серафнмом организовал пышные похороны.

Черняк утверждал, что «благотворительность» и похороны обошлись Афанасию в пятиадцать-двадцать тысяч рублей золотом.

Откуда такне деньги у скромного монаха из Валаамского монастыря?

Семья Мессмеров богатством не отличалась. Их родовое именне в Серпуховском уезде давало более чем скромный доход. Следовательно, Афанасий тратил в Алапаевске не собственные деньги.

А чьн, не «Алмазного лн фонда»? Похоже было на то, что Борнн не ошнбся и Афанасий действнтельно навещал Эгерт. К нему, возможно, и перешли ценностн, получеииые ею от Галицкого.

Но если это так, то кто тогда Елена Эгерт, любовннца командира партизанского отряда «Смерть мнровому капиталу!», и какне нити ее связывалн с братом казначея «Алмазного фонда»?

Куда девалась Эгерт и где тепеҏь обнтает Афанасий?

Вндимо, иа все эти вопросы можно было бы иайти ответы. Но, к сожаленню, после того как я ушел нз Совета милицин, ценностями «Фоида» иикто практически ие занимался. Специальная группа, созданная для расследовання ограблеиия патриаршей ризннцы, была расформнрована, а у Московской уго-

ловно-розыскной милиции, преобразованной к тому времени в уголовно-розыскной подотдел административного отдела Совдепа, забот и без того хватало. Достаточно сказать, что в Москве в 1918 году было зарегистрировано около четырнадцати тысяч преступлений, а вопрос о борьбе с вооруженными грабежами рассматривался под председательством Ленина на заседании Совнаркома.

Но как бы то ни было, а прекращать дело о розыске ценностей «Алмазного фонда», конечно, не следовало.

И вот теперь оно возобновлено Центророзыском.

Любопытно. Весьма любопытно.

— А чего, собственно, любопытного? — пожал плечами Рычалов, которого я навестил в день своего приезда. — Тогда нам было не до жиру, а теперь пришло время ликвидировать прежние огрехи. Все закономерно.

Детерминист по натуре, Рычалов во всем ухитрялся отыскивать закономерности. Случайности он исключал или относился к ним с настороженной подозрительностью человека, который понимает, что его хотят обмануть. В том, что слух о моей смерти не подтвердился, он тоже, кажется, усматривал закономерность. Во всяком случае, мое появление его не удивило и почти не нарушило привычный распорядок дня начальника отдела фронта Московского Совдепа. Рычалов отнюдь не собирался меня целовать — не уверен, что он когда-либо целовался даже с собственной женой. Не прервал он и беседу с командиром, который пытался получить для своей части партию керосиновых ламп.

— Заходи, Косачевский. Значит, живой? — сказал он и, подумав, добавил: — Это хорошо, что живой.

Я не мог не согласиться с ним.

— Садись. Через пять минут мы кончим.

Действительно, ровно через пять минут он проводил посетителя до дверей кабинета. Затем подошел ко мне и с таким видом, будто мы расстались только вчера, спросил:

— Как в Киеве идет сбор сапог для армии?

Второй вопрос касался нательного белья, а третий — портянок. Затем он посмотрел на часы — мое появление распорядком дня не предусматривалось — и предложил работу в отделе фронта.

Работа была не по мне.

— Очень важный участок, — сказал Рычалов, который любую работу рассматривал только с этой точки зрения.

— Липовецкий мне говорил, что Центророзыск занялся «Фондом»?

— Да, — подтвердил он, — постановление о прекращении дела отменено.

Рычалов уделил мне полчаса. И это убедительней любых слов свидетельствовало о том, как он меня любит, ценит и счастлив видеть живым и невредимым. Таким отношением к себе начальника отдела фронта мог похвастаться не каждый.

— Кстати, Ермаш тоже живет во 2-м Доме Советов, — сказал на прощание Рычалов. — Заглянешь к нему?

— Через недельку.

Но встретились мы значительно раньше. Во время обеда в громадной столовой 2-го Дома Советов, где из изящных серебряных мисок разливали в не менее изящные фарфоровые тарелки жидкий чечевичный суп, к нашему столу подошел бритоголовый плотный человек, одетый в кожаную куртку «правь, Британия!», или, как ее еще именовали в Москве, «подарочек английского короля» — иронический намек на поспешную эвакуацию английских войск из Мурманска, где на вещевых складах интервентов осталось много обмундирования, в том числе и кожаные куртки.

Это и был начальник Центророзыска республики Фома Васильевич Ермаш.

Архимандриту Димитрию Ермаш бы не понравился. От всего облика этого человека — от его походки, жестов, манеры говорить, слушать — исходила уверенность. А Александр Викентьевич не любил людей, которые слишком уверенно шагают по жизни. В этом, как, впрочем, и во многом другом, мы с ним расходились.

— Косачевский? — спросил Ермаш у Липовецкого и кивнул в мою сторону.

— Косачевский, — буркнул Зигмунд, не отрывая глаз от тарелки. Он терпеть не мог во время еды никаких разговоров.— Ты же небось уже все знаешь.

— Знаю, — подтвердил Ермаш, — мне Рычалов говорил. Ну, будем знакомы.

Он протянул мне руку.

— А ты вовремя воскрес из мертвых. Хочу с тобой поговорить об «Алмазном фонде». Не возражаете, если переберусь к вам?

Не дождавшись ответа — кажется, Ермаш исходил из того, что его присутствию всегда и все должны быть рады, — он перенес свою тарелку с супом на наш столик.

Во время еды я несколько раз ловил на себе его изучающий взгляд.

После обеда он пригласил меня к себе.

— Если не возражаешь, давай потолкуем. — И точно так же, не дожидаясь ответа, поднялся из-за стола.

Мы отдали свои пустые тарелки судомойке, которая тут же опустила их в серебряную лохань с горячей водой, и поднялись к Ермашу.

Он жил двумя этажами выше. Через всю его комнату была протянута веревка. На ней сушилось выстиранное белье.

— Холостой?

— Как видишь. Только верней будет сказать — вдовец. С восемнадцатого вдовствую. Когда Пермь сдавали, жена брюхатой была... Ну и осталась по недомыслию бабьему... Вот так.

Как я имел возможность убедиться, Ермаш досконально из-

учил все материалы дознания не только по «Алмазному фонду», но и по патриаршей ризнице. Он хорошо ориентировался во всех эпизодах дела, помнил фамилии свидетелей, названия драгоценностей и даже даты.

Он рассчитывал получить от меня сведения, которые по каким-либо причинам не были зафиксированы в документах. Но тут его ждало разочарование. Ничего, кроме алапаевской истории, я ему рассказать не мог. А деятельности брата Василия Мессмера в Алапаевске Ермаш особого значения не придал.

— С Афанасием, понятно, попытаемся раскрутить. Но я не очень-то верю, что через него мы на что-нибудь выйдем.

— Недаром же тебя Фомой окрестили, — пошутил я.

Ермаш лениво улыбнулся:

— Фома неверующий? Это ты в точку... А с чего его так прозвали? Когда-то в церковноприходском учил, да запамятовал.

— Никак не хотел поверить в воскресение Христа, покуда своими собственными руками его раны не ощупал.

— Вот-вот, — кивнул Ермаш. — Так нам и толковали. А ведь правильный был апостол. Ежели все своими руками пощупаешь, не ошибешься.

Я спросил, что послужило поводом к возобновлению дела.

— Про Кустаря небось слышал? Вот от него все и пошло.

Кустарь была кличка Федора Перхотина, происходившего из крестьян Жиздринского уезда Калужской губернии.

До семнадцатого года Перхотин занимался ложкарным промыслом, то есть делал и продавал в Москве деревянные ложки. А после Февральской революции освоил более рискованную, но зато и более выгодную профессию налетчика.

Среди московских бандитов того времени Кустарь занимал довольно скромное положение. Куда ему было до таких прославленных знаменитостей, как Сашка Семинарист, Яков Кошельков, Сабан или Мишка Чума!

Он не участвовал в нападении на машину Ленина, в нашумевшем на всю Россию ограблении Сената, в налете на Народный комиссариат по военным делам. Кустарь предпочитал грабить квартиры и магазины, преимущественно ювелирные. К чужой жизни относился уважительно: на его совести было «всего» пять или шесть убийств.

И все же с этим налетчиком бандотдел МЧК и Московский уголовный розыск намучились больше, чем с Мишкой Чумой, Сашкой Семинаристом и Яковом Кошельковым. Секрет тут заключался не в удачливости, не в особом уме или хитрости ложкаря, а в его основательности.

С той же тщательностью, с какой он некогда вырезал ложки, Кустарь совершал и свои налеты. Иной на удачу понадеется, на русское авось. Другой полениится или лихость захочет показать. А Кустарь все делал на совесть, честно, добросовестно — не придерешься.

И еще. Став налетчиком, Кустарь по своей натуре остался мужиком. Уголовный мир с его обычаями и традициями был

ему чужд. Он не посещал притонов Хитровки, не нюхал кокаина, не пользовался услугами профессиональных скупщиков краденого. И за месяц до моего возвращения в Москву Ермаш решил поручить розыск Кустаря своей бригаде «Мобиль», которая занималась особо важными делами.

Так бывший ложкарь удостоился чести оказаться под опекой одного из опытнейших работников сыска, Петра Петровича Борина.

Подход Борина к поставленной перед ним задаче был одновременно и прост, и психологически точен. Он исходил из того, что ни один бандит не может действовать без сообщников. Ему всегда потребуются наводчики и те, что смогут реализовать награбленное. Если Кустарь не имеет никаких дел с профессиональными уголовниками, значит, он пользуется услугами других людей, которым полностью доверяет. Скорей всего это его земляки. На родине налетчика Борин собрал сведения об односельчанах и родственниках Перхотина.

Список жиздриниц, осевших в разное время в Москве, оказался обширным. Но после отсева в нем осталось несколько фамилий, в том числе фамилия Марии Степановны Улимановой, двоюродной тетки Перхотина, которая некогда занималась сбытом деревянных ложек оптовикам.

Борин установил за домом Улимановой наружное наблюдение. Оно ничего не дало. Тогда он пошел на определенный риск и произвел неожиданный обыск. Его результаты превзошли все ожидания. В обширном темном чулане обнаружили под тряпьем пачки денег, золотые и серебряные вещи. В том, что это добыча Кустаря, не было никаких сомнений. Тогда же в руки Борина попало и письмо, которое послужило поводом к возобновлению дела о розыске ценностей «Алмазного фонда». Это письмо было использовано как оберточная бумага. Аккуратный и педантичный Кустарь завернул в него золотые кольца...

— В том письме «Лучезарная Екатерина» поминается, — объяснил Ермаш. — Вот мы и ухватились.

«Лучезарная Екатерина» среди драгоценностей «Алмазного фонда» занимала такое же почетное место, как «Батуринский грааль», «Два трона» и «Золотой Марк». Когда я в свое время поинтересовался у профессора Карташова ее стоимостью, он только усмехнулся: «Из тех вещей, что не покупаются и не продаются, Леонид Борисович. Уникум».

— А чье письмо? Кто писал?

— Покуда не установлено.

— Но адресат известен?

— Нет. Копать нужно, Косачевский. Глубоко копать.

— Кто же у тебя занимается... земляными работами?

— Борин и занимается. Кому ж еще?

Ермаш улыбнулся той простодушной улыбкой, которая меньше всего свидетельствует о простодушии.

— А хочешь, чтобы занялся я?

Такого лобового вопроса он не ожидал и несколько опешил.

— А ты не лыком шит, Косачевский.

— Это точно. Не лыком — дратвой.

— Я тут о тебе с Рычаловым беседовал...

— Ну и как?

— Что — как?

— Подхожу тебе?

Ермаш засмеялся:

— Иначе бы с тобой разговора не затевал.

— Ну, разговор-то, положим, затеял я. Ты все возле да около ходил.

— Пойдешь к нам начальником бригады «Мобиль»?

— Надо подумать.

— А чего думать? Ты всю эту кашу с «Фондом» заварил, тебе ее и расхлебывать.

— Сними с веревки белье. Высохло.

— А ведь верно, — сказал он, — и впрямь просушилось. Выходит, не зря с тобой толковали: один добрый совет я от тебя уже получил. Ну так как? Договорились?

Я поднялся:

— Отложим до завтра.

— Думать будешь?

— Ничего не поделаешь, — извинился я, — привычка.

Из описания драгоценностей «Алмазного фонда», выполненного по указанию заместителя председателя Московского совета народной милиции тов. Косачевского профессором истории изящных искусств Карташовым, приват-доцентом Московского университета Шперком, ювелирами Гейштором, Оглоблинским и Кербелем в апреле 1918 г.

«ЛУЧЕЗАРНАЯ ЕКАТЕРИНА» — первый экземпляр дамского ордена, учрежденного Петром Первым в ознаменование заслуг императрицы Екатерины в Прутском походе.

«Лучезарная Екатерина» сделана по эскизу императора придворным ювелиром Францем Мерлингом.

История ордена святой великомученицы Екатерины, или ордена Освобождения, такова.

Прутский поход сложился для Петра крайне неблагоприятно. Окруженному и прижатому к реке русскому войску грозила гибель. «Извещаю вас... — писал император Сенату 10 июля 1711 года, — что я, без особливыя Божия помощи, ничего инаго предвидеть не могу, кроме совершеннаго поражения, или что я впаду в турецкий плен».

А через три дня после этого письма турки сняли свои заслоны и беспрепятственно выпустили из прутского лагеря русские войска. Какую именно роль сыграла в происшедшем Екатерина, неизвестно. Но в манифесте о ее коронации Петр указывал: «Наша

любезнейшая супруга, государыня императрица Екатерина великою помощницею была... а наипаче в Прутской кампании с турки... о том ведомо всей нашей армии...»

По уставу ордена святой великомученицы Екатерины (Освобождения), разработанному самим императором, «кавалерственные дамы» обязывались «освобождать одного христианина из порабощения варварского, выкупая за собственные деньги», что являлось, видимо, своеобразным намеком на участие самой Екатерины в освобождении окруженной русской армии во время Прутской кампании (по некоторым свидетельствам, Екатерина тогда отдала туркам все свои драгоценности).

Знаками ордена Петр установил крест с изображением святой великомученицы Екатерины и золотую восьмиконечную звезду. Надпись на красной с серебряной каймой ленте гласила: «За любовь и отечество».

По статуту орден не полагалось украшать драгоценными камнями. Однако для императрицы было сделано исключение. Овал в центре креста, который в дальнейшем покрывался обычной эмалью, был заполнен крупным рубином с резным изображением святой Екатерины, держащей в руках крест, а лучи восьмиконечной звезды окантовали бриллиантами весом от одного до двух каратов.

Вышеуказанный рубин, который обычно именуют «Гагаринским», принадлежал губернатору Сибири князю М. П. Гагарину. Губернатор подарил его Меншикову, а последний — Екатерине. «Гагаринский рубин», вес которого определялся в 32 карата, густого темного цвета, относится к числу рубинов, добываемых в Индии в Ратнапуро («Город рубинов»). По своим качествам может соперничать с лучшими рубинами в мире.

После смерти императрицы «Лучезарная Екатерина» (имеется в виду крест с «Гагаринским рубином», звезда была утеряна) перешла к ее брату, бывшему ямщику, получившему в год смерти Екатерины графский титул, Федору Самойловичу Скавронскому, а от него — к двоюродному брату императрицы Елизаветы, графу Мартыну Карловичу Скавронскому.

По слухам, перед революцией «Лучезарная Екатерина» принадлежала князю Юсупову.

Письмо неизвестного, обнаруженное инспектором бригады «Мобиль» тов. Борным при обыске на квартире гр. Улимановой, имеющей жительство в бывшем доходном доме Оловяшникова по Свиньинскому переулку

Здравствуй, Алексей!

Пересылаю тебе по прежним каналам через Заику уже третье письмо, но от вас, кроме той записки, которая вселила в меня столько надежд, ничего не получил. Впечатление, что цепочка связи где-то порвалась. Надеюсь, произошло это без участия Красавца. Избави бог, чтобы наша почта оказалась у него в руках.

Похоже, он водит вас за нос. Не исключаю и ловушку. Когда снова будете выходить на связь с ним, примите меры предосторожности.

Мое положение улучшилось. Пока это единственный реальный результат. Сижу в одиночке. В нарушение тюремной инструкции мне разрешено днем спать, а также пользоваться чернилами и бумагой. Избиения прекратились. Короче говоря, ко мне относятся как к курице, которая несет золотые яйца. Покуда она их несет, разумеется...

Допрашивает он меня по-прежнему ежедневно, преимущественно по ночам, но уже без кровопусканий, деликатно. Дает понять, что все это пустая формальность. Пожалуй, так оно и есть.

Допросы начинаются традиционно: кто продавал нам оружие, как я его транспортировал, где находится перевалочная база и так далее. Затем он записывает мои столь же традиционные ответы человека, по ошибке оказавшегося за решеткой.

Закончив официальную часть, Красавец неизменно переходит к разговору «по душам». Темы самые разнообразные, но без «Лучезарной Екатерины», разумеется, не обходится. За время гражданской войны он поднаторел не только в пытках, но и в ювелирном деле — формы огранки драгоценных камней, скань, финифть...

Несколько раз Красавец исподволь пытался узнать что-нибудь о тебе. Особенно его интересует, находишься ли ты постоянно в городе или бываешь здесь наездами. Это не может не настораживать. Подлец что-то замышляет.

Вчера напомнил ему о его обещании. Он стал сетовать на различные причины, которые связывают ему сейчас руки, а закончил милой шуткой: во сколько я оцениваю свою голову?

Я ответил, что недорого.

«Скромничаете, дорогой, скромничаете!» — И стал перечислять тех, с кем ему нужно будет поделиться.

Список получился длинный...

Боюсь, Алексей, что моя голова окажется тебе не по карману.

Аристократа видел всего лишь раз — на допросе. Они на «ты». Но, кажется, Красавец ему не очень-то доверяет. Признаюсь, что Аристократ мне особого доверия тоже не внушает. Такое впечатление, что он успел начисто забыть, для чего его сюда направили. Впрочем, может быть, я к нему несправедлив. Тюрьма обостряет подозрительность.

Но пора кончать. В коридоре шум — похоже, повели на убой очередную партию.

Привет товарищам.

P. S. Если со мной что произойдет, переправь мое письмо матери. Оно у Заики. Выругай меня еще раз за сентиментальность — и переправь.

Глава вторая

Первые шаги и первые сюрпризы

I

На следующее утро Ермаш постучал в дверь иашего иомера. Ои был чисто выбрит и щеголеват. Английская кожаиая куртка сидела на нем как влитая.

— Подумал?

— Подумал.

Мое решение ои восприиял как нечто само собой разумеющееся: Ермаш относился к чнслу тех, которым все удается.

— Значит, так, — сказал он, — сейчас я еду на совещанне, в Совдеп. Пробуду там час, от силы — полтора. А оттуда — к себе. Буду тебя ждать.

Хватка у Ермаша была железиая. Кажется, Цеитророзыску повезло с иачальником.

— Окрутил, выходит? — спросил Зигмунд, когда дверь за Ермашом закрылась, и меланхоличио заметил: — Едииственио, что люди охотно делают, — это глупости.

На Липовецкого теория Борина не распростраиялась. К своей душе он сыщика н близко не подпускал. Как и иекоторые другие бывшие политкаторжане, Зигмунд относился к людям этой профессии с предубеждеиием человека, которого всю жизиь выслеживалн, ловили, допрашнвали и обыскивали.

Я его мог, конечно, понять. Нечто похожее нспытывал и я в семнадцатом, когда меня вопреки моему желаиию назначили заместителем председателя Совета милиции.

Но это было в семиадцатом, два с половиной года назад. Много с того времени и воды утекло, и крови, и слюнявых иллюзий.

Ермаша с Рычаловым родиило одио — точиость. Когда я приехал в Цеитророзыск, ои уже был на месте. Быстро ввел меня в курс дел, которыми заинмалась бригада, представил сотрудников. И меньше чем через час я уже получил возможность уедииться с Борниым.

На пнсьмо, о котором мие говорнл Ермаш, я особых надежд не возлагал. И все же оио меня разочаровало.

Где все происходило — в Перми, Кневе, Екатеринбурге, Ростове, Омске?

В каком году?

Кто такие Алексей н сам автор письма — большевики, правые эсеры, анархисты, боротьбнсты или максималисты?

У кого иаходилась тогда «Лучезарная Екатериив» — у друзей автора письма или у Красавца, офицера коитрразведки?

Как письмо попало в Москву? Кто и с какой целью привез его сюда?

Было, конечно, соблазнительно перебросить мостик от письма неизвестиого к тем событиям в Екатеринбурге и Алапаевске, о

которых мне рассказывал Черняк. Тогда можно было бы хоть за что-то ухватиться. Но я знал: предположенне, основанное на предположении, плохая подпорка в розыскной работе. Мостнк должен опираться на нечто реальное, вещественное. А этого реального у нас не было. По сутн, ничего не было, кроме предположений, нагромождающнхся на те же предположения.

— Само по себе письмо нам покуда нначего не дает. Одна игра воображения, Леоинд Борисовнч! — сказал Борнн, безошибочно читая мон мысли. — Плясать надо не от него, а от Кустаря н Улимановой.

— Рассчнтываете, что допляшетесь до чего-ннбудь путного?

Борин огладил свою вконец поседевшую бородку:

— Смею надеяться, Леонид Борисович. — Он достал нз серебряного портсигара с монограммой папироску, покрутил ее в пальцах и вновь положнл в портсигар: с куревом в Москве было небогато. — Только плясать, понятио, с толком надлежит, на трезвую голову.

— Не слишком топать и помеиьше руками размахивать?

— Вот, вот. Авось до чего путного, как вы нзволили выразиться, и допляшемся.

— Ну что ж, для размннки можно н поплясать, — согласился я. — А пока расскажите мне об Улнмановой. Ведь вы пляску без меня иачали.

Оказалось, что Улиманова, некогда содержавшая иебольшое белошвейное заведение на Солянке, хотя и не была профессноиальной преступницей, но все-таки числилась до революции в канатчицах. Каиатчнками или канатчицамн в Московской сыскной полиции иазывали тех, кто, занимаясь временамн «противузаконной» деятельностью, ухнтрялся так ловко «ходнть по канату», что ни разу не попадал не только в тюрьму, но и в участок. От случая к случаю в полицию поступали сведення, что Улиманова приторговывает наркотиками, а в ее квартнре организован тайный игорный притон — «мельиица». Но уличить эту оборотистую даму не могли, а может, и не очеиь стремились.

По миеиню Борина, Улиманова оказывала помощь Кустарю уже ие первый год. Но встречались онн редко, только в случаях крайней необходимости.

Причастность Улимаиовой н бывшего ложкаря к событням, описанным в письме, представлялась маловероятиой. Скорей всего письмо попало к Кустарю случайно во время очередного иалета вместе с вещами, представляющнми реальную ценность. Оно могло, например, иаходиться в портфеле, где лежали деньги. И налетчик ие выбросил его лншь потому, что нашел для иего практическое применение — чего зря бумаге пропадать?

Люди, у которых хранилось это письмо, могли бы поведать иам немало интересиого. Но кто оии и где их искать?

На эти вопросы мог ответить только сам Кустарь. А он отнюдь ие торопился засвидетельствовать иам свое почтение...

Удастся ли его взять?

Обыск на квартире Улимановой мог его вспугнуть, согнать с насиженного места. В конце концов, налетчика ничто не удерживало в Москве. Но даже если он останется в городе, то шансов разыскать его тоже не так уж много.

Однако Борин не разделял моих опасений.

— Мария Степановна, понятно, встревожена, — сказал он,— хотя обошлись мы с ней честь по чести: и выпустили, и вещички вернули, и за напрасное беспокойство извинения принесли — в дурачков, словом, сыграли. А Кустарь, осмелюсь доложить, в неведении пребывает.

— Так ли?

— Так, Леонид Борисович, — с несвойственной ему обычно уверенностью сказал Борин. — Посудите сами. Через третьих лиц связи у них нет — мы проверяли. Да и не в натуре Кустаря вмешивать в свои родственные дела посторонних. Ни к чему ему это. Значит, что? Личная встреча. Так? А рандеву у них покуда не было. Встретятся — накроем. Уважаемую Марию Степановну мы из вида не упускаем — как нитка за иголкой. Наши агенты ее днем и ночью пасут, разве что под кроватью у нее не ночуют. Куда она от них денется?

— А вдруг? — поддразнил я. — Это же вы, помнится, как-то сказали, что в жизни все бывает, даже то, что никогда не бывает?

— Хвощиков, — уточнил Борин, — он так говорит.

— Но вы-то согласны с этим афоризмом?

— Справедливая мысль, — кивнул Борин. — В жизни все бывает. Это верно. Вот потому-то я запасся еще одним выходом на Кустаря. Я ведь не зря список жиздринцев, имеющих жительство в Москве, составлял...

— Вы что же, их всех в пособники к Перхотину определили?

— Всех не всех, а на одного кое-какой материал у меня имеется. И Кустарь, говорят, ему как-то визит нанес, и Улиманова... Похоже, он все ювелирные изделия через Улиманову скупает. А может, и наводкой не брезгает. Мы сейчас все это проверяем. Ну и его, натурально, под своим попечением держим. Так что Кустарю деваться некуда: куда ни кинь — везде клин. А из Москвы он без крайней нужды никуда не уедет. Он же скопидом: свое кровное за здорово живешь не бросит. Да и привычно ему тут, все налажено, все известно — как в собственной избе. А мужичок он основательный, не вертопрах какой, чтобы с места на место мотылять. Ежели где осел, то крепко. Такого только с корнем выдернешь.

Рассуждения Борина выглядели убедительно. Действительно, судя по всему, арест Кустаря — дело времени. На неделю раньше или на неделю позже, но на крючок он попадется. А там вполне можно «доплясать» и до тех, у кого хранилось письмо неизвестного.

Я поинтересовался жиздринцем, который занимался скупкой драгоценностей.

— Старый наш знакомый, — сказал Борин. — Вы его знае-

те. По патриаршей ризнице проходил. Ему Дублет долю Никиты Африкановича Махова продал — черную парагону с митры Никона и кокосовые жемчужины.

— Уж не член ли союза хоругвеносцев?

— Он самый, — подтвердил Борин, — Анатолий Федорович Глазуков.

Поистине пути господни неисповедимы!

Допрашивая в восемнадцатом Глазукова, я не сомневался, что этот рыхлый, беспрерывно потеющий человек с испуганными глазами будет теперь за версту обходить те места, откуда дорога ведет в тюрьму. «Я же не жулик какой, — со слезой в голосе говорил он мне. — Я же человек честный, в темных делах никогда замешан не был, вот только с этими жемчужинами черт попутал...» И вот тот же неутомимый черт вновь сбил члена союза хоругвеносцев с тернистого пути праведников.

Тяжела была бы без черта людская доля. Без бога еще туда-сюда, а без черта не обойтись. И сослаться есть на кого, и опереться, и лишние грехи сбросить... Кем его, трудягу, заменишь? Неизменный друг страждущего человечества! Не каждый выдюжит тяжесть десяти заповедей. Вот и Анатолий Федорович Глазуков — не зря, видно, потел...

Улыбнулся я, похоже, не к месту, потому что Борин удивленно приподнял брови.

— Продолжайте, Петр Петрович. Я вас слушаю.

— Так вот, помимо наружного наблюдения за домом Глазукова, мы и внутренним пользуемся.

Детали меня не интересовали, но Борина следовало поощрить.

— Внедрили нашего сотрудника?

— Нет. Его приказчик нам услуги оказывает, — не без некоторой доли самодовольства сказал Борин. — Верно, тоже его помните. Филимонов.

Борин снова достал из портсигара папиросу и на этот раз не удержался — закурил.

В его маленькой комнате удушливо пахло нафталином. Этот запах преследовал меня во всех учреждениях, где я успел побывать. Считалось, что нафталин предохраняет от тифа. Судя по густоте запаха, Борина в Центророзыске ценили...

— Нафталином вас снабдили щедро. А бумагой?

Борин достал из ящика письменного стола стопку бумаги, и мы приступили к обсуждению плана розыска ценностей «Алмазного фонда».

В бригаде «Мобиль» числилось двадцать семь оперативных сотрудников. По мнению Борина, восемь из них можно было без особого ущерба для других дел перебросить на розыски ценностей «Фонда». Я округлил это число до десяти и тут же договорился по телефону с начальником Московского уголовного розыска Давыдовым, что его работники, ведущие наблюдение за Улимановой и Глазуковым, тоже поступят в мое распоряжение.

Таким образом, группа выросла до восемнадцати человек.

К сожалению, среди этих восемнадцати специалистов сыскного дела было немного. Самостоятельно могли работать лишь четверо. И все же роптать на судьбу не приходилось. Как-никак в этой четверке были Павел Сухов и старый сыщик Хвощнков, извлеченный мною по просьбе Борина в восемнадцатом году из артели «Раскрепощенный лудильщик».

Работу предполагалось вести в нескольких основных направлениях.

Прежде всего — члены «Алмазного фонда».

В своей докладной президиуму Совдепа Давыдов не покривил душой, утверждая, что «Алмазный фонд» не сыграл существенной роли в борьбе против Советской власти. Действительно, в начале восемнадцатого года организация фактически распалась. Но это совсем не означало, что ее бывшие члены, все, как один, сложили оружие. Примером мог служить тот же Афанасий. А ведь вполне возможно, что Афанасий был не одинок.

Сведения о членах «Фонда» и их деятельности могли дать нам ориентир для розыска ценностей.

Во-вторых, Кустарь, к которому нас должны были привести камятница Улиманова и вновь поддавшийся искушениям черта Анатолий Федорович Глазуков.

В-третьих, Галицкий.

Следовало установить его местопребывание и, если представится такая возможность, подробно допросить. Для этого нужно было попытаться использовать легальных анархистов, которые в восемнадцатом имели какое-либо отношение к Московской федерации анархистских групп, в частности, к помощнику коменданта Дома анархии Ритусу и отряду «Смерть мировому капиталу!».

В-четвертых, Елена Эгерт.

Кто она и что она? Действительно ли Эгерт увезла драгоценности, а если да, то где они теперь?

Источниками сведений могли стать те же анархисты и соседи Эгерт. Возможно, удастся разыскать ее родственников, друзей, знакомых.

В-пятых, Афанасий.

Его «разработка» представлялась весьма перспективной. О нем должны были знать монахи Валаамского монастыря, жители Алапаевска и сотрудники соответствующих органов на Урале.

В-шестых, предполагалось через руководителей подпольных центров попытаться выяснить, кого имел в виду неизвестный под кличками Красавец, Аристократ, Заика. Здесь, разумеется, приходилось рассчитывать только на везение. И, внося этот пункт в план розыскной работы, Борин позволил себе слегка улыбнуться. Дескать, у каждого свои слабости. Стоит ли из-за этого спорить?

Кроме того, нужно было досконально прощупать возможные каналы реализации ценностей. Их могли продать или заложить тот же Афанасий, который так щедро раздавал деньги в Алапаевске, Елена Эгерт, Галицкий.

Следовало опросить владельцев ювелирных магазинов и ростовщиков в разных городах.

К концу дня план розыскной работы по «Алмазному фонду» уже лежал на столе Ермаша.

Ермаш внимательно читал, подолгу останавливаясь на каждой странице. Лицо его светилось простодушием, и это простодушие наводило меня на мрачные мысли. Видимо, так же простодушно выглядел в определенные минуты евангелический скептик Фома, у которого чесались руки от непреодолимого желания поскорей и поосновательней ощупать раны своего ближнего.

— Что скажешь?

— Красиво написано, — одобрил Ермаш. — Почерк — заглядение.

— Все?

— Все. А тебе мало?

— Покуда достаточно.

Он подписал мандаты сотрудникам бригады, которые на неопределенное время должны были покинуть Москву, и напомнил:

— Вначале было слово...

— Будет и дело.

— Вот тогда и потолкуем. А сейчас что? Красиво написано. Хоть в рамочку да под стекло.

В отличие от Рычалова Ермаш обладал чувством юмора. Мне даже показалось, что с избытком...

II

К моему немалому удивлению, отыскать людей, имевших в свое время какое-то отношение к Московской федерации анархистских групп, оказалось не так уж сложно.

Несмотря на разоружение отрядов черной гвардии и события, связанные со взрывом в Московском комитете партии, Москва по-прежнему кишела анархистами всех мастей и направлений.

Здесь находились Всероссийская федерация анархистов, которая издавала свой еженедельный журнал, и Московский союз, куда, помимо универсалистов, вошли также анархо-индивидуалисты.

Пропагандировал на московских фабриках и заводах анархокооператор Атабекян. Выступали с лекциями неутомимые фантазеры братья Гордины.

И Липовецкий, не задумываясь, перечислил десятка два людей, которые могли бы мне пригодиться в моей «полицейской», как он выразился, работе.

Среди названных им оказалась и фамилия патриарха русских бомбометателей Христофора Николаевича Муратова.

Отец, как именовали Муратова его сподвижники, вполне заслуживал участи Ритуса. Но за него было его богатое револю-

ционное прошлое. Поэтому Муратова в конце концов полностью освободили от наказания.

— Что он теперь делает? — спросил я у Липовецкого.

— Обижается, — коротко ответил Зигмунд.

Этот ответ не только исчерпывающе характеризовал отношение Отца к происходящему, но и всю его послереволюционную деятельность.

Как и многие анархисты-эмигранты, начисто оторвавшиеся от русской действительности, Отец считал, что русский народ, народ-бунтарь, поднявший в 1917 году, в полном соответствии с учением Михаила Бакунина, кровавое знамя всемирного восстания, нуждается лишь в одном — в вождях. А такими вождями, естественно, были старые, закаленные в борьбе бойцы-анархисты. По глубокому убеждению Муратова, народ с нетерпением ждал их возвращения на родину, чтобы под их руководством сбросить с себя путы государственности, которые навязывали массам всякие там монархисты, кадеты, большевики или эсеры.

И, чувствуя свою ответственность перед народом, который изнывает в ожидании, Муратов, преодолев тысячи трудностей, возвращается в Россию.

Но, увы, никто не украсил цветами и флагами железнодорожную платформу, на которую ступила нога Муратова. Не было ни речей, ни митингов.

Как тут не обидеться на Россию и русский народ?

Другой бы на его месте плюнул на все и вернулся в солнечную Испанию. А Отец не вернулся. Он, как всегда, решил проявить великодушие и простить эту несчастную, погрязшую в невежестве Россию. В конце концов, несмотря на свой революционный инстинкт, массы слепы. Надо им открыть глаза.

И Муратов с жаром берется за эту трудную, но необходимую работу. Он выступает на митингах, посещает фабрики и заводы, выезжает в Кронштадт — все напрасно. Массы не желают прозревать. И вообще такое впечатление, что их совершенно не тяготят путы большевистской государственности.

Для чего, спрашивается, он лучшую часть своей жизни провел в тюрьмах Австро-Венгрии, Испании и Франции?

Затем новая, еще более жгучая обида. Ее нанесли Муратову единомышленники.

Неожиданно пошел на сотрудничество с большевиками член ВЦИК Александр Ге, на которого Отец возлагал столько надежд. За ним — один из организаторов Октябрьского восстания, член Военно-революционного комитета при Петроградском Совете Шатов. Протянули руку большевикам участники штурма Зимнего дворца Анатолий Железняков и Мокроусов...

На кого же положиться?

Ответ пришел с Украины, где по бескрайним степям, опережая тачанки, катилась слава батьки Махно.

Ведь как писал Бакунин? «Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему,

тот не может сочувствовать русской народной жизни... Разбойник в России настоящий и единственный революционер — революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народно-общественный, а не политический и не сословный...»

Муратов все более убеждался, что «длинноволосый мальчуган» именно тот человек, который сможет вывести русскую революцию из тупика, куда ее загнали большевики, и повернуть на правильный путь, предначертанный Бакуниным.

Старания Отца привлечь к махновщине крупных деятелей русской анархии особого успеха не имели. С Махно установила контакт только украинская группа «Набат». Зато Муратова очень обнадежило восстание, поднятое против Советской власти командиром частей, взявших Одессу, «атаманом партизан Херсонщины и Таврии» Григорьевым.

Никакого отношения к анархистам Григорьев не имел, и его расхождения с Советской властью носили не столько теоретический, сколько практический характер. Когда полки Григорьева вошли в Одессу, в городе начались такие грабежи, что все повидавшие одесситы и те удивились. Одесский ревком принял соответствующие меры, и Григорьев оскорбился: а из-за чего, собственно, проливалась кровь? По его мнению, запрещение грабежей было открытой контрреволюцией, прямым вызовом вождю трудящихся масс, «атаману партизан Херсонщины и Таврии». И вскоре Махно получил от Григорьева дружескую задушевную телеграмму: «Батько, чего ты смотришь на коммунистов? Бей их!..»

Конечно, атаман Григорьев никак не вписывался в образ великодушного русского разбойника, созданный пылким воображением Муратова. Но присоединение его войск к отрядам батьки могло сделать махновщину внушительной силой, а это, с точки зрения Отца, было главным.

Муратов с нетерпением ждал сообщения о союзе Махно с Григорьевым, который должен был увенчаться провозглашением царства анархии на всей территории Украины. А там — чем черт не шутит? — может, придет день, когда махновские тачанки со свистом и гиканьем промчатся по улицам Петрограда и Москвы... Все может быть!

В Москву просачивались скупые сведения о встрече Махно с Григорьевым, о переговорах между ними и, наконец, о состоявшемся соглашении, по которому Григорьев становился командующим объединенными силами, а Махно — председателем Реввоенсовета. Зигмунд утверждал, что в этот день Муратов впервые в своей жизни выпил рюмку водки.

И напрасно, потому что на следующий день все газеты опубликовали полученную с юга телеграмму.

«Всем. Всем. Всем, — значилось в ней. — *Копия — Москва, Кремль. Нами убит известный атаман Григорьев».* Подписи: Махно, начальник оперативной части Чучко.

На кого же положиться? Теперь на этот вопрос не смог бы, пожалуй, ответить и сам Бакунин.

И Христофор Николаевич снова обиделся. Обиделся окончательно и бесповоротно.

Он был обижен на неблагодарную Россию, на историю, на диктатуру пролетариата, на крестьян, которые приняли эту диктатуру, на батьку Махно, убившего по своей глупости и политической безграмотности атамана Григорьева, на идиота Григорьева, который из-за той же политической безграмотности позволил убить себя батьке Махно, на большевиков, на недальновидных и беспринципных коллег по партии, на свою квартирную хозяйку, которая, считая, видимо, что он печатает деньги, ежемесячно требовала с него плату за квартиру, не учитывая его финансовых затруднений, — на всех.

Единственный человек, на которого патриарх русских бомбометателей, кажется, не обижался, был он сам. Но что значит один человек в этом многомиллионном мире, где люди руководствуются всем чем угодно, кроме разума и святых идей всемирной анархии?

Я не был уверен, захочет ли Муратов со мной встретиться. Как-никак, а мое имя было связано для него с одной из первых обид, которые его ожидали в России. Ведь ценности «Алмазного фонда» и патриаршей ризницы предназначались им для формирования отрядов черной гвардии. Правда, теперь все это было вчерашним днем, забавным эпизодом, пригодным лишь для будущих мемуаров. А то, что этот курьез завершился убийством Прилетаева и расстрелом Ритуса, особого значения, разумеется, не имело: Отец всегда философски относился к чужой смерти.

И все же неудача с драгоценностями, вывезенными из Краскова, могла царапнуть его самолюбие, а таких царапин Муратов не прощал.

Но мое предложение о встрече, сделанное ему по телефону, никаких возражений не вызвало.

— А почему бы и нет? — сказал он. — Заезжайте, мой дорогой. Старым друзьям всегда есть о чем поговорить.

В его приторном, как патока, голосе ощущалась кислинка. Но заниматься дегустацией мне было ни к чему.

— Когда можно к вам приехать?

— Завтра в середине дня вас устраивает?

— Я бы предпочел сегодня.

— Как всегда, торопитесь? Ну что ж, можно и сегодня. Я не у дел. Когда прикажете ждать?

— Через час, — сказал я и, положив на рычаг трубку, дал отбой.

Муратов снимал квартиру на окраине Москвы в ветхом деревянном доме, первый этаж которого некогда занимал магазин бакалейных и колониальных товаров.

На шаткой лестнице, ведущей на второй этаж, к затхлому за-

паху гнилой древесины примешивался густой аромат корицы и других экзотических пряностей.

Открыла мне пожилая простоволосая женщина, видимо хозяйка.

— К Муратову, что ли?

Я кивнул.

— Ноги вытрите.

Рекомендация была нелишней: двор, в глубине которого стоял дом, был запружен грязью.

Из глубины большой полутемной передней появилась другая женщина, сухощавая, светловолосая. Казалось, она только что сошла с полотна художника-кубиста: вычерченные с помощью линейки идеально прямые линии узкого лица, тупые углы бровей, треугольник маленького подбородка — ни одной округлой линии. Портрет неизвестной был выполнен в серебристо-серых тонах.

— Драуле, — сказало произведение кубиста и протянуло мне угловатую костлявую руку.

Об этой американской анархистке, приехавшей в Россию для изучения тактики русских анархистов в условиях гражданской войны, я слышал от Зигмунда, которому она успела порядком надоесть.

При всех своих сомнительных достоинствах Драуле отличалась двумя несомненными недостатками: приличным знанием русского языка и неисчерпаемой любознательностью.

Устав от бесконечного потока вопросов, Зигмунд мечтал сплавить американку куда угодно, даже к батьке Махно. «Если «длинноволосый мальчуган» в конце концов ее пристрелит, то меня не будет среди тех, кто бросит в него камень», — доверительно сказал он мне.

— Прошу вас, — гостеприимно сказала Драуле.

Похоже, она была здесь своим человеком. Меня это не обрадовало. Я бы предпочел побеседовать с Муратовым с глазу на глаз. Но выхода у меня не было.

Я ожидал застать Отца за разработкой конструкции новой бомбы, предназначенной стать надежным залогом грядущего счастья человечества и отправной точкой для всемирной гармонии. Но ошибся. Муратов сидел на цветастой козетке и мирно пил морковный чай с сахарином. Заходящее солнце высвечивало его серебряные волосы. Этот милый хрупкий старичок, от которого веяло покоем и патриархальностью, не имел ничего общего с известным террористом.

Динамит? Международные заговоры? Выстрелы? Покушения? Ну что за фантазии!

Такие старцы копаются не спеша в саду, рассказывают сказки внукам, поучают сыновей («В наше время, мой милый...») и читают на ночь сентиментальные романы из жизни добропорядочных буржуа.

Муратов сделал вид, что хочет подняться мне навстречу, а я

сделал вид, что не хочу обременять его излишними движениями — старость следует уважать.

— Садитесь, — он показал на место рядом с собой и с предупредительностью опытного гида объяснил Драуле: — Это Косачевский, Эмма. Леонид Борисович. Сын священнослужителя и большевик. Один из тех, кто разоружал наши дружины. — Он помолчал, словно что-то припоминал, и добавил: — Мой друг.

— Косачевский? — переспросила Драуле и что-то записала в своем пухлом блокноте. Произведение кубиста одолевала жажда познания...

Да, больше всего Зигмунду мешала интеллигентность. Будь я на его месте, и Эмма Драуле, и ее блокноты были бы уже за тысячи верст от Москвы.

— Вы все записываете? — доброжелательно поинтересовался я.

Ее улыбка с тщательностью гимназиста первого класса воспроизвела трапецию:

— По возможности.

— Вот как?

Еще одна трапеция. Пошире:

— Русская революция — кладовая опыта.

Кажется, американка считала, что пользоваться чужими кладовыми можно и без разрешения хозяев...

Муратов наслаждался. Теперь я понял, почему он так охотно откликнулся на мое предложение: старичок просто соскучился. Ему хотелось развлечься.

Лишать Отца одного из немногих удовольствий, которые еще могла дать ему жизнь, было бы, конечно, жестоко. Но он уже достиг того почтенного возраста, когда во всем должна соблюдаться мера. Поэтому, выпив предложенную мне чашку чаю и поговорив минут пятнадцать на общие темы, я вспомнил, что Драуле ждет Липовецкий.

— Товарищ Липовецкий? — Она поспешно захлопнула блокнот.

— Да, Зигмунд Брониславович. Совсем забыл. Я ведь, признаться, давно не был в дамском обществе, особенно таком приятном.

— У него ко мне дело?

— Видимо. Во всяком случае, он вас разыскивал. Вы, кажется, о чем-то его просили.

Муратов подозрительно посмотрел на меня, потом на американку. Та встала.

— Вы нас покидаете?

— К сожалению.

Мы обменялись рукопожатиями.

— Надеюсь, вы меня извините? — почти кокетливо сказала она.

— Безусловно.

Спина у нее, как я убедился, была тоже прямоугольной. В этом был определенный шарм.

Муратов допил чай. Поставил чашку на стол. Искоса поглядел на меня:

— Насчет Липовецкого соврали небось?

— Скажем так: использовал тактический маневр.

— Тактический?

— Именно. Думаю, ей это пригодится. Ведь она приехала сюда изучать тактику...

Отец чмокнул губами:

— А вы веселый человек, Косачевский. Истинно русский. Россия, она страна веселая. Со времен Ивана Грозного веселится. Ее кнутами — хихикает. На дыбу — хохочет. Теперь вот ваши чрезвычайки ее к стенке поставили. А ей хоть бы что, и у стенки пляшет... Вприсядочку. Разлюли-люли малина, — ввернул он «истинно русское выражение», которое на досуге извлек из словаря где-нибудь в Вене или Мадриде. — Ну-с, чем обязан?..

Его уши налились кровью, а небесно-голубые глаза стали прозрачными от бешенства. Какие уж там внуки, садик да сентиментальные романы? Динамитику бы нам пуд-другой...

— Рад, Христофор Николаевич, — сказал я.

— Чему? Тому, что страна веселая, или тому, что к стенке ее поставить ухитрились?

— Нет.

— А чему же?

— Тому, что вы еще не растеряли былого пыла. Вашей молодости радуюсь, Христофор Николаевич. Радуюсь и немного завидую. Но стоит ли так волноваться? Пусть себе веселится. Разве переделаешь характер? Да и не такое уж плохое качество жизнерадостность.

— Э-хе-хе!

Он вздохнул, подложил себе под спину подушечку и вновь превратился в милого старичка, думающего о своей душе и вечности.

— Чем же обязан, мой дорогой?

Приступить к цели своего визита я поостерегся. Пусть Муратов сначала остынет. «Алмазный фонд» лучше оставить на десерт. А вместо закуски можно предложить беседу о Махно. Почему не рассказать о встрече с ним? Только сделать это следует деликатно — без иронии, но и без настораживающего восхищения. Дескать, чужак, конечно, разбойник, однако какая широта натуры, размах, сила воли!

Я полагал, что обида Отца на любимца не была чрезмерной. Излишне веселая Россия, верно, доверия не оправдала: взяла и кинулась очертя голову в объятия к большевикам, которые только о том и мечтают, как бы поскорей поставить ее к стенке. Массы, те тоже, прямо скажем, по-свински с Отцом поступили, в самую душу харкнули. Что же касается Махно... Ну что с Нестора Ивановича возьмешь? Человек есть человек... Ну, ошибся малость. Ну, убил вгорячах не того, кого нужно. С кем не бывает? Опять же отсутствие культуры, поверхностное знаком-

ство с идеями анархизма, дурное влияние большевиков... В конце концов, сам Отец тоже не без греха. Разве всегда его бомбы взрывались только там, где положено? Нет, конечно, всякое случалось. Без ошибок не обойтись. Всем известно: лес рубят — щепки летят. И какие щепки! Порой из-за них и леса не разглядишь...

Я не ошибся: поданное мною блюдо пришлось Муратову по вкусу.

По мере моего рассказа о встречах с руководителями повстаической армии его лицо все более и более оттаивало. Особенно Отцу понравилось, что в ближайшем окружении Махно есть рабочие, а знаменитый Белаш, начальник штаба, разрабатывавший и обобщавший тактику гражданской войны, по специальности железнодорожный машинист. За одно это он готов был простить мне упомянутое вскользь решение общего собрания махновцев из 1-го Екатеринославского полка, на котором обсуждался вопрос о необходимости выполнять приказы командиров, — «Обсудив этот вопрос, собрание товарищей-повстанцев решило единогласно приказы выполнять, но с тем условием, чтобы командиры, издающие их, были трезвы».

— Крестьянская стихия, — благодушно заметил Отец и даже улыбнулся.

Он сидел в коконе из подушечек, подперев ладонью подбородок, и глаза его туманила старческая сентиментальность. Если бы все эти подушечки можно было перенести в тачанку, он бы, пожалуй, тряхнул стариной.

Я представил себе Отца за гашеткой «максима» и развеселился.

Муратова интересовали классовый и возрастной состав махновских частей, принцип выборности командного состава, роль и структура Реввоенсовета, культотдела, подход батьки к решению финансовых и экономических проблем в захваченных им городах. Мое замечание о возрастающем влиянии на Махно анархистов из группы «Набат» он воспринял очень болезненно. Среди набатовцев было много анархо-синдикалистов, а Отец считал это направление в анархистском движении наиболее пагубным.

— Суслики, — сказал он, — скунсы. Испортят батьку, обынтеллигентят.

Разговор о «длинноволосом мальчугане» несколько затянулся. Но зато когда я наконец рискнул затронуть интересующую меня тему, Отец находился в том расслабленном состоянии, которое сулило успех.

— Ценности «Алмазного фонда»? — В глазах его мелькнуло удивление, причину которого я понял несколько позднее. — А вы любопытный человек, Косачевский. Весьма любопытный...

— Вы хорошо знали Галицкого, Христофор Николаевич?

— Что значит хорошо? Знал, встречался, разговаривал. Принимал в нем участие, оказывал в необходимых случаях поддержку...

Отец скромничал. О Галицком он знал многое.

Выяснилось, что командир партизанского отряда родом из Тобольска, сын крупного местного чиновника. К анархистам примкнул еще в гимназии, в шестом или седьмом классе. Участвовал не только в пропагандистской, но и в боевой работе. После вооруженной экспроприации крупной суммы денег был в январе семнадцатого арестован, но вскоре освобожден. Сформировал в Тобольске небольшой отряд, который занимался разоружением городовых и жандармов. За самовольный расстрел провокатора, внедренного в группу анархо-коммунистов, был предан суду. В тюрьме познакомился и сдружился с Ритусом. После Октябрьской революции вместе с другими политическими был освобожден.

Когда атаман Дутов, возглавивший в Оренбурге Комитет спасения родины и революции, совершил переворот и арестовал Оренбургский Совет рабочих и солдатских депутатов, отряд Галицкого присоединился к красногвардейским отрядам и участвовал в боевых действиях на Оренбургском фронте. В дальнейшем ему поручили сопровождать отправляемые из Сибири в Москву эшелоны с хлебом.

В феврале тысяча девятьсот восемнадцатого, когда немцы нарушили перемирие и в Московской федерации анархистских групп дискутировался вопрос об отправке на фронт отрядов черной гвардии, Галицкому и его людям предложили остаться в Москве.

По отзыву Отца, отряд «Смерть мировому капиталу!», насчитывавший тогда около ста человек, был наиболее дисциплинированным и боеспособным. Поэтому ему поручили охрану Дома анархии, а Галицкого предполагалось избрать в секретари федерации.

Я поинтересовался, участвовал ли Галицкий вместе с Ритусом в «красковском пикнике».

Оказалось, что нет.

— Мы решили его к этой акции не привлекать, хотя Ритус и вносил такое предложение.

— Почему же?

— Галицкий не был в курсе предшествовавших событий. Кроме того, по своему характеру он не совсем подходил к этой операции. Он, я бы сказал, отличался излишней впечатлительностью, — объяснил Муратов. — В этом отношении он был похож на вашу приятельницу Штерн.

Кажется, этот юноша, так страстно мечтавший поставить меня к стенке, не зря мне понравился...

— А бойцов из отряда «Смерть мировому капиталу!» Ритус использовал в Краскове?

Отец улыбнулся и поглубже втиснулся в свой кокон из подушечек:

— Не помню. Это так давно было, мой дорогой...

— Но кого-нибудь из тех, кто отправился с Ритусом в Красково, помните?

— Их давно нет в Москве. Зачем ворошить старое? Люди, которые помогли Ритусу изъять ценности, выполняли обычное задание. Не будем их трогать.

Я спросил, почему Ритус отвез ценности в особняк Лобановой-Ростовской.

— В Доме анархии бывало много случайных посетителей, а в особняк Лобановой-Ростовской посторонние проникнуть не могли. Кроме того, Ритус полностью доверял Галицкому.

— А вы, Христофор Николаевич?

— Тоже.

— Тогда?

— И тогда и сейчас. Ему можно было доверять. При всех своих недостатках Борис всегда отличался честностью. В его отряде расстреливали за каждый случай грабежа.

— Почему же он отдал часть ценностей своей любовнице?

— Это он сделал по моему совету. Мы считали целесообразным разделить ценности. И не ошиблись. То, что находилось в особняке Лобановой-Ростовской, было вами тотчас же изъято.

— Значит, у Елены Эгерт драгоценности находились только на хранении?

— Разумеется.

— Следовательно, вы ей тоже доверяли?

— В отличие от вас мы всегда доверяем, Косачевский.

— Это не ответ, Христофор Николаевич. Вы ее лично знали?

— Знал.

— Давно?

— С февраля восемнадцатого.

— Через Галицкого?

— Да.

— Она тоже анархистка?

— Беспартийная. Эгерт, насколько мне известно, стояла в стороне от политики.

— Но сочувствовала анархистским идеям?

— Как и каждый порядочный человек, — подпустил шпильку Муратов.

— Бывала в Доме анархии?

— Довольно часто.

— Вы ей раньше что-либо поручали?

— Случалось.

— А какого рода были эти поручения?

— Не террористического характера.

— Уроженка Москвы?

— По-моему, Петербурга. Но жила в Тобольске. Служила там у кого-то в гувернантках.

— Галицкий с ней познакомился в Тобольске?

— Видимо.

— Они вместе в Москву приехали?

— Нет. Борис говорил, что они встретились здесь случайно. Она тут гостила у сестры.

Итак, у Елены Эгерт есть сестра, которая жила, а возможно,

и до сих пор живет в Москве. Но что-либо выяснить мне не удалось. Кажется, Муратов действительно ничего о ней не знал. По его словам, он видел ее лишь один раз, на квартире у Елены Эгерт.

— Куда Галицкий уехал в мае восемнадцатого?

— К матери.

— В Тобольск?

— Да.

— А затем?

— Был в Екатеринбурге.

— Где он сейчас?

— Представления не имею. Во всяком случае, не в Москве.

— Вы с ним переписывались?

— До середины восемнадцатого года.

— Я бы хотел вас попросить об одной любезности, Христофор Николаевич. Вы не могли бы познакомить меня с письмами Галицкого?

— Сожалею, но я не имею привычки сохранять письма. Да и не было в них ничего такого, чего бы вы не знали. — Последние слова он почему-то выделил. — В них было лишь то, о чем вы предпочли бы забыть...

— Простите?

— Охотно прощаю, мой дорогой.

— Вы что-то начали говорить загадками, Христофор Николаевич.

— А вы не обращайте внимания. Какой со старика спрос? Да и устал я. Не пора ли кончать, а?

— Еще несколько минут, Христофор Николаевич.

— Ну если несколько минут...

— Елену Эгерт вы после марта восемнадцатого видели?

— Видел, мой дорогой. Раза три-четыре.

— Когда?

— В мае и июне восемнадцатого. После отъезда Галицкого. Он меня просил навещать ее. Мы с ней очень подробно обо всем говорили. Особенно о вас.

— Вы что-то недоговариваете, Христофор Николаевич.

— А вам бы хотелось, чтобы я договорил?

— Естественно.

— Вы в этом уверены?

Отец откинулся на подушки и прошелся своими глазками, словно штангенциркулем, по моему лицу.

— Будем откровенны, мой дорогой, а?

— С удовольствием.

— Тогда объясните, зачем вам потребовалось ломать комедию?

— Какую комедию? — опешил я.

— Да вот эту, с «Алмазным фондом». Ведь я все знаю от Галицкого и Эгерт.

— Что именно?

— Все, — повторил Муратов.

Это «все» расшифровывалось в нескольких фразах. Оказалось, что в марте восемнадцатого Елена Эгерт никуда из Москвы не уезжала, о чем мне, Косачевскому, известно лучше, чем кому бы то ни было. Опасаясь уголовно-розыскной милиции, Галицкий по распоряжению Отца перевез находившиеся у нее драгоценности на квартиру одного из анархистских боевиков. Туда же переехала и Эгерт. Квартира считалась надежной. О ней не знал даже Ритус. И все же Косачевский каким-то образом установил ее. Когда командира отряда «Смерть мировому капиталу!» арестовали, к Эгерт явился Косачевский. Чемодан он получил обманным путем, сославшись на Галицкого. Поняв, что произошло в действительности, Эгерт наложила на себя руки. Но ее удалось спасти. По просьбе Галицкого, который никак не мог отложить своего отъезда (чем была вызвана такая поспешность, Отец умолчал), Муратов несколько раз навещал Эгерт в больнице.

И вот теперь Косачевский делает вид, что он очень озабочен розысками давно им найденного.

Нелепость? Да, но только в том случае, если он в 1918 году сдал драгоценности властям. А если нет, то все становится на свои места.

Эгерт и Галицкий, которыми он так интересуется, всего лишь нежелательные свидетели происшедшего. Он хочет их найти и устранить. Такую же участь он готовит и Отцу.

Но попович переоценил свои карты. Его партнер не даст ему сорвать банк. Вот они, козыри, на столе.

Так-то, уважаемый товарищ Косачевский!

Отец готов был принять все меры предосторожности, но не осуждал меня. Мой предполагаемый поступок полностью вписывался в его представление обо мне и обидевшей его России, где только и делают, что крадут и веселятся. Веселятся и крадут. Отец испытывал горестное удовлетворение: он не ошибся ни во мне, ни в России. Такая уж страна. Печально, конечно, но... приятно.

Я прикинул все плюсы и минусы. Разубеждать Отца не стоило. Сложившаяся ситуация могла дать мне в дальнейшем определенные преимущества. Да и зачем старика разочаровывать? Ему и так досталось на родине.

— Еще чашечку чая?

— Пожалуй.

На этот раз глаза Отца голубели лаской. Кажется, он готов был меня полюбить. Не сразу, разумеется, постепенно.

— Что скажете, дорогой?

— Спасибо.

Действительно, я был ему искренне благодарен. Сегодня и «длинноволосый мальчуган», и он сам принесли нам существенную пользу. Похоже, бригада «Мобиль» приобрела неоценимых помощников.

Он заботливо размешал в моей чашке сахарин:

— Попробуйте. Не слишком сладко?

— В самую меру, Христофор Николаевич. Вы маг и волшебник. Ваш чай напоминает по вкусу довоенный.

— Очень рад, мой дорогой.

А ведь, кажется, он меня уже полюбил.

III

Появление лже-Косачевского, у которого оказались драгоценности «Фонда» или, по крайней мере, большая их часть, было неприятной неожиданностью. К многочисленным загадкам прибавилась еще одна. Предположить, что Эгерт солгала Галицкому, я не мог: ложь редко пытаются подкрепить самоубийством. Для этого выбирают другие, менее рискованные, способы. А Эгерт, судя по рассказу Отца, пробыла в больнице длительное время.

Лже-Косачевским мог быть кто угодно: анархист, проведавший, где хранятся ценности, приверженец монархии, просто авантюрист. Но выйти на него мы могли только с помощью Эгерт, Галицкого или кого-нибудь из их окружения.

Где еще он мог почерпнуть сведения о ценностях? Только там.

Поэтому я не утратил интереса ни к бывшему командиру партизанского отряда, ни к его любовнице, ни к Афанасию.

Результатами встречи с Муратовым я был более или менее доволен: по крайней мере, как-то наметились пути розыска Эгерт и Галицкого — не определились, но наметились.

В Тобольске, где жили Галицкие и люди, у которых служила Эгерт, можно было собрать немаловажные сведения. Да и сама Москва открывала широкие возможности. То, что Муратов не захотел назвать больницы, где лечилась Эгерт, наводило на мысль, что любовница Галицкого обитает в Москве и по сей день. А если так, то почему не попытаться разыскать ее? Для этого можно было использовать больницу, сестру Эгерт, с которой она наверняка встречается, а возможно, и живет у нее, наконец, самого Христофора Николаевича Муратова. Зачем старику на всех обижаться и тосковать без дела в своей Марьиной роще? Пусть поработает. Ведь Отец считает, что, присвоив ценности «Фонда», я теперь стремлюсь найти и ликвидировать свидетелей. К Эгерт он относится хорошо. Следовательно, ежели она находится в пределах досягаемости, старик попытается предупредить ее об опасности. При хорошо поставленном наблюдении за любителем морковного чая и его немногочисленными посетителями это предупреждение принесет пользу не столько Эгерт, сколько нам.

Порадовало меня и сообщение Борина, который успел в тот день опросить прислугу генерала Мессмера (сам генерал скончался осенью прошлого года) и бывших соседей Эгерт по квартире. Выяснилось, что у Мессмера Эгерт была чуть ли не своим человеком. Горничная, служившая у генерала с 1913 года, го-

ворила, что помнит ее по довоенному времени. Эгерт, по ее словам, жила тогда не в Москве, но время от времени приезжала сюда и останавливалась у своей старшей сестры, квартира которой находилась где-то в районе Шереметьевского переулка (генерал Мессмер снимал квартиру в бывшем доме вдовы действительного тайного советника Бобрищева по Шереметьевскому переулку). Это утверждение основывалось на том, что Елена никогда не пользовалась извозчиком, а приходила пешком. Сестру ее горничная не знала, но слышала, что та замужем за каким-то пьяницей чиновником и очень бедствует. К Мессмеру она никогда не приходила. Эгерт же неоднократно навещала генерала, который оказывал ей покровительство, хотя и был о ней, как казалось горничной, весьма невысокого мнения. Василий Мессмер просто не любил ее и в беседе с отцом назвал как-то Елену Эгерт «медхен фюр алле» — девочка для всех. Он считал, что та каким-то поступком опозорила род Мессмеров и теперь за это расплачивается. Что имел в виду Василий, горничная не знала.

Последний раз она видела Эгерт незадолго до кончины генерала, то есть в августе или сентябре девятнадцатого, через полтора года после исчезновения ценностей «Алмазного фонда» и неудавшейся попытки самоубийства. Они о чем-то очень долго разговаривали, не меньше часа.

Но самым любопытным было, пожалуй, то, что Эгерт появилась здесь как-то вместе с Олегом Мессмером — монахом Афанасием. Произошло это весной восемнадцатого, уже после похорон Василия Мессмера, когда прибывший в Москву Афанасий гостил у отца около недели. Тогда же к старику дважды приходила вместе со своим мужем и его племянница Ольга Уварова.

Таким образом, предположение Борина о том, что Афанасий и Эгерт хорошо знакомы, полностью подтвердилось. Теперь уже не было никаких сомнений, что дворник из дома Эгерт видел в марте восемнадцатого именно Афанасия, и никого иного.

Что же касается визитов к генералу четы Уваровых, то они, возможно, и не привлекли бы моего внимания, если бы Павел Алексеевич Уваров не фигурировал в материалах дела об ограблении патриаршей ризницы. Ведь именно член совета «Алмазного фонда» Уваров передал в ноябре семнадцатого из Петропавловской крепости зашифрованное письмо казначею «Фонда» Василию Мессмеру. Кроме того, Уваров имел прямое отношение к Тобольску, где жили Галицкий и Эгерт. Когда мы взяли Ритуса, он показал на допросе, что бывший тобольский вицегубернатор Уваров осуществлял связь с приближенными царской семьи, которая находилась в том же Тобольске.

Тобольск, Тобольск и еще раз Тобольск. Тут было над чем поразмыслить.

Сведения, собранные Бориным об Эгерт, отличались поразительной несообразностью. Любовница командира отряда «Смерть мировому капиталу!» анархистского боевика Галицкого вдруг

оказалась приятельницей схимника Афанасия, своим человеком в доме генерала Мессмера и хорошей знакомой отъявленного монархиста, члена совета «Алмазного фонда» Уварова.

Какие же еще нас ожидают сюрпризы?

— Послушайте, Петр Петрович, — сказал я, — а горничная не сообщила вам о многолетней дружбе, которая связывала покойного генерала Мессмера с Кустарем?

— Нет, — сказал Борин. Он никогда не мог сразу понять, когда я говорю всерьез, а когда шучу.

— Вот видите, самое главное она от вас утаила.

— Вы сомневаетесь в ее правдивости?

— Нет, Петр Петрович, не сомневаюсь. Все, что она вам рассказала, настолько абсурдно, что скорей всего является чистейшей правдой. Да и зачем горничной все это придумывать? Конечно же, правда. Но уж больно неожиданная. Поэтому хочу вас на будущее предупредить, что теперь вы меня ничем не удивите. Я уже заранее допускаю, что Елена Эгерт вовсе не Елена Эгерт, а переодетая английская королева, покойный генерал Мессмер — тайный агент Махно, Муратов — свояк Распутина...

— Ну а тот человек, который воспользовался вашим именем, чтобы присвоить ценности «Фонда»? — включился в предложенную игру Борин.

— Не догадываетесь?

— Нет.

— Деникин.

— Кто, кто?

— Антон Иванович Деникин, предшественник барона Врангеля.

Борин улыбнулся, и клинышек его бородки весело подпрыгнул:

— Помилуйте, Леонид Борисович, как генерал Деникин в Москве мог оказаться?

— Точно так же, как любовница командира отряда «Смерть мировому капиталу!» в доме генерала Мессмера, — объяснил я. — А впрочем, не буду отбивать у вас хлеб — выясните.

— Через ту же горничную?

— А почему бы и нет? Девица, говорите, наблюдательная. И слушать умеет, и в замочную скважину заглядывать. Совсем не исключено, что Антон Иванович к старику на огонек забредал в жилетку поплакаться. Но какими сведениями она вас еще снабдила?

Борин развел руками:

— Разве мало?

— Да нет, с избытком. Но вы меня избаловали. А что дал опрос соседей Эгерт? «Английская королева» не появлялась больше в своем временном пристанище?

— Нет, к сожалению. Но ее сестра или женщина, выдававшая себя за таковую, — на всякий случай оговорился Борин, — туда приходила. Дважды.

— Когда?

— Весной или летом восемнадцатого. Она интересовалась письмами на имя Елены.

— А такие письма были?

— Ни одного. Ни тогда, ни после.

— О чем она разговаривала с соседями?

— Только о корреспонденции. Якобы Елена просила перед отъездом справиться о письмах и переслать ей.

— Не говорила, от кого Эгерт ждала письма?

— Нет.

— И фамилию свою не называла?

— Представилась Марией Петровной.

— Номера телефона, конечно, не оставила?

— Нет.

— Внешность посетительницы соседи смогли описать?

— Более или менее. Похожа на Елену, но значительно старше. Думаю, идентифицировать сможем.

— А отыскать?

— Надеюсь, что тоже сможем. И ее и Елену.

— Авось?

— Авось, — подтвердил он, не желая замечать моей иронии, и философски заметил: — Не такое уж плохое слово это «авось», Леонид Борисович. Осмелюсь доложить, что в сыске без него никак не обойдешься. Иной раз и палочкой-выручалочкой становится. Да еще какой! Ежели вдуматься, то вся земля русская испокон веку на «авось» стоит. А крепко стоит, не шатается.

За прошедшие два года у Борина развилась склонность к философствованию. Раньше он ограничивался сыском, теперь же мыслил в масштабах России. Профессор Карташов, считавший, что философов порождает голод, связал бы это с неуклонным уменьшением продовольственного пайка. По его мнению, главным препятствием прогресса всегда была сытость. В России это препятствие исчезло. Что-что, а жировая эпидемия республике не угрожала. Судя по очередям за хлебом, Москва уже созрела для того, чтобы в ближайшие месяцы дать миру Ньютона, Сократа, Дарвина и сотни полторы Гегелей. Жаль только, что они могут раньше оказаться на Ваганьковском кладбище, чем на Олимпе.

— Петр Петрович, — осторожно поинтересовался я, — у вас еще не появилась потребность создать собственную философскую систему?

Он с некоторым удивлением посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. Это меня обрадовало. Если бы он стал Гегелем, то человечество, возможно, и выиграло, но бригада «Мобиль» наверняка бы проиграла. О Ваганьковском же вообще думать не хотелось.

— Тогда давайте попытаемся что-нибудь выкроить из вашего «авось», — предложил я. — Эгерт надо найти во что бы то ни стало. Туго нам без нее придется.

День выдался тяжелым и сумбурным. Освободиться мне удалось лишь к десяти вечера. Когда я приехал во 2-й Дом Советов, Липовецкий уже спал. На столе лежала записка: «Если можешь, не храпи. Мне завтра рано вставать. Зигмунд».

Забираясь в постель, я считал, что с сюрпризами покончено. Но ошибся: меня ожидал еще один...

Ни канализация, ни водопровод в нашем номере не работали. Электричество напоминало о себе временами. Зато телефон никаких нареканий не вызывал. Его пронзительный звон можно было услышать даже в коридоре.

В ту ночь он зазвонил около часа...

Зигмунд был интеллигентом уже в третьем поколении, поэтому он вскочил с постели первым.

— Тебя, — сказал он, и по его лицу нетрудно было догадаться, что он в эту минуту думает обо мне, Центророзыске и бригаде «Мобиль»...

— Косачевский у аппарата, — машинально сказал я, не в силах выкарабкаться из зыбкой трясины сонной одури.

Звонил дежуривший по Центророзыску Сухов.

— Л-леонид Борисович? — Павел после полученной на фронте контузии слегка заикался. — Извините, что беспокою. Но у нас тут ч-чрезвычайное происшествие...

— Что случилось?

— П-приказчик Филимонов принес табакерку работы П-позье.

Спросонья я никак не мог понять, что произошло и что он от меня хочет.

— Какая табакерка? Какой Позье?

— П-позье — брильянтщик императрицы Елизаветы, — терпеливо объяснил Павел. — Эта т-табакерка числится в описи драгоценностей «Алмазного фонда».

Теперь что-то стало до меня доходить.

— Каким образом табакерка оказалась у Филимонова?

— Ему ее отдал в п-починку Глазуков. Там к-крапаны надо исправить, к-камни выпадают. Вы меня с-слышите?

Я его слышал. Хорошо слышал.

Как табакерка Елизаветы, которая под седьмым номером числилась в описи драгоценностей «Фонда», попала к члену союза хоругвеносцев? Неужто ее принес Кустарь? Но ведь за домом Глазукова установлено круглосуточное наблюдение.

— Где Борин?

— С-скоро приедет.

— Кто определил, что это табакерка Елизаветы? Вы сами?

— Н-никак нет.

— А кто?

— Ювелир Г-гейштор.

— Он сейчас у вас?

— Т-так точно. П-позвать его к телефону?

— Не надо. Пришлите за мной автомобиль.

Трубка облегченно вздохнула:

— Уже в-выслал, Леонид Борисович. Д-десять минут назад.

Сна как не бывало. Я положил трубку на рычаг, зажег свечу и стал одеваться.

Зигмунд натянул одеяло на голову и демонстративно повернулся на бок.

— Спишь?

Он промолчал. Весь его вид говорил о том, что ему плевать на меня, на Елизавету Петровну, ее придворного ювелира и табакерку работы Позье, утеху и гордость стареющей русской царицы. Плевать ему было и на профессора Карташова, прочитавшего мне некогда двухчасовую лекцию о табакерках XVIII века, когда табак нюхали бочары и императоры, священники и воины. По табакерке, говорил Карташов, можно было судить об имущественном положении ее владельца, о сословии, к которому он принадлежал, и даже о древности его рода. К каждому костюму полагалась особая табакерка. Одна — к выходному, другая — к будничному, третья — к дорожному.

Видимо, у принца Конти было несколько сот костюмов, так как после его смерти, по утверждению того же Карташова, осталось восемьсот табакерок. Собрание же табакерок Фридриха Великого насчитывало что-то около полутора тысяч.

Не отставала от моды и Елизавета Петровна. По словам Карташова, ее коллекция считалась одной из лучших в Европе, а табакерка работы Позье являлась жемчужиной всего этого собрания.

Видимо, у меня с Карташовым и покойной императрицей были разные вкусы. Во всяком случае, рисунок табакерки, сделанный ювелиром Гейштором, который оценивал ее перед войной четырнадцатого года, особого впечатления на меня не произвел.

Не поразила она моего воображения и сейчас, когда я получил возможность не только увидеть, но и повертеть ее в руках. Довольно массивная, оправленная в золото, она была сделана в форме рога изобилия и если чем-либо и отличалась от изделий подобного рода, то только количеством драгоценных камней — красных, синих, зеленых, голубых, желтых. Из-за самоцветов почти не видно было золота и резной янтарной подставки, украшенной серебряной филигранью.

Героем дня, вернее ночи, был приказчик Филимонов. Он чувствовал всеобщее внимание и искренне восхищался собой и своим почти что героическим поступком. Дескать, другой кто, из несознательных, принес бы в сыск табакерку? Ни в жизнь. Сунул бы в карман — и фьють, помнинай как звали! А он, Филимонов, не сунул, потому как совесть имеет и преданность Советской власти. Филимонов — человек. Вот как! А хозяин его, хотя и член союза хоругвеносцев, а все одно не человек. Фармазон он. За бриллианты мать родную продаст. А он, Филимонов, не продаст — кукиш.

Чтобы заглушить непрошеные мысли, приказчик ненужно суетился, вертя головой, беспрерывно хватался за табакерку, сыпал горохом слов. Он хвалил себя, табакерку, Позье.

Умелец, по всему видать, что умелец. А каков трудяга! Полмира, говорят, исколесил, чтобы, значит, все ювелирные секреты выведать.

— А к-как она открывается? — спросил любознательный Сухов.

— Очень даже просто. Вот, глядите. — Приказчик Глазукова нажал указательным пальцем на один из бриллиантов, обрамляющих медальон, и крышка табакерки откинулась с мелодичным звоном. — Она раньше песенку играла, — объяснил Филимонов. — Устройство у нее внутри такое имеется для музыки. Да только испорчено оно, устройство это. То ли пружина сломалась, то ли колесико какое погнулось. Надо бы часовщику показать. Да только где такого часовщика возьмешь, чтобы и честным был и сведущим? Народ известно какой — ненадежный.

— Позье? — спросил я у Гейштора, который так же внимательно разглядывал потолок, как Сухов табакерку.

— Вне всякого сомнения, — подтвердил он.

В отличие от Кербеля Гейштор не был поэтом ювелирного дела и не любил лишних слов.

— Удачное сочетание с-сапфиров и р-рубинов. Верно? — сказал Павел, которого буквально распирали недавно приобретенные познания в ювелирном деле.

— М-да, — неохотно подтвердил заспанный Борин.

А Гейштор бесстрастно заметил:

— Лубок.

К счастью Сухова, в комнату заглянул только что сменившийся с дежурства агент первого разряда Московского уголовного розыска Прозоров, который вел наружное наблюдение за домом Глазукова.

Прозоров был артиллерийским офицером, затем командиром батареи в Красной Армии, откуда демобилизовался по ранению.

— Глеб Григорьевич! — окликнул его Сухов. — Погляди-ка.

Прозоров, широкоплечий и гибкий, с выправкой кадрового военного, подошел к столу и тихо свистнул:

— Мать честная! Ну и ну. Это где ж такую раздобыли?

— У т-твоего.

— У Глазукова? С ума сойти!

Сухов удовлетворенно улыбнулся. Большего ему не требовалось.

Я попросил Прозорова отвезти ювелира домой, и Гейштор, у которого сразу же повеселели глаза, поблагодарил меня.

Борин подкрутил фитиль в керосиновой лампе, которая висела рядом с электрической, и вопросительно посмотрел на меня:

— Вам решать, Леонид Борисович...

Да, решать, к сожалению, нужно было мне, и никому иному. И от моего решения зависело многое, может быть, все. Но как решать это уравнение, в котором столько неизвестных?

Ни Улиманова, ни Кустарь последнее время у члена союза

хоругвеносцев не появлялись. Табакерку ему отдали еще до обыска у канатчицы. Так? Так. Но... И вот тут иачиналась бесконечная вереница всяческих «но», «возможно», «если».

Одну ли табакерку работы Позье передали Глазукову? Ведь не исключено, что в результате налета Кустарь стал обладателем всех ценностей «Алмазного фонда».

На квартире Улимановой ничего из принадлежащего «Фонду» не нашли. Не оказалось ли все это в сейфе у Глазукова? Тогда розыскное дело можно завершить немедленным обыском.

Два-три часа — и все. Одним ударом мы разрубим все узлы и вернем ценности республике.

«Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый росс!»

Но не торопись веселиться, храбрый росс. Прежде подумай. Хорошенько подумай, не спеша.

А если налетчик поживился у неизвестных только табакеркой, тогда как?..

То-то и оно.

Или другой вариант. Кустарь действительно завладел сокровищами «Фонда», но Глазукову передал для реализации лишь табакерку. Остальное хранится бог весть где — у Иванова, Петрова, Сидорова.

Что тогда?

Обыск на квартире Улимановой, обыск в доме Глазукова... Улиманова же не последняя дура. Она не может не понять, что происходит. И Кустарь не идиот. А Глазуков?

Сухова позвали к телефону. Он с видимым сожалением оставил творение Позье и вышел.

Филимонов бестолково бегал по комнате, натыкаясь на мебель. Опрокинул стул, налетел на стол и ушиб колено. Сморщился от боли. Растирая ногу, спросил:

— Выходит, к ногтю Анатолия Федоровича-то?

— Побегайте покуда в коридоре, любезнейший, — посоветовал ему Борин. — Мы вас потом пригласим...

— Можно и в коридоре, — согласился приказчик.

У Глазукова имелось два сейфа. Я спросил у Борина, не знает ли Филимонов, в каком именно сейфе хозяин хранил табакерку.

— В том, что в спальне. В американском, — тотчас же ответил Борин, словно заранее готовился к моему вопросу.

— Какой в нем замок?

— Системы Гоббса. Надежный замок.

— Но, видимо, и такие замки иногда портятся?

— Случается.

— Надо, чтобы замок в сейфе Глазукова испортился на этих днях. Чем быстрее, тем лучше. А о слесаре, который его исправит, мы позаботимся.

— Хотите ознакомиться с содержимым сейфа?

— Другого выхода у нас нет, Петр Петрович.

— Пожалуй, — согласился он. — А табакерку возвращаем Глазукову?

— А табакерку возвращаем Глазукову. Пусть только Филимонов не забудет починить крапаны. И побеседуйте с ним: уж слишком он нервничает. Чтобы не было никаких фокусов.

— Все будет сделано, Леонид Борисович.

По лицу Борина трудно было понять, одобряет он мое решение или нет. В комнату вошел Сухов.

— Сейчас в-выезжаем к Глазукову?

— Нет.

— А к-когда?

— Во всяком случае, не сегодия.

— А т-табакерка?

— У вас еще есть время ею полюбоваться, — сказал я. — А пока пригласите сюда Филимонова. Хватит ему бегать по коридору. Пусть немного отдохнет.

— С-слушаюсь, Л-леонид Б-борисович, — заикаясь больше обычного, сказал Павел, который никак не мог понять, что же здесь произошло в его отсутствие.

Начальиику бригады «Мобиль»
тов. Косачевскому Л. Б.

В соответствии с Вашим указанием произведена негласная проверка предметов, хранящихся гр. Глазуковым А. Ф. в двух сейфах. Сообщаю результаты.

В сейфе за № 32546 находятся:

1. *Отделанная эмалью, золотом и слоновой костью шкатулка в виде домика с двускатной кровлей.*
2. *Четыре табакерки: работы Позье и три другие (эмаль, золото, серебро).*
3. *Восемь гемм с мифологическими сюжетами.*
4. *Шестьдесят семь жемчужин и девять пар запонок с жемчугом.*
5. *Семь пар серег с подвесками из небольших самоцветов, бриллиантов и жемчужин.*
6. *Пять золотых перстней со вставками из камней.*
7. *Кулон с грушевидным камнем фиолетового цвета.*
8. *Четыре эмалированных серебряных портсигара с золотой филигранью и мелкими самоцветами.*
9. *Брошь в форме двенадцатиконечной звезды, в центре которой пять крупных бриллиантов.*
10. *Восемнадцать обручальных золотых колец, некоторые из них с мелкими бриллиантами.*
11. *Карманные часы с репетитором. Крышка украшена эмалью и драгоценными камнями.*

В сейфе за № 1561 находятся:

1. *Около унции мелкого жемчуга розоватого цвета.*
2. *Пять-шесть фунтов малахита, яшмы и других поделочных камней.*
3. *Четыре книжечки листового золота, по 25 листков в каждой.*
4. *Серебряные пластинки, стержни и проволока (два фунта).*
5. *Припой из серебра и золота (ленты, опилки).*

6. Приспособления и инструменты для различного вида ювелирных работ: кубики из бронзы и чугуна с полушаровыми углублениями разных радиусов («анки»), пунзеля, завинчивающиеся чугунные шары («штраубкугели»), гравировальные иглы, щетки из латунной проволоки, полировальные диски из пальмового дерева, олова, смолы, фетра и др.

Учитывая, что некоторые из предметов, хранящихся у гр. Глазукова, могли принадлежать «Алмазному фонду», они были представлены на заключение эксперту.

Агент второго разряда Б. Денесюк

Заключение ювелира Гейштора

1. «ШКАТУЛКА В ВИДЕ ДОМИКА» является реликварием, т. е. предназначена для хранения религиозных реликвий.

На фронтонных сторонах реликвария изваяны Христос и богородица, в нишах помещены золотые фигурки апостолов. Каждая из фигурок в соответствии с христианской символикой украшена одним из двенадцати камней: над головой апостола Петра — яспис, который символизирует твердость, Филиппа — аравийский сардоникс, Матвея — аметист и т. д.

Те же двенадцать камней-символов окантовывают изображения Христа и богородицы.

Реликварий является высокохудожественным произведением ювелирного искусства XII—XIII веков. До революции принадлежал Киево-Печерской лавре.

2. «ТРИ ТАБАКЕРКИ (ЭМАЛЬ, ЗОЛОТО, СЕРЕБРО)». Эти шкатулки (их нельзя именовать табакерками) относятся к лучшим из известных мне образцов живописной, или лиможской, эмали, которая в XIV—XV веках пришла в Европе на смену выемчатой, перегородчатой и частично вытеснила просвечивающую.

Шкатулки следует отнести к концу XV — началу XVI века. Судя по исполнению, рисунку, чистоте колеров, восьмиугольная является произведением самого известного эмальера того времени Леонара Пенико. Две другие, видимо, сделаны Пьером Реймоном или Жаном Куртуа.

Похожие эмали находились в собрании покойного харьковского коллекционера Переяслова. В 1913 году они экспонировались в музее Харьковского университета.

3. «ВОСЕМЬ ГЕММ С МИФОЛОГИЧЕСКИМИ СЮЖЕТАМИ». Геммы бывают двух видов: камеи — резные камни с выпуклым изображением и интальи — резные камни с углубленным изображением. Все представленные мне геммы — камеи.

«Амур и Психея», «Похищение Прозерпины», «Марсий с содранной Аполлоном кожей» являются античными геммами, из числа тех, которые принято именовать подарочными (в Древнем Риме «Амура и Психею» обычно дарили невестам; тем, кто перенес несчастье, преподносились камеи с изображением похищения Прозерпины, и т. д.).

Остальные камеи значительно более позднего происхождения и, за исключением выполненной на восьмислойном сардониксе геммы «Кентавр и вакханки», особой ценности не представляют. Что же касается «Кентавра», то это, видимо, работа известного французского мастера XVIII века Жака Гюэ, придворного резчика Людовика XV.

Камеи «Амур и Психея», «Похищение Прозерпины», «Марсий с содранной Аполлоном кожей», «Кентавр и вакханки», так же как и лиможская эмаль, экспонировались в 1913 году в музее Харьковского университета вместе с нумизматической коллекцией.

4. «БРОШЬ В ФОРМЕ ДВЕНАДЦАТИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДЫ», хотя и имеет некоторое сходство с известной брошью «Северная звезда» («Описание драгоценностей «Алмазного фонда», № 31), таковой не является. «Пять крупных бриллиантов» в центре ее — подделки.

Самый крупный камень является французским фальшивым бриллиантом (ограненное бриллиантовое стекло с подкладкой в виде двойной красной капсулы). Остальные четыре изготовлены по известному еще сто лет назад рецепту: горный хрусталь, углекислый натр, бура, сурик, белый мышьяк, селитра.

Подобным же образом сделан и «ГРУШЕВИДНЫЙ КАМЕНЬ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА», имитирующий бразильский аметист со «стрелами Амура» (аметист со включением игольчатых кристаллов бурого железняка).

Таким образом, среди представленных мне на заключение предметов нет ни одного, который бы числился в описи драгоценностей «Алмазного фонда».

Л. Гейштор

Справка подотдела минц-кабинетов и ювелирных коллекций Народного комиссариата художественно-исторических имуществ РСФСР

Начальнику бригады «Мобиль» Центророзыска РСФСР тов. Косачевскому Л. Б.

На Ваш запрос сообщаю:

Музей изящных искусств Харьковского университета, включающий в себя минц-кабинет (коллекция монет и медалей), пинотеку (картинная галерея), собрание художественных ювелирных изделий (эмали, геммы, филиграни и пр.), был основан в 1808 году.

За время своего существования он неоднократно пополнялся за счет частных пожертвований.

В 1916 году с разрешения Синода в музей были переданы из ризницы Великой лаврской церкви (Киево-Печерская лавра) художественные изделия, характерные для римско-католической церкви средних веков (реликварии, статуэтки святых и т. п.).

Ко времени Октябрьской революции музей Харьковского университета, помимо перечисленных Вами в запросе лиможских

эмалей, камней и реликвария, обладал многими экспонатами, привлекающими к себе внимание специалистов.

Учитывая значительную историческую, художественную и денежную ценность многих экспонатов, их предполагалось при наступлении частей Добровольческой армии на Харьков в мае 1919 года перевезти в Курск. По представлению Харьковской комиссии охраны памятников искусства и старины командование Красной Армии выделило для музея специальный вагон, который прицепили к эшелону эвакуируемых из города семей партийных, военных, советских и профсоюзных работников. Однако 10 июня 1919 года в пятнадцати-двадцати верстах южнее станции Белгород Курско-Харьковской железной дороги поезд подвергся нападению неизвестной банды. Во время завязавшейся перестрелки было убито несколько красноармейцев, сопровождавших эшелон, и пятеро лиц из числа эвакуируемых. Коллекции оказались разграбленными. Судьба находившихся в специальном вагоне работников музея (трое человек) не выяснена.

После освобождения Харькова расследованием указанного дела занимается бандотдел Харьковской ЧК, где Вы можете получить дополнительные сведения.

В случае необходимости подробная опись похищенных 10 июня 1919 года экспонатов музея изящных искусств при Харьковском университете будет Вам незамедлительно прислана.

Если Вы располагаете какими-либо сведениями о местонахождении коллекций музея, сообщите нам и Харьковской ЧК.

Заведующий подотделом минц-кабинетов и ювелирных коллекций Народного комиссариата художественно-исторических имуществ РСФСР Б. Лапшин. Старший делопроизводитель В. Дягиль

Глава третья

Смерть ювелира

I

Проверка ценностей, которыми располагал член союза хоругвеносцев, была организована настолько умело, что Глазукову и в голову не пришло, что приглашенный его приказчиком слесарь слесарит лишь в свободное от основных обязанностей время, а сам Филимонов получил после посещения «слесаря» дубликаты ключей от обоих хозяйских сейфов. Не узнал он, разумеется, и о том, что ювелиру Гейштору, который по ночам «предпочитал спать», пришлось вторично отказаться от этой привычки. Увы, ценности из сейфа Глазукова мы могли показать ему только ночью. К утру они вновь с помощью того же Филимонова оказались на прежнем месте.

Итак, «Алмазному фонду» принадлежала лишь табакерка рабо-

ты Позье. Производить у Глазукова официальный обыск необходимости не было.

Теперь можно спокойно дожидаться визита к ювелиру Кустаря или Улимановой. Но, решив одну проблему, негласная проверка ставила передо мной другую, пусть менее важную, но все-таки весьма существенную: каким образом у Глазукова оказались вещи из музея Харьковского университета?

В своей справке заведующий подотделом минц-кабинетов и ювелирных коллекций писал о «неизвестной банде», напавшей на поезд в районе Белгорода.

При желании я бы мог внести в этот вопрос некоторую ясность.

Кто именно командовал бандитами, я, правда, не знал. Но зато я располагал сведениями о принадлежности этой банды, которая являлась одним из летучих отрядов, к повстаической армии Нестора Ивановича Махно, и о местонахождении большинства экспонатов музея изящных искусств Харьковского университета. Более того, некоторые из вещей, перечисленных в справке Лапшина, я видел собственными глазами, а иные даже держал в руках.

Но сообщать обо всем этом заведующему подотделом Народного комиссариата художественно-исторических имуществ я пока не собирался. Полученные от меня сведения он при всем своем желании использовать бы не смог. А к чему напрасно волновать пожилого человека, который прекрасно разбирается в златниках святого Владимира и монетах лидийского царя Креза, но имеет весьма смутное представление о батьке Махно и его окружении?

Даром же популяризации я никогда не обладал. Да и вряд ли товарищу Лапшину и делопроизводителю подотдела товарищу Дягилю доставило бы большое удовольствие заочное знакомство с Володей Корейным, прозванным в семинарии в честь известного юродивого Корейшей.

В каждом приличном учебном заведении обязательно имеются силач, о подвигах которого создаются легенды, шут, которому приписывают все известные остроты, и свой гений.

В нашей семинарии долго усидеть на троне былинного богатыря или короля шутов удавалось немногим. Зато корона первого ученика настолько приросла к Корейше, что сорвать ее можно было разве что вместе с головой. Корейн был странным парнем, с явно ненормальной психикой, но блестящими способностями. Он по праву считался гордостью бурсы, и ему прочили блестящее будущее. Но выгнали его из семинарии ровно на год раньше меня. И произошло это, по общему мнению, потому, что Корейша слишком много времени уделял наукам — нравственному и догматическому богословию, священному писанию, литургике и гомилетике. Не зря же сказано, что многие знания порождают многие печали.

Неожиданно для нас смирный и благочестивый Корейша восстал против всевышнего и превратился в грозного богоборца.

Отношения с Иеговой у него испортилось незадолго до пасхальных каникул, когда бурсаки, предвкушая сладость запретно-

го плода свободы, довольно бурно отмечали день рождения одного из товарищей.

В самый разгар тайной вечеринки, когда волны хмельного веселья уже готовы были выплеснуться на улицу, в продымленной комнатушке появился, как всегда тихий, Корейша. Втиснулся бочком в дверь, огляделся, поздравил рожденника. Из вежливости ему поднесли стакан водки. Обычно он не пил. Но на этот раз, преодолевая отвращение, выпил. Выпил, закусил соленым огурчиком. От удивления ему предложили еще стакан, но Корейша отказался. Он почесал в затылке, что свидетельствовало о напряженной работе мысли, и, глядя поверх наших голов, сказал, что александриец Карпократ прав. «Кто?» — выкатил глаза быкоподобный Феофилов, который впервые услышал это имя. «Карпократ», — вздохнул Корейша. — Мир создал не бог. Нет... Мир создали злые духи».

Собравшихся меньше всего волновали подобные вопросы, тем более что некоторые из них были «подпияхом отчасти», а большинство — «подпияхом зело». За честь Иеговы вступился один Феофилов, которому только с божьей помощью удавалось переползать из одного класса в другой. Да и тот по своей природной лени и скудоумию ограничился лишь тем, что щелкнул Корейшу по лбу. Остальные же просто не придали сказанному никакого значения.

А на следующий день мы узнали, что Корейша отнюдь не ограничился высказываниями. Оказалось, что накануне он отправил епархиальному архиерею длинное и аргументированное письмо, в котором поделился с ним своим открытием...

Суть письма сводилась к следующему. Мир несовершенен, ибо преисполнен зла, которое порождает страдания. Что это — возмездие за грехи? Нет. Страдают и праведники, и такие безгрешные существа, как дети, и бессловесные животные. Но допустим, вопреки очевидности, писал Корейша, что претерпеваемые муки — божеское наказание. Но за что, за грехи? Ведь, создавая мир, всезнающий бог не мог не знать, что люди будут грешить. Как же все это совместить с его всезнанием и всеблагостью?

Письмо кончалось довольно логичным выводом: если мир создал бог, он не достоин поклонения из-за присущей ему жестокости. Если же мир дело рук злого духа, то бог еще меньше заслуживает уважения. Зачем поклоняться такому беспомощному и слабому существу, которое не в состоянии справиться с силами зла и восстановить справедливость? Тогда уж лучше молиться дьяволу.

В заключение Корейша просил организовать диспут, заверяя епископа, что, если его смогут убедить, он готов тотчас же вернуться в лоно церкви.

Подобного наша семинария не знала со времен своего основания. О каком-либо диспуте или увещевании не могло быть и речи. Епархиальный архиерей, человек жесткий и ограниченный, который, подобно средневековому новгородскому архиепископу Геннадию Гонозову, считал, что спорить с еретиками ни к чему

(«Люди у нас простые, темные, по мудреным книгам не разумеют, а потому с богохульниками следует не разговоры разговаривать, а жечь их и вешать»), хотел предать Корейша за богохульство суду. Но в дело вмешался Александр Викентьевич Щукин, единственный в епархии человек, с которым владыка считался. Поэтому училищный совет ограничился отчислением Корейши из семинарии «без балла по поведению», то есть с «волчьим билетом».

О дальнейшей судьбе Корейши я имел сведения из третьих рук. Сведения эти отличались крайней неопределенностью и противоречивостью. Говорили, что он создал какую-то секту и странствовал по Руси, обличая священнослужителей и проповедуя бунт против бога, и в одном из сел Подольщины возмущенные крестьяне так его избили, что он скончался в уездной больнице. Другие утверждали, что Корейша умер в Сибири на каторге, куда угодил за богохульство. Поговаривали о лечебнице для умалишенных. Рассказывали, что Корейша жив и здоров и в 1903 году его видели в Петербурге, где он стал ближайшим сподвижником известного Гапона, а позднее, после Кровавого воскресенья, принимал какое-то участие в его убийстве.

А в ноябре семнадцатого года, вскоре после утверждения в Москве Советской власти, я встретил фамилию Корейша в милицейском протоколе с неуклюжим и зловещим названием «О факте обнаружения динамитных зарядов в порталах собора Христа Спасителя». Действительно, в этом храме, где происходили тогда заседания Всероссийского Поместного собора, было совершенно случайно найдено несколько пудов динамита.

Трудно себе даже представить, что могло бы произойти в Москве и во всей России, если бы этот динамит взорвался! У обычно спокойного Рычалова, который все воспринимал с завидным хладнокровием, когда он передавал мне этот протокол, руки ходили ходуном. «Это покушение не на членов Поместного собора, — сказал он. — Это покушение на Советскую власть».

Для охраны Поместного собора немедленно был выделен отряд красногвардейцев, а телохранители патриарха Тихона, ражие монахи, которые, пожалуй, лучше разбирались в оружии, чем в священном писании, получили на складах Московского военного гарнизона карабины и револьверы.

К счастью, эта история продолжения не имела. Расследование же показало, что динамитный фейерверк, являвшийся, по сути дела, всероссийской провокацией, подготовляли не анархисты, как я сразу же предположил (подобные фокусы они именовали атеистической пропагандой действием), а кучка идиотов, называющих себя «Тайным союзом богоборцев». Союзом руководил некий В. Ф. Корейша, успевший бежать из Москвы вместе со своими немногочисленными единомышленниками...

А два года спустя я столкнулся с Корейшей носом к носу в Гуляйполе, куда приехал из Екатеринослава.

Увидев его, я потерял дар речи, хотя ничего удивительного в нашей встрече и не было. Окружение Махно всегда походило на

Ноев ковчег. Среди людей, тершихся возле батьки, были садисты типа Щуся, которые выкалывали глаза пленным и бросали людей в паровозные топки; благородные разбойники вроде участника восстания на броненосце «Потемкин» Дерменджи; такие скопцы-фанатики, как Аршинов-Малин; заоблачные теоретики, живущие в мире фантазий, ничего общего не имеющем с реальностью, каким был, например, Барон; сбитые с толку трескотней красивых слов рабочие; украинские узколобые националисты; озлобленные неудачники и профессиональные уголовники, по которым не то что плакали, а просто рыдали тюрьмы. Почему же не завести по доброй русской традиции хотя бы одного юродивого?

Оказалось, что Корейша уже с полгода, как «сеет разумное, доброе, вечное» в культотделе армии Махно.

С диспутами о боге, атеистическими проповедями и динамитом было покончено. Корейша убедился, что этим всевышнего не проймешь, и, видимо, с благословения друга и наставника Махно Аршинова-Малина или высокомудрого Барона, который всегда любил смелые эксперименты, решил подсидеть бога другим, более хитроумным способом.

Люди по своей природе рабы, утверждал он. Рабство у них вошло в плоть и кровь. Они способны убить того, кто попытается освободить их от религиозных цепей. Им необходимо кому-либо или чему-либо поклоняться. Значит, уничтожая старого идола, тут же нужно создать нового.

Человеческую натуру декретом не переделаешь. Робеспьер это понимал и дал французам то, что они от него требовали. Так пусть богом освобожденной России, а затем и всего мира станет красота. Ты понимаешь меня, Косачевский? Всемирный культ красоты. Искусство превратится в религию, а его деятели — в иерархов новой церкви, которая навеки похоронит христианство, буддизм, иудаизм и ислам.

В Гуляйполе я пробыл всего три дня, но Корейше все-таки удалось затащить меня к себе. В тот вечер я получил возможность досконально познакомиться с его новыми идеями.

Трясясь от возбуждения и не замечая тонкой усмешки седоватого человека, которого он мне представил как сотрудника контрразведки и своего единомышленника, Корейша говорил о Всемирном храме искусств, где станут молиться на полотна Рафаэля, Рубенса и Тициана. В этот храм, который после победы мировой революции воздвигнут в центре Европы, будут свезены шедевры скульптуры и живописи из музеев Брюсселя, Вены, Парижа, Дрездена, Петербурга и Мадрида. Не все, конечно. Религия не только изувечила души людей, но и наложила свою дьявольскую печать на их творчество. Поэтому картины того же Рафаэля, Рембрандта, Веласкеса, написанные ими на библейские или евангелические сюжеты, придется, к сожалению, предать огню. Но это будет искупительный огонь. Огонь очищения. Перед Всемирным храмом искусств будут пылать костры, в ко-

торых превратятся в золу и пепел тысячелетние заблуждения человечества.

На губах его пузырилась слюна, а в расширившихся зрачках полыхали отблески костров будущего...

Похоже было, что Корейша окончательно свихнулся.

Спорить с ним было, конечно, бессмысленно. Но меня интересовала практическая сторона дела.

Я осторожно поинтересовался, приступил ли он к осуществлению своих грандиозных планов.

Да, приступил. В отрядах повстанческой армии уже проведено несколько бесед о роли искусства в преобразовании мира. Правда, покуда они еще не дали ощутимых результатов. Образовательный уровень бойцов, как мне, конечно, известно, слишком низок. Но он не сомневается, что при переходе к наглядной агитации дело пойдет значительно успешней.

А Всемирный храм искусств?

Основы его уже закладываются.

Где и каким образом?

— Здесь, в Гуляйполе. Сюда по указанию культотдела свозятся спасенные произведения живописи, скульптуры и графики.

И много ли удалось «спасти»?

Учет еще не налажен, поэтому точную цифру он назвать затрудняется. Но на складе культотдела уже не хватает места. Скоро им выделят дополнительное помещение.

А этот... «искупительный огонь»?

Нет, до костров, к счастью, еще не дошло. Костры, так сказать, светлое будущее. Но ежели я приеду в Гуляйполе через два-три месяца, то смогу полюбоваться музеем, который станет прообразом Всемирного храма искусств.

А что будет с этим «прообразом», если, допустим, доблестным войскам батьки придется покинуть Гуляйполе?

Кажется, эта простая мысль в голову Корейше не приходила. Но его всегда отличала находчивость. Что ж, если Гуляйполе удержать не удастся, анархистская «республика на колесах» не покинет на произвол судьбы предметы религиозного культа Красоты. Их, разумеется, погрузят на тачанки и увезут.

Куда?

Разве это так уж существенно. Главное — то, что повстанцы будут отстаивать их с тем же непоколебимым мужеством, с каким они отстаивают идеи анархии, счастье освобожденного от бога и государства человечества и свою жизнь. Рубенса, Рембрандта и Микеланджело оградит от посягательств белых и красных нерушимая стена пулеметного огня.

Затем, исчерпав запас красноречия, Корейша повел меня на склад культотдела, бывший некогда ничем не примечательным амбаром местного купца Плюснина, которого еще в восемнадцатом пристрелили то ли гетманцы, то ли петлюровцы.

К счастью, полотен Рубенса, Рембрандта и Рафаэля там не оказалось. Но, насколько я мог судить, в купеческом амбаре

действительно находилось немало «спасенных» вещей, представлявших художественную ценность, и среди них — экспонаты музея Харьковского университета: эмали, геммы, старинные монеты времени Владимира святого, Ярослава Мудрого и Дмитрия Донского...

Каким же образом эти вещи, предназначавшиеся для Всемирного храма искусств, который Корейша предполагал в недалеком будущем воздвигнуть в центре Европы, перекочевали с Украины, из амбара Плюснина, в Москву, в сейф члена союза хоругвеносцев Анатолия Федоровича Глазукова?

Что могло связывать полубезумного Корейшу, мечтавшего о новой религии под сенью черного знамени анархии, с практичным приятелем Кустаря, который устраивал свои темные делишки, пользуясь смутным временем?

На всякий случай я заехал к заведующему подотделом минцкабинетов и ювелирных коллекций Народного комиссариата художественно-исторических имуществ, который оказался весьма милым и весьма разговорчивым человеком, а затем, не заезжая в Центророзыск, связался по телеграфу с бандотделом Харьковской ЧК. Это заняло у меня целый день. Взамен же я получил более чем скромные данные, которые ничем не могли помочь разобраться в происшедшем.

Да, действительно летом 1919 года теплушка с коллекциями университета была разграблена. В настоящее время установлено, что нападение на поезд совершила банда Лупача, оперировавшая тогда в Белгородском уезде. По сведениям Белгородской ЧК, вышеуказанную банду летом того же года ликвидировали отступавшие под напором белых части Красной Армии. Однако ценности университета обнаружены не были. Видимо, Лупачу удалось их где-то укрыть. Банда Лупача являлась так называемым «летучим отрядом» махновской армии, поэтому не исключено, что экспонаты музея могли оказаться у Махно.

Из экспонатов Харьковской ЧК найдены пока лишь две вырезанные на агате геммы *Abraxas* и золотая медаль работы Виттори Пизанелло. Эти вещи изъяты у харьковского спекулянта Кробуса. На допросе Кробус показал, что приобрел их во время оккупации Харькова белыми у неизвестного гражданина возле гостиницы «Метрополь».

Сотрудниками Харьковской ЧК опрашивались также махновцы и анархисты из группы «Набат», однако ничего существенного выяснить не удалось, хотя некоторые наметки и имеются.

Дознание продолжается. Сотрудник бандотдела, который по вызову ВЧК в ближайшее время прибудет в Москву, обязательно посетит меня и подробно проинформирует по всем затронутым вопросам. Бандотдел Харьковской ЧК рассчитывает, что сотрудничество с бригадой «Мобиль» Центророзыска окажется плодотворным. Вот, пожалуй, и все.

А на следующий день в Москву вернулся командированный мною в Петроград и на Валаам Хвощиков.

II

Большеухий, нескладный и, как всегда, какой-то пришибленный, Хвощиков появился у меня рано утром, сразу же с вокзала. Осторожно приоткрыл дверь кабинета:

— Разрешите?

— Входите, Григорий Ксенофонтович.

— Не помешаю?

— Наоборот, с нетерпением жду свидания с вами.

За время своей долголетней службы Хвощиков усвоил, что, когда начальник шутит, обязательно надо улыбаться. От улыбки его и без того некрасивое лицо стало еще более непривлекательным.

Швейцарский поэт, богослов и физиономист Лафатер считал лицо человека зеркалом его души. И я подумал, что если даже у Сократа проницательный швейцарец разглядел задатки глупости и склонность к пьянству, то физиономия Хвощикова привела бы его в ужас.

Бывший полицейский, а после революции полноправный член московской артели «Раскрепощенный лудильщик» потрудился не за страх, а за совесть. Впрочем, вернее было бы сказать: и за страх и за совесть, так как перспектива вновь заняться лудильным делом его не устраивала и он всячески старался избежать этой возможности.

Всего за неделю Хвощиков ухитрился собрать весьма обширный и важный материал, которому предстояло сыграть существенную роль в распутывании всех узлов и узелков этого трудоемкого дела.

Первое, что я узнал, — это то, что Елена Эгерт вовсе не переодетая английская королева, а дочь парикмахера. Правда, парикмахера не обычного, а придворного. Потомственного придворного парикмахера, занимающего на иерархической лестнице почетное место где-то между лейб-акушером и гоф-кондитером или камер-фурьером.

После смерти Поля Эгерта обе его дочери оказались под высоким покровительством сестры царицы, которая хотела обеспечить их будущее. Но обеим не повезло. Старшую выдали замуж за подающего надежды чиновника. Но чиновник возлагавшихся на него надежд не оправдал, запил горькую и утопил свое чиновничье будущее в стакане водки. Еще меньше преуспела младшая, к которой Елизавета Федоровна особенно благоволила. Она попала в историю, которая наделала слишком много шума, чтобы из нее можно было благополучно выбраться.

Еще когда я занимался расследованием ограбления патриаршей ризницы, меня заинтересовало, почему полковой адъютант лейб-гвардии гусарского полка барон Олег Мессмер в 1912 году отказался от карьеры и вышел в отставку, а затем принял пострижение. Беседуя с архимандритом Димитрием, я как-то затронул эту тему, но Димитрий уклонился от ответа на мой вопрос, а особой необходимости докапываться до сути у меня

тогда не было. Суть же заключалась не в ком ином, как в Елене Эгерт...

Познакомившись с ней в 1911 году, Мессмер увлекся ею. И увлекся всерьез. Как высокопарно и уважительно выразился Хвощиков, «воспылал страстью». Это словосочетание, видимо вычитанное старым чиновником в каком-то романе графа Салиаса, настолько нравилось Хвощикову, что он употребил его в разговоре со мною несколько раз, с особым вкусом произнося непривычное и чем-то привлекавшее его слово «страсть». Кто его знает, может быть, лет сорок назад юный гимназист Гриша Хвощиков, а я допускал, что он когда-то мог быть юным, тоже «пылал», «изнывал» и испытывал всю ту гамму чувств, которые остались для него самыми яркими воспоминаниями в уже прожитой жизни? В конце концов, у каждого бывает в жизни яркое пятно или, по крайней мере, заплата. Лафатер попытался бы определить все это по лицу, но я Лафатером не был и юность Хвощикова меня не волновала. А вот отношения Олега Мессмера и Елены Эгерт, которые на многое проливали свет, — весьма.

Насколько я знал, гвардейским офицерам разрешалось спать с хористками, белошвейками, шансонетками, горничными и даже с «цветами асфальта», как стыдливо именовали либеральные деятели уличных проституток. Но жениться им полагалось лишь на девицах своего круга. Дочь же парикмахера, даже придворного, род которого имел «исторические заслуги» перед Россией, в этот круг не входила. Поэтому Олегу Мессмеру оставалось либо перестать «пылать» и немедленно принять меры противопожарной безопасности, либо, не дожидаясь решения офицерского собрания, подать в отставку. Он выбрал второе.

Все развивалось в добрых литературных традициях графа Салиаса. Благородный пылкий офицер, презрев мнение света и благоразумне, глухой к мольбам старика отца, решил пожертвовать своим будущим во имя любви. Они обручились. Затем должен был следовать трогательный эпилог: бедная четырехкомнатная квартирка, одна-единственная горничная и одна-единственная кухарка, похожие на ангелочков дети, которые во что бы то ни стало хотят увидеть и обнять своего дедушку. А в заключение: скупая слеза, медленно сползающая по щеке старика генерала, прощение, щедро вознагражденная за преданность прислуга (одна-единственная горничная и одна-единственная кухарка), новая обширная квартира с приличной мебелью и, само собой понятно, завещание умершего генерала.

Но видимо, на чтение романов у Елены времени не было, поэтому венчание не состоялось.

— Сбежала-с, — горестно, но и с некоторой долей злорадства сказал Хвощиков и потер указательным пальцем кончик носа, что, как я заметил, служило верным признаком охватывающего его временами душевного волнения. — За неделю до свадьбы сбежала. Со штаб-ротмистром Винокуровым. В Варшаву укатили. Да-с.

Так разразился скандал, который получил широкую огласку и привел Олега Мессмера в Валаамский монастырь.

Елене тоже не ахти как повезло. В отличие от Мессмера у Винокурова был трезвый ум, и, «воспылав страстью» к очаровательной девице, он отнюдь не собирался сжигать на костре любви свое будущее. Поэтому варшавские каникулы бывшей невесты Мессмера продлились всего месяца три, не больше.

Шокированная происшедшим богомольная Елизавета Федоровна не прочь была отправить свою любимицу вслед за Мессмером в какой-нибудь монастырь. Но Елену монастырская жизнь не прельщала. Она обладала жизнерадостным характером и не без основания считала, что прежде, чем замаливать грехи, желательно совершить их как можно больше.

Бурный, но непродолжительный роман с Винокуровым был закончен, и продолжения не предвиделось. Красавец штаб-ротмистр жениться не собирался. Вынужденный покинуть гвардию, он продолжал служить царю и отечеству где-то в заштатном городке, поражая скромных армейцев своим размахом, сказочными проигрышами в карты и столичным шиком. Варшавское приключение, конечно, повредило ему, но в то же время принесло и некоторую пользу. Скандал окружил его романтическим ореолом, и Винокуров не сомневался, что через год-другой ему удастся вернуться в Петербург.

Положение Эгерт было значительно хуже. Но она не пала духом и пустилась во все тяжкие. А порастратив запасы веселья и устав от приключений, Елена решила взяться за ум. Предприимчивая девица попыталась восстановить отношения с Мессмером, который еще числился в бельцах, то есть послушниках, и выполнял какие-то обязанности на монастырском свечном заводе.

Иеромонах Феофил и некий Слюсарев, ведавший на Валааме странноприимным домом, рассказывали Хвощикову, что Елена тогда несколько раз приезжала в монастырь, где встречалась с Мессмером и архимандритом Дмитрием. Видимо, эти встречи ее надежд не оправдали: время было упущено. И все же их нельзя было назвать и безуспешными. Кое-чего она добилась. Мессмер не только простил свою бывшую невесту, но и обратился с соответствующим письмом к Елизавете Федоровне. Кроме того, Феофил говорил, что по просьбе Олега его отец генерал Мессмер неоднократно оказывал Елене «вспомоществование» и устроил ее домоправительницей к Уваровым.

После 1915 года, когда «малосхимник» Афанасий перебрался в скит, куда по монастырскому уставу доступ женщинам был запрещен, Елена длительное время не приезжала, но переписка между ними, кажется, продолжалась.

Последний раз она появилась на Валааме в марте 1918 года. Приехала она вместе с кузиной Мессмера Ольгой Уваровой, у которой служила в Тобольске, и каким-то господином в партикулярном платье, но очень смахивающим на переодетого офицера. Гости остановились в монастырской гостинице и подолгу

беседовали с Афанасием, покинувшим по такому случаю свой скит.

Кто был господин в партикулярном платье, Хвощиков выяснить не смог. Но по тому, как тот держался и разговаривал с Афанасием, можно было заключить, что они старые знакомые, а возможно, и друзья. Раньше этот господин на Валаам не приезжал.

Уж не Винокуров ли? Нет, не Винокуров. Бывшего сослуживца Олега Мессмера, так же как Уварова и Василия Мессмера, на Валааме хорошо знали, Винокуров придерживался старого доброго правила: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Поэтому к Олегу он приехал просить прощения значительно раньше Елены, сразу же после возвращения из Варшавы. А затем, пополнив своим вкладом казну монастыря, приезжал еще два раза: перед самой войной — на петровский пост и в июле 1917 года — в день памяти преподобного Сергия, мощи которого находились в соборном храме.

По словам Слюсарева, Афанасий был крайне взволнован приездом и разговорами с этими тремя посетителями, которые, судя по всему, нагрянули неожиданно, не предупредив его о своем приезде. Елена Эгерт уехала на следующий день, а остальные двое пробыли на Валааме еще сутки. Вскоре после их отъезда Афанасий покинул монастырь и больше там не появлялся.

От Борина я знал, что старик Мессмер телеграфировал Афанасию о смерти Василия. Не с телеграммой ли отца связан его отъезд?

Нет, сообщение о самоубийстве брата Афанасия в монастыре получили позднее, дня через два-три.

Следовательно, покинуть Валаам его побудило нечто иное, не имеющее отношения к судьбе брата. Что же именно?

Точно установить даты всех мартовских событий было невозможно: как-никак, а времени прошло порядочно. Но по нашим прикидкам получалось, что троица прибыла в монастырь вскоре после убийства Ритусом в Краскове Дмитрия Прилетаева, когда ценности «Алмазного фонда» уже находились на квартире Елены Эгерт.

На обычный визит к страждущему иноку все это не походило. Для обычного визита можно было выбрать другое, более подходящее время. Создавалось впечатление, что посещение Валаама любовницей командира партизанского отряда «Смерть мировому капиталу!», Уваровой и неизвестным господином имеет какое-то отношение к ценностям «Алмазного фонда».

Не передала ли тогда Эгерт имущество «Фонда» Уварову или тому же Афанасию?

Нет, исключено. По словам Отца, в конце марта он сам перевез ценности на квартиру какого-то анархистского боевика, куда переехала и Эгерт. Тогда все было в наличии. Драгоценности исчезли во время ареста Галицкого — с 25 до 30 апреля, когда ни Афанасия, ни Уварова в Москве уже не было. Именно

в конце апреля миллионные сокровища растаяли, как леденец во рту, оставив после себя лишь сладкие воспоминания.

Не согласовывалось это и с попыткой Эгерт наложить на себя руки. А такая попытка действительно была. Сухов не только установил больницу, в которой она лежала, но и допросил лечившего ее врача.

Факты. Куда от них денешься? И все же... И все же я не мог избавиться от мысли, что рассказанное Хвощиковым имеет прямое отношение к исчезновению сокровищ и что любовница Галицкого обвела своих новых друзей анархистов вокруг пальца.

Но как?

Этого я не знал и даже не догадывался, где следует искать разгадку. Но для допроса Эгерт материала накопилось уже достаточно. Кое-какие щекотливые вопросы я мог ей подбросить. А как некогда утверждал Волжанин, грецкий орех и тот колется...

Ко времени моей беседы с Хвощиковым мы не только установили адрес сестры Эгерт, но и знали, что Елена у нее живет. Мое предположение, что, обидевшись на Россию, Отец все-таки не откажет в любезности бригаде «Мобиль», подтвердилось.

Муратов, поверив в «подлеца Косачевского», действительно решил предупредить Эгерт о грозящей ей опасности. К Елене была отправлена не кто иная, как Эмма Драуле, которую наши люди перехватили, когда она уже выходила из дома сестры Эгерт, Марии Петровны Соколовой.

Когда Драуле привезли ко мне, она была в восторге: как-никак первое приключение за все время пребывания в России. Ей уже мерещились подвалы с подземными коридорами, ночные допросы, пытки...

«Чека?» — со сладким ужасом спросила она.

«Нет, Центророзыск».

«Центророзыск?»

Это длинное трудно произносимое слово ничего ей не говорило. То ли дело Чека — словно удар бойка по капсюлю.

«Управление уголовного розыска республики, — скучно объяснил я. — Кражи, хищения, разбой...»

«Криминальная полиция?»

«Что-то в этом роде».

Это было первое глубокое разочарование, постигшее ее в моем кабинете. Обида, конечно. И все же еще оставалось «а вдруг?..». Но вскоре исчезло и оно.

Сообразив наконец, что ее не собираются подвешивать на дыбу, разводить под ногами костер, заставлять заучивать цитаты из сочинений Маркса или, на худой конец, просто выворачивать руки, произведение кубиста поблекло. Пожухли и выцвели краски, расплылись четко вычерченные линии.

Стоило ли совершать почти кругосветное путешествие, чтобы оказаться в таком ничем не примечательном кабинете, где густо пахнет нафталином и нет даже места для приличного костра!

«Но я все же арестована?» — спросила она, цепляясь за по-

следнюю надежду превратить случившееся пусть в третьесортную, но все-таки сенсацию, на которую польстились бы хоть некоторые газеты.

«Нет, — безжалостно сказал я, не испытывая ни малейших угрызений совести. — Вы не только не арестованы, но даже не задержаны».

«Но меня сюда все-таки привезли...»

«Насильно?»

«Нет, но мне предложили...»

«Просто вам передали мою просьбу, — объяснил я. — Мне хотелось продлить удовольствие от беседы с вами. Но если вы, как тогда, торопитесь к товарищу Липовецкому, то мне остается лишь выразить свое сожаление».

Драуле осторожно улыбнулась:

«Я не тороплюсь. А вы... как это по-русски... обманщик, товарищ Косачевский».

Я изобразил недоумение.

«Ваш друг тогда не разыскивал меня», — объяснила она.

«Разве?»

«Не разыскивал».

«Он просто забыл. С ним это иногда бывает. Липовецкий очень занятый человек. Но как бы то ни было, он просил вам передать, что ваша просьба о поездке на Украину рассмотрена и удовлетворена».

Лицо Драуле преобразилось: расплывшиеся линии вновь приобрели четкость хорошего чертежа.

«Когда я могу ехать?»

«Сегодня, если, разумеется, у вас нет здесь неотложных дел. Вам уже выделен сопровождающий».

«А товарищ Липовецкий... не забудет?»

«На этот раз нет. Я за него ручаюсь».

Все сказанное мною соответствовало истине. О поездке Драуле я договорился с Зигмундом по телефону, как только мне стало известно, что Отец использовал ее в качестве курьера. Больше ей в Москве делать было нечего. Тогда же я принял некоторые меры, чтобы она не могла перед отъездом переговорить по телефону с Муратовым.

Из нашей короткой встречи я извлек все, что меня интересовало. Оказалось, что Муратов, не посвящая Драуле в суть вопроса, просил лишь передать записку по названному им адресу.

Кому именно говорил?

Да некой Елене Эгерт. А если той не окажется дома, то ее сестре.

Эгерт отсутствовала. Сестра сказала, что она куда-то уехала и вернется через несколько дней. Поэтому Драуле оставила ей записку, предназначавшуюся Елене.

Соколова спрашивала ее о чем-либо?

Только об одном — требуется ли ответ. Ответа Муратов не ждал.

Я на всякий случай спросил, имеется ли на квартире Соколо-

вой телефонный аппарат. Нет, телефона она не заметила. Если бы он был, Христофору Николаевичу вряд ли потребовалась бы ее помощь.

«Мне только надо сообщить Христофору Николаевичу, что я выполнила его поручение», — неуверенно сказала Эмма Драуле, которая готова была тотчас же мчаться на вокзал.

Я галантно заверил ее, что с удовольствием возьму это на себя. Впрочем, если она хочет, то может черкнуть Муратову несколько слов — телефон его, к сожалению, неисправен. Ее записку незамедлительно доставят адресату.

Она последовала моему совету и тут же набросала несколько строчек. Затем прибыл присланный Зигмундом сопровождающий, и Драуле была передана с рук на руки.

Таким образом, у нас имелись все основания быть довольными друг другом.

Драуле уехала в тот же день, а на следующий Муратову передали ее прощальное послание, так что «динамитный старичок» мог считать свой долг перед Еленой Эгерт и Центророзыском полностью выполненным.

...Хвощиков сидел в неудобной позе на краю стула, терпеливо дожидаясь моего очередного вопроса. Но, насколько я понимал, он больше не располагал никакими сведениями ни об Афанасии, ни об Эгерт. Расспрашивать же его о Винокурове было бессмысленно. Когда Хвощиков уезжал из Москвы, мы даже не подозревали о существовании этого лихого гвардейца, перебежавшего дорогу Олегу Мессмеру. Поэтому, естественно, никакого задания относительно его Хвощиков не получал. Но я все же спросил, не интересовался ли он Винокуровым.

— Как же-с, как же-с, — к моему глубочайшему удивлению, весело заквакал он и потер указательным пальцем кончик носа.

Нет, не зря я обездолил артель «Раскрепощенный художник». Хвощиков был рожден для уголовного розыска.

Но побеседовать о Винокурове нам не удалось. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Борин. За его плечом белело лицо приказчика Филимонова. Обычно Борин предварительно стучался.

— Что случилось, Петр Петрович? — спросил я.

— Глазуков убит.

III

К двадцатому году упали в цене не только деньги, но и человеческая жизнь. Поэтому покойники в России исчезли. Их заменили «покойнички», «жмурики», «подснежники» (если трупы находили по весне), «мертвяки», «дохлики». Люди теперь не умирали. Они «откидывали копыта», «отдавали концы», «околевали», «играли в ящик» или, в лучшем случае, «загибались». Их не убивали, а «ставили к стенке», «разменивали», «шлепа-

ли», «цокали», «пришивали», «вздергивали», «отправлялн на луну» и «в ставку Духоннна». А о символе вечиого покоя придумывали веселенькис загадки — «Начиника мясная, а пирожок из дерева...».

Но Борин отличался консерватизмом. Он цеплялся за вышедшие из употребления слова с тем же упорством, с каким, несмотря ни на что, продолжал носить галстук, бриться, подстригать бородку, усы, следить за иогтями. Поэтому Анатолия Федоровича Глазукова ие «укокошили» и даже не «пристукнули», а респектабельно убили. Но все же то, чего ои опасался еще в восемнадцатом году, когда назвал мне на допросе Михаила Арставниа, Дублета и Пушка, произошло: помер он без покаяння. Судя по всему, иа это времени ему ие оставили...

Труп члена союза хоругвеносцев обиаружила кухарка Глазукова, которая тут же кинулась к постовому милнционеру, а тот, в свою очередь, сообщил об убийстве в районный комиссариат. Когда Филнмонов пришел к хозяину, в доме Глазукова уже находились работники уголовиого розыска. А несколько поздиее о случившемся Бориа поставил в известность наш пост наружного наблюдения.

Было уже однииадцать часов. Отослав Хвощикова отдыхать, я спросил у Борнна, кого из бригады он направил на место происшествия.

— Там сейчас иаши работиики, которые велн наблюдение за домом.

— А кто дежурил?

— Агент первого разряда Прозоров н агент третьего разряда Синельников.

Оба агеита были прикомаидироваииыми к бригаде сотрудниками Московского уголовиого розыска и оба ие имели никакого опыта розыскной работы. Прозоров попал в розыск после демобилизацин по раненню всего три месяца назад. А стаж Сннельникова был и того меньше. Вряд ли мог быть какой-либо толк от их участия в осмотре места происшествия.

Борин без слов поиял меня и объяснил:

— Я туда сам хочу подъехать и уже заказал машнну. Сейчас выеду.

— Вместе со мной, — сказал я.

Он наклонил голову.

— Выходит, убили под бдительиой охраной нашего наружного наблюдения, а, Петр Петрович?

— Прозоров и Синельников не виноваты. Их обязанность — Кустарь. Инструкция.

Это я знал и без него. Но инструкция, однако, не предусматривала убийство человека, за домом которого следят работникн мнлиции.

— Они слышали какой-нибудь шум, крикн?

— Нет, говорят, все было, как обычно.

— Время убийства установнлн?

— Судебно-медицинский эксперт тогда еще не приезжал.

— Где обнаружен труп?

— В комнате, примыкающей к мастерской, — сказал Борин и взглянул в сторону сидящего на диване Филимонова. Это был деликатный намек: дескать, стоит ли вести подобные разговоры в присутствии приказчика покойного?

Филимонов, пресноглазый, с желтым, обескровленным лицом, сидел, уткнув подбородок в ладонь, и снизу вверх безотрывно смотрел на меня, будто чего-то ожидая.

— Вы в какое время обычно приходили к Глазукову?

— К Анатолию Федоровичу? — переспросил он меня, словно не понимая, о ком идет речь.

— Да, к хозяину.

— Как положено.

Я никак не мог преодолеть нарастающее раздражение:

— А как «положено»?

Филимонов замигал заплывшими глазами:

— Спозаранку положено. К семи, значит.

— Сегодня, выходит, запоздали?

— К Анатолию-то Федоровичу? — вновь переспросил Филимонов.

— К нему самому, к Анатолию Федоровичу.

— Выходит, запоздал.

— Почему?

Приказчик со всхлипом вздохнул:

— Ежели меня в чем подозреваете, то напрасно. Бог свидетель.

— Я вас не подозреваю, а спрашиваю: почему сегодня вы явились к хозяину позднее, чем обычно?

— Гулял я ночью.

— По улицам?

— Зачем по улицам? Как положено гулял, на дому.

Филимонов умоляюще посмотрел на Борина.

— На свадьбе, говорит, был, — пришел тот на помощь.

— Вот, вот, — подхватил Филимонов. — Племяша своего женил, сынка сестры, значит. Потому и припоздал.

— Всю ночь на свадьбе были?

— Всю ночь, чтоб без обиды.

— Покойного предупреждали, что придете позже обычного?

— А как же? — удивился приказчик и торопливо сказал: — Давеча предупреждение о том сделал: так, дескать, и так, свадьба, значит, и все такое прочее. Так что малость припоздаю, извиняйте.

— Вы когда от Глазукова ушли?

— На свадьбу-то? — Он на мгновенье задумался. — Видно, часа в четыре пополудни. Может, в пять.

— Хозяин один оставался?

— Один.

— Ждал кого-нибудь?

— Будто нет.

Наступила пауза. Потом Филимонов сказал:

— Весел давечи был Анатолий Федорович. Не вещало, видать, сердце чего дурного. А прихожу сегодня — нет человека. Вчера был, а сегодня нет. Вон оно как. Не зря, видно, говорят, что промеж жизни да смерти и блошка не проскочит. Завсегда так: живем с поопглядкой, а помираем — впопыхах... Вы только про меня чего не подумайте, гражданин Косачевский. Я Анатолию Федоровичу — хорошо ли, худо ли — двадцать лет служил. Всякое, конечно, бывало: и плохое было, и доброе. А двадцать годков никуда не скинешь. Потому и сострадание к нему имею. Как без сострадания? Без сострадания никак нельзя. Хоть и эксплотатор он был, а все ж благодетель мне.

Филимонова прорвало. Он говорил без умолку, дергаясь и захлебываясь словами. Я никогда не был любителем поспешных выводов, но похоже, что смерть хозяина действительно потрясла его.

— Дубликаты ключей от сейфов у вас?

— Нет, у меня, — сказал Борин. — После завершения операции он их мне вернул.

Дежурный доложил о машине.

— А мне как же? — вскочил приказчик.

— Пусть подождет в дежурке? — спросил у меня Борин.

— Пожалуй. Посидите пока у дежурного, Филимонов. Газету почитайте. Когда вернемся с Петром Петровичем, пригласим вас.

Приказчик проводил нас на первый этаж. Когда мы с Бориным вышли, нас уже ждала машина.

У лавки, расположенной по соседству, толпился народ, преимущественно женщины. Тут же наклеенное на стену объявление оповещало всех о том, что в городе по решению Московского Совдепа проводится банная неделя. Каждому гражданину предоставлялась возможность приобрести по талону в своей лавке кусок мыла. Тут же красовался агитплакат с изображением лихого парня в картузе и смазливой девицы в красном платочке. Чувствовалось, что парень не столько мечтает о бане, сколько о любви. Но не тут-то было. Стихотворный текст плаката убедительно свидетельствовал о том, что путь к взаимности лежит только через баню. Он (подчиняясь зову сердца): «Полюби, красотка, Ваню. Разговоры коротки». Она (следуя разуму и призыву Совдепа): «Ты сходил бы прежде в баню да заштопал бы портки».

У плаката, прислонившись плечом к стене, стояла прозрачная молодая женщина из «бывших». В одной руке она держала кошелку фасона «Как Иркутская ЧК разменяла Колчака», а в другой — томик Блока. Увы, автор стихов на плакате Блоком не был... Но я подумал, что если трубадур бани особым поэтическим талантом и не отличался, то был, по крайней мере, чистоплотным человеком, добросовестно отрабатывающим свой паек. А это в конечном итоге самое главное в любой профессии.

Борин открыл передо мной дверцу машины, и я протиснулся на сиденье.

В отличие от Центророзыска, на улице пахло не нафталином, а недавно отцветшей сиренью, кусты которой робко жались к решеткам бульвара.

В машине было душно, и я впервые по-настоящему понял, что в Москве лето.

По-летнему громыхали и заливисто вызванивали редкие старенькие трамваи с выбитыми стеклами и надписями, по которым можно было изучать историю гражданской войны. Чирикали, перекрикивая друг друга, пережившие голодную зиму оптимисты воробьи. Отбивали частую дробь по выщербленной мостовой копыта извозчичьих кляч, которых добрый лошадиный бог спас от жалкой участи оказаться на Сухаревке или Смоленском в виде «свиной» колбасы и пирожков «с говядиной»...

Блаженствовали среди столетних лип и кустов отцветшей сирени на чудом сохранившихся скамьях бульваров, а то и просто на траве разомлевшие от тепла беспризорники. Сбившись гуртами, переругивались, играли в буру, три листика, ремешок, дымили самокрутками.

На Тверском, против трехэтажного белого особняка, принадлежавшего некогда присяжному поверенному Шубинскому и известному в Москве как «дом с розовыми окнами», сухопарый пожилой господин в сверкающем на солнце цилиндре пас на цепочке козу. На господине был засаленный сюртук, из-под которого голубела нательная рубаха. Тут же под присмотром разбитной бабы копался в земле голенастый петух с веревочными путами на лапах.

— Живут же люди! — позавидовал наш шофер. — Говорят, кто поумней да пооборотистей, и по две, и по три козы содержит... А чего? И молоко и мясо. Кормежка задарма. Походил по бульварам — сыта Манька. Коза не человек. Много ли ей надо? Там — кусточек, тут — цветочек. А дураки с голоду пухнут...

Глазуков жил в самом центре Москвы. Его двухэтажный каменный дом находился в одном из тихих переулков Козихи, как издавна именовали район Патриарших прудов, Большого Бронного проезда и Воскресенской улицы.

Дом этот он приобрел за бесценок еще до того, как овдовел, сразу же после реквизиции в тысяча девятьсот восемнадцатом в Верхних торговых рядах его ювелирного магазина, где мы некогда обнаружили жемчуг из патриаршей ризницы.

В том же восемнадцатом торговля золотыми изделиями и драгоценными камнями была запрещена. Поэтому, продолжая заниматься прежним ремеслом, член союза хоругвеносцев сменил вывеску. Новая вывеска на доме уведомляла посетителей, что здесь они могут приобрести переносные чугунные печки («как для обогрева буржуазных квартир, так и пролетарских жилищ»), зажигалки и «всевозможный скобяной товар».

Вывеска не лгала. Просто она немного не договаривала: ассортимент в оборудованной под лавку нижней части дома был значительно шире. Помимо гвоздей, здесь можно было при же-

лании разжиться и жемчугом, и дорогими дамскими украшениями. Но об этом, разумеется, знали только те, кому положено.

Наш автомобиль миновал церквушку, свернул в переулок и резво запрыгал по булыжникам мостовой, отгороженной от тротуара каменными тумбами.

У дома Глазукова стояли запряженная парой лошадей карета «Скорой помощи» и старенький «даймлер», который после упразднения Совета милиции перешел по наследству к Московскому уголовному розыску.

Расположившийся на задней ступеньке кареты кучер о чем-то разговаривал с пожилым дворником, картуз которого украшала медная форменная бляха. Тут же стоял и важный шофер в сдвинутых на лоб очках-консервах и кожаных перчатках с крагами. Двое мальчишек с интересом разглядывали «даймлер».

Народа возле дома не было. В отличие от выдачи мыла, убийство в Москве уже давно не считалось сенсацией. Экая невидаль! Ну ежели семью какую от мала до велика вырежут, бомбу бросят или пальбу затеют, тогда еще куда ни шло, можно и полюбопытствовать. А так — без интереса. Подумаешь, еще одного пришибли. Насмотрелись уже.

Из дома Глазукова поспешно вышел знакомый мне судебномедицинский эксперт — седой, низкорослый, худенький, похожий на внезапно состарившегося подростка. Церемонно раскланялся с нами. Крикнул кучеру:

— Василий! Ты где там запропастился? Сейчас едем.

— Куда едем? — лениво откликнулся тот.

— В Хамовники. Куда ж еще?

— А с этим как же, со жмуриком? С собой возьмем?

— Его в морг без нас доставят.

— Доставят так доставят... — сказал кучер и, поднявшись со ступеньки, потянулся.

Я подошел к эксперту.

— Да? — рассеянно сказал он.

— Хочу с вами побеседовать.

— Могу быть чем-нибудь полезным?

— Надеюсь.

— М-да...

Эксперт относился к тем людям, которые все делают впопыхах: женятся, разводятся, живут, помирают... Артюхин называл их «заполошенными».

Он извлек из жилетного кармана часы-луковицу, щелкнул крышкой и сокрушенно покачал головой. Времени, понятно, у него было в обрез...

— Антон Никитович! — окликнул его уже влезший на козлы кареты «Скорой помощи» кучер.

— Да, да, Василий. Сейчас. Погоди минутку. — Он повернулся ко мне: — Я к вашим услугам, товарищ Косачевский. Но, к сожалению...

— Вы очень торопитесь.

— Да, тороплюсь. Очень тороплюсь.

— Мы тоже, — сказал я и, не обращая внимания на его страдальческую физиономию, предложил пройти в дом.

— Труп убитого вы осмотреть успели? — спросил я, когда мы расположились в прихожей.

Он обиделся:

— Вы слишком весело настроены, товарищ Косачевский.

— Да уж какое там веселье.

— Но ваш вопрос...

— Вы осматривали труп или нет?

— Разумеется.

— Протокол составлен?

Он замялся:

— В общих чертах.

— Как это прикажете понимать?

— Протокол не полностью оформлен, но в общих чертах...

— Выходит, свои обязанности вы тоже освоили только в общих чертах?

— Видите ли, сотрудники уголовного розыска...

— С ними я побеседую. Можете не сомневаться.

Он вновь достал часы, но на этот раз крышки не открыл и опустил луковицу обратно в кармашек жилета.

— Время наступления смерти вы определили?

— Более или менее.

— Более или менее?

— Судя по трупным пятнам, степени охлаждения трупа, трупному окоченению и другим признакам, Глазуков убит вчера между восемнадцатью и двадцатью часами.

— Не раньше и не позже?

— Ну, с абсолютной уверенностью ответить на ваш вопрос затруднительно. Возможны, конечно, различные отклонения. Но, видимо, все-таки между восемнадцатью и двадцатью.

— А если мы, допустим, скажем так, — вмешался в разговор Борин, — смерть наступила между семнадцатью и двадцатью одним часом. Не ошибемся.

— Нет, не ошибемся.

— Тогда так и скажем, — кивнул Борин. — А то, знаете ли, чрезмерная точность создает порой дополнительную путаницу. У меня так уже не раз бывало. Значит, между семнадцатью и двадцатью одним... А каким оружием убит Глазуков? Колющим?

— На теле убитого обнаружены две раны, — сказал эксперт. — Одна от огнестрельного оружия, а другая — от холодного.

Мы с Бориным переглянулись.

— Где расположены раны?

— Грудная клетка. Колотая — в пятом межреберье, слева по сосковой линии.

— Район сердца?

— Да. Похоже, что она была нанесена Глазукову, когда тот сидел в кресле. А выстрел уже был произведен в лежачего.

— Колотая рана смертельная?

— Возможно. У меня создалось впечатление, что задет левый желудочек сердца.

— Извините, Антон Никитович, — сказал я, — мне весьма любопытны ваши впечатления, но я бы предпочел факты.

— Пока могу только предполагать. Вот завтра, когда произведу вскрытие...

— Завтра?

— Ну, если успею, сегодня.

— На вашем месте, Антон Никитович, я бы постарался успеть.

Он затравленно посмотрел на меня. По привычке схватился за цепочку часов, но тут же, словно обжегшись, отдернул пальцы. Боковым зрением я увидел, как в комнату своей бесшумной кошачьей походкой вошел агент первого разряда Прозоров, который был старшим поста наружного наблюдения за домом Глазукова.

— Вам что-нибудь нужно?

— Никак нет, товарищ Косачевский. Ежели помешал...

— Можете остаться. Мы здесь как раз подводим итоги вашего дежурства.

Прозоров усмехнулся:

— Нельзя было услышать выстрел. Можете проверить.

— Ладно, об этом мы поговорим с вами потом, — сказал я и повернулся к «заполошенному» медику. — Значит, сегодня к шести вечера я буду ждать протокол вскрытия.

— К шести?

— Не позже. А теперь скажите мне, каким клинком нанесена колотая рана?

— Плоским, обоюдоострым.

— Кинжалом?

— Во всяком случае, не финкой. Входное отверстие линейной формы, края ровные и гладкие, а углы острые.

— А что собой представляет огнестрельная рана?

— Расположена рядом с первой. Видимо, тоже смертельная. Нападавший стрелял в упор, через диванную подушку.

— Сквозная?

— Да.

— Пулю нашли?

— Нашли, — сказал Прозоров. — В полу застряла. Ребята вытащили.

— Ну что ж, пойдем к «ребятам».

— Я свободен, товарищ Косачевский? — спросил эксперт.

— Да, до шести вечера. Впрочем, надеюсь, что вы управитесь раньше.

Москва, Центророзыск республики,
начальнику бригады «Мобиль»
тов. Косачевскому Л. Б.

Строго конфиденциально

Настоящим довожу до Вашего сведения, что во время антиколчаковского восстания в Иркутске в январе сего года на станции Иннокентьевская в сборном эшелоне были обнаружены архивы департамента милиции колчаковского министерства внутренних дел, губернских управлений государственной охраны и некоторых территориальных отделений контрразведки.

Вышеуказанные архивы были переданы командованием Северо-Восточного партизанского фронта Реввоенсовету Пятой армии, а затем пересланы для разбора в Екатеринбург.

Среди этих материалов имеются документы, имеющие касательство к розыску белогвардейцами ценностей «Алмазного фонда».

Направляю Вам копии.

Приложение на 122 листах.

Агент первого разряда бригады «Мобиль» Б. Ягудаев

Срочная телеграмма.
Вне очереди. Екатеринбургское отделение контрразведки

Совершенно секретно

ВСЕМ ОТДЕЛЕНИЯМ КОНТРРАЗВЕДКИ И КОНТРРАЗВЕДПУНКТАМ ПО ЛИНИИ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ И СИБИРСКОМУ ТРАКТУ. К НЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ. КОПИЯ ГЛАВУПРАВДЕЛАМИ КАНЦЕЛЯРИИ ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ.

По данным Екатеринбургской особой комиссии полковника Шереховского, в июне 1918 года, когда большевистское правительство подготовляло суд над ныне покойным императором, в Екатеринбург нелегально прибыла анархистская террористическая группа, намеревавшаяся напасть на дом Ипатьева и уничтожить царскую семью. После освобождения Екатеринбурга войсками «сибирского правительства» указанная группа продолжает оперировать на контролируемой нами территории. Ею совершен ряд террористических актов в различных городах Урала и Сибири, в том числе и недавнее покушение в Чите на атамана Семенова. Руководит указанной группой анархист Б. Т. Галицкий (описание внешности прилагаю).

Прошу принять безотлагательные меры к розыску и задержанию вышеуказанных опасных преступников, кои подлежат этапированию в Екатеринбург. Обнаруженные при них ценности (деньги, золото, драгоценные камни) также надлежит незамедлительно переслать по описи в наш адрес.

Начальник Екатеринбургского отделения контрразведки подполковник Ю. Винокуров

Из донесения старшего инструктора осведомительного отдела Омского губернского управления государственной охраны Горлова

В связи с циркуляром департамента милиции № 351/14-ВА (о ценностях петербургской монархической организации «Алмазный фонд») имею честь сообщить.

На благотворительном бале в гостинице «Лондон», сбор от коего предназначался увечным воинам, гражданская жена коменданта Омска генерала Волкова госпожа Ясинская привлекла к себе всеобщее внимание оригинальными серьгами в виде бриллиантовых каскадов с большими (десять-двенадцать каратов) свободно висящими грушевидными сапфирами.

Оные серьги-каскады опознаны госпожой Бобровой-Новгородской как некогда ей принадлежавшие.

По словам Бобровой-Новгородской, оне были приобретены у Фаберже ея покойным мужем, шталмейстером двора его величества Бобровым-Новгородским в 1886 году и подарены ей ко дню ангела. В августе 1917 года, движимая верноподданническими патриотическими чувствами, госпожа Боброва-Новгородская через казначея «Алмазного фонда» барона В. Г. Мессмера пожертвовала их для высоких целей поименованной организации (у госпожи Бобровой-Новгородской сохранилась расписка Мессмера).

Серьги-каскады появились у госпожи Ясинской (сведения приватно получены от ея горничной) около месяца назад, когда она вернулась в Омск из Екатеринбурга, где гостила у своей петербургской приятельницы, бывшей танцовщицы госпожи Лерер, коя содержит кабаре «Яик». Генералу Волкову она сказала, что приобрела указанные серьги у екатеринбургского ювелира Кутова на деньги, одолженные у госпожи Лерер. Однако достоверность такого объяснения представляется сомнительной, поскольку госпожа Лерер находится в крайне стесненных денежных обстоятельствах и ее кабаре заложено господину Иванчееву. Кроме того, ювелир Кутов отрицает, что серьги-каскады куплены в его магазине.

Учитывая известную фривольность поведения госпожи Ясинской, ея многочисленные любовные связи, а также некоторые данные, полученные от наших осведомителей, есть основания предполагать, что серьги-каскады подарены ей в Екатеринбурге любовником. Установление личности оного имеет существенное значение для розыска ценностей «Алмазного фонда». Посему полагал бы целесообразным свой выезд в Екатеринбург для всесторонней негласной проверки вышеуказанного предположения.

Резолюция на донесении Горлова начальника Омского губернского управления государственной охраны Светозарова:

«Разделяю мнение старшего инструктора осведомительного отдела, коего надлежит незамедлительно откомандировать в

Екатеринбург. Во избежание возможных недоразумений екатеринбургские органы государственной охраны и контрразведки о данной командировке и ее целях не информировать».

Из личного письма начальника екатеринбургского отделения контрразведки подполковника Винокурова начальнику Омского губернского управления государственной охраны Светозарову

...Из вчерашней встречи с прибывшим в Екатеринбург генералом Волковым, дражайший Владимир Семенович, понял, что Ваши недоброжелатели в министерстве внутренних дел немало потрудились, чтобы очернить Вас в глазах Волкова. Не обошлось, кажется, и без Ваньки Каина[1]*, который не прочь пристроить на Ваше место кого-то из своей шайки.*

Волков рвет и мечет. Он убежден, что Вы по каким-то личным соображениям хотите превратить пресловутые серьги, купленные Вандой у Кутова (кстати, перепуганный негоциант продал свой магазин и поспешно отбыл подальше от греха в Приморье), в адскую машину и подложить эту машину под него и очаровательную Ванду. Он утверждал, что Вы установили за ним и Вандой слежку, что засылаете в Екатеринбург своих агентов и прочее, прочее, прочее. Особенно его беспокоит, что может быть нанесен ущерб репутации Ванды. Он от нее без ума. Кажется, сумасшедшая мечта Ванды, которую она лелеяла еще в Петербурге, свершится, и свершится довольно скоро: быть ей генеральшей! Впрочем, Ванда сумела вскружить голову и атаману Красильникову, и «велителю чехословэнского войска на Руси» Сыровому. С такими глазами и такими ножками нетрудно добраться и до Олимпа.

Чтобы убедить Волкова, что Вы сугубо порядочный человек и ничего против него не замышляете, мне пришлось выложить все свое красноречие и выставить полдюжины вполне приличного по нынешним скудным временам шампанского, так что вы передо мной в долгу...

Кажется, и красноречие и шампанское подействовали. Но Вы все-таки постарайтесь умаслить Ванду, а затем нанесите визит Волкову. Капельку присущего Вам такта — и все уладится. Кстати, имейте в виду, что в департаменте милиции должна открыться вакансия, а генерал обладает достаточным влиянием, чтобы оказать Вам соответствующую протекцию. Думаю, такой возможностью пренебрегать не следует.

Что же касается интересующего Вас вопроса, то опасаюсь, что смогу быть Вам мало чем полезным. В наше время драгоценности приобрели новое качество: они испаряются, превращаются в туман. Туманное время!

Знаю лишь, что после ограбления в 1918 году патриаршей риз-

---

[1] Ванька Каин — прозвище министра финансов Всероссийского Временного правительства И. А. Михайлова.

ницы ценности «Алмазного фонда» попали какими-то неведомыми путями в руки московского анархиста Галицкого, банда коего и по сию пору доставляет нам столько хлопот, хотя недавно и поступила ориентировка, что сей энергичный молодой человек собирается переменить суровый сибирский климат на более мягкий. Дай бог, чтобы составитель ориентировки не ошибся: забот у меня и так хватает. Предполагалось, что Галицкий использовал и использует присвоенные им ценности в террористических целях, что более чем вероятно. Не исключено, что ювелир Кутов, который так подвел очаровательную Ванду, купил серьги-каскады именно у него.

Не считаю себя вправе умолчать еще об одной версии, имеющей некоторое касательство к казначею «Алмазного фонда» покойному барону В. Г. Мессмеру. Дело в том, что Галицкий хранил ценности «Алмазного фонда» в Москве на квартире у своей содержанки Елены Эгерт, на коей некогда собирался жениться брат казначея «Алмазного фонда» — О. Г. Мессмер, променявший впоследствии офицерский мундир на монашескую рясу (в иночестве — Афанасий). По утверждению ротмистра Белостокова, лично знавшего некоторых членов совета «Фонда», Эгерт точно так же мечтала стать баронессой, как Ванда генеральшей. Поэтому она натянула нос Галицкому и вручила О. Г. Мессмеру в качестве своего скромного приданого все драгоценности «Алмазного фонда», а тот от избытка чувства благодарности, разумеется, тут же исчез из Москвы, забыв по рассеянности захватить с собой бедную девушку...

Глубоко уважая семейство Мессмеров и имея некоторое представление о Белостокове (пшют и сплетник), я этому рассказу никакого значения не придаю, поэтому даже не пытался разыскать О. Г. Мессмера, который сейчас, по слухам, находится, кажется, в Японии или Харбине. Сообщаю Вам об этом лишь как о забавном анекдоте.

Вот, пожалуй, и все, дражайший Владимир Семенович. Собираюсь через недельку посетить Омск, так что не забудьте про шампанское.

С дружеским расположением. Ваш покорный слуга
Ю. Винокуров.

Только что мне телефонировали со станции Екатеринбург-2, что на железнодорожных путях обнаружены трупы госпожи Лерер и Вашего сотрудника Горлова, кои погибли в результате несчастного случая — наезд паровоза. Сожалею, что мне приходится сообщать Вам эту прискорбную новость. Но Вы хитрец, дражайший Владимир Семенович! Выходит, не зря сетовал на Вас генерал Волков, а? Но как бы то ни было, а Горлова, мир праху его, уже нет, а следовательно, можно считать, что его никогда и не было... Никого из своих агентов Вы в Екатеринбург не присылали и никаких каверз против доблестного генерала и очаровательной Ванды не затевали. Не так ли?

Ваш Ю. Винокуров

Из отношения начальника Омского губернского управления государственной охраны Светозарова директору департамента милиции Министерства внутренних дел Игореву

...Таким образом, опознание серег-каскадов госпожой Бобровой-Новгородской представляется крайне сомнительным, а подозрение в отношении госпожи Ясинской безосновательным, не нашедшим подтверждения в последующих материалах учиненной нами проверки.

В настоящее время управление располагает сведениями, полученными от ротмистра Белостокова и коммерсанта Кутова. Из оных со значительной долей вероятности явствует, что ценности «Алмазного фонда» или большая их часть присвоены и вывезены на Урал, а затем в Сибирь братом казначея вышеуказанной организации О. Г. Мессмером (в иночестве — Афанасий), находившимся до 1918 года в Валаамском Преображенском монастыре.

На основании изложенного считал бы необходимым произвести арест господина О. Г. Мессмера, коий имеет жительство в Иркутске, где снимает квартиру у купца первой гильдии Бориса Леонова (второй особняк от Сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой), и препроводить его для учинения дознания в Омскую следственную тюрьму.

Одновременно ставлю Вас в известность о гибели в Екатеринбурге при исполнении служебных обязанностей сотрудника нашего осведомительного отдела Б. С. Горлова, отправлявшего должность старшего инструктора. Учитывая беспорочную службу Горлова, а равно, что семья оного не имеет достаточных способов к своему пропитанию, прошу Вас поддержать ходатайство вдовы покойного о назначении ей и двум ея малолетним детям ежегодного пенсионного оклада и единовременного вспомоществования за счет змеритальной пенсионной кассы ведомства Министерства внутренних дел или специальных фондов Министерства финансов.

Резолюция на отношении Светозарова, директора департамента: *«В. С. Светозарову. Против ареста и этапирования О. Г. Мессмера в Омскую следственную тюрьму не возражаю.*

Члену совета департамента Ф. Д. Барсову. Прошу вопрос о возможности поддержать ходатайство вдовы господина Горлова о назначении ей ежегодного пенсиона и единовременного вспомоществования тщательно изучить с учетом основательности оного, а равно с учетом стесненного финансового положения правительства».

Записка генерала Волкова начальнику Омского губернского управления государственной охраны Светозарову.

Милостивый государь Владимир Семенович!

Счастлив буду видеть Вас у себя в ближайшую среду на обеде. Жду к трем часам дня. Будут только свои и подполков-

ник Винокуров, вчера приехавший из Екатеринбурга. Для Вас имеются кое-какие приятные новости.

Ванда Стефановна шлет поклон и выражает надежду, что мое приглашение не нарушит Вашего привычного распорядка, которого Вы так тщательно придерживаетесь. На это же надеется Ваш покорный слуга

Г. Волков.

Глава четвертая

Три кляксы, две любви и один ангел

I

— Как, говоришь, в Ветхом завете? Вначале было слово, а уж потом всяческие дела пошли?.. Вот и у нас с тобой... Сперва-начала ты мне план розыска представил, а там и за дело принялся. Да как принялся! И месяца не прошло, а Глазукова уже пришибли... Молодец, Леонид Борисович!

Ермаш лучился простодушием, а его широко распахнутые, наивные, как у младенца, глаза смотрели на меня с восхищением.

У Рычалова так не получалось. Куда там!

— Аукнулась табакерочка-то, а?

— Аукнулась.

— А с ней и все остальное?

— Сейф, что стоит в спальне, полностью очищен. Второй сейф убийца не открывал.

— Та-ак.

Ермаш помолчал.

— Ты только на меня не обижайся.

Он потер ладонью свежевыбритые щеки, словно стирая с них наигрыш простодушия и наивности. Лицо его сразу же стало серьезным и усталым.

— Я ведь все это не в упрек тебе, — примирительно сказал он.

— В похвалу?

— И не в похвалу. За что хвалить-то? Прошляпили Глазукова. Факт. Грустный факт. Но в вину тебе не ставлю. Просто с языка сорвалось. Уж характер у меня такой — шпынястый. Да ты и сам про то знаешь. Так что к сердцу не принимай. Розыск — дело такое: будь хоть о семи пядей во лбу, а всего не угадаешь. И так прикинул, и эдак. Вроде все верно, а на поверку — вон как получилось. Ежели откровенно, то я бы на твоем месте шкатулку тоже вернул. Попробуй угадай, что Глазукова прихлопнут.

Пожалуй, с Ермашом было все-таки легче работать, чем с Рычаловым. Этот, по крайней мере, мог себя представить на месте другого.

— Бумаги уже смотрел? — спросил я.

— Те, что из Екатеринбурга прислали, читал. А те, что по убийству Глазукова, — нет. Руки еще не дошли. Видишь, что творится? — он кивнул на загромождавшие стол папки. — Выяснил обстоятельства убийства?

Все установленное можно было изложить в нескольких фразах. По словам Филимонова, которые подтверждались сотрудниками нашего поста наружного наблюдения, он отправился на свадьбу в начале пятого, почти за два часа до конца рабочего дня. Кухарка Глазукова ушла домой на час раньше. Таким образом, после четырех член союза хоругвеносцев оставался дома один и чем-то занимался в своей мастерской (кажется, вставлял выпавший бриллиант в кольцо, которое накануне принесла ему старая клиентка — жившая неподалеку чиновница).

Опрошенные Павлом Суховым старший поста наружного наблюдения агент первого разряда Прозоров и его напарник агент третьего разряда Синельников показали, что минут через пятнадцать-двадцать после ухода приказчика к Глазукову приехали на извозчике старик и пожилая женщина. Старик высокого роста, худощавый, с тростью. На нем было летнее однобортное пальто с закрытой застежкой и бархатным черным воротником и коричневая фетровая шляпа. Спутница его, похоже из мещанок, без каких-либо характерных примет, щеголяла в белой батистовой блузе и длинном, до пят, платье без рукавов, какие носили в Замоскворечье лет шесть-восемь назад. Старик как-то навещал Глазукова. Женщина же со времени установления нами поста наблюдения появилась здесь впервые. Пробыли они в доме около получаса, а потом уехали в поджидавшей их пролетке, причем Глазуков проводил их до извозчика и даже подсадил даму. Затем его навестили мастеровой с сыном, которые сбывали через лавку зажигалки собственного производства. Эти пробыли несколько минут. А вскоре после того, как Прозоров отпустил напарника домой пообедать, перед самым закрытием лавки, он заметил подошедшего со стороны Большого Бронного проезда брюнета с бородкой и усами, лет двадцати — двадцати пяти. По одежде его можно было принять за студента института гражданских инженеров — темно-зеленая форменная куртка с малиновыми выпушками, такая же фуражка с бархатным околышем, заправленные в сапоги диагоналевые брюки. В правой руке он держал что-то вроде коричневого портфеля или маленького саквояжа. Этого молодого человека Прозоров раньше у Глазукова не видел. Студент, словно прогуливаясь, прошелся вдоль переулка, миновав дом Глазукова. Затем, так же не спеша, вернулся и позвонил. Ювелир тотчас же отворил ему и пропустил в прихожую. Этот посетитель пробыл дольше предыдущих — около часа — и ушел непосредственно перед возвращением с обеда Синельникова. Покинув дом ювелира, студент быстрым шагом направился к Большому Бронному проезду, настолько быстрым, что Прозоров, заподозрив что-то неладное, даже пожалел, что нет Синельникова и нельзя проследить за ним («Трое суток ареста за наруше-

ние порядка несения службы, — коротко сказал Ермаш. — Обоим»).

Глазуков посетителя ие провожал. Студеит сам закрыл за собой дверь.

Примерно через полчаса после ухода студента к ювелиру иаведался, как выяснилось, одолжить свечей его сосед Петельииков. Он несколько раз звоиил в дверь, ио ему не открыли. Решив, что Глазукова нет дома, ушел. Вериулся через полтора часа, но ему сиова не открыли дверь. Свет в окнах не горел. Больше у дома члеиа союза хоругвеиосцев до утра следующего дня иикто ие появлялся.

Из всего этого следовало, что Глазукова убили приблизительно в половине седьмого вечера, что совпадало с заключением судебно-медицинской экспертизы: «заполошений» медик все-таки внял моему настойчивому совету и в тот же день представил все необходимые документы.

Когда Глазукову звонил сосед, того уже не было в живых. Не вызывало также никаких сомнений, что убийство совершил человек, который пришел к ювелиру перед закрытием лавки.

Все это было ясио.

Но уже в самом начале дознания выяснилось одио странное обстоятельство, в котором мы так и не смогли толком разобраться.

Опрашивая соседей Глазукова — было опрошено около пятидесяти человек, — мы наткиулись иа портиого Семенюка, который уже лет десять снимал малеиькую квартиру в доме на противоположиой стороие переулка, наискосок от ювелира.

Около семи часов вечера Семеиюк, поливавший цветы, которые стояли у него на подокоиниках окои, выходивших в переулок, заметил, как от Глазукова вышел какой-то человек. По времеии им мог быть лишь убийца ювелира, а Семенюк категорически утверждал, что цветы ои поливал имеино в это время — не раньше и ие позже. («Цветы, граждаие-товарищи, не люди какие: по божеским установлениям живут, к порядку приучены. Вянут они без порядка. Для них что старый строй, что новый, а, будь любезен, полей в положенное время, без запоздания. Потому и говорю: семь часов пополудни было...»)

Портной довольно подробно описал внешность незнакомца, особенно его платье. И то и другое во многом не совпадало со свидетельством Прозорова.

По показаниям Семенюка, человек, который вышел из дома Глазукова, был одет не в тужурку института гражданских инженеров, а в темный шевиотовый френч с надстроченными карманами с большими клапанами, какие носили во время германской войны земгусары, то есть сотрудники союза земств и городов. Пояс на этом земгусарском френче был тоже шевиотовый с костяной пряжкой. Из кости и пуговицы. Костюм дополняли офицерские серовато-синие шаровары и черные хромовые сапоги на высоких каблуках.

На осторожный вопрос Павла Сухова, не ошибся ли он, Семенюк развел руками:

«Обмишулиться всякий могет, да только не в своем деле, гражданин-товарищ. В своем деле не обмишулишься, потому как свое».

«Всякое бывает».

«Всякое, да не всякое. Я ж не в учении. Я ж четверть века портняжу. И пальцы портняжьи, и зад, извините за невежество, и глаз. Увижу, к примеру, кого — как личность определяю? По одеже. Вы как скажете? «Гражданин-господин из бывших гуляет». А я: «Визитка цвета маренго променад совершают». Или: «Редингот от Либермана шествует». Или: «Однобортный сюртук с черным французским шелком за терракотовой юбкой со вшитыми карманами ухлестывают». Ремесло завсегда ремесло...»

Семенюк сказал, что «шевиотовый земгусарский френч» «смотрелся» не на двадцать — двадцать пять, а на все тридцать годков, ну, может, малость поменьше. Усы «френч», верно, носил при себе, английские, щеточкой. А вот бородки на «френче» не было. Бритый подбородок был у «френча».

Не менее важным в показаниях портного являлось утверждение, что человека, вышедшего от Глазукова, он видел и раньше.

«Где?» — спросил Сухов.

«А здеся».

«Где «здесь»?»

«На Козихе, где ж еще? Впервой заприметил его в чайной Общества трезвости, что на Патриарших прудах. Сидел он вместях с «солдатскими шароварами в вытяжных сапогах» да кипяточком баловался».

«И еще раз видели?»

«И еще. Вдругорядь в переулке его заприметил. Вон у той тумбы стоял. Курил и с каким-то пацаном разговаривал».

«Одет был так же?»

«Не. Шаровары и сапоги, как и тогда, а замест земгусарского френча — китель офицерский. Без погонов, понятно, потому как погоны еще в семнадцатом отменены».

«А борода на «кителе» была?»

«Не».

«Одни усы?»

«Не».

«Что «не»?»

«И усов не было».

«Как не было?!»

«А вот так, товарищ милицейский. Ни бороды, ни усов».

«Вы уверены?»

Портной обиделся:

«А я когда не уверен, языком не болтаю».

«Но, посудите сами, куда же он мог деть усы? В карман сунул, что ли?»

«Не могу знать».

«Ерунда же получается».

«Может, и ерунда, а только бритый «китель» был. Как есть бритый».

«Люди бывают похожими».

Портной не возражал.

«Так, может, обознались? Одного за другого приняли?»

«Не, не обознался».

«Но как же тогда все это объяснить? — пытался свести концы с концами Сухов. — Усы-то за два-три дня не вырастают. Сами знаете».

«А чего не знать? Премудрость невелика».

«Ну так как же?»

Портной только кряхтел и стоял на своем: за несколько дней до того, как он увидел незнакомца выходящим от Глазукова, у того не было ни усов, ни бороды.

Ни объяснить, ни отбросить показания Семенюка я не мог. Но Ермаш, считавший, что если в жизни и бывают загадки, то только потому, что их придумывают, подошел к делу достаточно прозаически:

— Небось твой Семенюк за воротник закладывает?

Действительно, по отзывам соседей, портной был горьким пьяницей. Трезвым его видели редко, разве что в церкви. Не «просыхал» он и всю последнюю неделю.

— И до белой горячки допивался? — полюбопытствовал Ермаш.

Такое тоже случалось. Дважды.

— Так чего ты себе и мне голову морочишь? С пьяницы какой спрос? Мой крестный говорит: «Выпьешь рюмку-другую да и слушаешь — то ли корова рычит, то ли в животе бурчит...» — Он засмеялся. — Нет, Косачевский, у таких глаза вразбежку, а мозги набекрень. Он не то что усы, а «Ивана Великого» не приметит. Есть у тебя показания Прозорова? Есть. Может, еще кто его видел? А портного этого оставь — запутает. Как был убит Глазуков?

Тут было все более или менее ясным.

Никаких следов борьбы в прихожей у Глазукова не обнаружили. Похоже, ювелир принял убийцу за обычного клиента. Возможно, знал его раньше. Во всяком случае, Глазуков провел молодого человека в контору, где между ними состоялся какой-то разговор (ювелир сидел в кресле). Во время этого разговора убийца неожиданно нанес сильный удар кинжалом. Когда смертельно раненый Глазуков сполз на пол, тот, видимо не уверенный, что хозяин лавки убит, выстрелил в него в упор через квадратную диванную подушечку — такие на Украине называют «думками». Затем он вынул у Глазукова из кармана халата связку ключей, прошел в спальню, открыл сейф, переложил все находившиеся в нем драгоценности к себе в портфель или саквояж, вымыл руки и преспокойно покинул дом ювелира.

— Кажется, и пулю и гильзу нашли?

— Совершенно верно.

— Какому-нибудь оружейнику показывали?

— Показывали. Пуля с закругленной верхушкой. Такие употребляются и для браунинга, и для маузера, и для кольта. Кроме того...

— Калибр? — прервал Ермаш.

— Вот тут одна зацепочка. Оружейник считает, что девятимиллиметровый патрон использован для пистолета меньшего калибра, возможно браунинга калибра семь и шестьдесят пять. Уж очень вытянута пуля, да и отпечатались на ней не только поля, но и дно нарезов ствола.

— Это тебе ни черта не даст, — сказал Ермаш.

— Почему?

— Толком не налажен выпуск патронов ни для револьверов, ни для пистолетов. Винтовочные вовсю гонят, а эти — нет. Патронами другого калибра, как правило, и у нас, и в МЧК пользуются. По этому признаку можешь и меня заподозрить. Вот, полюбуйся. — Он выдвинул ящик и высыпал на стол пригоршню лоснящихся от густой смазки патронов. — Видишь? В свой кольт вгоняю. — Он смахнул патроны в ящик письменного стола, брезгливо вытер испачканную смазкой ладонь носовым платком, помолчал. — Ты почему считаешь, что он только один сейф открывал? Потому, что ничего не взял из другого?

— Не только.

— А что еще?

— Кровь. На том сейфе, что в спальне, мазки крови на дверце. И на ручке кровь. А на другом — ни пятнышка. Да и лежало в нем, по словам Филимонова, все в прежнем порядке...

— Выходит, знал, где искать?

— Выходит, знал. И где искать, и что искать. Да и когда убивать, тоже знал. Конец дня, Филимонов на свадьбе, один из наших людей ушел обедать...

— Предполагаешь, он знал, что мы наблюдаем за домом Глазукова?

— Во всяком случае, не исключаю этого.

— Действовал хладнокровно. Не торопился.

— Перед уходом даже руки в спальне вымыл. У Глазукова там шкаф-рукомойник стоит...

— Как с отпечатками пальцев?

— Бесцветных нет, а отпечатки окровавленных пальцев имеются, но плохие, смазанные. А где несмазанные, там такой густой слой крови, что папиллярных узоров не различишь.

— Ни одного годного для сличения?

— Ни одного.

— Ищейку привозили?

— Попусту. Следа не взяла. То ли нюхательный табак, то ли еще какая пакость.

— М-да-а, — протянул Ермаш. — С какой же стороны собираешься приступить?

— Со всех четырех, — сказал я.

Но Ермаш шутки не принял. Он был настроен более чем серьезно и хотел получить исчерпывающее представление о том, о

чем не могли пока получить такого представления ни я, ни Борин.

— Как считаешь, не Кустарь ли здесь расстарался?

— Да нет, пожалуй. Непохоже.

— Ну, мог не сам, через кого-либо.

— Проверим, конечно, но непохоже, — повторил я.

— А какие еще возможны версии?

— Версий-то предостаточно. Возьми хотя бы Корейшу.

— Корейша?

— Я тебе о нем говорил в связи с ограблением Харьковского музея.

— Махновец?

— Да, организатор «Тайного союза богоборцев». Его друзья в семнадцатом храм Христа Спасителя взрывать собирались...

— Ну как же, помню. Твой однокашник. Ты с ним в Гуляйполе встречался.

— Вот-вот. Пожалуйста — готовая версия. Ведь целый ряд вещей, которые находились после ограбления поезда у Корейши и предназначались им для Всемирного храма искусства, вдруг оказались у Глазукова. Как? Почему? Каким образом? Неизвестно. Может, после убийства ювелира они вновь вернулись к Корейше... Так что предположений хватает. Будем проверять.

Ермаш старался ничего не упустить из того, что имело или могло иметь отношение к убийству Глазукова, и все-таки у меня создалось впечатление, что события, которые произошли в 1919 году в Екатеринбурге и Омске, его интересовали значительно больше. Мне тоже казалось, что документы, присланные из Екатеринбурга агентом первого разряда Ягудаевым, многое проясняют и еще больше смогут нам дать, когда их прокомментирует Елена Эгерт.

Я не сомневался, что бесславно закончивший в Екатеринбурге свою филерскую карьеру старший инструктор осведомительного отдела Омского управления государственной охраны Горлов, к своему несчастью, стоял на правильном пути. Серьги-каскады, которыми потрясла избранное омское общество любовница коменданта колчаковской столицы Ясинская, безусловно, принадлежали «Алмазному фонду», куда были пожертвованы госпожой Бобровой-Новгородской. Опознав их, старуха не ошиблась, как в дальнейшем пытался уверить директора департамента милиции непосредственный начальник покойного Горлова Светозаров, поставленный перед дилеммой: или истина, или карьера.

Именно поэтому Горлова и подругу Ясинской — Лерер, на молчаливость которой, видимо, не рассчитывали, постарались в Екатеринбурге убрать. И устроил «несчастный случай» на железнодорожной станции не кто иной, конечно, как начальник Екатеринбургского отделения контрразведки Винокуров. Он же, посулив излишне ретивому начальнику Омского управления государственной охраны Светозарову дружбу всесильного коменданта Омска генерала Волкова и связанное с этим повышение по службе, подбросил тому на выбор две весьма удобные вер-

сии. По одной расхитителем сокровищ был Галицкий (ищи ветра в поле!), по другой — бывший однополчанин начальника Екатеринбургской контрразведки Олег Григорьевич Мессмер, у которого Винокуров в тысяча девятьсот двенадцатом году похитил и увез в Варшаву невесту.

Не знаю, чем страдал в своей жизни приятель Олега Мессмера, но, во всяком случае, не избытком совести.

С Екатеринбургом была налажена вполне приличная телеграфная связь, поэтому еще до убийства Глазукова я переговорил по прямому проводу с Ягудаевым, поручив ему собрать дополнительные сведения о деятельности группы Галицкого на Урале и в Сибири, а также о судьбе всех лиц, причастных к истории с серьгами-каскадами.

Как выяснилось, Ягудаев к тому времени уже располагал кое-какими новыми данными. Некоторые сведения о Винокурове я получил от Хвощикова.

— Генерал Волков эмигрировал? — спросил Ермаш.

— Покуда точно не установлено. Есть сведения, что убит в бою под Олонками в декабре девятнадцатого.

— А Винокуров?

— Вместе с Гришиным-Алмазовым был послан Колчаком через линию фронта с заданием к Деникину. Оба добрались благополучно. Когда Гришина-Алмазова назначили комендантом Одессы, Винокуров был там начальником контрразведки. Дальнейшая судьба неизвестна.

— Как он вообще на Урале оказался?

— Его в семнадцатом прикомандировали к Академии Генерального штаба. Вместе с академией он и прибыл в Екатеринбург. А при эвакуации наших из города летом восемнадцатого, разумеется, остался.

— Об Олеге Мессмере какие-либо документы сохранились? Светозаров его арестовывал или нет?

— Арестовал и этапировал в Омск. Три месяца в тюрьме держал.

— Потом выпустил?

— Нет. Ягудаев раскопал в архивах уведомление тюремной администрации вице-директору департамента милиции — Мессмер скончался в камере после ночного допроса якобы от разрыва сердца. А знаешь, кто был к тому времени вице-директором?

— Ну-ну?..

— Светозаров...

Ермаш усмехнулся:

— Не зазря же его Винокуров уверял, что с Волковым ссориться не след. Сразу же тебе и награда — продвижение по службе.

— Ты когда собираешься допрашивать Эгерт?

— Сейчас. Ее уже доставили в Центророзыск.

II

За два месяца пребывания в 1912 году в камере Таганской тюрьмы я проглотил массу книг, в том числе «Историю культуры» Липперта. Фундаментальный немец обрушил на мою голову такой мощный поток фактов из прошлого человечества, что в нем потонуло все, даже мысль о предстоящей виселице. Но виселицы я избежал, и моя память, которая всегда напоминала то ли лоток коробейника, то ли мусорный ящик, обогатилась массой любопытнейших вещей.

Липперт утверждал, что, вопреки общепринятому мнению, украшения появились у наших предков значительно раньше, чем одежда.

И вот после очередного допроса, когда мы со следователем сидели недовольные друг другом и молча курили, я, чтобы разрядить обстановку, заговорил об этой гипотезе. К моему глубочайшему удивлению, следователь, прирожденный неудачник с тусклыми глазами старой, всем надоевшей собаки, которая постоянно озирается, пытаясь угадать, кто и с какой стороны пнет ее в очередной раз сапогом, так заинтересовался Липпертом, будто это был не ученый, а один из руководителей вооруженного восстания девятьсот пятого года.

«Как, говорите? Липперт? Надо бы записать для памяти. Инстинкт украшательства... Весьма справедливая мысль. Особо для россиян».

Я спросил, почему он решил выделить наше любезное отечество.

«Ну как же? Папуасы мы с вами, Леонид Борисович, дикари, не в обиду будь нам сказано, — живо откликнулся он. — Да и какой с нас спрос? Всего-то полсотни лет, как с рабством расстались, да и расстались ли? Где уж за европейцами поспешать. Человечинку не едим, верно. А так как есть папуасы. Вот и украшаем себя чем поярче, лишь бы сверкало да глаза жмурило. Кто посостоятельней — гувернеров, устриц, вина для украшения из-за границы выписывает. Кто победней — сапогами со скрипом обзаводится и волосья лампадным маслом смазывает. Мы в мундирах щеголяем, при орденах да эполетах. Вы тоже чего бы поярче выискиваете. Лассаля, Маркса, Прудона читаете. Прогресс, эволюция, революция, идейки всякие, баррикады, прокламации, «весь мир насилья мы разрушим...». Куда как красиво!

О русских дамах и не говорю — никак не придумают, чем бы себя разукрасить. И туалеты им подавай, и эмансипацию, и любовь свободную, и в губернаторов стрелять разреши... Чего улыбаетесь? Какой уж тут смех! Причесалась такая вот папуаска перед зеркалом, припудрила носик и разрядила свой браунинг в старичка генерала. Чего, дескать, за красивую идею не сделаешь? В цивилизованной стране с ней бы не церемонились. А у нас? Преступница? Кто преступница? Она преступница? «Нет, господа присяжные заседатели, — говорят адвокаты, —

перед вами не преступница, а украшение нашего общества. Перед вами, господа присяжные заседатели, современная Жанна д'Арк!» Ну а тем-то что, в держимордах ходить? С какой стати? Тоже желают перед любезнейшей публикой передовыми взглядами покрасоваться. Вот и выносят оправдательный вердикт: признать-де русскую папуаску французской Жанной д'Арк.

А тут уж и другая Жанна к браунингу примеряется, под фасон да под цвет платья подбирает... Пиф-паф! — и сразу же в украшение общества. Чего ж не побаловаться? А уж генерала она для себя отыщет. Генералами наша Папуасия всегда богата была. На всех Жанн хватало...

Вот так, Леонид Борисович, — закончил он свою филиппику, — все с украшений началось, все украшениями и кончится... Инстинкт. Остроумнейший человек был ваш Липперт. Его бы к нам в Россию...»

«Шефом жандармского корпуса?»

«Могли бы и в председатели Государственной думы определить. Там тоже, видно, без варягов не обойтись...» И спросил: «Показания давать будете?»

«Зачем? Для украшения вашего послужного списка или чтобы виселицу собой украсить?»

«Тоже верно, — согласился он. — На кой ляд вам показания давать!»

Чувствовалось, что возвращаться домой ему так же не хотелось, как и мне в камеру. Как-то мельком я видел его жену, решительную даму с поджатыми губами и гусарскими усиками под тонким носом. Не знаю, что именно украшало его жизнь, но только не она...

Представив себе задушевную беседу немецкого ученого и русского жандармского офицера о роли украшений у дикарей и цивилизованных народов, я, видимо, улыбнулся, потому что блестевшие от сдерживаемых слез глаза Елены Эгерт мгновенно просохли и она, будто камень, бросила в меня настороженный взгляд.

Пожалуй, Липперта все-таки забавней было бы свести не с моим бывшим следователем, который придавал вопросу об украшениях, я бы сказал, несколько жандармский колорит, а с Эгерт. Во всяком случае, от знакомства с ней он бы получил большее удовольствие.

Насколько я мог судить, Эгерт действительно была красива и понимала толк в украшениях.

К концу гражданской войны русские женщины, в том числе и тургеневские, значительно изменили свой традиционный облик. Виной тому были и копоть горевших повсюду родовых дворянских усадеб, и отсутствие воды в городских водопроводах, и астрономические цены на мыло, и то, что поэтические шелка превратились в вульгарную мануфактуру.

Привередничать с туалетами не приходилось, и блоковские незнакомки научились обходиться шляпками из ломберного сукна,

платьями нз гардии и дырявой обувью, зашиурованиой веревочками, выкрашеииыми в фиолетовый цвет чериилами.

Как ии страино, но Эгерт все эти иеприятности военного быта ие коснулись. Она иапомииала довоеииого аигела, который пересндел год-другой на небе, затем спустился на землю и, загляиув мимоходом на Сухаревку, где обменял крылья на французскую косметнку, украснл иаконец своим присутствием мой кабинет.

Одного взгляда на эту женщнну было достаточно, чтобы поиять, насколько могуч в ней воспетый Лнппертом инстинкт. В ней все предназиачалось для украшения: лнцо, осанка, жесты и даже умеиие рассказывать на допросе о некоторых щекотлнвых фактах нз собственной бнографии.

В общем-то весьма банальиая история отношений с Олегом Мессмером, Винокуровым, а затем Галицким приобретала в ее трактовке неповторимый аромат романтики, красоту кружевного изящества чувств, самоотреченности н чего-то еще, трудноуловимого, непонятного, может быть, и вовсе ие существовавшего, но тем ие меиее щекочущего иервы и вызывающего умиление.

Впрочем, оиа не столько трактовала факты, сколько воображала их, прибегая в иеобходимых, по ее мнеиию, случаях к привычиой помощи пудры, румяи и помады.

Следует прнзиать, что получалось у нее все это весьма неплохо.

К своему уднвлению, я узнал, это Эгерт не только любила иекогда Олега Мессмера, ио любнт его до сих пор и будет любить до коица жизни. Любовью к нему вызваи н ее побег из-под венца вместе с Вннокуровым.

Не нскушеиный в казуистике бедияга Хвощиков, который протоколнровал показаиия Эгерт, именно в этом месте оставил на бумаге жирную кляксу.

— Но согласитесь, Елеиа Петровиа...

Оиа была со мной согласна: все сказаниое ею могло восприиматься лнш как парадокс. Но в конце коицов, вся человеческая жизнь — это цепочка парадоксов, а чтобы судить о чем-либо, надо зиать. И зиать не то, что лежит иа поверхиости, а то, что скрыто в глубиие.

Олег Григорьевич Мессмер и Василий Григорьевич внешие были очень похожи. И тем не меиее трудио иайти людей, более иесхожнх по характеру, идеалам, устремлеииям.

Олега Мессмера судьба предиазиачала для служеиия богу. Он это понимал с детства. Но в семье Мессмеров для детей существовал лнш один путь — воеииая карьера: кадетский корпус, юнкерское учнлище, служба в гвардии...

Елена Эгерт встретилась с Олегом Мессмером в 1911 году н сразу же беззаветно полюбила его. К сожалению, он ей ответил тем же. К сожалению — потому что нменно тогда, после длительной душевиой борьбы, вопреки отцу и брату, он принял безоговорочное решение уйти в моиастырь н посвятить остаток своей жизнн богу.

Любовь по своей сути эгоистнчна, и Елеие стоило немало уси-

лий отказаться от счастья и помочь Олегу Мессмеру преодолеть собственную слабость.

Винокуров...

Если бы он знал, какая жалкая роль ему тогда отводилась... Ведь ей было все равно кто. На месте Винокурова мог оказаться первый встречный. Да, собственно, он таковым и был — первым встречным. Их ничто не связывало — ни до, ни после... Она тогда бежала от себя, от своей любви, которая могла навеки искалечить жизнь Олега Григорьевича Мессмера.

Искупительная жертва. Принеся ее, чувствуешь себя чище, добрей, ближе к богу.

Давно это произошло, а порой кажется, что только вчера. Нетрудно себе представить, какой скандал вызвал ее поступок в обществе. Ведь каждый все воспринимает в меру своей испорченности. Впрочем, Олег Григорьевич и тот не сразу ее понял. Но все-таки понял.

Глупо, конечно, откровенничать с человеком, которого видишь впервые, но зато и легче, чем с кем-нибудь из близких. И если уж зашла речь об Олеге Григорьевиче... Что ж, ей скрывать нечего, хотя она никак не может понять, почему ею интересуется сыскная милиция.

Еще очаровательней выглядела ее связь с Галицким. Здесь Елена Эгерт представала уже не в образе героини, самоотверженно отказавшейся во имя высших идеалов от счастья своей великой неземной любви, а в обаятельном облике снисходительной и терпеливой матери, помогающей ослепленному страстями сыну вновь обрести в этом сложном, противоречивом мире душевный покой, гармонию, веру в людей и бога.

Мальчик влюбился в нее. Но дело не в этом. Вернее, не только в этом. Оказывается, командир анархистского партизанского отряда «Смерть мировому капиталу!», как и многие, лишенные в детстве родительского внимания и теплоты (а это было именно так, она хорошо знала в Тобольске семью Галицких), был склонен к крайностям. Вспыльчивый и взбалмошный, он иной раз совершал жестокие поступки, которых впоследствии сам же стыдился. Ее долг заключался в том, чтобы оказать ему помощь.

...Когда протокол украсился в третий раз кляксой, я понял, что пора наконец Хвощикова пожалеть, и задал Эгерт вопрос: навещала ли она Олега Мессмера в монастыре? Разумеется. Она там неоднократно бывала — и одна, и с его родственниками.

— Вы поддерживали отношения с Мессмерами?

— Люди, которые были дороги Олегу Григорьевичу, были дороги и мне. Это так естественно.

— А когда вы последний раз посетили Валаам?

Эгерт с ответом не торопилась. Она понимала, что это уже похоже на начало настоящего допроса.

— Года два назад.

— А точнее?

— Кажется, в марте восемнадцатого года. Да, в марте восемнадцатого.

— Так давно?! — поразился я, всем своим видом давая понять, что великая любовь, о которой она рассказывала, с подобным ответом как-то не согласуется.

— Видите ли... Олег Григорьевич в марте восемнадцатого покинул монастырь.

— Совсем? — еще более удивился я.

— Уверена, что нет, но пока на Валаам он не возвращался. Он тогда приезжал в Москву на похороны брата, Василия Григорьевича.

— Казначея «Алмазного фонда»? — проявил я некоторую осведомленность, которая ей не понравилась.

Теперь Эгерт необходимо было обдумать внезапно возникшую ситуацию, а мне — не дать ей такой возможности.

— Олег Григорьевич покинул Валаам с разрешения настоятеля монастыря?

— Не знаю. Он уехал после моего возвращения в Москву.

— Но ведь вы встречались в Москве?

— Встречались...

— И в доме старика Мессмера, и на похоронах, и у вас?

— Да...

— Разве он вам ничего не говорил по этому поводу?

— Представьте себе.

— И вы не спрашивали?

— Нет.

— Странно, очень странно... А где он сейчас, в Москве?

— Нет, не в Москве.

— А где?

— Он тогда пробыл здесь неделю, а затем уехал.

— Куда? — быстро спросил я, навязывая ей ускоренный темп допроса и не давая тем самым возможности тщательно взвешивать ответы.

— В Тобольск.

— В Тобольск?!

— Его туда пригласили кузина и ее муж.

— Уваровы? — вновь проявил я осведомленность.

— Да, Уваровы.

— Зачем?

— Погостить.

Экспромт был не из удачных: 1918 год, как известно, мало подходил для такого рода поездок. Я широко и добродушно улыбнулся, давая тем самым понять, что оценил ее шутку. Улыбнулся и Хвощиков.

— А если серьезно?

— Погостить, — повторила она, и лицо ее стало почти таким же простодушным, каким оно бывало у Ермаша.

Наступившую паузу никто не торопился заполнить.

— У меня, конечно, нет никаких сомнений в вашей правдивости, Елена Петровна, — наконец сказал я. — Но согласитесь, что все выглядит... скажем, непонятно. Монах-схимник, еще не

получив от отца телеграммы о смертн брата (мы проверяли), но зато побеседовав с тремя неожнданными посетителямн, — для сведения Эгерт сообщил я, — поспешно выезжает в Москву иа похороны брата, забыв спросить на это разрешеиие настоятеля монастыря. Ладно, допустим, его мучили предчувствия илн он обладал даром предвидеиия, а в согласии иастоятеля он не сомневался. Но ведь потом количество страниостей не уменьшается, а возрастает.

— Вы находите? — любезно спросила Эгерт, и я испугался, как бы на протоколе не появилась четвертая клякса. Но за время допроса Хвощиков несколько пообмялся.

— Увы, нахожу. Похоронив брата, который застрелился прн хорошо известных всем нам обстоятельствах, — мимоходом ввернул я, — он ие остается утешить несчастного старика отца, что было бы, коиечно, вполие естественным. Не стремится он задержаться в Москве и ради любимой женщины — я имею в виду вас, Елена Петровна. Более того, он начисто забывает даже про монастырь н совсем не торопится в скит спасать свою душу. Но зато у иего возникает непреодолимое желание немедленно отправиться в Тобольск и погостить там у двоюродной сестры, с которой раньше почтн не поддерживал никаких отношений... Странно, ие правда ли?

Мне было любопытно, как оиа выкрутится. Эгерт сделала это с присущими ей изяществом и иепосредственностью.

— Действительио странно, — поразмыслив, сказала она. — Вы совершенно правы. Но, иаверное, у Олега Григорьевича были на это какие-то свои соображения. Как вы думаете?

— И сколько же Олег Григорьевич пробыл тогда в Тобольске?

— Не знаю.

— Вы от него ие получали оттуда никаких вестей? И сами не писали?

Эгерт на мгиовение запнулась.

«Нет» перечеркивало весь ее красивый рассказ об отиошении к Олегу Мессмеру. «Да» вынуждало к каким-то объясненням.

— Он мне писал, конечно. Но сами поннмаете, условия гражданской войиы... И я ему писала...

— За два года никаких вестей?

— Нет, почему же. Вскоре после его приезда в Тобольск я получила от него письмо. Оио очень долго шло...

— И о чем же он пнсал?

— Да, пожалуй, ии о чем заслуживающем внимания. Обычное пнсьмо, адресованное близкому человеку. Содержание подобных писем передать очень трудно. Как будто ничего особенного, и в то же время каждая строка иаполиена содержанием — настроением, чувствами, мыслями... Вы меня понимаете, такие письма на своем веку пнсал н получал каждый.

Изящные ручки Елеиы Эгерт вновь пытались выхватнть у меня нить нашей беседы и завладеть ею.

— Простнте, Елена Петровна, а о своих планах Олег Григорьевич писал вам?

— Что вы имеете в виду?

— Сколько он собирался гостить в Тобольске? Неделю? Месяц? Год?

Эгерт улыбнулась, но в ее улыбке ощущалась грусть человека, который еще живет воспоминаниями об утраченной любви, о принесенной во имя ее великой жертве.

— Я так поняла из письма, что он собирается в ближайшие дни уезжать.

— Куда?

— В Москву, а затем возвращаться на Валаам в Преображенский монастырь.

— А из Алапаевска вы писем не получали?

— Простите?..

— Я спрашиваю: из Алапаевска вы письма получали или нет?

— У меня там никогда не было знакомых.

— Но там весной и летом восемнадцатого года находился Олег Григорьевич Мессмер, он же монах Афанасий.

— Вы в этом уверены?

— Уверен, Елена Петровна.

— Чем же он там занимался?

— Об этом вы знаете лучше меня, но я готов освежить вашу память.

В лице Эгерт ощущалась настороженность. Но я бы не сказал, что она потрясена сведениями, которыми я располагаю. Отнюдь нет. И если ее что-то потревожило за время нашей беседы, то нечто иное.

— Итак, я вас слушаю, — напомнила она. — Вы что-то хотели рассказать об... Алапаевске. Я не ошиблась, об Алапаевске?

Ангел наглел на глазах и, наглея, несколько переигрывал. Впрочем, возможно, Эгерт хотела вывести меня из состояния равновесия и заставить сделать глупость. В этом случае она была не так уж далека от цели.

— Вы не ошиблись, Елена Петровна, — проникновенно сказал я, удивляясь собственному терпению и любезно улыбаясь. — Дело в том, что покровительница вашего отца и ваша благодетельница, сестра царицы, Елизавета Федоровна, в восемнадцатом году некоторое время находилась в Алапаевске. Ее туда выслали из Екатеринбурга, где была царская семья.

— Да, мне кто-то говорил об этом, — равнодушно заметила Эгерт. — Не помню кто, но говорили. Кажется, в этом городке она и погибла.

— Совершенно верно. Так вот, после того как Елизавету Федоровну привезли в Алапаевск, там вскоре оказался и Олег Григорьевич Мессмер. Как видите, он не очень долго злоупотреблял радушием своих тобольских хозяев. И привела его в Алапаевск не тяга к перемене мест. Следует отдать ему должное, что он потратил немало усилий на то, чтобы организовать побег Елизаветы Федоровны из Алапаевска. Неподходящее занятие для великосхимника, весьма далекого от политики и политических страстей. Но будем считать, что в наше время все в какой-то степени при-

общены к политике, даже те, кто отрекся от мирских соблазнов и посвятил свою жизнь служению богу. Олег Григорьевич в Алапаевске несколько раз встречался с Елизаветой Федоровной и великим князем Сергеем Михайловичем, передавал им деньги, пытался подкупить охрану. Затем, после смерти Елизаветы Федоровны...

— Убийства, — не удержалась она.

— Скажем так: смертной казни. Итак, после казни великих князей и княгинь монах Афанасий активно участвует в розыске трупов расстрелянных и занимается переправкой гроба Елизаветы Федоровны на территорию Китая. Более того, есть данные, что он финансирует предполагаемую перевозку останков сестры царицы в Иерусалим.

— Но почему я должна была обо всем этом знать?

— Существует такое понятие, как логика, Елена Петровна. Елизавета Федоровна оказывала покровительство вашей семье, а здесь вы довольно долго и весьма красочно рассказывали нам о своих отношениях с Олегом Григорьевичем Мессмером. Вот и будем исходить из этого. Так вот, в марте восемнадцатого года вы, оставив в Москве другого близкого вам человека, Галицкого, вместе с женой члена «Алмазного фонда» и в сопровождении некоего господина отправляетесь на Валаам навестить Олега Григорьевича. Вскоре после вашего визита великосхимник, не покидавший Валаам шесть лет, оказывается в Москве, а затем в Алапаевске, где активно включается в политическую авантюру. Причем, заметьте, обеспокоен он судьбой не всех представителей царской фамилии, а именно Елизаветы Федоровны. Его интересует Елизавета Федоровна, и только она одна.

Но это еще не все. Олег Григорьевич Мессмер щедро тратит в Алапаевске деньги. Очень щедро. По самым скромным подсчетам, им было тогда потрачено не менее двадцати тысяч золотом. Как вам хорошо известно, монахи не имеют и не могут иметь собственности. Кроме того, род Мессмеров никогда не отличался богатством. Их подмосковное имение давало весьма скромный доход, который отнюдь не увеличился после революции. Какой бы вы сделали на моем месте вывод?

Похоже, Эгерт не ждала такого сильного нажима и допустила промашку:

— Но ведь кто-либо мог финансировать поездку Олега Григорьевича.

— Безусловно.

— Вот видите... Но кто?

— Например, вы, Елена Петровна, — ласково сказал я, с удовлетворением отмечая, что впервые за все время допроса Эгерт слегка побледнела.

Хвощиков перестал писать, глубоко вздохнул и, приподняв голову, снизу вверх посмотрел ей в лицо. Он понимал, что мы, кажется, добрались до кульминации.

— Но у меня никогда не было ни поместья, ни счета в банке...

— Однако у вас хранились ценности монархической организации «Алмазный фонд».
— Вы имеете в виду тот чемодан, который привез ко мне на квартиру Галицкий?
— Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду.
— Но тот чемодан был у меня отобран чинами сыскной милиции.

Уже в самом слове «отобран» заключалась накладка: Муратову Эгерт говорила, что чемодан у нее выманили хитростью, ссылаясь на Галицкого, которому он якобы срочно потребовался. Но по ряду соображений я решил к формулировкам не придираться.

— Когда у вас отобрали чемодан?
— Я точно не помню...
— По вашему собственному заявлению, заявлению Галицкого и Муратова, чемодан с ценностями «Алмазного фонда» был у вас якобы изъят в апреле восемнадцатого года, не раньше.
— Какое это имеет значение?
— Весьма существенное. Ко времени отъезда из Москвы Олега Григорьевича Мессмера ценности «Фонда» находились в полном вашем распоряжении.
— Не хочу с вами спорить. Может быть, вы тут и правы, но...
— Кто у вас отобрал чемодан с ценностями?
— Я уже вам говорила — чины московской сыскной милиции.
— Вы называли Галицкому и Муратову, если я не ошибаюсь, конкретную фамилию. Называли?
— Да.
— Чью?
— Косачевского.
— Кем он тогда был?
— Заместителем председателя Совета милиции или чем-то в этом роде. Но ведь вы мне опять не верите... Не верите?
— Не верю.
— Но почему? — с надрывом спросила она.
— Только потому, что Косачевский — это я, а мы с вами встречаемся впервые, Елена Петровна.

Кажется, залетный ангел не прочь был вновь оказаться на Сухаревке, продать там приобретенную косметику и вернуть себе крылья. Но, как утверждал умерший в прошлом году от сыпняка Артюхин, купить, что вошь убить, а продать, что блоху поймать... Впрочем, ангела уже не было. Не было и красавицы со всепоглощающим инстинктом украшательства. Их сменила надломленная, уставшая от допроса женщина.

— Так чего вы от меня хотите?
— Честного ответа на несколько вопросов, Елена Петровна.
— Спрашивайте, — сказала она и достала из своей сумочки узкую и плоскую папиросочницу, сделанную из плетеной египетской соломки, с притаившимся в углу жуком-скарабеем.

Из отчета по командировке в Петроград инспектора бригады «Мобиль» Центророзыска РСФСР **С у х о в а П. В.**

Утверждение гражданки Эгерт Е. П. о том, что деньги в сумме 20 (двадцать) тысяч рублей были предоставлены в марте 1918 г. гражданину Мессмеру О. Г. (монах Валаамского Преображенского монастыря Афанасий) для оказания помощи великой княгине Елизавете Федоровне в связи с филантропическим отношением вышеупомянутой княгини к террористу Каляеву И. П. гражданином Жаковичем А. З., который «всегда испытывал к Каляеву и его подвигу чувство глубокого уважения», проверить не удалось, так как гражданин Жакович А. З. после посещения им вместе с Уваровой и Эгерт Афанасия в марте 18-го года уехал из Петрограда и боле туда не возвращался.

...Опрошенный мною красном товарищ Кизяков Б. В., работавший в сентябре 1917 года вместе с Мессмером В. Г. и Жаковичем А. З. в артиллерийском управлении штаба Петроградского военного округа, сообщил, что Жакович, по его словам, действительно был знаком с Каляевым и оказывал после казни последнего его семье материальную помощь. Однако, по мнению товарища Кизякова Б. В., к концу 1917 года гражданин Жакович А. З. не только не сочувствовал эсерам, но скорее симпатизировал монархически настроенным офицерам, среди которых был и его сослуживец гражданин Мессмер В. Г., наложивший на себя руки в марте 18-го года.

...Затребованную Вами архивную справку о Каляеве И. П. и великой княгине Елизавете Федоровне прилагаю.

Начальнику бригады «Мобиль» Центророзыска республики товарищу **К о с а ч е в с к о м у Л. Б.**

СПРАВКА

по делу члена боевой организации партии социалистов-революционеров Каляева И. П., осужденного и казненного царскими сатрапами в 1905 году за террористический акт в отношении дяди Николая II, Московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича.

Вышеуказанное дело слушалось 5 апреля 1905 года в Москве, в Сенате, в здании Судебных установлений, под председательством сенатора Дрейера с участием сословных представителей. Обвинение поддерживал обер-прокурор Сената Щегловитов. Защищали подсудимого присяжные поверенные Жданов и Мандельштам.

О посещении Каляева в тюрьме после убийства великого князя вдовой последнего судебных документов не имеется. Однако в делах департамента царской полиции обнаружен рапорт директора департамента Лопухина на имя министра внутренних дел, в котором Лопухин сообщает, что действительно великая княгиня Елизавета Федоровна пожелала видеть Каляева, чтобы

сказать ему, что прощает его за убийство мужа и что сам великий князь также простил бы его. Встреча состоялась в Пятницком полицейском доме, куда Каляев был привезен из отдельной башни Бутырской тюрьмы, где содержался в строжайшей изоляции.

При этом свидании великая княгиня просила Каляева в знак того, что он не питает к ней злобы, принять от нее крест и образок.

О посещении Каляева в тюрьме после убийства великого князя вдовой последнего свидетельствует со слов Каляева и его защитник, бывший присяжный поверенный М. Л. Мандельштам, который, в частности, цитирует в своем реферате одно из писем Каляева к Елизавете Федоровне: «Вы сами пришли ко мне из вражеского стана, — писал Каляев. — Я был рад, что вы остались живы, и принимал это как благодарность. Я был к вам сострадателен» и т. д.

Таким образом, вышеуказанный факт встречи Каляева и Елизаветы Федоровны представляется более чем вероятным.

Старшему инспектору бригады «Мобиль» Центророзыска республики тов. Борину

Копия: начальнику Московского уголовного розыска тов. Давыдову

РАПОРТ

Настоящим ставлю Вас в известность, что сегодня вечером, около двадцати одного часа, мною и прикомандированными к бригаде «Мобиль» сотрудниками Московского уголовного розыска, агентами третьего разряда товарищами Федорчуком и Вострецовым задержан в Свиньинском переулке, недалеко от бывшего доходного дома Оловяшникова, подозрительный гражданин, который при задержании оказал отчаянное вооруженное сопротивление, пытаясь произвести выстрел из личного оружия системы «наган» и бросить гранату системы «лимонка». Благодаря мужеству и находчивости, проявленным товарищами Федорчуком и Вострецовым, подозрительный был обезоружен и доставлен в стол приводов Московского уголовного розыска.

Задержанный гражданин оказался уроженцем Жиздринского уезда Калужской губернии Федором Перхотиным, известным под кличкой Кустарь.

Перхотин, подозреваемый в убийстве дантиста Бреймана в Троицком тупике, ограблении часового магазина Неволина по Б. Дмитровке, налете на квартиру Макаревича в Гимназическом переулке, ограблении ювелирной лавки Удриса по Клубной улице и других многочисленных преступлениях, разыскивался с апреля 1917 года сыскной милицией Временного правительства, а затем бандотделом МЧК и Московским уголовным розыском.

После личного обыска, при котором у Перхотина были изъяты вторая граната системы «лимонка», деньги, золотые и серебря-

ные вещи (см. протокол обыска), Перхотин впредь до Вашего распоряжения помещен в КПЗ стола приводов Московского уголовного розыска.

Агент второго разряда Б. Глумаков

Глава пятая

История четвертой кляксы

I

Борин настолько убеднл меня в нензбежности ареста обложенного со всех сторон Кустаря, который обязательно должен навестнть нлн Улиманову или Глазукова, что арест Перхотина был мною воспринят как нечто само собою разумеющееся. Кажется, это покоробило Петра Петровича. Он, естественно, ожидал, что его работа будет оценена. Но виду не подал, а только спроснл:

— Допрашивать Перхотииа сами будете?

— Видимо.

— Сейчас?

— А как вы считаете, Петр Петровнч? — спросил я, понимая, что уже один этот вопрос доставнт старику некоторое удовлетворение. Борин любил, когда я с ннм советуюсь, хотя и не страдал болезненным самолюбием.

— Я бы ему дал малеиько обмякнуть — так денька два-три, — усмехнулся он, оглаживая клинышек своей бородки, и рассказал мне о свидаиии с Кустарем. Кустарь был крайне недоволен камерой, в которую его поместили. Вернее, не столько камерой, сколько ее обитателями. «Нелюдь, — жаловался он Борину. — Обмежуи да мазурики, плюгавцы да побродяги... Трава подзаборная, словом. Только один человек с поведеннем н есть».

«Человек с поведением» в представлеиии Кустаря был проворовавшийся член коллегии Главспички толстый н пожилой ннженер Пятов, который обычно начинал свои показання словамн: «Мне очеиь неудобио, что я выиужден отннмать у вас драгоценное время...»

Пятова, оттесненного сокамериикамн к параше, Кустарь сразу же взял под свое покровительство, поместив на нарах рядом с собой. Под влиянием Кустаря ему даже вернули шелковые кальсоны н брюки со штрипками.

Остальные подследственные вызывали у Кустаря приблизительно такую же брезгливость, какую вызывают у чистоплотного человека клопы, тараканы, крысы и прочая нечнсть.

Создавалось впечатление, что Перхотин не столько переживает сам арест, сколько обстановку, в которую попал.

Сельскому кулаку по натуре, а Кустарь таким был и остался, претила вся эта блатная шваль, несолидиая, несерьезная, «без поведения», не умеющая по-настоящему ни жить, нн работать, ни грабить, ни убивать. Замест самопляса — кокаин, замест махры — опиум, замест топора — перышко... Тьфу, нелюдь!

— Слезно в другую камеру просился, — сказал Борин. — Уж так слезно!
— Обещали?
— Покуда нет.
— Что так?
— Сказал, что подождем первого допроса. Ежели заслужит, тогда можно будет и перевести. В порядке поощрения...
— Улиманову тоже арестовываем?
— Ежели у вас каких-либо особых соображений на сей счет нет, то... чего ей зря без дела болтаться? — позволил себе скудную шутку, не выходящую за пределы среднепайковой нормы, Борин и перечислил: — Укрывательство награбленного, пособничество, скупка заведомо краденного, а главное — поможет Кустаря «разговорить». Ведь она тоже... «человек с поведением».
Каких-либо «особых соображений», препятствующих аресту Улимановой, у меня, разумеется, не было. После задержания Кустаря оставлять ее на свободе представлялось не только нецелесообразным, но и несправедливым.
— Не думаете использовать ее в расследовании убийства Глазукова?
— Думать-то думаю, Леонид Борисович. Только надежда тут малая. На сей счет не обольщаюсь. Ежели она скажет, что ни сном ни духом об убийстве ювелира не ведала, поверю.
— Интуиция?
— Бог его знает, Леонид Борисович. Как изволите, так и называйте: нюхом, опытом, интуицией, психологией. А только поверю. В чем ином — нет, а в этом поверю. И ей поверю, и Кустарю. В сторонке они от этого дела стояли, да и не слышали ничего.
— Говорят, земля слухами полнится...
— Пустое, Леонид Борисович.
— Но все-таки за кого цепляться будем? За Корейшу? За Филимонова?
Он отрицательно покачал головой.
— За кухарку покойного?
— Тоже в сторонке. В наводке она не участвовала.
— Где же концы искать?
— Может быть, в дальнейших показаниях Эгерт, — как нечто само собой разумеющееся сказал Борин, — а может, Семенюка...
— Этого пьяницы? — скептически спросил я, невольно становясь на позицию Ермаша.
— Пьяница-то он пьяница, верно. Но ежели Семенюк не ошибся, отвечая на десятки других вопросов, то почему должен был ошибиться, описывая внешность, а тем паче одежду преступника?
— «Земсугарский шевиотовый френч, офицерские шаровары и черные хромовые сапоги на высоких каблуках»?
— Совершенно справедливо.
— Как же расценивать тогда показания нашего Прозорова о том, что последним посетителем Глазукова был студент в тем-

но-зеленой куртке института гражданских инженеров, лет двадцати — двадцати пяти?

— Прозоров без году неделю службу в сыске проходит, Леонид Борисович, а Семенюк всю жизнь портняжит. Ремесло почище клейма: всегда о себе напомнит.

— Но противоречия в описании внешности убийцы.

— Бородка и усы?

— Вот именно.

— Не так уж трудно обзавестись фальшивыми.

— А не игра ли все это воображения, Петр Петрович?

— Может, и игра. Не смею спорить, Леонид Борисович, — наклонил он голову с редеющими волосами, четко разделенными на две части косым английским пробором. — Да только гражданина, о котором говорил Семенюк, похоже, видела накануне убийства Глазукова модистка Басова. И при усах видела, и без оных...

Борин поскромничал. За прошедшее время расследование убийства Глазукова продвинулось значительно дальше, чем я думал. О Басовой я не знал.

— Тогда следует исходить из того, что убийца гримировался, опасаясь быть опознанным? Тогда он или жил на Козихе, или часто бывал там?

— А собственно, кто нам мешает предположить это? — вопросом на вопрос ответил Борин.

Эгерт вместе с Хвощиковым должны были появиться у меня минут через сорок. Это давало возможность собраться с мыслями и подготовиться к допросу.

Материалами проверки предыдущих показаний Эгерт я к тому времени еще не располагал: Сухов только выехал в Петроград, и известий от него не поступало.

Правдивость была не самой заметной чертой в характере дочери придворного парикмахера. И все-таки предыдущие ее показания особых сомнений не вызывали, хотя они являлись не столько правдой, сколько полуправдой. Я чувствовал, что в механизме довоенного ангела что-то сломалось и он не то чтобы полностью капитулировал, но потерял нечто важное в своей способности к сопротивлению и украшательству.

Да и то, что я слышал или читал о Каляеве, которого, как и Розу Штерн, всегда относил к «книжным революционерам», както естественно вписывалось в эту нелепую и несуразную встречу его с великой княгиней, в еще более нелепую поездку великосхимника Афанасия в Алапаевск и, наконец, в финансирование этой дурацкой затеи проэсеровски настроенным офицером Жаковичем.

Итак, будем пока исходить из того, что вояж Олега Мессмера в Алапаевск совершен не за счет «Алмазного фонда», а на личные средства поклонника Каляева господина Жаковича, который одновременно был не прочь оказать услугу и царской семье.

Не аксиома, разумеется, а гипотеза, но достаточно вероятная. В том, что это рискованное поручение взял на себя Олег Мессмер, присутствовала даже некоторая логика. Мессмер хорошо знал алапаевского игумена Серафима, ценил участие Елизаветы Федоровны в судьбе сестер Эгерт, поэтому Уваровым, Жаковичу и Эгерт не так уж сложно было на него воздействовать.

Что же касается лже-Косачевского, который якобы изъял (отобрал или выманил хитростью?) у Елены чемодан с ценностями «Фонда» и тем самым толкнул несчастную на самоубийство, то эта история представлялась значительно менее правдоподобной, чем предыдущая.

Я готов был поверить в лже-Косачевского, завладевшего чемоданом.

Почему бы и нет? Авантюристов всегда хватало, а тем более в то бурное и смутное время. Я даже не сомневался, что Елена или пыталась в апреле восемнадцатого покончить жизнь самоубийством, или так добросовестно инсценировала эту попытку, что чуть было не погибла в действительности. Тут мы располагали показаниями Муратова, сестры Елены — Марии, ее мужа, наконец, опрошенного Павлом Суховым врача больницы.

Чего уж тут говорить!

Но вот в то, что изъятие лже-Косачевским чемодана с ценностями «Фонда», если подобное вообще имело место, толкнуло несчастного ангела на самоубийство, в это я мог поверить, только слушая Муратова и еще не познакомившись лично с Эгерт. Когда я получил некоторое представление о дочери придворного парикмахера, даже само предположение, что она способна из-за такого, с ее точки зрения, пустяка на самоубийство, могло вызвать лишь улыбку.

Собственность федерации?

Да пропади она пропадом вместе с самой федерацией, Прудоном, Бакуниным и прочими столпами анархии! Какое это имеет отношение к Елене Эгерт?

Всемирное братство, коммуны, союзы производителей? Ими что, можно подмазать губы, нарумянить щеки, припудрить носик? Нет? Тогда почему Елена Эгерт должна этим интересоваться, когда в никуда уходят годы, молодость, надежда на блестящую светскую жизнь?

Правда, в кожаном чемодане было не просто имущество федерации, принадлежавшее ранее, как объяснил ей Галицкий, монархистам из «Алмазного фонда». Там находились изделия ювелиров, способные украсить уши Елены Эгерт, ее шею, грудь, руки. Но, увы, все это было не ее, а чужое, игрушки для других, для того же старичка Муратова, видевшего вместо колье, перстней или кулонов горы динамита, винтовки, взорванные здания и мчащиеся по степи тачанки, для смешного мальчика Бори Галицкого, который пытался занять ее досуг шумными диспутами в Доме анархии и ужасно скучными сочинениями какого-то Михаила Бакунина.

Это были их игрушки, а не ее.

Ответственности за чемодан, который у нее официально изъяли официальные представители Советской власти (такими, по крайней мере, должны были выглядеть лже-Косачевский и сопровождавшие его люди), она ни перед кем не несла. Что ей угрожало? Ну, разочаровался в ней Борис Галицкий. Насколько я понял, взаимоотношения с ним не были самым главным в ее жизни, во всяком случае, из-за них она не стала бы накладывать на себя руки. Да и не разлюбил ее Галицкий, если обратился к Муратову со специальной просьбой навещать Елену в больнице.

Итак, самоубийство из-за лже-Косачевского, который завладел чемоданом с ценностями, чепуха. В эту чепуху мог поверить ослепленный любовью к Эгерт наивный Галицкий или привыкший мыслить только мировыми категориями Муратов.

Потрясение, чуть было не лишившее меня удовольствия познакомиться с сим ангелом, а Хвощикова ляпать кляксы на страницах протокола, к лже-Косачевскому прямого отношения не имело.

И в то же время между исчезновением в апреле восемнадцатого ценностей «Фонда» и покушением Эгерт на самоубийство существовала какая-то непонятная мне связь.

Какая?

Вот тут на откровенность Эгерт рассчитывать, к сожалению, не приходилось. Кажется, довоенный ангел, расставшись со своими еще не стиранными крылышками, готов был поступиться чем угодно, но только не этим. Тут находилась болевая точка, и касаться ее, ежели я хотел наладить с допрашиваемой деловой контакт, покуда не следовало.

С таким расчетом и был составлен план предстоящего допроса.

II

Вторая встреча с Эгерт произошла в менее напряженной обстановке, чем первая.

Описать, как выглядел человек, выдававший себя за Косачевского? Она, разумеется, понимает, насколько важно для розыска иметь такое описание и по мере своих возможностей готова помочь.

Лже-Косачевский, понятно, был груб, грозил ей оружием. У него был крючковатый нос (характерная примета почти всех литературных злодеев) и пронзительный взгляд бесцветных глаз.

«Врет», — твердо решил я и, рассыпавшись в благодарностях, попросил Хвощикова тщательно записать эти «крайне важные показания».

— Они вам, надеюсь, предъявляли мандаты?

Да, главный, тот, что с крючковатым носом, показывал ей свой мандат и ордер на обыск.

— Печати, подписи?

Она особенно не вчитывалась. Но как будто в маидате было все, как положеио.

— Вы сами им выдали чемодаи с драгоценностями?

— Нет, они нашли его во время обыска, — сказала Эгерт, придерживаясь своей новой версии.

— Понятые при обыске присутствовали?

— Понятые?

— Ну, дворник, соседи, еще кто-нибудь?

— Нет, только они — тот, что выдавал себя за вас, и еще двое.

— Почему же вы не попросили пригласить кого-либо из домового комитета или союза квартиросъемщиков?

— Я была слишком растеряна и подавлена происходящим. Поставьте себя на мое место. Ведь это ужасно.

Что ж, все естествено, ие придерешься.

— Они открывали при вас чемодаи или так и увезли его закрытым?

Эгерт почувствовала подвох и заколебалась. Жулики не могли просто так забрать чемодан: они должны были прежде убедиться, что имеино в этом чемодаие храиятся драгоценности. Но, с другой стороны, когда иа квартиру в любую минуту могут нагрянуть черногвардейцы, работники ВЧК или уголовного розыска, особо задерживаться им тоже не полагалось.

Эгерт решила, что середину не зря называют золотой.

— Оии открыли чемодан, — сказала она, — и быстро ознакомились с его содержимым. Чувствовалось, что торопятся.

— Содержимое они сверяли с описью драгоценностей «Алмазного фонда»?

Опять едва заметиое замешательство. Чувствовалось, что ангел устал лгать, но что-то мешает ему быть откровеиным даже в тех рамках, которые он сам для себя наметил.

В чем же дело?

Трудио, конечно, быть ангелом, но еще трудней вести допрос иебожителя, не располагая необходимыми для такого допроса фактами.

— Мы вас слушаем, Елена Петровна.

Эгерт уже приняла какое-то решение.

— Тот, кого я считала Косачевским, — сказала она, — иногда заглядывал в бумагу. Была ли то опись драгоценностей или иной документ, судить не берусь. Я была так подавлеиа происходящим! Но, видимо, это была все-таки опись. Да, определенно опись. Можете так и запротоколировать, — благосклонно сказала она Хвощикову.

— Что ж, он остался доволен?

— Кто?

— Ну этот, с крючковатым носом...

Эгерт метнула в меня испытующий взгляд из-под длиииых ресниц. Кажется, оиа почувствовала иронию.

— Как вам сказать...

— Видимо, так, как оно было в действительности, — посоветовал я, позаимствовав немного простодушия из безграничных запасов Ермаша.

— Убедившись в отсутствии некоторых вещей, главарь был явно раздосадован, — сказала Эгерт, переоценившая мою осведомленность, ибо я не имел ни малейшего представления о том, что произошло за несколько дней до описываемых ею теперь событий.

— Вон как? — сказал я, будто меня больше всего на свете интересовала реакция лже-Косачевского на пропажу, остальное же было так же хорошо известно, как самой Эгерт. — Весьма любопытно. Он сразу обратил внимание на это обстоятельство?

— Сразу. Ведь отсутствовало довольно много ценностей...

«Много» и «мало» — понятия неопределенные. Этим я и воспользовался.

— Ну, не так уж много.

— Около трети.

— Да, пожалуй, — сделав вид, что прикидываю, согласился я. — Приблизительно около трети. Вы правы, Елена Петровна.

— Поэтому, если он что-либо знал о разыскиваемых им ценностях, это не могло не броситься ему в глаза, — сказала Эгерт, уже почти ощущая себя моей помощницей в разоблачении лже-Косачевского (любопытно все-таки, существовал он в действительности или нет?).

— Да, это должно было броситься ему в глаза, — снова согласился я.

Хвощиков потер указательным пальцем кончик своего носа, и его вислые большие уши налились краской. Он понимал, какую рискованную игру я сейчас веду, но не знал, чем мне помочь. «Ничего, Григорий Ксенофонтович, — мысленно успокоил я его, а заодно и себя, — главное — не суетиться. Ежели не суетиться, все станет на свои места».

Несколько нейтральных, ничего не значащих вопросов, и я вновь вернулся к лже-Косачевскому.

— Кстати, Елена Петровна, — небрежно сказал я, — он у вас спрашивал о судьбе исчезнувших из чемодана ценностей?

— Да.

— Как же вы объяснили их отсутствие?

— Я ему сказала все, как оно и было. Вы же знаете, что я не умею лгать, — поскромничала она. — Я объяснила, что Галицкий отобрал эти вещи и куда-то их унес, что он собирался их продать или заложить, чтобы достать деньги для готовящейся акции, что...

— Какой акции? — вырвалось у меня, и уши Хвощикова из розовых мгновенно стали рубиновыми. Оплошность! Заданный вопрос ставил под сомнение мою репутацию всезнающего человека. Но Эгерт то ли не обратила внимания на сказанное, то ли не придала ему особого значения.

— И что же человек, выдававший себя за Косачевского, — по-

спешно спросил я, — его удовлетворили ваши объяснения, он вам поверил?

— Не все ли мне равно, Леонид Борисович?

Я понимающе кивнул и попросил перечислить отобранные Галицким вещи.

Само собой понятно, что нам они известны не хуже, чем ей. Но что поделаешь, формальности приходится соблюдать. Увы, мы с ног до головы опутаны ими.

Благородный ангел готов был войти в наше положение. Он не знал наименования всех ценностей «Алмазного фонда», да и времени прошло порядочно, но в старательности отказать ему было нельзя.

Я ожидал, что перечень начнется с серег-каскадов, из-за которых погибли в Екатеринбурге агент-осведомитель Горлов и содержательница кабаре «Яик» Лерер, а в Иркутске был арестован злосчастный монах Афанасий. Но ошибся: в апреле восемнадцатого года серьги-каскады еще покоились в чемодане. Галицкий их не продавал и не закладывал. Вместе с другими ценностями «Алмазного фонда» они были присвоены лже-Косачевским. Во всяком случае, так утверждала Елена Эгерт.

Может быть, она их перепутала с какими-либо иными драгоценностями. Ведь там еще были серьги.

Да, были, но если я имею в виду серьги Фаберже в виде бриллиантовых каскадов с большими грушевидными сапфирами, то она ничего не перепутала. Ошибка исключена. Именно эти серьги она запомнила.

Почему? Что ж, она готова признаться. Это, конечно, нехорошо, но... В общем, она их примеряла перед зеркалом. Что поделаешь, женщина всегда остается женщиной. Доставала она их в тот злосчастный день, благо они лежали в чемодане на самом верху в черном футляре с золотым тиснением. Очень изящные и красивые серьги. Похожие носила некогда мать Елены, Полина Эгерт. Но эти были, конечно, значительно дороже тех. Ни отец, ни дед Эгерт не могли бы себе позволить подобную роскошь. Самой Елене не приводилось раньше видеть таких крупных грушевидных сапфиров чистейшей воды — целое состояние. И бриллианты... Какие в них были чудесные бриллианты!

Щеки ангела зарумянились, глаза заблестели, и я, похоже, впервые безоговорочно поверил в его искренность.

Восхищаясь серьгами-каскадами, ангел ни о чем не умалчивал, не лгал, не изворачивался.

Да, любопытно было свести вместе Липперта, моего бывшего следователя, и дочь придворного парикмахера. Но это было нереально. Зато, кажется, не представляло особых трудностей выяснить, что именно подразумевалось анархистами под «акцией», для которой требовалось продать или заложить часть ценностей «Алмазного фонда», а заодно попытаться уточнить список отобранных Галицким вещей.

Почему бы «динамитному старичку» не оказать еще одной услуги Центророзыску республики? Это было бы только спра-

ведливо. В конце концов, одним из немногих, в ком он, как ему казалось, не ошибся в обидевшей его России, где только и делают, что веселятся и крадут, был именно я — мерзавец, стяжатель и лицемер, присвоивший сокровища «Алмазного фонда» в тысяча девятьсот восемнадцатом.

Кажется, это открытие доставило Муратову наибольшее удовлетворение после его возвращения на родину. Какое удовлетворение? Счастье! Следовательно, своими самыми счастливыми минутами он обязан мне и «длинноволосому мальчугану». А за счастье положено платить, дорогой Христофор Николаевич! Пока вы мой должник. Не забывайте об этом.

Я прервал допрос, чтобы продумать дальнейшую тактику и посоветоваться с Борниным, который находился в соседнем кабинете.

Отсутствовал я недолго, и когда вернулся к себе, щеки Эгерт по-прежнему румянились воспоминаниями о серьгах-каскадах.

Она явно не подозревала о той роли, которую они сыграли, покинув хранившийся у нее чемодан. Похоже, она не знала и о смерти Олега Мессмера, а тем более о том, что к этой смерти приложил руку Винокуров.

Что ж, Елена Петровна, с некоторыми материалами нашего розыскного дела я готов вас познакомить. Думаю, они вас заинтересуют.

Когда я читал бумаги, присланные Ягудаевым, я обратил внимание на некую деталь в прошлом любовницы генерала Волкова, а она была женщина с весьма богатым прошлым.

Теперь в сочетании с таким странным обстоятельством, как то, что серьги-каскады госпожи Бобровой-Новгородской в начале девятнадцатого года оказались у Ванды Ясинской после ее посещения Екатеринбурга, эта несущественная, казалось бы, деталь представлялась уже более существенной. Во всяком случае, возникшее предположение нуждалось в проверке. И проверке тщательной.

Ежели то, что я предполагал, соответствовало действительности, то все остальное, извлеченное из допроса Эгерт, отходило на второй план.

Но не будем загадывать.

Я задал ей несколько формальных вопросов, которыми обычно принято завершать допрос, а затем, будто бы между прочим, сказал:

— Кстати, Елена Петровна, может быть, я коснусь неприятных для вас воспоминаний, но уж таковы мои обязанности. Где вы жили во время... посещения в двенадцатом году Варшавы? Я имею в виду вашу совместную поездку с Винокуровым.

Эгерт была озадачена:

— Вначале Винокуров снимал номер в гостинице «Бристоль», а затем мы переехали к его приятелю на дачу, расположенную под Варшавой на берегу реки Буго-Нарев. Но мне там не понравилось, и мы вернулись в «Бристоль».

— Если не ошибаюсь, тогда при гостинице «Бристоль» имелось кабаре «Белый филин»?

— Вы не ошибаетесь.

— Вы там бывали?

— Несколько раз.

— Певицу из кабаре помните?

— Эту белокурую девочку? — спросила Эгерт, и в ее голосе я почувствовал напряжение.

— Да, Ванду Ясинскую.

— Очень смутно. Кажется, она тогда находилась на содержании приятеля Винокурова... того, чьей дачей мы воспользовались. Запамятовала его фамилию.

— Ну а в Петрограде?

— Что — в Петрограде?

— Когда в конце шестнадцатого года Ясинская объявилась в Петрограде в театре «Веселая минута», вы с ней не встречались?

— С какой стати?

— Я просто спрашиваю.

— Нет, конечно. Она меня никогда не интересовала — ни как певица, ни как человек.

— А господина Винокурова?

— Думаю, ваш вопрос лучше всего адресовать ему, — раздраженно сказала Эгерт.

— Согласен. Но в данном случае мне хочется рассчитывать на вашу любезность.

Она усмехнулась:

— Ну что вам сказать? Знаю лишь, что эта певичка многим вскружила голову. Кто-то из-за нее разорился, кто-то собирался стреляться или даже застрелился — не помню. В общем, с ее именем были связаны скандалы. Она умела производить впечатление и превращать мужчин в свиней. Что же касается Винокурова, то даже не знаю, что сказать вам. Я ведь тогда совсем не интересовалась ни им, ни его жизнью. Но не думаю, чтобы он был среди ее поклонников. Нет, не думаю. При всех его недостатках, а их у него имелось неисчислимое множество, он обладал достаточно изысканным вкусом. Этого у него не отнимешь. Видимо, сказывалась порода. Я, признаться, верю в голубую кровь. Но разрешите и мне вопрос. Я понимаю, что при допросах этого не полагается...

— Нет, отчего же.

— Почему вас вдруг заинтересовала Ясинская? Ведь она уж наверняка не имеет никакого отношения ни к ценностям «Алмазного фонда», ни вообще ко всей этой истории. Уверена, что эта милая певичка уже давно поет или танцует где-нибудь в Париже, Праге или Берлине.

— Может быть, — согласился я, — но дело в том, что в девятнадцатом году она еще находилась в России.

— Вон как? — поразилась Эгерт. — Где же?

— В столице Колчака, в Омске, Елена Петровна.

— Любопытно.

— Безусловно. Но еще любопытней, что оттуда она ездила в Екатеринбург, где служил тогда господин Винокуров. А самое любопытное заключается в том, что из Екатеринбурга в Омск она привезла серьги-каскады, о которых мы с вами так подробно говорили, Елена Петровна.

Я взглянул на Эгерт и поразился: мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы лицо человека так быстро и так разительно менялось. Менялось на глазах. Посерела и обвисла кожа щек, запали глаза.

— Вы... хотите... сказать...

— Нет, Елена Петровна. Я ничего не хочу сказать. Абсолютно ничего, за исключением, понятно, того, что я вам уже сказал. Мне бы только хотелось, чтобы вы прочли вот эти документы.

— До-ку-менты?

— Да, вот в этой папке.

Я налил в мутный граненый стакан немного воды:

— Выпейте.

— Бла-го-дарю.

Она отстранила стакан. Как слепая, зашарила по столу, натыкаясь на лампу, чернильницу, пресс-папье.

Хвощиков поспешно протянул ей папку. Трясущимися руками она схватила её, но не удержала. Папка выскользнула из рук и упала на стол.

— Вот здесь, — сказал Хвощиков и раскрыл папку на нужном месте. — Прошу-с.

— Да, да... благодарю, — и вновь слепые руки зашаркали по столу.

Мне было неприятно наблюдать эту сцену. Кажется, нечто похожее испытывал и Хвощиков.

Болела голова.

За окном в четко разграфленных решеткой квадратах серело мутное, напоминающее суп из мерзлой картошки, небо. Будто подвыпивший мастеровой, покачивался тополек — единственное дерево, которое росло в обширном дворе Центророзыска. Оно напоминало о том, что где-то, совсем недалеко, есть леса, реки, озера. А впрочем, черт с ними, с этими лесами и озерами. Существуют ли они? Может, просто кем-то выдуманы от нечего делать.

Шелест страниц, прерываемый деликатным покашливанием Хвощикова. Сдавленный, словно гвоздь клещами, голос Эгерт:

— Мерзавец... Он подарил этой шлюхе украденные у меня серьги.

Всхлипывания. Шуршание переворачиваемых Эгерт страниц.

Теперь она, видимо, уже читает резолюцию директора колчаковского департамента милиции.

Как он там написал? Да... «Против ареста и этапирования О. Г. Мессмера в Омскую следственную тюрьму не возражаю...»

А может быть, уже добралась до уведомления начальника тюрьмы о смерти схимника Афанасия, которого никогда не при-

числят к великомученикам, упокой господь его беспокойную душу?..

Может быть.

Упорно скребется в окно своими зелеными ветками тополек. Головная боль утихла, зато явственнее стал почему-то запах нафталина.

Я прислушался — снова шелест страниц. Затем — тишина. Значит, дочитала.

Эгерт уже не плакала, но глаза ее были полны слез. Конфузливо и в то же время деловито возился у стола Хвощиков.

Теперь следовало ждать признания. Что ж, подождем.

А некоторое время спустя, украсив протокол допроса последней кляксой, Хвощиков поспешно записывал новые показания Елены Эгерт.

Да, она солгала. Она никогда не любила Олега Григорьевича Мессмера и стыдилась этого. Он заслуживал настоящей любви, которой достойны немногие. Честный, благородный и великодушный человек, все прощающий людям и ничего себе.

Но что поделаешь? Русские говорят: сердцу не прикажешь.

Банально? Но оттого, что истина банальна, она не перестает быть истиной.

Да, она неблагодарная, подлая тварь. Но иной она быть не может. И когда в девятнадцатом году Винокуров поманил ее пальцем, она забыла про все и пошла за ним. Забыла про свои обязательства перед богом и людьми, перед сестрой, обществом и в первую голову перед Олегом Григорьевичем, которому исковеркала жизнь. Она бросила под ноги Винокурова свою и чужую честь. Ей нужно было от него так мало. Но она не получила и этого. Тогда же, в Варшаве, он готов был завести интрижку с Вандой, которая была совсем ребенком.

Но к чему вспоминать о Варшаве?

А потом... Потом промелькнувшие, как в кошмаре, все эти страшные годы...

Она старалась забыть о нем, и ей казалось, что это ей удалось. Казалось...

А потом случайная встреча у общих знакомых. И все началось заново.

Знал ли он о том, что у нее хранятся ценности «Алмазного фонда»?

Разумеется. Может быть, от нее. Может быть, от кого-то другого. Ей трудно сейчас вспомнить. Да и какое это имеет значение?

А потом... Потом он предложил ей вместе с ним уехать за границу. Да, они собирались взять с собой эти драгоценности. Ради него она готова была на все: на любую подлость, преступление...

Он увез чемодан днем в день ареста Галицкого. А вечером Винокуров должен был заехать за ней. Но он не приехал... Она прождала всю ночь — напрасно. И тогда она поняла, что вновь обманута, что единственное, что ей осталось, — это умереть.

К несчастью, ее спасли.

Зачем? Кому теперь нужна ее жизнь?

А этот мерзавец по-прежиему процветает. Теперь из-за него и его любовницы, этой Ванды, погиб Олег Григорьевич Мессмер...

— Не торопитесь, Елена Петровна. Ваши показания трудно протоколировать, — сказал я. — Итак, все оставшиеся в чемодане ценности «Алмазного фонда» были вами в апреле 1918 года добровольно отданы господину Винокурову?

— Да.

— И больше никакими сведениями о Винокурове и ценностях вы не располагаете. Так?

— Да.

— История с человеком, выдававшим себя за Косачевского, вами придумана?

— Мне не оставалось ничего иного.

Из информационного сообщения Центророзыска республики по делу о ценностях ликвидированной в 1918 году монархической организации «Алмазный фонд» (разослано для сведения и руководства ряду губернских управлений уголовного розыска)

...В то время как весной 1918 г. во ВЦИК рассматривался вопрос о подготовке судебного процесса над бывшим русским императором Николаем II (вышеуказанный процесс, как известно, не состоялся из-за наступления белых на фронте и невозможности эвакуации царской семьи из Екатеринбурга), левые эсеры и анархисты, настаивавшие на уничтожении царской семьи, нелегально подготовляли эту террористическую акцию. В Сибирь и на Урал ими были направлены боевики. Одну из таких групп возглавил Б. Галицкий, анархист-коммунист (местонахождение в настоящее время неизвестно), в распоряжении которого находились экспроприированные анархистами ценности «Фонда».

По сведениям Центророзыска, нуждавшийся для выполнения задания в денежных средствах Б. Галицкий намеревался реализовать значительную часть хранившихся у него драгоценностей. Список отобранных им для указанной цели вещей уточняется. Однако, как показал опрос причастных к делу лиц, среди подлежащего реализации находились: 1) «Гермогеновские бармы», 2) жемчужина «Пилигрима», 3) «Батуринский грааль», 4) брошь «Северная звезда», 5) «Амулет княжны Таракановой», 6) «перстень Калиостро», 7) «Комплимент» и др.

В случае обнаружения вышепоименованных и иных ценностей «Алмазного фонда» просим принять меры к их незамедлительному изъятию и сообщить об указанном начальнику бригады «Мобиль» Центророзыска тов. Косачевскому...

Приложение:
1. *Установочные данные о Галицком и членах его группы.*
2. *Предположительный список подлежавших реализации 1918 г. ценностей.*
3. *Описание драгоценностей «Алмазного фонда».*

Из описания драгоценностей «Алмазного фонда», сделанного в 1918 г. по указанию Косачевского профессором истории изящных искусств Карташовым, приват-доцентом Московского университета Шперком, ювелирами Гейштором, Оглоблинским и Кербелем

«АМУЛЕТ КНЯЖНЫ ТАРАКАНОВОЙ» («Емелькин камень»). Под таким наименованием в среде русских ювелиров известен медальон в форме сердца из белого (горного) хрусталя, обрамленный понизу золотой и серебряной сканью. В скань вставлено усыпанное алмазами кольцо — оправа для крупного (18 каратов) «восточного изумруда», т. е. зеленого корунда (изумруд-берилл), который является исключительно редким камнем, значительно превосходящим по красоте, блеску и твердости лучшие изумруды.

Принято считать, что медальон принадлежал известной авантюристке — княжне Таракановой, выдававшей себя за дочь русской императрицы Елизаветы и графа Разумовского.

Объявившаяся во время русско-турецкой войны и восстания Пугачева, Тараканова пыталась использовать и то и другое в своих целях. Она утверждала, что Пугачев — ее сводный брат, сын Разумовского от первой жены, искусный храбрый генерал и математик, человек, обладающий редким даром привлекать к себе симпатии народа.

Обратившись за покровительством к турецкому султану, Тараканова копию своего письма направила великому визирю с просьбой переслать ее «сыну Разумовского, монсиньору Пугачеву». Молва утверждает, что вместе с копией письма для «монсиньора Пугачева» был также отправлен и этот медальон.

Любопытно, что при аресте Пугачева в его кошельке обнаружили два камня, один из них — «белый восточный хрусталь в форме сердца» (П. С. Потемкин во время «Пугачевщины». — Русская старина, 1870, т. 2, с. 412).

По имеющимся в распоряжении историков документам, оба камня были переданы Пугачеву ржевским купцом Евстафием Трифоновым Долгополовым, который в молодости поставлял в Ораниенбауме фураж для лошадей будущего императора Петра III и часто того видел. Во время восстания он «опознал» в Пугачеве свергнутого царя, а несколько позднее предлагал императрице выдать правительству «бунтовщика».

«ПЕРСТЕНЬ КАЛИОСТРО». По мнению профессора Карташова и ювелира Оглоблинского, составители описи ценностей «Фонда» имели в виду масонский перстень из коллекции Довнар-Запольского.

Указанный перстень принадлежал вельможе екатерининских времен Ивану Перфильевичу Елагину, гроссмейстеру созданного тогда в Петербурге союза русских масонских лож (по некоторым сведениям, первая ложа всемирного тайного ордена свободных каменщиков, или масонов, была основана в России Петром Великим в Кронштадте).

Получившее широкое распространение во второй половине восемнадцатого века масонство привлекло к себе внимание многих известных теософов, алхимиков и просто авантюристов, в том числе пресловутого графа Калиостро, учредившего в Париже ложу египетского масонства.

В 1779 году Калиостро посетил Петербург, где жил в доме Елагина. Он встречался с Потемкиным, Григорием Орловым, а возможно, и с императрицей, хотя в дальнейшем Екатерина II написала две комедии, высмеивающие самозваного графа, а сам Калиостро был выслан ею за границу.

Легенда утверждает, что, покидая гостеприимный дом Елагина, Калиостро подарил великому мастеру союза русских масонских лож свой «магический» перстень. Однако это представляется маловероятным хотя бы в силу того, что «великий мастер египетского масонства» в то время слишком нуждался в деньгах, чтобы делать подобные подарки.

О том, что перстень Елагина был сделан в России во второй половине восемнадцатого века и не имеет никакого отношения к Калиостро, свидетельствуют также манера исполнения и вставка.

Основа перстня — вырезанная на овальном водяном сапфире весом 22 карата с четвертью гемма, вставленная в серебряный каст с короткими овальными крапанами. Шинка кольца — из золота, широкая, особенно в своей верхней части. На гемме изображен символизирующий могучую преобразующую силу масонства Геркулес. Он вооружен палицей, на его правое плечо наброшена шкура льва (победа над звериным царством жестокости, страстей, страхом неведения и слепого фанатизма). В правой руке гиганта — оливковая ветвь, означающая мир между людьми, братскую любовь человека к человеку, гуманность и великодушие. Над головой Геркулеса сияет солнце, т. е. озаряющий все и вся истинный свет учения свободных каменщиков. На крапанах, с помощью которых гемма закреплена в перстне, чернью изображены обычные атрибуты масонства: циркуль, наугольник, молоток каменщика, акация, череп со скрещенными берцовыми костями и др.

«КОМПЛИМЕНТ» — бонбоньерка работы ювелира Сушкаева. Золото, перегородчатая эмаль, самоцветы.

Описывая моды середины восемнадцатого столетия, знаток старого Петербурга и Москвы М. И. Пыляев уделяет немало места мушкам и блохоловкам. И те и другие пользовались тогда широкой популярностью.

Помимо своего прямого назначения, ловушки для блох являлись украшением, и некоторые были подлинными произведениями ювелирного искусства. Их обычно носили на груди. Они делались из золота, серебра или слоновой кости и представляли собой небольшие трубки со множеством дырочек. Внутрь такой трубки ввертывался стволик, смазанный липким веществом, к которому и приклеивались надоедливые насекомые.

Необходимой принадлежностью являлась также бонбоньерка

для мушек. Ее обязательно возили с собой на балы, гулянья, в театр и т. д. Мушки, которые иногда именовались «языком любви», являлись своеобразным средством общения. С помощью тафтяных мушек можно было кокетничать с кавалерами, объясняться с любовником или устраивать сцену мужу. Все зависело от размера мушек, их формы, а главное — от того, где именно дама их наклеила на своем лице.

Бонбоньерка работы Сушкаева — овальной формы, внутренняя сторона крышки — зеркальце в золотой рамке с виньетками. Внутри коробочка разделена узорчатой перегородкой на две части: одна — для набора тафтяных мушек, другая — для стволиков блохоловки.

Известна среди специалистов под названием «Комплимент», так как в ее украшении самоцветами широко использована символика драгоценных камней. Так, крупный гиацинт в центре крышки означал, что владелица бонбоньерки умна и бережет свою честь. Гранат свидетельствовал о ее верности обещаниям, аметист — о том, что она умеет обуздывать свои страсти. Яспис заверял в скромности, а изумруд сулил счастье.

На аукционе в Петербурге в 1884 году, когда распродавалась коллекция Галевского, «Комплимент» был приобретен неизвестным покупателем за двенадцать тысяч рублей ассигнациями.

Глава шестая

При попытке к бегству...

I

После психологических вывертов Эгерт, ее вранья, истерик и надрывов Перхотин и его родственница действовали на меня успокаивающе.

Кустарь не относил себя к людям дна. Скорей наоборот. Он держался не вызывающе, но с чувством собственного достоинства, как человек, хорошо знающий себе цену и не собирающийся продешевить. Кустарь охотно отвечал на вопросы, уважительно именуя себя «мы».

«Мущинский разговор — он и есть мущинский разговор. Такой разговор мы завсегда понимаем, — говорил он, деликатно почесывая мизинцем правой руки затылок. — Мы, гражданин уголовный начальник, все напрямки выкладываем. Что было, то было — чего не было, того не было. Чего нам тень на плетень наводить?»

Перхотин стосковался в камере по собеседнику и был не прочь потолковать с «мышлявым» человеком, как он благосклонно охарактеризовал меня. Его жизненная мудрость своей прямолинейностью и увесистостью напоминала железный лом. С ее помощью легко было сбить с амбара замок или проломить чью-либо голову. По мнению Перхотина, главное — чтобы каждый при деле находился. Делом же он именовал все, что может прокормить. Один сапожничает, другой портняжит, третий убивает. У каждого

свое. Ложкарство, понятно, тоже дело, но невыгодное, с которого не то что не разжиреешь, а ноги протянешь. Ведь как ложкари промеж себя шутят: «Два дня потел, три дня кряхтел, десять верст до базара, а цена — пятак пара».

Вон оно как!

Ежели б ложки шли подороже — ну, пусть не все, а первого разбора, — он бы, Перхотин, и не помышлял бы о ином промысле. А так что оставалось делать? С голоду помирать, с хлеба на воду перебиваться? Это для дураков. Умному помирать допрежь времени не с руки. Вот он помытарился, помытарился и согрешил. Не по охоте — по нужде. Грех — он грех и есть. Да только кто не грешен? Все грешны. От одного греха бежишь — об другой спотыкаешься. Ну и еще: кака рука крест кладет, та и нож точит... Раз согрешил, другой, а там и пошло. Каждому известно: в гору тяжело, а под гору санки сами катятся, не удержишь...

Учитывая, что «санки» Кустаря безостановочно «катились под гору» уже не первый год, список его грехов разросся до весьма внушительных размеров. И хотя Перхотин не прочь был выбрать меня в качестве исповедника (смертную казнь отменили, поэтому «исповедь» особыми осложнениями ему не угрожала), я предпочел увильнуть от этого сомнительного удовольствия. «Исповедника» мы ему готовы были подыскать в Московском уголовном розыске. Нас же интересовало только то, что имело или могло иметь прямое отношение к ценностям «Алмазного фонда».

Кустарь и Улиманова были той самой печкой, от которой мы с Бориным собирались плясать. А после показаний Эгерт и некоторых данных, добытых Бориным, расследующим дело об убийстве ювелира, эта печка приобретала особое значение, так как находилась в точке скрещивания двух линий — прошлого и настоящего.

От арестованных предполагалось узнать многое.

Во-первых, каким образом в чулане у Марии Степановны Улимановой оказалось письмо, автор которого упоминал об одной из наиболее ценных вещей «Алмазного фонда» — «Лучезарной Екатерине».

Известно ли Кустарю и канатчице, чье оно и кому адресовано?

Во-вторых, табакерка работы Позье, из-за которой, видимо, и погиб осторожный Глазуков, всегда умевший поддерживать хорошие отношения и с богом и с чертом. Как, когда и через кого она попала к покойному? Кто знал или мог знать об этом? Кому Глазуков собирался ее продать и так далее?

В третьих — экспонаты Харьковского музея, хранившиеся у Глазукова: золотой реликварий, лиможская эмаль, античные камеи, гемма «Кентавр и вакханка» работы придворного резчика Людовика XV.

Не требовалось особого воображения, чтобы представить себе, как они в июне 1919 года оказались в руках бандитов, а затем у моего бывшего соученика по семинарии полусумасшедшего Корейши. Но их путь к сейфу покойного ювелира уже представлял-

ся цепью загадок, видимо имевших какое-то отношение к исчезновению сокровищ «Алмазного фонда».

И наконец, смерть Глазукова.

Прикинув все «за» и «против», я готов был согласиться с Петром Петровичем, что ни Кустарь, ни Улиманова тут не повинны. Более того, вполне вероятно, что убийство Глазукова, сопровождавшееся ограблением покойного, ничего, кроме убытков, им не принесло. Допустим, что так. Но может быть, тогда они помогут нам напасть на след убийц или, по крайней мере, как-то очертить круг подозреваемых? Ведь им виднее, кто мог быть заинтересован в смерти их контрагента.

Короче говоря, на Кустаря и его напарницу возлагалось немало надежд. И видимо, они бы их как-то оправдали, если б не одно обстоятельство, не имевшее, казалось, отношения ни к ценностям «Фонда», ни к убийству ювелира. Я имею в виду возвращение в Москву жены и дочери Зигмунда Липовецкого.

Но не будем забегать вперед и вернемся к Кустарю, который с добросовестностью старательного, хотя и малоспособного ученика пытался ответить на все интересующие нас вопросы. От избытка старательности на его низком покатом лбу выступил пот.

А как иначе? Дело — оно завсегда дело...

Раньше Кустарь находился при ложкарном занятии, затем — при уголовном, теперь — при следственном. Доходным, понятно, не назовешь, а все ж дело...

Вот он в меру своих сил и выполнял требуемое, благо теперь его тюремная камера отвечала самым взыскательным вкусам: ни мазуриков тебе, ни побродяг — только «люди с поведением». Сидеть с такими одно удовольствие: и поговорить приятно, и помолчать.

К сожалению, о письме, которое послужило поводом к возобновлению розыскного дела, Кустарь не мог сообщить ничего вразумительного.

Действительно, попало оно к нему, как мы и предполагали, во время одного из налетов. Но какого именно, Перхотин сказать не мог. Письмо не представляло никакой ценности — исписанный торопливым почерком двойной лист бумаги. Какой с него толк? И не заложишь, и не продашь. Вот кольца в него завернул — какая ни есть польза.

А где кольца раздобыл?

«Кольца те мы в лавке взяли», — объяснил Перхотин.

Золотые кольца, большей частью обручальные, оказались у Кустаря, а затем были переданы им Улимановой после ограбления ювелирной лавки Удриса на Клубной улице в феврале нынешнего года. Эту лавку Кустарь «брал» вопреки своим обычным правилам работать в одиночку, вместе с печальной памяти калужским уголовником Живчиком, который застрелил тогда на Клубной Волжанина, а затем, в свою очередь, был убит в тот же день на Верхней Масловке, где его пытались задержать наши агенты.

Уж не Удрнсу ли принадлежало письмо неизвестного? Кольца его — это точно. А вот писулька...

Кустарь потел и смущенно приподнимал свои тяжелые покатые плечи. Очень ему хотелось нам помочь. Но нет, никак не мог он припомнить, каким образом у него оказалась эта бумажка. Ежели бы он знал, что у меня до этого будет интерес, то оно конечно. А так...

Удрис.

Проверка этого предположения оказалась весьма хлопотной. Сам Удрис успел к этому времени помереть, а семья его уехала из Москвы. Поэтому Павлу Сухову пришлось порядком поработать. А итогом кропотливой проверки оказалось короткое слово «нет».

Увы, письмо не имело никакого отношения ни к Удрису, ни к его лавке. К Кустарю оно попало во время какого-то другого ограбления.

Какого же?

Семь или восемь раз нам казалось, что мы уже установили квартиру, в которой налетчик подобрал это письмо. И семь или восемь раз нам пришлось убеждаться в своей ошибке.

Да, с письмом нам не везло. Зато бывший ложкарь и его напарница порадовали нас с экспонатами Харьковского музея и табакеркой Позье. Эти вещи были опознаны ими по имеющимся рисункам. Причем Улиманова заявила, что Кустарь в конце прошлого года или в начале нынешнего передал ей сперва табакерку, а недели две спустя и остальное. Все это было ею продано покойному Глазукову. Кстати говоря, на допросе выяснилось, что член союза хоругвеносцев, сославшись на то, что камни в табакерке поддельные, уплатил канатчице сущие гроши. За бесценок были им приобретены и экспонаты Харьковского музея.

Допрашивая Улиманову, Борин ознакомил ее с описанием всех ценностей «Алмазного фонда». Насколько я понял, сделано это было скорей для формы. Но дело по розыску вещей «Фонда» вновь одарило нас сюрпризом. Ткнув пальцем в эскиз бонбоньерки для мушек работы Сушкаева — «Комплимент», Улиманова заявила, что «эту золотую коробочку» Перхотин передал ей тогда же вместе с другими вещами, которые были проданы ею Глазукову.

«Перепутала», — решил Борин.

Перед Улимановой разложили фотографии и рисунки двух или трех десятков похожих друг на друга бонбоньерок. Из всех них она безошибочно выбрала шкатулку «Комплимент».

Более того, Перхотин не только подтвердил показания родственницы, но так же уверенно, как и она, указал на бонбоньерку Сушкаева. Опознал ее приказчик члена союза хоругвеносцев Филимонов. По словам Филимонова, эту вещицу он видел у хозяина в феврале или марте. Глазуков тогда реставрировал ее и хотел продать своему старому клиенту, коллекционеру Марголину. Но сделка по каким-то причинам не состоялась, и дальнейшей судьбы «Комплимента» он не знает. В Центророзыск о бон-

боиьерке Филимонов ие сообщал, так как ие знал, что она имеет какое-либо отношенне к «Алмазному фоиду».

Но самым удивительным во всей этой истории с драгоцениостями, оказавшимися у Кустаря, а затем через Улнмаиову переданными Глазукову, было то, что Кустарь добыл нх в одиой и той же квартире иа Покровке.

«Комплимеит», как известно, вместе с «Амулетом кияжны Таракаиовой» («Емелькии камень») и масонским перстием гроссмейстера русских масонских лож Елагииа («перстень Калиостро») был взят из чемодаиа, храиившегося у Эгерт, Галицким для осуществлеиия екатеринбургской террористической акции.

Знамеиитая табакерка работы Позье, прииадлежавшая иекогда русской императрице Елизавете Петровне, была увезеиа вместе с другимн драгоцениостямн «Алмазного фонда» будущим начальииком отделеиия коитрразведки у «всероссийского верховиого правителя Колчака» Виюкуровым, посулившим Елене Эгерт свою любовь и земиой рай за пределами бывшей Российской империи.

А экспоиаты Харьковского музея, разграблеииые баидой Лупача и предиазиачавшиеся для мифического Храма искусств во всемирном царстве аиархии, храиились в Гуляйполе у сотрудника культотдела крестьяиской повстаической армии батьки Махно, бывшего семииариста, а ныие богоборца Владимира Кореина, прозванного в честь известиого московского юродивого Корейшей.

И вот все этн вещи — вместе со своими временными хозяевами нли без них — оказались в Москве. Мало того, ие только в одиом городе, ио в одной и той же квартире доходиого дома иа Покровке.

Как? Какпм образом? Где и при каких обстоятельствах перекрестилнсь пути-дорожкн экзальтироваииого Галицкого с циничиым Вниокуровым, а Виюкурова с полусумасшедшим Кореииым? И перекрестились ли? Кто хозяева ограблениой Кустарем квартиры?

Расспрашивая о ией Кустаря, Борин щедро угощал подследствениого папиросами, что уже само по себе свидетельствовало об нсключительиом значеиии зтнх показаиий.

Из объясиеиий Перхотина следовало, что заинтересовавшая иас квартира была для него чем-то вроде иаграды всевышиего за исключительиое трудолюбие.

Наводка?

Нет, его никто ие наводил. Эта квартира, как он изволил выразиться, была «приварком». Так получилось, что подготовляемый ранее налет по ряду причин ие состоялся — «ие выгорел». Другой иа месте Перхотнна выругался бы, плюнул и завалился пьянствовать в какую-ибудь ближайшую хазу. Но к счастью для бригады «Мобиль» Цеитророзыска, трудолюбивый Кустарь ие прнвык зря терять время и где-то пролежнвать бока, ежели есть возможиость подзаработать, а такая возможность, как известио, всегда есть. Тут ему и подвернулась эта квартира. Подвериу-

лась — надо «брать». Вот он и «взял», благо хозяев на месте не оказалось...

— А письмом не там ли разжился? — спрашивал Борин, пододвигая Кустарю свой портсигар с пайковыми папиросами, количество которых катастрофически уменьшилось.

Перхотин кряхтел от усердия, пытаясь что-то извлечь из своей намозоленной событиями памяти. Под страдальческим взором Петра Петровича безбожно дымил чужими папиросами, скреб в затылке, но вспомнить, как к нему попало это проклятое письмо, не мог.

— Могет, и на той квартире... Кто его знает? Рази упомнишь?

И все же к тому времени, когда в портсигаре инспектора Центророзыска оставалась одна лишь папироса, мы обогатились рядом сведений, имевших отношение не только к ценностям «Алмазного фонда», но и к убийству Глазукова.

По утверждению Кустаря, которое согласовывалось с некоторыми данными, полученными нами из других источников, убитый был уже не тем малопримечательным и в меру жуликоватым ювелиром, которого задержали в восемнадцатом в связи с ограблением в Кремле патриаршей ризницы.

За прошедшее время член союза хоругвеносцев, примерный христианин Анатолий Федорович Глазуков, побаивавшийся некогда и Дуплета, и Мишки Арставина, успел сделать на Хитровом рынке карьеру.

В 1919 году, когда мой старый приятель Никита Африканович Махов был наконец расстрелян бандотделом Московской ЧК, хитрованская верхушка — и до того благоволившая к Глазукову, который оказал ей немало услуг, — признала его «министром торговли и финансов вольного города Хивы».

Что и говорить, Никита Африканович, которого боялась сыскная полиция, был значительно крупнее трусливого Глазукова. Но из кого выбирать? Да и сам Хитров рынок уже не был прежним. К двадцатому году от государства в государстве, центра преступного мира необъятной Российской империи, мало что осталось.

Революция каленым железом выжигала доставшиеся ей по наследству язвы. Обескровленная облавами, обысками, расстрелами, потрясенная до основания разгромом крупнейших притонов, Хитровка потеряла свое былое значение. Время маховых безвозвратно прошло.

Но все же Хитровка существовала, и авторитет атамана Хитрова рынка среди уголовников Москвы был по-прежнему непререкаем. Устоев единовластия революция здесь не расшатала. Хитровка оставалась империей. Поэтому полностью исключалось, чтобы кто-либо из профессиональных преступников мог решиться на убийство Анатолия Федоровича Глазукова, находящегося под непосредственным покровительством атамана Хитрова рынка. Более того, учитывая положение, занимаемое Глазуковым, следовало предположить, что ежели хитрованцам удастся отыскать виновного — а розыски его, вне всякого сомнения, идут, — то он тот-

час же будет убит, благо на Хитровке никто смертной казни не отменял...

Так выяснилось, что у Борина, расследующего убийство Глазукова, имеются конкуренты. И достаточно серьезные конкуренты...

— Кури, — сказал Петр Петрович, протягивая Кустарю портсигар, на дне которого сиротливо перекатывалась последняя папироска.

— Нам бы махры...

— Чего не держу, того не держу, — с облегчением сказал Борин и, закрыв портсигар, положил его в карман. — Значит, сможешь нас привести к квартире?

— Сможем.

— Не запамятовал ненароком?

— Адреса не скажем, а дом и квартеру помним. С зажмуренными глазами приведем. Не сумлевайтесь.

II

Кустарь сидел в Таганской тюрьме, или, как тогда говорили, в Таганском допре, то есть доме предварительного заключения. Предполагалось, что с утра я, Борин и агент первого разряда Московского уголовного розыска Прозоров, который был старшим поста наружного наблюдения за домом Глазукова, когда произошло убийство, встретимся в комендатуре допра и отправимся оттуда на Покровку, где находилась интересовавшая нас квартира. Но так получилось, что в Таганский допр к обговоренному времени приехал лишь Прозоров.

Борин, человек скрупулезно точный и обязательный, прибыл с некоторым опозданием, так как вынужден был под утро посетить Сухаревку, где в бакалейном ряду обнаружили труп постового милиционера. Петр Петрович задержался всего на полчаса, но к его приезду Прозоров, не телефонировав дежурному по Центророзыску, оформил в комендатуре документы, получил Перхотина и вместе с ним уехал на извозчике.

Не смог принять непосредственного участия в подготовлявшейся операции и я.

Жена Зигмунда Ида, приходившаяся дальней родственницей Розе Штерн, невысокая брюнетка с большими библейскими глазами, очень напоминающая внешностью, но не темпераментом Розу (кто-то не без ехидства назвал ее бледной копией с яркого оригинала), всю свою жизнь обожала экспромты. Гимназисткой она сочиняла сентиментальные стихи, а затем совсем неожиданно не только для семьи, но, кажется, и для самой себя оказалась в тюрьме за сочинение и распространение прокламаций, призывающих к свержению существующего строя. Потом в коротком промежутке, образовавшемся между двумя тюрьмами, она ухитрилась не только познакомиться с Липовецким, но и выйти за него замуж. Не успел Зигмунд освоиться с положением женатого человека, как его уже ожидал новый экспромт — рождение дочери. После длительных дискуссий новорожденную решено было

назвать Татьяной, и тогда Зигмунд узнал, что Ида назвала ее Машкой...

При одном слове «экспромт» Зигмунд бледнел и вздрагивал. Впрочем, может быть, мне это просто казалось.

Последнее время, не получая никаких вестей из Ревеля, где находилась Ида с дочерью, Липовецкий сильно нервничал. По заверению товарищей, которые ее туда направили, Ида уже успешно завершила порученное ей задание и должна была через Петроград сообщить о своем возвращении в Москву. Каждый день Зигмунд ждал телеграммы, оттягивая свою командировку в Орел. Телеграммы не было. Но стоило Липовецкому на два дня уехать в Орел, как в ту же ночь дежурная по 2-му Дому Советов вручила мне предназначавшуюся ему краткую телеграмму из Петрограда, которая начиналась со слова «встречай», а заканчивалась: «Целую Ида».

Этот очередной Идин экспромт и лишил меня возможности приехать утром в Таганский допр.

Не встретить ее было бы свинством по отношению к Зигмунду. Правда, если бы я знал, что Борин задержится, то Иде пришлось бы добираться до 2-го Дома Советов самой.

Если бы я знал...

Было раннее утро, но две афишные тумбы перед фасадом «Метрополя» уже белели свеженаклеенными декретами, приказами, постановлениями, призывами и сообщениями.

Еженедельная информационная сводка Чрезвычайной комиссии по изъятию шинелей, сапог и валенок для фронта; объявление Театра революционной сатиры о двух ближайших премьерах — «Деревня» и «Кукиш для Антанты»; набор студентов, делегируемых по разверстке губкомами и губисполкомами в Коммунистический университет имени Свердлова: «Студенты зачисляются после строгого медицинского осмотра. Туберкулезные, малокровные и слабые ввиду тяжелых условий московской жизни вовсе не принимаются...» Университет сулил абитурнентам фронтовой паек, стипендию в пять тысяч рублей в месяц, но заранее предупреждал, что никакой одежды и обуви в распределителях Московского потребительского общества они не получат. Обуть и одеть будущих студентов обязаны делегирующие их в университет организации.

В объявлениях многократно мелькали слова «фронт», «продовольствие», «армия», «трудовая повинность».

Центральная комиссия помощи фронту доводила до всеобщего сведения, что «из числа собранных для фронта вещей уже отправлено в действующие части: нательных рубах — 39 396, теплых рубах — 5970, теплых кальсон — 7444, брюк разных — 7376, спичек — 2454 коробки, кружек чайных — 78, махорки — 12 ящиков». Тут же обращение к «честным гражданкам Москвы и Московской губернии»: «Вас Советская Республика стремится освободить от тысячелетнего рабства. Помните о ее армии. Помните о бойцах, которые сражаются и умирают за тысячи верст от своих домов. Шлите им свои приветы не словами, а тем, что

может спасти их жизни, что сохранит им здоровье, что поможет им одержать славные победы и вернуться домой к упорному труду, к бескровной войне с разрухой, к строительству нашего будущего».

Было и сообщение, имевшее самое непосредственное отношение к деятельности милиции.

Москомтруд, то есть Московский комиссариат труда, сообщал, что в городе были случаи ограбления квартир трудовых семей в то время, как члены этих семей находились на работе. Поэтому Москомтруд обязывал домовые комитеты в порядке трудовой повинности возлагать охрану таких квартир на проживающих в тех же домах нетрудовые элементы, домохозяек и лиц преклонного возраста.

Из подъезда 2-го Дома Советов вышел Ермаш.

— Липовецкую едешь встречать?

— А ты откуда знаешь?

— Я, брат, все знаю, — усмехнулся он. — Потому-то меня начальником Центророзыска и назначили. Сегодня у меня в номере переночуй, а завтра, если захочешь жить один, сможешь перебраться в 5-й Дом Советов. Я там договорюсь с комендантом. Но лучше у меня оставайся, вдвоем веселее.

Лето было в разгаре, но Москва готовилась к зиме. На телегах, трамваях, грузовиках везли топливо. Дрова заготовлялись трудовыми ротами и батальонами, сформированными из бывших чиновников, дельцов, куртизанок, биржевых маклеров, купчих и светских дам.

«Даешь топливо!» — кричали плакаты.

Подъезжая к вокзалу, я обогнал разношерстную гомонящую толпу с пилами и топорами. Судя по знамени, которое нес впереди толстый господин в котелке, это был 1-й лесозаготовительный батальон Сокольнического района имени Розы Люксембург.

Играл оркестр.

«Ать-два! Левой!» — стараясь перекрыть звенящую медь, командовал человек в кителе с алым бантом на груди. Но толпа уныло тащилась вразброд, никак не желая оправдывать свое почетное название.

Вопреки моим ожиданиям Идин поезд опоздал всего на час. Кто-то мне говорил, что после многих лет совместной жизни муж и жена становятся похожими друг на друга и внешне и внутренне. Раньше я этого как-то не замечал. Но когда Ида впилась в меня своими близорукими, широко открытыми глазами, а затем оседлала переносицу болтавшимся на шнурке пенсне, я понял, что этот «кто-то» был прав.

— Косачевский? — спросила она и выдернула за руку из круговерти толпы Машку.

— Косачевский.

— Живой?

— Живой, — покорно подтвердил я и в доказательство сказанного взял у нее чемодан.

Когда мы подошли к извозчичьей бирже, Ида замедлила шаг, словно припоминая что-то, и рассеянно спросила:

— Да, кстати, а где Зигмунд? — Она вновь надела на нос пенсне и внимательно оглядела меня с ног до головы, словно рассчитывая обнаружить своего мужа в одном из карманов моего френча или галифе. — Так где же он? — недоумевающе повторила она.

— Уехал.

— Куда?

— В Орел.

— Но я же отправила телеграмму.

— Если бы ты догадалась это сделать на день раньше, тебя бы встречал не я, а он.

— Понимаешь, все получилось...

— ...Экспромтом, — закончил я.

— Да, а как ты догадался? — удивилась она и тут же рассмеялась: — Знаешь, какую подпольную кличку мне дали в Ревеле?

— Понятия не имею.

— Экспромт.

— Видимо, ты успела себя там соответствующим образом зарекомендовать.

— С самой лучшей стороны, — заверила меня Ида и спросила: — Так куда ты собираешься нас везти?

— Ты же знаешь, что я не любитель экспромтов.

— Во 2-й Дом Советов?

— Совершенно верно, туда. В тот самый номер, в котором ты оставила Зигмунда, отправляясь в Ревель. Никаких экспромтов.

В «Метрополь» мы приехали в начале одиннадцатого. Как раз в это время агент первого разряда Московского уголовного розыска Прозоров, прикомандированный к бригаде «Мобиль» Центророзыска республики, сидя в кабинете Борина, писал на мое имя объяснение:

«Когда мы подходили к расположенному у Покровских ворот Салону искусств, подследственный Перхотин неожиданно напал на меня, пытаясь обезоружить, а когда это ему не удалось, кинулся бежать вдоль правой стороны Белгородского проезда в направлении интендантского вещевого склада. После оклика «Стой!», а затем «Стой, стрелять буду!» мною, в соответствии с инструкцией, было применено оружие, в результате чего гражданин Перхотин, по уголовной кличке Кустарь, был убит...»

III

Прозоров своим обычным бесцветным голосом почти дословно пересказывал мне объяснительную записку.

По мере его рассказа во мне нарастало глухое раздражение, которое я никак не мог приглушить.

— Вы уже об этом писали в своем объяснении.

— Да, — подтвердил он и попросил у меня разрешения закурить.

— Курите.

Прозоров достал из нагрудного кармана френча мятую папиросу, чиркнул зубчатым колесиком пузатой зажигалки, прикурил, глубоко затянулся.

— А теперь давайте разберемся.

— Да в чем тут разбираться, товарищ Косачевский? И так все ясно.

— Хочу кое-что уточнить.

— Слушаю.

— Когда Перхотин побежал по Белгородскому проезду, вы пытались его преследовать?

— Простите? — сказал он.

— Вы бежали за Перхотиным и стреляли в него на бегу?

— Нет, не бежал я за ним. Смысла бежать за ним не было, скрылся бы он.

— Значит, стреляли стоя?

— Стоя.

— С того самого места, где он на вас напал?

— Вроде.

— Вроде или с того самого?

— С того самого.

— Покажите мне это место на плане.

Он взял у меня лист бумаги с тщательно вычерченным Суховым планом места происшествия и поставил карандашом маленький крестик.

— Вот здесь он на меня напал, у этого дерева. Отсюда я и стрелял.

— Сколько было произведено выстрелов?

— Четыре.

— Один вверх и три в убегающего?

— Так точно.

— Когда вы в первый раз выстрелили в Перхотина, где он находился? Покажите на плане.

— Вот здесь, у этого дома с мезонином. Я еще опасался, что он забежит во двор.

— Понятно. Вы куда целились?

— В ноги. Но тут дело такое — лишь бы не промазать. А уж куда попадешь...

— Но вы не промазали: все три пули в цель попали. Не многовато ли?

— Так вышло.

— После какого по счету выстрела Перхотин упал?

— После третьего. Иначе я бы трижды не стрелял в него.

— А после первого выстрела он продолжал бежать?

— Вроде бы приостановился, но точно сказать не могу: не в тире ведь. Все вгорячах. Как угадаешь — первым выстрелом

задел или третьим? Одна мысль — не дать убежать. Тут уж лучше перестараться, я так думаю...

— С какого расстояния вы стреляли в Перхотина?

— Точно не скажу.

— А вы прикиньте по плану. Вот дом с мезонином, а вот место, где он на вас напал.

— Метров двадцать будет, может, двадцать пять. Так?

— Так, — подтвердил я. — Именно так получается по вашему письменному и по вашему устному объяснению: двадцать — двадцать пять метров.

За дверью комнаты, в коридоре четко прозвучали и заглохли в отдалении чьи-то шаги. Вокруг люстры кружились в своей дурацкой карусели мухи. Тихо и жалобно скрипел стул под плотно сбитым, мускулистым телом Прозорова.

О чем он сейчас думал и думал ли о чем-либо?

Прозоров докурил папиросу до мундштука, аккуратно пригасил ее в пепельнице. Обращая на себя внимание, кашлянул. Дескать, во всем разобрались, все выяснили, так чего зря время терять?

Вполголоса спросил почтительно:

— Разрешите быть свободным, товарищ Косачевский?

— Нет, не разрешу.

— Как прикажете.

— Из этого кабинета вы уйдете уже под конвоем, Прозоров.

Колыхнулась сбоку от меня задернутая штора. Это не выдержали нервы у стоявшего между ней и окном оперативника, которого поместил туда на всякий случай Сухов.

Я тоже ожидал, что сказанные мною слова вызовут у Прозорова бурную реакцию, что он, например, кинется на меня, попытается обнажить оружие, в котором благодаря заботам того же Сухова не было ни одного патрона...

Такое развитие событий хотя и было чревато неприятностями, но зато вносило в создавшуюся ситуацию необходимую мне определенность.

Однако я недооценил сидящего передо мной человека. И тогда и позже Прозоров проявил поразительное самообладание. Он не сделал ни одного резкого движения, даже не изменился в лице. Единственное, что он себе позволил, — легкое недоумение:

— Вы собираетесь меня арестовать?

— Разумеется.

— За что?

Он извлек из кармана френча еще одну смятую папиросу. Закурил.

— Почему вы убили Перхотина, Прозоров?

Он выпустил изо рта дым. Снова затянулся.

— Я действовал в соответствии с инструкцией, товарищ Косачевский.

— Инструкция не предписывает убивать людей.

— Перхотин был убит, потому что пытался бежать. Если бы не попытка к побегу...

— А никакой попытки к побегу не было, Прозоров.

— Но, товарищ Косачевский!..

— Не было. Кстати, вы кончали краткосрочные курсы по криминалистике и судебной медицине при Московском уголовном розыске?

— Нет, не успел: меня тогда в Центророзыск откомандировали. Но вы это к чему?

— К тому, что если бы вы кончили эти курсы, то смогли бы придумать что-нибудь более убедительное. У вас концы с концами не сходятся.

— Не понимаю.

— Сейчас поймете. Вы утверждаете, что Перхотин напал на вас, пытался бежать и вы в соответствии с инструкцией открыли по нему после предупреждений огонь, когда он находился от вас на расстоянии двадцати — двадцати пяти метров. Верно?

— Да.

— А вот заключение экспертизы: один выстрел в Перхотина произведен в упор, а два других — на расстоянии, не превышающем полутора метров. Одно это исключает вашу версию о побеге. Перхотин никуда не собирался бежать. Он находился рядом с вами. Убийство, Прозоров. Убийство, не имеющее никакого отношения к инструкции, на которую вы пытаетесь сослаться.

— Эксперт мог ошибиться.

— Заключение давал весьма квалифицированный специалист.

— И все же он мог ошибиться, — повторил Прозоров.

— Мог, если бы не основывался на признаках, которые известны каждому опытному работнику уголовного розыска и даже неопытному, но прослушавшему курс лекций по судебной медицине и криминалистике. Определяя дистанцию, с которой были произведены выстрелы, экспертиза исходила из воздействия на одежду убитого пороховых газов, следов опаления и пятен копоти. А если учесть еще направление пулевых каналов... Тут невозможно ошибиться, Прозоров. Так что ваше объяснение выглядит детским лепетом. А ведь мы располагаем не только заключением экспертизы, хотя оно более чем убедительно, но и показаниями двух свидетелей. Вот, как можете сами убедиться, собственноручные показания художника Энтина, который после первого выстрела, сделанного, кстати говоря, не вверх, как положено при попытке к бегству, а в спину Перхотина, наблюдал за происходящим через окно малого зала Салона искусств. Хотите ознакомиться? Если желаете, могу прочесть. Прочесть?

— Не смею затруднять вас.

— Воля ваша. А вот, как видите, протокол допроса другого свидетеля — дворника Емельянова. Показания обоих свидетелей совпадают до мельчайших деталей и полностью подтверждают выводы экспертизы. А сейчас, насколько мне известно, инспектор Центророзыска Сухов опрашивает третьего свидетеля, оказавшегося очевидцем событий в Белгородском проезде. Этот свидетель видел то же самое, что и два предыдущих. Так что эксперт не ошибся. На этот раз, похоже, ошиблись вы.

В комнате повисло молчание.

— Одного не пойму, — сказал Прозоров. — Вы считаете, что моя вина в умышленном убийстве Перхотина полностью доказана экспертизой и свидетелями. Ведь так?

— Так.

— Но тогда чего вы от меня хотите? Чистосердечного раскаяния?

— Нет. На ваше раскаяние я не рассчитываю.

— А на что же вы, позвольте полюбопытствовать, рассчитываете?

— На то, что вы объясните, зачем вам нужно было убрать Кустаря.

Он слегка присвистнул:

— Всего-то?

— Всего-навсего.

— Но я ведь объяснял.

— Не слышал.

— Ну как же! — удивился он, уже не скрывая издевки. — Вы просто были невнимательны... гражданин Косачевский. Я вам досконально объяснил, что я не «убирал» Кустаря. Избави бог! Я лишь выполнял свой служебный долг, гражданин Косачевский. Подследственный Перхотин, полученный мною из Таганского допра, был убит при попытке к бегству, в полном соответствии с известной вам инструкцией.

— А в соответствии с какой инструкцией вы убили ювелира Глазукова? — тихим и ровным голосом спросил я.

На мгновение Прозоров опешил. Но только на мгновение...

— Вы считаете, что у меня достаточно широкая спина, чтобы взвалить на нее и второе убийство?

— Нет, я исхожу из другого.

— Из чего же? — спросил он своим бесцветным голосом, будто выполняя скучный, но необходимый ритуал.

— Я исхожу из того, что ученье — свет, а неученье — тьма. Если бы вы прослушали курс по криминалистике и судебной медицине, Прозоров, то совершенное вами убийство Глазукова, возможно, не было бы раскрыто и по сей день, хотя мы и так запоздали. Но вы не прослушали этого курса. Отсюда и допущенные вами ошибки. С Глазуковым вы наделали порядочно ошибок, не намного меньше, чем с Кустарем. Ну, прежде всего, студент института гражданских инженеров, который якобы пришел перед самым закрытием лавки со стороны Большого Бронного проезда. Тут, пытаясь навести нас на ложный след, вы дали полный простор своей фантазии. А ведь совсем ни к чему было придумывать этого студента с усами и бородкой. Прослушав соответствующий курс, вы бы сразу сообразили, что нами прежде всего будут опрошены, по возможности, все соседи покойного ювелира. И в результате опроса окажется, что студента никто не видел. Никто! Зато человека в земгусарском шевиотовом френче, серовато-синих шароварах и черных хромовых сапогах заметили. Его видели или входящим в лавку перед са-

мым закрытием, или выходящим из нее. Вот и первый пока повод сомневаться в вашей искренности...

— О человеке в земгусарском френче говорил только этот пьяница Семенюк, — вяло возразил Прозоров. — Он еще что-то путал относительно усов. То у земгусара были усы, то их не было...

— Устаревшие сведения, Прозоров. Человека в земгусарском френче видел не только Семенюк. Его, оказывается, видели и модистка Басова, и ее сын Егор Басов. Причем действительно усы у него «выросли» только в день убийства... Так что преступником был не выдуманный вами студент, а человек в земгусарском френче, которого, кстати говоря, замечали на Козихе и раньше, правда, несколько в иной одежде.

Прозоров пожал плечами:

— Ну пусть Глазукова убил не студент, а земгусар. Не все ли равно? Какое, в конце концов, все это имеет отношение ко мне?

— Хотите узнать, чем мы располагаем?

— Естественное желание человека, которого обвиняют в двух убийствах.

— Я бы предпочел послушать вас, но... извольте. Тайны здесь нету. Готов познакомить вас с некоторыми доказательствами. Может быть, это расположит вас к откровенности. Прежде всего о земгусарском френче. В то время как вы отправились в тюрьму за Кустарем, на чердаке, где находился пост наружного наблюдения за домом Глазукова, наши сотрудники нашли шевиотовый френч, который так подробно описал Семенюк. При осмотре на нем были обнаружены многочисленные пятна крови. Там же нашли кинжал, тоже со следами крови. Опрошенный инспектором Суховым ваш напарник по посту наблюдения Синельников рассказал, что обнаруженный кинжал принадлежал вам, а френч вместе с другим ненужным тряпьем валялся на чердаке в большой соломенной корзине, оставшейся от прежних хозяев. В той же корзине Синельников видел театральные парики, бороды, усы... Кстати говоря, Синельников вспомнил, как вы примеряли при нем земгусарский френч. Синельников говорил, что он очень вам шел...

— Френч и кинжал... — сказал Прозоров. — Не маловато ли для обвинения в убийстве? Ведь ими мог воспользоваться кто угодно, тот же Синельников.

— Правильно. Но воспользовались все-таки вы, Прозоров. Час назад Семенюк и Басовы опознали вас по фотографии. Очень, я бы сказал, уверенно опознали. Из восемнадцати предложенных фотографий они выбрали именно вашу. Опознал вас и половой в чайной Общества трезвости на Патриарших прудах, где вы часто бывали, когда вели наблюдение за домом Глазукова, и где вас как-то видел Семенюк вместе с «солдатскими шароварами в вытяжных сапогах», то есть с тем же Синельниковым.

Как видите, улик более чем достаточно, а ведь я не перечислил и половины тех доказательств, которыми мы теперь рас-

полагаем. Человеком в земгусарском френче, который убил Глазукова, были вы, Прозоров, и никто иной. Так что дело не в широкой спние, на которую можно взвалить два убийства, а в том, что вы совершили эти два убнйства. Теперь, надеюсь, у вас появилось желание высказаться?

— Нет, не появилось, граждании Косачевский.

— На что же вы рассчитываете?

— Я фаталист.

По всему было видио, что я зря теряю время. Допрос следовало отложить, а пока суд да дело, проиавести обыск на квартире Прозорова.

— С Перхотиным вы мие все объяснили, — сказал Прозоров. — Вас интересуют мотивы, которыми я руководствовался, «убирая» его. А что вы хотите от меия касательно Глазукова?

— Прежде всего узнать, где вы спрятали иаграбленное.

Кажется, слово «иаграблениое» шокировало его. Это уже было забавно.

— Награбленное?

— Награбленное, — подтвердил я. — Надеюсь, вы не собнраетесь ссылаться иа присущую вам с детства любознательность к содержимому чужих сейфов?

Вместо ответа он встал, широкоплечий, гибкий, отдернул штору, за которой скучал оперативник, н иронически спроснл у меня:

— Оружие вам сдать или этому... «товарищу»?

— Мне. А этот товарищ проводит вас.

— В Таганский допр?

— Совершенно верно. Подумайте там на досуге, Прозоров. Надеюсь, что следующая наша беседа будет более плодотворной.

— А я надеюсь, что ее вовсе не будет, — в тон мне ответил он.

К сожалению, высказаиная им тогда надежда осуществнлась: больше беседовать нам не пришлось... В ту же ночь бывшего агента первого разряда Московского уголовного розыска Прозорова, обвнивявшегося в убийстве двух человек, задушили во сне в камере Таганского допра. Так Хитровка расквиталась с ним за смерть Глазукова.

Смерть Глазукова, смерть Кустаря и смерть Прозорова... Ермаш счнтал, что расследование окончательно зашло в тупик и теперь придется все начинать сначала. Мы с Борипым и Павлом Суховым расценивалн перспективы более оптимнстично. Ведь сам факт вмешательства Прозорова в естественный ход развития событий был для дознаиия далеко не безразлнчен. Кто такой Прозоров? Почему он убил Кустаря и убил имеино тогда, когда тот хотел показать квартиру, где хранилнсь шкатулка работы Позье, экспонаты Харьковского музея и «Комплимент»?

На следующий день на квартире Прозорова был произведен

обыск. Похищенных у Глазукова драгоценностей там не нашли, но зато нам удалось обнаружить другое...

Из объяснительной записки Л. Б. Косачевского на имя начальника Центророзыска республики Ф. В. Ермаша

...Таким образом, утверждение бывшего агента первого разряда Московского уголовного розыска Прозорова, прикомандированного к бригаде «Мобиль», о том, что оружие было им применено в связи с попыткой подследственного Перхотина бежать, опровергается актами судебно-медицинской и криминалистической экспертиз, показаниями очевидцев происшедшего убийства гражданина Перхотина и другими материалами дознания.

Не вызывают никаких сомнений и многочисленные доказательства, свидетельствующие о вине Прозорова в убийстве и ограблении ювелира Глазукова, когда убийцей были похищены из сейфа известная табакерка работы Позье, числившаяся в списке драгоценностей «Алмазного фонда», реликварий XIII века, сделанный из золота и украшенный драгоценными камнями, шкатулки из лиможской эмали работы знаменитых мастеров прошлого, античные камеи и другие вещи.

Однако до настоящего времени не выяснены мотивы, коими руководствовался Прозоров при убийстве Перхотина. Не удалось также обнаружить похищенные из сейфа Глазукова драгоценности.

При обыске на квартире Прозорова сотрудниками Центророзыска найден портфель черной кожи с документами украинской анархистской организации «Набат» и бумагами, имеющими непосредственное отношение к Махно. По отзывам людей, знавших Прозорова, последний не интересовался политикой и не симпатизировал ни одной из существующих в России партий. Однако обнаруженные документы позволяют предположить, что Прозоров каким-то образом был связан с анархистами.

Из содержимого портфеля, изъятого при обыске на квартире у бывшего сотрудника Московского уголовного розыска Прозорова

К позиции, занятой конфедерацией «Набат» по узловым политическим вопросам:

«Принимая во внимание, что Советская власть стала могильщиком революции, что война Советской власти с буржуа и белогвардейщиной не может служить смягчающим обстоятельством в нашем отношении к Советской власти... конференция «Набат» призывает всех анархистов и честных революционеров к решительной непримиримой борьбе с Советской властью и ее институтами, не менее опасными для дела социальной революции, чем другие менее прикрытые ее враги — Антанта и Врангель...»

(«Набат», 1920, № 1—28)

К позиции Н. И. Махно:

Из выступления Махно в феврале 1919 года в Гуляйполе на Втором районном съезде Советов (245 делегатов от 350 волостей):

«Если товарищи большевики идут из Великороссии на Украину помочь нам в тяжелой борьбе с контрреволюцией, то мы должны сказать им: «Добро пожаловать, дорогие братья!» Но если они идут сюда с целью монополизировать Украину, скажем им: «Руки прочь». Мы сами сумеем поднять на высоту освобождение трудового крестьянства, сами сумеем устроить себе новую жизнь, где не будет панов, рабов, угнетенных и угнетателей».

После восстания, поднятого против Советской власти атаманом Григорьевым, командование Красной Армии направило 12 мая 1919 года Махно телеграмму: «Подошел решительный момент: или вы пойдете с рабочими и крестьянами всей России, или на деле откроете фронт врагам. Колебаниям нет места... Неполучение ответа буду считать объявлением войны...» Подпись: «Каменев».

В своей ответной телеграмме Н. И. Махно написал: «Я и мой фронт останутся неизменно верными рабоче-крестьянской революции, но не институтам насилия в лице ваших комиссариатов и чрезвычаек, творящих произвол над трудовым населением... Такие органы принуждения и насилия, как чрезвычайки и комиссариаты, проводящие партийную диктатуру, встретят в нас энергичных противников».

ИЗ ПРОЕКТА ДЕКЛАРАЦИИ К ПОДГОТОВЛЯЕМОМУ В 1920 Г. ПЯТОМУ РАЙОННОМУ СЪЕЗДУ КРЕСТЬЯНСКИХ И ПОВСТАНЧЕСКИХ ДЕЛЕГАТОВ:

«Народное повстанческое движение на Украине является началом Великой третьей революции (Первая — Февральская, вторая — Октябрьская), стремящейся к окончательному раскрепощению трудящихся масс от всякого рода гнета власти и капитала, как частного, так и государственного».

Попытки белогвардейского командования вступить в союз с повстанческой армией и использовать популярность Н. И. Махно в своих контрреволюционных целях:

Письмо белогвардейского командования, адресованное Махно:

«1. Оставаясь один, батько Махно рискует, находясь между двух огней, быть разбитым той или иной стороной, и его идеалы не будут так скоро осуществлены.

2. Его стремления могут во всей полноте быть проведены в жизнь при содействии Добрармии, которая сейчас, желая исправить старые ошибки, изменит совершенно свою политическую физиономию и ведет переговоры о союзе со всеми борющимися

против коммунистов армиями. Сговориться о будущем устройстве бывшей Российской империи можно будет потом, разбив коммунистов.

Глава седьмая

Фотография

I

Помимо портфеля с бумагами, найденного на квартире, в письменном столе Прозорова, Сухов отыскал пакет со старыми фотографиями. Одна из них привлекла мое внимание.

Но прежде о портфеле.

Хранящиеся в нем документы были типичной для набатовцев последнего времени демагогией, которая уже не могла обмануть не только рабочих и крестьян, но и подавляющее большинство самих анархистов, не связанных с конфедерацией. Набатовцы изжили себя, но не хотели сами себе в этом признаться.

Скатываясь все ниже и ниже, эта группка фанатиков и отщепенцев закономерно должна была закончить свой путь в политике прямым призывом «к решительной непримиримой борьбе с Советской властью и ее институтами, не менее опасными для социальной революции», по мнению набатовцев, чем Антанта и Врангель.

Ни для кого не была секретом и практическая политика Махно, который, свято блюдя принцип равноправия, добросовестно громил и грабил как белые тылы, так и красные. Позиция батьки, широко освещавшаяся в нашей печати, представлялась достаточно ясной: кулацкий бандитизм, прикрытый легким пропагандистским флером.

Не столь трудно было развеять туман и вокруг его дальнейших планов, которые, точнее говоря, следовало бы именовать мечтой. «Длинноволосому мальчугану» не терпелось превратить восстание против Советской власти на Украине в Великую третью социальную революцию, на этот раз анархистскую, всемирную, осененную пороховым дымом и черными знаменами, сметающую на своем пути все и вся. А там... А там кто его знает? Может, именно ему, Нестору Ивановичу, и суждено сыграть роль этакого анархистского мужицкого Наполеона...

Из всего содержимого черного портфеля единственное, что могло привлечь наше внимание и заставить задуматься, было письмо «болярина Петра», как именовали в церквах Врангеля, провозглашая ему, последней надежде русского православного воинства, здравие, и воззвание командира белогвардейского партизанского отряда имени Махно штаб-ротмистра Яценко, который с детской непосредственностью предлагал сомкнуть ряды, взяться всем за руки, полюбить друг друга и, проливая слезы умиления, тотчас же начать резать комиссаров.

Но и здесь главным было не содержание. О попытках Врангеля объединить все антисоветские силы, включая Махно и Петлюру, и о белогвардейцах, выдающих себя за махновцев, мы, конечно, знали. Но разве не любопытно, что на документах в портфеле едва-едва успели обсохнуть чернила, что их, как говорится, доставили в Москву на квартиру Прозорову с пылу с жару, тепленькими, с румянящейся и похрустывающей корочкой!

Кто же так расстарался и кому предназначались эти гостинцы, ежели покойный Прозоров действительно был далек от анархистов всех мастей и оттенков?

Исчерпывающий ответ на эти вопросы мог пролить свет и на фигуру самого Прозорова, поступки которого во многом представлялись загадочными, и на судьбу драгоценностей, похищенных покойным у Глазукова.

Поэтому предложение Павла Сухова организовать на квартире Прозорова засаду ни у меня, ни у Борина возражений не вызвало. Риск невелик, а польза могла оказаться большой: если повезет, сможем выявить связи Прозорова, разобраться в происшедшем.

Надо сказать, что нашим оперативникам недолго пришлось тосковать в бездействии. Уже на следующий день к дому подкатила пролетка, из которой с помощью извозчика выбрался благообразный седенький дедушка с тросточкой в руке и в высоких кожаных калошах, которые некогда носили биржевые маклеры и генералы в отставке. Старичок был не из бодреньких. Казалось, он готов рассыпаться от легкого дуновенья летнего ветерка. Но это только казалось.

Небрежно постукивая тросточкой по ступенькам, он, не останавливаясь для отдыха на лестничных площадках, резво взбежал на третий этаж и энергично нажал на перламутровую кнопку электрического звонка.

Посетителя ждали, поэтому дверь мгновенно распахнулась:

— Вам кто нужен?

— Товарищ Прозоров здесь... э-э... проживает?

— Ша, папаша, — интимно сказал оперативник и, приподняв старичка за шиворот, аккуратно внес его в переднюю, где так же аккуратно поставил на ноги.

Дверь за дедушкой с легким щелканьем захлопнулась.

— Вы... вы кто такой? — спросил старичок дрожащим от бешенства голосом.

— Я?

— Да, вы.

— Сотрудник уголовного розыска, красный Пинкертон.

— Нет, — затряс головой визитер, — ошибаетесь, глубоко ошибаетесь!

— А кто же? — придерживая старичка за воротник, с прежним благодушием поинтересовался оперативник, не забывая при этом прощупать карманы брюк, пиджака и жилетки.

— Палач! Опричник!

— Ну, знаете, папаша, за такие контрреволюционные слова не грех и по морде дать, — обиделся оперативник. — Будь я не при исполнении, а вы малость помоложе, не удержался бы...

— Я старый революционер.

— Бросьте, папаша!

— Я — Муратов!

— А я — Сергеенко.

На этом разговор агента уголовного розыска и патриарха русских бомбометателей, удостоившегося чести сидеть почти во всех тюрьмах Европы, Христофора Николаевича Муратова сам собой закончился. Но это вовсе не означало, что бурный поток возмущения иссяк. Просто он был временно перегорожен плотиной, которую тотчас же прорвало, как только Муратов переступил порог моего кабинета.

— Как это именуется на вашем ханжеском языке? — спросил он язвительно.

— Печальная необходимость, — отмерил я щедрую порцию грусти по поводу случившегося.

— Необходимость?!

Надо было в спешном порядке поправляться:

— Прискорбный факт, Христофор Николаевич.

— Не прискорбный, а возмутительный! — вскинулся он.

— Вы правы.

— Вам не стыдно смотреть после всего происшедшего в глаза демократической общественности?

— Стыдно, Христофор Николаевич, — признался я и даже зажмурился.

— Арестовывать старого политкаторжанина...

— Вы правы.

— Черт знает что!

— Абсолютно верно.

— Ведь это произвол!

— Грубейший.

Старичок смолк, долго смотрел на меня, а затем уже совсем иным тоном спросил:

— И долго вы еще собираетесь разыгрывать из себя идиота, Косачевский?

— Ровно столько времени, сколько вам потребуется, чтобы успокоить нервы.

— Гм... — хмыкнул он. — Это вы что, в интересах сыска?

— Нет, — смиренно объяснил я, — в интересах мировой анархии. Ведь я ваш старый поклонник, Христофор Николаевич.

— Не замечал.

— Естественно. Я не привык афишировать свои чувства.

— Фигляр вы, Косачевский!

— Не фигляр, Христофор Николаевич, а весельчак. Мы с вами как-то пришли к выводу, что все истинно русские люди весельчаки.

— Да, особенно Иван Грозный, — поддержал он. — Это, ка-

жется, он любил своих подданных в тесто запекать вместо начинки для пирогов?

— Он.

— Богатые традиции. Перенимать не думаете?

— Нет, Христофор Николаевич. Мы же интернационалисты, а не русофилы. А вот Щусь, говорят, у батьки Махно новые традиции вводит: вилкой глаза пленным выкалывает... Не слыхали?

Упоминание о Щусе Муратову не понравилось:

— Мне кое-что о вас Елена Эгерт рассказывала, Косачевский.

— Очередную сказку?

— Да нет... Здорово вы ее на допросе прижали. Вам бы в жандармы. Большую карьеру сделали бы!

— А больше она вам ни о ком не рассказывала, о Винокурове, например?

Личико Отца потемнело:

— Да, надула она нас тогда с ценностями «Фонда», — признался он. — Да и то сказать, надуть-то нас немудрено. Мы ведь не вы: мы к каждому человеку с открытой душой и открытым сердцем.

Мне показалось, что Муратов не столько расстроен фортелем, который выкинули Эгерт и Винокуров, сколько тем прискорбным обстоятельством, что я вопреки его надеждам оказался честным человеком и ничего не присвоил из ценностей. Он считал, что с моей стороны это просто непорядочно.

Отец всегда пытался отыскать у своих идейных противников что-нибудь ущербное, компрометирующее: хамоватость, скупость, болтливость, тщеславие, а на худой конец — наследственный сифилис или гонорею.

Так что ненароком я обидел старика, огорчил. Ну что мне, спрашивается, стоило положить в карман хотя бы одну из вещиц «Фонда», какое-нибудь там дешевое колечко, браслет?

Старик сморщился всем лицом и, с отвращением глядя на меня, спросил:

— Так зачем же я вам потребовался, Косачевский?

— Сформулируем вопрос несколько иначе, Христофор Николаевич, — предложил я. — Что вам потребовалось от Прозорова?

Он кособоко дернул плечом:

— Все заговоры ищете? Я вашего Прозорова и в глаза не видел.

— Тем более непонятно, почему вы вдруг оказались у него на квартире?

— Ему документы для меня оставили.

— Кто оставил?

— Затрудняюсь сказать. Фамилии этого товарища я не запомнил, а возможно, он ее мне и вовсе не называл. Мы ведь с ним в прошлый раз мельком виделись. Он тогда сказал, что у него поручение от Драуле, передал письмо — и все. А вчера телефонировал мне на квартиру и назвал адрес Прозорова.

Объяснил, что документы для меня там оставил, а сам ко мне заехать, к сожалению, не сможет — срочно уезжает.

— О каких документах шла речь? Об этих? — Я показал Муратову бумаги, найденные нами в черном портфеле.

— Возможно.

— То есть как — «возможно»?

— Какие именно документы мне должен был передать Прозоров, я не знаю.

— А кто же это знает?

— Драуле.

Из дальнейшей нашей беседы выяснилось, что Эмма Драуле, то самое произведение художника-кубиста, с которым я имел честь познакомиться у Муратова, не только благополучно добралась с моего благословения и с помощью Липовецкого до ставки Махно, но и пришлась там ко двору.

«Длинноволосый мальчуган» всегда считал себя фигурой международного масштаба. Приезд на Украину Драуле подтверждал это. Анархисты из далекой Америки и те интересуются батькой. Это не могло не льстить, и по приказу Махно Драуле предоставили, в достаточно приглаженном виде конечно, все интересующие ее материалы, начиная от поучительной и красочной биографии «вождя» и кончая его опытом насаждения основ анархизма в жизни крестьян и рабочих.

Человек обязательный и добросовестный, Драуле не забыла о своем московском покровителе. Поэтому ее обещания информировать Муратова о махновщине сразу же стали приобретать осязаемые формы.

Приблизительно две недели назад некий человек, ранее Муратову незнакомый, передал Отцу обширное письмо Драуле, в котором она описывала свои первые впечатления от батьки и его ближайшего окружения.

Это письмо завез Муратову тот самый неизвестный, который теперь адресовал его к Прозорову.

— Вы смогли бы опознать человека, который привез вам письмо Драуле?

Муратов хмыкнул и с любопытством спросил:

— Вы что ж, его тоже взяли?

— В данном случае речь идет о фотографии, — дипломатично сказал я. Но Муратов был не из тех воробьев, которых можно провести на мякине.

— Упустили, выходит? Что ж вы так опростоволосились? Ведь начальство вас за это по головке не погладит. Как вы думаете?

— Не погладит, Христофор Николаевич.

— То-то и оно, — усмехнулся он. — Как видите, недаром мы против всякой власти выступаем. Тот, кто у власти стоит, добряком не будет. Портит власть человека. Кропоткин как-то говорил, что власть можно доверить только ангелам, да и у тех скоро рога вырастут...

Я достал пухлый и потертый пакет с фотографиями.

— Ну-ну, что у вас там, покажите.

Муратов взял пакет, взвесил его на ладони:

— Фунта два потянет, не меньше... Поглядим.

Он по одной вытаскивал из пакета фотографии и, взглянув, небрежно кидал на стол.

На столе уже лежало десятка два карточек, когда я заметил, как в пальцах Муратова на какую-то долю секунды дольше других задержалась некая фотография.

— Знакомый?

— Нет.

Муратов поспешно, словно фотография жгла ему пальцы, бросил ее на стол и потянулся за следующей.

Перебрав все хранившиеся в пакете снимки, он собрал со стола карточки, перетасовал их, словно колоду игральных карт, и аккуратно вложил в конверт.

— Других фотографий нет?

— Нет.

— Весьма сожалею, Косачевский, но здесь я его не обнаружил.

— Ну что ж, на нет и суда нет, Христофор Николаевич.

— А документы, которые прислала Драуле, я смогу получить?

— Конечно, только попозже, через недельку. Как видите, власть меня еще не испортила и я вполне могу сойти за ангела...

Когда Отец вышел из кабинета, я вновь извлек из пакета фотографию, привлекшую его внимание. На ней был узколицый человек в черкеске.

Да, никаких сомнений: с ним я встречался у Корейши в Гуляйполе. Корейша говорил, что это его единомышленник.

Мечтал ли узколицый о Всемирном храме искусства, куда будут приходить паломники со всех концов мира, я не знал, но в том, что он имел какое-то отношение к Прозорову, ценностям «Алмазного фонда» и экспонатам Харьковского музея, я не сомневался.

II

После моего переезда, а вернее, перехода в 5-й Дом Советов (от предложения Ермаша переселиться к нему я отказался) в номере Липовецкого внешне как будто ничего не изменилось, разве что стало немного чище. И в то же время это уже был не прежний гостиничный номер, надежное пристанище двух неприкаянных мужчин. Теперь здесь жила семья. И номер как-то облагородился, смягчился, стал уютней и привлекательней. В нем появилось даже нечто неуловимо кокетливое.

— Что скажешь? — настороженно спросил Зигмунд, наблюдая за тем, как я внимательно рассматриваю комнату.

— Ничего.

— Ни одной гадости?
— Ни единой.
— Но желание высказаться есть?
— Нет.
— Странно. — Зигмунд незаметным движением ноги засунул под диван Идины туфли и прикрыл своим пальто валявшуюся на спинке стула юбку. — Не узнаю тебя.
— Я тоже.
— Располагайся. Скоро придут Ида с Машкой, чайку попьем.
— У меня к тебе дело, Липовецкий.
— Может, отложим?
— Нельзя.
Я достал из нагрудного кармана фотографию узколицего и объяснил, что мне требуется.
— Гляжу, не клеится у тебя расследование?
— Ничего, склеится. А без неудач в таком деле не обойтись.
— Фотографию мне оставишь?
— Если требуется.
— Ну а как же, надо будет товарищам показать. Заранее обещать что-либо не берусь, — сказал Зигмунд, — но, думаю, задача не из сложных. Кое-какие справки можно будет о нем навести. У меня есть несколько человек, которые в разное время крутились вокруг нашего «мальчугана».
— Сможешь сегодня меня с ними свести?
— Почему бы и нет? Сведу. Ты у себя на работе будешь? Я тебе телефонирую.
Зигмунд слов на ветер не бросал.
В тот же день вечером я уже располагал достаточно обширными, хотя и далеко не исчерпывающими сведениями о человеке с фотографии, который в ставке Махно был известен под фамилией Шидловского, но, кажется, имел еще одну или несколько других.
Гость Прозорова не был «природным» махновцем, как именовали в повстанческой армии тех, кто примкнул к батьке в восемнадцатом.
Появился он у Махно вместе с «атаманом партизан Херсонщины и Таврии», небезызвестным Григорьевым. Но к григорьевцам его тоже нельзя было отнести. Скорей всего это был деникинский офицер, который перешел линию фронта и оказался у Григорьева в марте 1919 года, когда Красная Армия, в том числе и входившие в ее состав григорьевцы, подошла к Одессе.
Вот в этот-то период в штабе Григорьева и появился Шидловский — или как парламентер, или как «честный офицер», последовавший пламенному призыву атамана оставить ряды Добровольческой армии и перейти на сторону трудящихся масс.
В дальнейшем Шидловский присутствовал при расстреле махновцами «атамана Херсонщины и Таврии», но не шевельнул пальцем, чтобы попытаться спасти Григорьева.
Все трое, с кем я беседовал о Шидловском в тот вечер, утвер-

дали, что он очень быстро завоевал доверие не только у Махно, человека эмоционального и очень переменчивого в своих симпатиях и антипатиях, но и у начальника контрразведки Зиньковского и у личного друга Нестора Махно и его брата Григория — бывшего матроса с мятежного броненосца «Потемкин» Дерменджи, которого обычно бросало в жар при одном лишь виде офицерских погон.

Какой-либо официальной должности в штабе, Реввоенсовете, а тем более в контрразведке Шидловский не занимал. Тем не менее его всюду знали и он пользовался влиянием. Оно, видимо, объяснялось не только его личными качествами, но и услугами, которые он оказывал Махно, хотя о характере этих услуг оставалось лишь догадываться. Один из моих собеседников, бывший сотрудник конфедерации «Набат», поддерживавший постоянную связь с культотделом махновской армии, худой человек с чахоточным лицом, некто Василий Соловей, теперь работающий в Москве, в типографии Сытина, говорил мне, что Шидловский использовал в интересах Махно свои старые знакомства среди офицеров деникинской армии.

Он бывал в Екатеринославе, Одессе и других захваченных белыми городах, где имелись подпольные анархистские организации разных направлений.

Мой бывший товарищ по семинарии, организатор Всероссийского союза богоборцев и сотрудник культотдела армии батьки Махно, основатель новой религии и «великий жрец Всемирного храма красоты» Володя Корейн был значительно менее известен, чем Шидловский.

«Блаженный», — коротко охарактеризовал его тот же Василий Соловей.

Увы, сотрудники культотдела махновской армии, хотя мыслили только мировыми категориями, особым уважением не пользовались.

Впрочем, о самом Корейне и о его занятиях знали, хотя и не придавали им значения: дескать, чем бы дитя ни тешилось...

— Шидловский, случаем, не участвовал в сборе картин, скульптур, ювелирных изделий?

— Для Храма красоты, что ли? Пустое дело!

— Дело, возможно, и пустое, но помощь-то он Корейну оказывал?

— Может, и оказывал, не знаю, — покачал головой Соловей.

— А он бывал у Корейна?

— Кто его знает! Раз или два видел их вместе, да только так думаю, что Шидловский больше для забавы с этим Корейным знакомство водил, хотя сам батька привечал Корейна, даже в сарай к нему ходил картины глядеть.

Еще меньше, чем с «великим жрецом Всемирного храма красоты», повезло мне с Прозоровым. Никто из троих его и в глаза не видал. В искренности моих собеседников я не сомневался. Похоже было, что Прозоров непосредственного отношения к махновцам не имел. Не опознали Прозорова, впрочем как и Шид-

ловского, и легальные анархисты Москвы (фотографии демонстрировались пятидесяти двум анархистам различных направлений).

Я склонялся к тому, что давние отношения между Шидловским и Прозоровым носили не политический, а деловой или даже сугубо личный характер, а о том, что они были знакомы давно, свидетельствовала сама фотография Шидловского. Снимок был сделан, по меньшей мере, лет восемь назад.

Нам требовались сведения о Прозорове. Павел Сухов с присущей ему педантичностью расспрашивал о нем сотрудников уголовного розыска и соседей по дому. Результаты оказались более чем скромные и несколько странные.

Среди товарищей по работе Прозоров считался рубахой-парнем. Весельчак, балагур.

С кем, помимо товарищей по работе, встречался? Кто его знает. Жил будто как все...

Приблизительно так же отзывались о нем и соседи. Чтобы пьянствовать там, хулиганичать — ни-ни. Во всем скромность и поведение соблюдал. Товарищи? Нет, не водил в дом товарищей. А ежели и приводил, то все чинно. Посидели, поговорили — и по домам. И благородство опять же. Ни в чем соседа не обидит.

Таким образом, на страницах дела о розыске драгоценностей монархической организации «Алмазный фонд» появились два Прозорова, совсем непохожие друг на друга.

Один из них был свойским рубахой-парнем, балагуром и весельчаком, который жил открыто, с душой нараспашку, ничего не скрывая.

Другой — человек с подозрительными связями, скрытный, расчетливый, корыстный и жестокий.

Эти два образа никак не сливались в один.

Где же подлинный Прозоров, а где подделка?

«Будто девица на выданье», — сказала о нем одна соседка. Несмотря на то что ситуация была не из веселых, это определение не могло не вызвать улыбку. Как-никак, а «девица на выданье», не моргнув глазом, отправила на тот свет двух человек. Причем убийство и ограбление Глазукова были продуманы до мельчайших деталей и осуществлены с предельным хладнокровием. С Кустарем, верно, накладки. «Девица на выданье» тут немного поспешила и не учла ряда обстоятельств. С Кустарем, конечно, было сработано грубо, как говаривали некогда на Хитровке, «на хапок».

И все-таки чем помешал Прозорову Кустарь?

Если на убийство члена союза хоругвеносцев его подтолкнула корысть — он знал, что в сейфе ювелира хранятся знаменитая табакерка работы Позье, ценные вещи из Харьковского музея, — то от Кустаря он абсолютно ничем не мог поживиться. В этом смысле «девица на выданье» ни на что не могла рассчитывать. Корысть отпадала.

Тогда что?

Улиманова утверждала, что видит Прозорова впервые и что Кустарь никогда с ним раньше знаком не был.

Почему же Прозоров со своей малоубедительной версией убийства при попытке к бегству стреляет все-таки в Кустаря и убивает его?

Зачем? Для чего? С какой целью?

Все это казалось мне головоломкой. Но, видно, не зря ангел-хранитель Борина позволил своему подопечному в младые годы играть в сыщиков-разбойников, а в зрелые определил на вакантное место в сыскной полиции. В отличие от моего ангела, который никак не знал, куда меня сунуть — то ли в церковники, то ли в революционеры, могущественный покровитель Борина сразу же сумел правильно оценить таланты своего подопечного. Петр Петрович был прирожденным сыщиком. В этом я убедился лишний раз, когда благодаря ему головоломка с убийством Кустаря перестала быть головоломкой. И оставалось лишь удивляться, как мы до всего этого не додумались раньше.

Уже по лицу Борина, когда он вошел ко мне в кабинет, было видно, что произошло что-то из ряда вон выходящее.

— Новости?

— Кое-какие, — и он пикой выставил вперед свою остроконечную бородку.

— Убийство Кустаря?

— Да, — подтвердил он, не пытаясь делать вид, будто поражен моей прозорливостью.

— Садитесь и рассказывайте.

Борин сел, аккуратно поддернув, как всегда, идеально выглаженные брюки.

Да-с, Леонид Борисович, можете, конечно, улыбаться, но это так. Именно так. Только так.

— Если бы всевышний дал Кустарю память похуже, он бы остался жив, — загадочно сказал Борин и нежно погладил свою бородку. — Помните, как писали раньше в дурных романах? «Пал жертвой собственной памяти». Прозоров не собирался его убирать. Он к этому не готовился, потому так неуклюже и выкручивался. С Глазуковым все заранее было продумано, а тут...

— Экспромт? — вспомнил я Иду Липовецкую.

— Ежели вам угодно.

— А зачем ему потребовался сей экспромт? Чем ему помешал Кустарь?

— В том-то все и дело. Кустарь, сам того не зная, за горло Прозорова взял. Помните, он как-то обмолвился на допросе, что входная дверь в пещеру Аладдина, где его все эти сокровища дожидались, была обита то ли клеенкой, то ли кожей зеленого цвета?

Не могу сказать, что память тут же пришла мне на помощь, но я все-таки кивнул головой.

— Так вот, — продолжал Борин, — как вам известно, эти дни мы обследовали квартиры всех девяти доходных домов в районе Покровки. Среди ста двадцати трех квартир лишь в

двух двери оказались обиты зелеиым. Одиа такая квартира находится на пятом этаже доходного дома Ругаева на Покровском бульваре...

— Общежитие коммуны «Красный факел»?

— Да-с, общежитие. Там, поиятно, никакого ограбления не было и не могло быть. Что там возьмешь, кроме пригоршни вшей? Так что дом Ругаева сразу же отпал.

— А где же оказалась вторая квартира с зелеиой дверью?

— В Белгородском проезде, Леоиид Борисович.

— В каком доме?

— В доме Котова.

— Это там, где Прозоров жил?

— Да-с, там, где Прозоров.

— Уж не хотите ли вы сказать, что Кустарь ограбил квартиру Прозорова?

— Именно так. Дверь этой квартиры обита зеленой клеенкой.

— Может быть, совпадение?

— Мы несколько раз перепроверялн, Леонид Борисович. Ошибка исключена. И драгоценности «Алмазного фонда», и экспонаты Харьковского музея Кустарь похитил там. И письмо, видно, там же хранилось.

— Но, может быть, квартира была ограблена Кустарем при прежием съемщике?

— Нет, Прозоров тогда уже жил здесь. Ои вселился сразу же после выписки из госпиталя. Ои-то и обил зелеиой клеенкой дверь. Такую клеенку выдавали по ордерам в пятнадцатом распределителе.

Итак, человек, которого мы с Бориным столько времени разыскивали, пытаясь разгадать тайну письма и отыскать драгоценности «Фонда», находился, оказывается, рядом с нами, в здании Центророзыска. И хотя плясали мы, как и положено, от печки, а ни до чего путного не доплясались.

— Прозоров не был в курсе подготовленной нами операции, — сказал Борин. — А когда сообразил, куда и зачем Кустарь его ведет, то...

Да, Кустаря погубила память, а Прозорова — нервы. Прояви он тогда немного выдержки — и вряд ли бы Борин добрался до квартиры с зеленой дверью...

Но чего сама по себе стоит теперь эта квартира!

III

«Тупик» — это полюбившееся Ермашу слово мы тщательно избегали, но иной раз оно вертелось на языке у меня самого.

Что поделаешь, вся история с квартирой Прозорова и с ним самим представлялась настолько несуразной, а главное — перекрывающей основные пути дальиейшего розыска, что после нее трудно было говорить о перспективах. Практически теперь вся надежда сводилась к Шидловскому. Предполагалось, что он

попадет в засаду, которую мы по-прежнему держали на квартире Прозорова. Если Шидловский бывал у Прозорова раньше, то, видимо, должен появиться и теперь. Но уж слишком много здесь было всяческих «если».

Да и когда Шидловский может зайти или заехать к Прозорову? Через неделю? Через две? Через месяц?

Да, проморгали Прозорова, проморгали! И когда Ермаш с предельно простодушной улыбкой вспомнил как-то о своей бабушке, которая целый день разыскивала очки, оказавшиеся у нее на носу, я только смог ему ответить еще более широкой улыбкой, настолько простодушной, что на лице Ермаша мелькнуло что-то вроде сочувствия.

— Да ты уж слишком, Косачевский, — сказал он. — Как вышло, так вышло... А об «Алмазном фонде» можешь покуда мне не докладывать. Поговорим о других розыскных делах. Всему свой черед. — И не удержался: — Эгерт ты показывал фотографии Прозорова и Шидловского?

— Показывал.

— Ну?

— Прозорова будто видит впервые.

— А Шидловского что, опознала?

— Говорит, что это Жакович.

— Кто?

— Офицер, который после казни Каляева помогал его семье, а в восемнадцатом финансировал попытку освободить в Алапаевске сестру царицы — Елизавету Федоровну.

— Тот, что ездил вместе с Уваровой и Эгерт на Валаам к Олегу Мессмеру?

— Вот-вот. Я еще тогда Сухова для проверки в Петроград посылал.

— Помню. Уверена, что Жакович?

— Уверена.

— Этого еще здесь для пущей путаницы не хватало, — со злостью сказал Ермаш. — Паршивое дело!

Что и говорить, паршивое. Уж такое паршивое, что дальше некуда!

Ни одно дело, которым занималась бригада «Мобиль», не было связано с таким неимоверным количеством неудач, как розыск сокровищ «Алмазного фонда». Чехарда фактов, обилие версий, нагромождение самых разнородных событий и ошибки. Бесчисленные ошибки.

Казалось, судьба не то что подсмеивается, а просто издевается над нами, заманивая в тот или иной тупик гигантского лабиринта с бесчисленным количеством перекрещивающихся между собой ходов и переходов.

И все же, как я неоднократно убеждался, судьба вовсе не стремилась полностью лишить нас надежды на благополучный исход. Вдоволь поиздевавшись, она не забывала и обнадежить, подбросив тот или иной подарок.

К таким подаркам своенравной судьбы, которую покойный

Артюхин почтительно именовал богом («Бог не обидит: бабу отымет, так девку даст»), я бы отнес письмо Харьковского губернского уголовного розыска, полученное вскоре после открытия, сделанного Бориным относительно зеленой двери, и долгожданный приезд в Москву комиссара бандотдела Харьковской ЧК Сергея Яковлевича Приходько.

Письмо из Харькова было ответом на нашу ориентировку. Узнав от Эгерт, что Галицкий отобрал из ценностей «Фонда» ряд вещей для реализации, мы отправили в некоторые управления и отделы уголовного розыска соответствующие сообщения. Мы просили в случае обнаружения той или иной ценности «Фонда» принять меры к ее изъятию и незамедлительно сообщить об этом в Центророзыск.

Шансов на успех, учитывая условия гражданской войны, организационную неразбериху и всяческие неурядицы, было, конечно, мало. Но угадай, где потеряешь, а где приобретешь. И вот пожалуйста, неожиданно выскочило на поверхность пресловутое «авось», про которое никогда не забывал многоопытный и великомудрый Борин.

На этот раз «авось» имело форму официального письма с бледно-лиловым штампом, исходящим номером, датой и художественно выполненной подписью в овальном орнаменте завитушек.

Харьковское «авось» в лице начальника губернского уголовного розыска сообщало, что при обыске на квартире у Павла Алексеевича Уварова, подозреваемого в скупке и спекуляции золотом и валютой, среди прочих подлежащих изъятию вещей, спрятанных в отхожем месте (к письму прилагалась фотография отхожего места, являвшаяся наглядным свидетельством того, что бывшему тобольскому вице-губернатору пришлось в Харькове поступиться привычным комфортом), обнаружен мужской перстень с крупным сапфиром. На сапфире изображен Геркулес, вооруженный палицей, с наброшенной на плечо шкурой льва и оливковой ветвью в руке.

В качестве эксперта в уголовный розыск был приглашен «музраб». Сей «музраб», то есть работник музея, и дал заключение, что этот перстень в присланном нами описании драгоценностей «Алмазного фонда» именуется «перстнем Калиостро», «хотя не имеет, как научно доказано, никакого касательства к этому итальянскому авантюристу восемнадцатого века».

Об Уварове, одном з немногих членов «Алмазного фонда», застрявших в России, мы имели некоторые сведения от нашего сотрудника Ягудаева, который прислал из Екатеринбурга обнаруженные в архивах колчаковского департамента милиции документы о розыске ценностей «Алмазного фонда».

После Екатеринбурга Ягудаев отправился в Тобольск, где навел справки об Уваровых и матери Бориса Галицкого, вдове чиновника по особо важным поручениям при тобольском генерал-губернаторе, Марии Трофимовне Галицкой.

Ягудаев сообщил в Центророзыск, что чета Уваровых прожи-

вала в Тобольске до лета восемнадцатого года, а затем переехала куда-то на Урал. Но в начале девятнадцатого Павел Алексеевич Уваров (кузина братьев Мессмер к тому времени перебралась в Харбин) трижды был в Тобольске, где неизменно навещал Галицкую и подолгу с ней беседовал.

К моменту приезда в Тобольск Ягудаева мать террориста, полуослепшая старуха, находилась в глубоком старческом маразме. Зато опрос ее приживалки, пожилой, но бойкой женщины с ясным умом и неплохой памятью, дал далеко не безразличные для нас сведения.

Так, в частности, мы узнали, что визиты Уварова к старухе если и не были инспирированы колчаковской контрразведкой, разыскивающей неугомонную группу Галицкого, которая или готовила очередное покушение на читинского диктатора атамана Семенова, или пыталась подстрелить, как зайца, «бесстрашного рыцаря» чешского воинства генерала Гайду, то уж, во всяком случае, были весьма далеки от филантропии.

Несчастная старуха и ее судьба не занимали Уварова. Его интересовали лишь ценности «Фонда», которые, по его предположениям, все находились у Галицкого. Уваров пытался запугать Галицкую, грозил ей земными и небесными карами, хотел с ее помощью вступить в какое-то соглашение с террористом. Но, кажется, с Галицким ему встретиться не удалось.

Со слов той же приживалки Ягудаев сообщал, что Галицкий приблизительно в то же время, что и Уваров, несколько раз тайно, преимущественно по ночам, навещал мать. Затем он исчез. А в начале двадцатого какой-то приезжий сообщил Галицкой, что Бориса уже нет в живых. Где, когда и при каких обстоятельствах он погиб, приживалка не знала.

Весть о смерти сына окончательно доконала старуху. Она перестала узнавать знакомых, начала заговариваться.

Предполагая, что Галицкий действительно мог хранить ценности в доме у матери, Ягудаев с помощью работников Тобольской милиции произвел обыск, но ничего там не нашел.

Что же касается Уваровых, то, по собранным Ягудаевым сведениям, кузина братьев Мессмеров была из Харбина переправлена заботливым супругом в Японию, где уже обосновался дальний родственник Уваровых, успевший заблаговременно перевести в Токийский банк солидную сумму в твердой валюте, что являлось надежным залогом гостеприимства, доброжелательности, искреннего сочувствия и горячей любви.

Сам же Павел Алексеевич то ли из патриотизма, то ли из какого иного, менее благородного, чувства решил пока Россию не покидать и отправился к далеким и манящим берегам Черного моря.

И вот он объявился в Харькове. Не в роли идейного противника Советской власти, члена «Алмазного фонда», борца, монархиста, а в роли спекулянта, хранящего свое достояние в отхожем месте. В этом была некоторая символика.

Но в данном случае меня интересовало совсем иное: как

«перстень Калиостро» перекочевал от Галицкого к Уварову? Может быть, бывший командир анархистского отряда «Смерть мировому капиталу!» хранил драгоценности все-таки в Тобольске в доме матери и Уварову удалось их каким-то образом выманить или просто отобрать у старухи?

А может, Уваров вопреки показаниям приживалки все-таки встречался с Галицким в Тобольске или где-то еще и между ними состоялась сделка?

Но, как бы то ни было, бывший тобольский вице-губернатор Павел Алексеевич Уваров, член монархической организации, созданной для освобождения царской семьи, и «перстень Калиостро», который сын чиновника по особым поручениям при тобольском губернаторе Борис Галицкий намеревался продать, чтобы уничтожить ту же самую царскую семью, забросав бомбами особняк Ипатьева в Екатеринбурге, заслуживали того, чтобы, не искушая судьбы и проглянувшего сквозь тучи манящего «авось», немедленно выехать в Харьков, препоручив все московские дела Борину и Сухову.

Чем черт не шутит, может, в Харькове на какой-нибудь скромной улочке, в не менее скромном домике, где-то в нужнике, вроде того, что изображен на присланной нам фотографии, и покоится разыскиваемый нами ключик?

Но когда я давал последние указания Петру Петровичу и Сухову, который, расследуя крупное хищение, давно уже мечтал приобщиться к розыску ценностей «Алмазного фонда», по узкой, как дорога в рай, лестнице Центророзыска, опираясь на трость, тяжело поднимался светловолосый человек с коротким носом, широким ртом и длинным мандатом.

Льняные волосы и курносый нос говорили сами за себя. Хромота свидетельствовала о ранении. Что же касается мандата, то он, по замыслу его создателей, должен был вызывать у всех глубокое почтение, некоторый страх и надежно защищать своего владельца от обывательского равнодушия, бюрократизма, контрреволюционного саботажа и прочих опасностей, которые могли помешать ему выполнить свой долг во время пребывания в столице.

Несмотря на то что его приход прервал совещание, я, не дочитав до конца мандата, предложил ему стул. Борин, не задумываясь, угостил папиросой. Хвощиков, успешно осваивавший послереволюционный лексикон, выразил надежду, что погода в Харькове «на ять», а Сухов поспешно отправился в комендатуру распорядиться насчет самовара.

Короче говоря, по выражению самого гостя, комиссара бандотдела Харьковской ЧК Сергея Яковлевича Приходько, приняли его в Центророзыске «по першему классу».

Учитывая, что большинство бандотделов губернских ЧК — и в России и на Украине — работало в таком тесном контакте с органами уголовного розыска, что никто не мог толком разобраться, где кончается бандотдел, а где начинается уголовный розыск, я не сомневался, что смогу получить от Приходько

исчерпывающие сведения об Уварове, его окружении и загадочном нужнике, где, помимо «перстня Калиостро», хранились, видимо, другие интересные вещи. Но увы, каждый человек — неизменный должник. Как муха в паутине, он постоянно бьется в бесчисленных долгах: товарищеском, родственном, долге чести, совести, приличия. Я же был по рукам и ногам опутан долгом гостеприимства. И этот проклятый долг мешал сразу же приступить к делу. Расплачиваясь по нему, следовало вначале побеседовать не о каких-то там спекулянтах валютой, а о вещах солидных, серьезных, волнующих каждого честного и солидного гражданина: о положении на фронтах, о том, что творится в деревне, о снабжении продовольствием в Харькове и Москве, о совещании в ВЧК, на которое и приехал Приходько. Потом нужно было выразить сочувствие бандотделу Харьковской ЧК, который пока не может ничего найти из расхищенных бандой Лупача экспонатов музея, кроме изъятых у Кробуса двух гемм и медали работы Витторио Пизанелло...

Что поделаешь! Мы лучше, чем кто бы то ни было, можем понять те трудности, с которыми сталкиваются сотрудники бандотдела. Но нет никаких сомнений, что рано или поздно Харьковская ЧК вернет народу все, что хранилось в музее. Что же касается нас, то мы со своей стороны постараемся оказать харьковчанам посильную помощь...

И вот тут моя тирада была прервана коротким, но внушительным «ни», произнесенным нашим гостем. Хотя я не был знатоком украинского языка, но все-таки понимал, что «ни» обозначает «нет».

— Простите?.. — выставил вперед свою остроконечную бородку Борин. — Вы отказываетесь от сотрудничества с нами?

— Ни.

— П-постой, Сергей Яковлевич, п-постой, — сказал Сухов, имевший привычку переходить с человеком на «ты» после первой же кружки чаю. — Что — «ни»?

— Не лезь поперед батьки в пекло, — остановил его комиссар бандотдела. Он не торопясь допил чай и, не прибегая уже к «украинской мови» (как я потом узнал, несмотря на свою фамилию, он всю жизнь прожил в Костроме, а в Харьков его забросила гражданская война), сказал:

— Мы не три музейных экспоната нашли, а двести.

От неожиданности Павел обжегся кипятком и заговорил по-украински:

— Скильки?!

— Двести, друг ситцевый.

— Пяток, мабуть?

— Двести.

— С привиранием?

— Да нет, — заверил его Приходько. — Тильки для счету. Ровненько чтоб было.

— Вроде как бы для округлости?

— Для ее самой.

— А списочек-то имеется? — с той же деликатностью спросил Борин, стремясь уточнить размеры «малости», которая потребовалась Приходьке для «округлости».

— Имеется, имеется, — успокоил Борина Сергей Яковлевич. — Сейчас пошукаем.

— Мабуть, и н-найдем, — съехидничал Павел.

— Найдем, парубок, найдем, — заверил его Приходько. Он извлек из офицерской полевой сумки сложенные вчетверо листы бумаги. — Дывысь, парубок, и завидуй. Нашими доблестными ребятами найдено, изъято и возвращено трудовому народу сто шестьдесят девять экспонатов музея.

Действительно, в списке насчитывалось сто шестьдесят девять предметов.

Тут были златники Владимира Равноапостольного и восемь золотых монет Дмитрия Донского с именем хана Тохтамыша на оборотной стороне, пять золотых лидийского царя Креза, одна из двух серий исторических медалей, выбитых при русской императрице Екатерине II, геммы и многие другие ценности из богатейших коллекций музея.

В отличие от нас харьковчанам было чем похвастать. И если Приходько округлил, то самую малость, причем эта «малость» действительно была невелика. Выходило, что Харьковскому музею возвращено более половины разграбленных Лупачом экспонатов.

— Ну как? — спросил Приходько.

— З-здорово, — откликнулся Павел.

— Так-то, парубок.

— Гляжу я на список, тай думку гадаю... — сказал я.

— У кого нашли, где нашли и как нашли? — подхватил Приходько. — За тем к вам и заявился.

— Кстати, мы тут письмо из Харьковского уголовного розыска получили относительно одной из вещей «Алмазного фонда», — сказал я.

— О «перстне Калиостро», который в нужничке у гражданина Уварова обнаружили?

— Совершенно верно.

— Знаю, — кивнул Приходько. — И про письмо знаю, и про Уварова, и про нужничок. Ведь на тот нужничок я их вывел. Там немало и экспонатов музея было. Уж так получилось, что переплелось все. Вот с чего только начать?

— Может, с н-начала? — предложил Сухов.

— А где оно, начало-то? — сказал Приходько. — Куда ни ткнешь, всюду середина. Ну да ладно, нехай.

Значит, так. О том, что нами задержан спекулянт Кробус с двумя геммами и золотой медалью, мы вам сообщали. Верно? Ну вот. А допрашивал того Кробуса я. Самолично.

Скользкий гражданин, доложу я вам: ни за руку не ухватишь, ни за ухо. Будто салом смазали. И так я его, подлеца, вертел и этак — ни в какую. И чего только не вытворял!

Вроде как игру со мной какую затеял. В глаза смеется.

Провожу у него обыск. Не по форме — по совести. Весь дом по кирпичикам, каждую половицу на ощупь.

Пустышка!

Обыск у евонного брата — пустышка!

Обыск по малинам да у друзей-приятелей — пусто.

Что дальше-то делать? Ума не приложу. Всем своим пролетарским нутром чувствую, что возле да около хожу, а до сути никак не доберусь. Будто колдовство какое.

И остаться бы мне при одной той медальке да при собственном интересе, ежели б не хитрость Кробуса... Ух хитрован был!

Вызывает меня через недельку начальство. Хмурится. Ну, дело ясное: по всему видать, откуда ветерок дует. Стою руки по швам, как положено.

«Долго еще, — говорит, — дорогой товарищ Приходько, собираетесь революционную законность нарушать?»

Молчу, а сам в угол поглядываю, где неимоверной красоты дама сидит. Не дама — королева. Ну, будто с картины. Кто такая?

А начальство говорит:

«Это, товарищ Приходько, сестра гражданина Кробуса, что за вами числится. И написала она заявление о незаконном двухнедельном содержании в тюрьме своего родного брата. И судя по документам дела, обоснованное заявление. Так что, дорогой товарищ Приходько, сами понимаете...»

«Так точно, — говорю, — понимаю: раз веских доказательств вины Кробуса нет, значит, надо выпускать. Ничего не поделаешь и ничего не попишешь — законность. Пускай дышит всеми своими жабрами и дальше спекулирует, покуда по-настоящему не загремит. А потому, — говорю, — пусть эта миловидная гражданочка вытрет свои горючие слезы кружевным платочком и спокойненько почивает. С революционной законностью спору у нас нет — выпустим братца».

Начальство довольно. Дама всеми своими жемчужными зубками, как на экране синематографа, улыбается. А я грущу будто: тяжко, дескать, жулика выпускать.

Да только грусть та для вида...

Выхожу из кабинета — плясать хочется. Так бы и пошел вприсядку, ежели б не нога пораненная.

Влип, думаю, хитрован. По самую макушку влип.

Ведь я того Кробуса и всю его родню до сотого колена за прошедшие полмесяца вдоль и поперек доисследовал. И нрав, и биографию, и где у кого на каком месте бородавка растет или чирей вызревает. А ежели вызревает, то какой спелости и сочности. А потому досконально знаю: нет сестры у Кробуса. Братья есть, верно, а сестры нет. Значит, что? Вот то-то и оно...

Выпустили мы Кробуса. Ну, понятно, не одного — с «хвостиком». Все чин чинарем. А сами о «королеве» стали справочки наводить. Оказалось, что при деникинцах она с офицерами

контрразведки хороводилась, всякие там картинки, камешки драгоценные да вещицы из золота коллекционировала. Ну и со спекулянтами на «черной» бирже пасьянсы раскладывала. А когда Советская власть установилась, то и такой мелюзгой, как Кробус, не брезгала. По домашности-де все пригодится.

Много чего о «королеве» узнали. А как узнали — с обыском к ней нагрянули.

Вот тут она и заплакала горючими слезами в кружевной платочек. И не зазря — было с чего плакать: тридцать семь старинных золотых монет изъяли да пяток золотых медалей.

Ну и пошли вопросики: как так — муж дьяк, а жена попадья?

Молчит. День молчит, другой, а там, глядишь, и заговорила. Стала на Кробуса капать. Так хитрована обкапала, что места живого не сыщешь. Уж он мне и то жаловался: «Выть, — говорит, — мне волком за мою овечью простоту!»

А там, глядишь, вывела «королева» и на Уварова...

Когда я слушал Сергея Яковлевича, у меня мелькнула некая мысль, а вернее, предположение — маловероятное, а потому и соблазнительное.

— Как фамилия дамы?

— «Королевы»-то?

— Ее самой.

— Ясинская.

— Ванда?

— Ванда. Ванда Стефановна Ясинская, — удивленно подтвердил Приходько, не забыв все-таки налить себе очередную кружку чаю.

С гостем из Харькова мы проговорили до вечера.

К концу нашей беседы я показал Приходьке несколько фотографий, в том числе фотографии Шидловского-Жаковича, Прозорова, Галицкого и Винокурова.

— Этого раньше видел, — сказал он, указывая на снимок Шидловского-Жаковича.

— Когда? Где?

— В Харькове, осенью девятнадцатого. Я тогда в подполье связным был. С партизанами связь поддерживал. Раза два видел его. Вот и запомнился. Офицер, фамилии не знаю. Будто в контрразведке служил. Вы о нем Леонова поспрашайте. Он уж лучше, чем кто иной, знает. Все, что треба, от его получите — и что и как.

— Кто это Леонов?

— Василий Никанорович Леонов, — сказал Приходько. — Он в девятнадцатом был членом Харьковского подпольного большевистского ревкома. А теперь в Москве живет. Говорили, будто в ВСНХ служит. Поищите его.

Из стенограммы допроса гражданки Ясинской В. С., произведенного в городе Харькове инспектором бригады «Мобиль» Центророзыска РСФСР тов. Суховым П. В.

СУХОВ. При обыске, учиненном у вас на квартире агентами Харьковской ЧК, были обнаружены старинные золотые монеты, медали, серьги в виде бриллиантовых каскадов с грушевидными сапфирами, серебряная брошь, представляющая собой узорчатую двенадцатиконечную звезду с пятью крупными бриллиантами в оправе из черного цейлонита, а также золотой кулон с голубым бриллиантом весом девять каратов тройной английской огранки. Что это за драгоценности и каким образом они у вас оказались?

ЯСИНСКАЯ. Я уже давала пояснения следователю ЧК. Старинные монеты и медали принадлежали моему другу, который, нуждаясь в деньгах, просил меня и гражданина Уварова продать их. Не имея должного опыта в финансовых операциях такого рода, я вынуждена была прибегнуть к услугам гражданина Кробуса как человека, сведущего в нумизматике и коммерции. Часть ценностей была ему обещана в качестве вознаграждения за хлопоты.

Серьги, брошь и кулон с голубым бриллиантом являются моей собственностью и принадлежали мне задолго до революции. Серьги и кулон получены на бенефисах в Варшаве и Петрограде, а брошь досталась в наследство от дяди, умершего в 1913 году в Кракове.

СУХОВ. Как фамилия вашего друга-коллекционера?

ЯСИНСКАЯ. К сожалению, вы его не сможете допросить: он погиб еще в ноябре прошлого года. Вы же не допрашиваете мертвых? Или уже и этому научились? Монеты и медали — память о нем.

СУХОВ. Память не о нем, а память об ограблении поезда.

ЯСИНСКАЯ. Что вы этим хотите сказать?

СУХОВ. Вы не ответили на мой вопрос о фамилии вашего друга.

ЯСИНСКАЯ. Винокуров.

СУХОВ. Юрий Николаевич Винокуров?

ЯСИНСКАЯ. Да.

СУХОВ. Заместитель начальника харьковской контрразведки?

ЯСИНСКАЯ. Я никогда не интересовалась чинами и должностями своих друзей. Я его лишь знала как очаровательного человека и чудака-коллекционера. Разве этого недостаточно?

СУХОВ. Заключением экспертизы установлено, что обнаруженные у вас старинные золотые монеты и медали принадлежат Харьковскому музею. Вы этим заключением, разумеется, тоже не интересовались?

ЯСИНСКАЯ. Нет, не интересовалась. Надеюсь, вы не собираетесь обвинять меня в ограблении музея?

СУХОВ. Нет, не собираюсь. Но против вас имеются другие обвинения...

ЯСИНСКАЯ. Такие же вздорные?

СУХОВ. Вы помните о своем пребывании в Омске?

ЯСИНСКАЯ. Смутно. Это было так давно.

СУХОВ. Попытаюсь вам напомнить. По документам колчаковского Омского управления государственной охраны — вот они — серьги-каскады, которые якобы получены вами во время бенефиса в Варшаве, в действительности являлись собственностью госпожи Бобровой-Новгородской, пожертвовавшей их в семнадцатом году монархической организации «Алмазный фонд».

ЯСИНСКАЯ. Это ложь. Светозаров просто хотел скомпрометировать моего друга и покровителя генерала Волкова.

СУХОВ. Вы знаете Елену Петровну Эгерт?

ЯСИНСКАЯ. Немного.

СУХОВ. У нее одно время хранились ценности монархической организации «Алмазный фонд», в том числе и серьги-каскады. Я могу устроить вам очную ставку с ней. Хотите?

ЯСИНСКАЯ. У меня нет никакого желания встречаться с ней. Думаю, в этом вообще нет необходимости. Меня вполне устраивает ваше общество.

СУХОВ. Тогда говорите правду.

ЯСИНСКАЯ. Я стараюсь. Просто мне не всегда это удается.

СУХОВ. Как у вас оказались серьги-каскады?

ЯСИНСКАЯ. Мне их подарили.

СУХОВ. Кто и где?

ЯСИНСКАЯ. Винокуров. Во время моего посещения Екатеринбурга. Я там гостила у подруги.

СУХОВ. Почему же вы сказали генералу Волкову, что приобрели эти серьги у ювелира Кутова на деньги, одолженные у подруги?

ЯСИНСКАЯ. Вы действительно настолько наивны или просто притворяетесь?

СУХОВ. Попрошу ответить на мой вопрос.

ЯСИНСКАЯ. Генерал Волков был слишком ревнив. Такой дорогой подарок, как серьги-каскады, мог навести его на всяческие мысли. А я его любила и не хотела расстраивать.

СУХОВ. Вы хотите сказать, что между вами и Винокуровым были тогда чисто дружеские отношения?

ЯСИНСКАЯ. Нет, я этого не хочу сказать.

СУХОВ. А что же?

ЯСИНСКАЯ. Я говорю лишь о том, что у каждой красивой женщины, ежели она бедна, но любит драгоценности, имеются свои маленькие тайны. Уверяю вас, в них совсем не обязательно посвящать человека, который собирается на тебе жениться. Можете мне поверить на слово.

СУХОВ. Брошь «Северная звезда», принадлежавшую некогда госпоже Шадринской, вам тоже подарил Винокуров?

ЯСИНСКАЯ. Да, он, но не в Екатеринбурге, а в Харькове.

СУХОВ. И «Улыбку раджи»?

ЯСИНСКАЯ. Что вы имеете в виду?

СУХОВ. Так называется в описи ценностей «Алмазного фонда» найденный у вас кулон.

ЯСИНСКАЯ. Нет, кулон мне подарил не Винокуров.

СУХОВ. А кто же?

ЯСИНСКАЯ. Павел Алексеевич Уваров.

СУХОВ. Он что... тоже одна из ваших «маленьких тайн»?

ЯСИНСКАЯ. Вы считаете, что у меня плохой вкус?

СУХОВ. Не берусь судить.

ЯСИНСКАЯ. Он меня в Харькове пригласил как-то на «Ромео и Джульетту»... Перед ним одним я бы, возможно, и устояла, но, сами понимаете, — Шекспир! Это уже было свыше моих сил. Я благоговею перед классиками.

СУХОВ. На допросе Уваров заявил, что Винокуров его ненавидел и даже готовил на него в Одессе покушение. Соответствует ли это действительности?

ЯСИНСКАЯ. Возможно, хотя их и принимали за друзей.

СУХОВ. Винокуров ревновал вас к Уварову?

ЯСИНСКАЯ. Он не был ревнив и не ходил на Шекспира. Просто Уваров слишком многое знал о нем, а люди не любят, когда о них слишком многое знают.

СУХОВ. Уваров знал, что Винокуров присвоил ценности «Алмазного фонда»?

ЯСИНСКАЯ. Да.

СУХОВ. От кого?

ЯСИНСКАЯ. Не знаю.

СУХОВ. Он настаивал на том, чтобы Винокуров вернул присвоенное руководству организации?

ЯСИНСКАЯ. Разве Уваров произвел на вас впечатление идиота? После расстрела царской семьи на подобном мог настаивать только идиот. Павла Алексеевича вполне устроило, если бы ценности «Фонда» были честно поделены между достойными и порядочными людьми, которые рисковали жизнью и состоянием во имя монархии.

СУХОВ. К ним он, вероятно, относил и себя?

ЯСИНСКАЯ. Только себя.

СУХОВ. Он говорил об этом Винокурову?

ЯСИНСКАЯ. Разумеется. Он относился к Винокурову с истинной симпатией и считал нетактичным скрывать от него свои искренние убеждения, тем более что эта идея казалась ему очень удачной, так же как и мне...

СУХОВ. Я так понял, что Уваров шантажировал Винокурова?

ЯСИНСКАЯ. Шантаж? Что вы! Люди из общества так низко никогда не опускаются. Единственное, что Павел Алексеевич мог себе позволить, так это намек.

СУХОВ. На что?

ЯСИНСКАЯ. Ну как на что? На то, что неимоверная жадность и глупое упрямство чреваты всяческими неприятностями и что он был бы очень огорчен, если бы Винокурова разжаловали, посадили за решетку или, не дай бог, расстреляли.

СУХОВ. Вы знаете «перстень Калиостро», который хранился у господина Уварова в отхожем месте?

ЯСИНСКАЯ. Знаю.

СУХОВ. Как он попал к нему?

ЯСИНСКАЯ. Точно так же, как и мой кулон с голубым алмазом, геммы, медали, старинные золотые монеты...

СУХОВ. От Винокурова?

ЯСИНСКАЯ. Да.

СУХОВ. А каким образом у Винокурова оказались изъятые у вас, Кробуса и Уварова экспонаты музея?

ЯСИНСКАЯ. Не знаю. Могу лишь сказать, что покойный Юрий Николаевич любил коллекционировать все, что можно было легко и выгодно продать, особенно золото, картины, драгоценные камни.

СУХОВ. Почему вы не эвакуировались вместе с белыми из Харькова?

ЯСИНСКАЯ. Я не имела такой возможности.

СУХОВ. Почему же? По имеющимся у нас сведениям, вам предлагали место в штабном вагоне. Я не ошибаюсь?

ЯСИНСКАЯ. Нет, не ошибаетесь. Но я не могла покинуть на произвол судьбы Павла Алексеевича. В ноябре он заболел сыпным тифом. Санитарные поезда вывозили только раненых. Единственный санитарный поезд, предназначенный для инфекционных больных, был по приказу командования расформирован.

СУХОВ. Но ведь Уварова соглашались взять в теплушку?

ЯСИНСКАЯ. Я не могла обречь его на такую муку.

СУХОВ. И кроме того, все ваши ценности хранились у него в тайнике и вы не знали, где этот тайник находится?

ЯСИНСКАЯ. Это имело второстепенное значение.

СУХОВ. Но все же имело?

ЯСИНСКАЯ. А вы не столь наивны, как кажетесь...

Из стенограммы опроса помощника заведующего отделом утилизации ВСНХ тов. Леонова В. Н., произведенного начальником бригады «Мобиль» Центророзыска РСФСР тов. Косачевским Л. Б.

КОСАЧЕВСКИЙ. В Харьковском подполье вы находились с конца сентября 1919 года?

ЛЕОНОВ. Совершенно верно. Меня в Харьков направило Зафронтовое бюро ЦК КП(б)У 20 сентября, а 25-го я был введен в состав Харьковского подпольного ревкома и сразу же включился в работу.

КОСАЧЕВСКИЙ. А как и при каких обстоятельствах вы познакомились с Шидловским-Жаковичем?

ЛЕОНОВ. Ревком уделял большое внимание нашим товарищам, арестованным белогвардейцами. Мы старались не только облегчить их участь. Иногда с помощью подкупов нам удава-

лось устраивать побеги, спасать товарищей от верной смерти. И вот в середине октября, когда контрразведка арестовала одного из членов ревкома, некий инженер Грамер, сочувствовавший Советской власти, предложил свести меня с Жаковичем, которого он знал по Петрограду.

Грамер говорил мне, что Жакович некогда вращался в революционно настроенных кругах студенческой молодежи, «давал деньги на революцию», а после казни Ивана Каляева щедро помогал его семье.

КОСАЧЕВСКИЙ. Приходько говорил, что Жакович был офицером контрразведки.

ЛЕОНОВ. Формально нет. Формально к контрразведке он прямого отношения не имел. Жакович числился в так называемом сыскном отделении, размещавшемся тогда в гостинице «Харьков» на Рыбной улице. Но все харьковчане, а в первую очередь подпольщики, среди которых был и Приходько, прекрасно знали, что это учреждение почти никакого отношения к розыску уголовников не имеет, а занимается политическим сыском. Это фактически был филиал деникинской контрразведки, находившейся в Палас-отеле на Кацарской. Даже агентура у них была общая.

«Аристократ духа», помогающий революционерам, и заплечных дел мастер из гостиницы «Харьков»... Одно с другим, конечно, не согласовывалось. Весьма странное сочетание. Но, с другой стороны, я очень уважал старика Грамера, которому Харьковское подполье многим обязано. Я ему доверял, а не рисковать, как вы сами прекрасно знаете, в подполье нельзя. Риск — постоянный спутник подпольщика. Поэтому я и дал согласие на встречу, которая вскоре состоялась на квартире Грамера.

КОСАЧЕВСКИЙ. Вас представили как члена подпольного ревкома?

ЛЕОНОВ. Нет, конечно. Грамер пригласил к себе Жаковича на чашку чаю. Обо мне вообще речи не было. Я был для Жаковича своего рода сюрпризом. А представил меня Грамер как родственника арестованного, который только что приехал из Керчи в Харьков и ошеломлен этой печальной новостью.

КОСАЧЕВСКИЙ. Жакович поверил?

ЛЕОНОВ. Не думаю. Он был слишком умен для этого. У меня создалось впечатление, что он не догадывается, а просто знает, с кем имеет дело. Однако и ему и мне было удобнее принять предложенные Грамером правила игры, которая нас ни к чему не обязывала.

КОСАЧЕВСКИЙ. Как он отнесся к вашей просьбе в отношении «брата»?

ЛЕОНОВ. Сдержанно, но в общем благожелательно.

КОСАЧЕВСКИЙ. Он тогда помог вам?

ЛЕОНОВ. Да. Но он ограничился функциями посредника, или рекомендателя, что ли.

КОСАЧЕВСКИЙ. То есть?

ЛЕОНОВ. Через него мы вышли на заместителя начальника

контрразведки в Палас-отеле полковника Винокурова, который за взятку в пятьдесят тысяч рублей керенками создал условия для благополучного побега нашего товарища. Как выяснилось, полковник за деньги мог пойти на что угодно. К сожалению, больше мы не смогли воспользоваться услугами Винокурова.

КОСАЧЕВСКИЙ. Почему?

ЛЕОНОВ. Через неделю после того побега он был убит.

КОСАЧЕВСКИЙ. Разве Винокуров был убит не по приговору подпольного ревкома большевиков?

ЛЕОНОВ. Нет. Зачем нам было его убивать? Этот взяточник мог принести немало пользы. Белогвардейские газеты действительно писали, будто покушение на него совершено большевиками, но это было чистой ложью. Никакого отношения к его смерти мы не имели.

КОСАЧЕВСКИЙ. А кто же его в действительности убил?

ЛЕОНОВ. Не знаю и даже не имею на этот счет никаких предположений.

КОСАЧЕВСКИЙ. Какое впечатление на вас произвел Жакович?

ЛЕОНОВ. Человека без идеалов, циничного, ни в кого и ни во что не верящего, опустошенного... Но не жестокого и не лишенного своеобразного обаяния. Очень странная фигура. Не знаю, каким образом он мог оказаться в контрразведке, где пытки считались обычными методами допросов. Правда, в среде подпольщиков ходили в отношении его разного рода слухи...

КОСАЧЕВСКИЙ. А именно?

ЛЕОНОВ. Говорили, что он входит в какую-то подпольную организацию — то ли левых эсеров, то ли анархистов — и выполняет в Харькове специальное задание. Насколько это достоверно, судить не берусь.

КОСАЧЕВСКИЙ. А в Харькове осенью девятнадцатого года такие организации существовали?

ЛЕОНОВ. Была небольшая группа «боротьбистов» — так на Украине именовались левые эсеры. Одно время представитель их входил даже в состав нашего ревкома. Возможно, в городе действовала и анархистская организация. Но мы с анархистами контактов не искали и даже не пытались установить какие-либо связи с их партизанскими отрядами, которые оперировали в Харьковской и соседних губерниях. Знаю лишь, что в тюрьме на Холодной горе содержался одно время известный анархистский боевик Борис Галицкий, который был направлен в Харьков батькой Махно. Встретил я как-то и другого анархиста, Алексея Мрачного, которого лично знал по Екатеринославу.

КОСАЧЕВСКИЙ. Какова судьба Галицкого?

ЛЕОНОВ. Расстрелян.

КОСАЧЕВСКИЙ. А когда именно: до убийства Винокурова или после?

ЛЕОНОВ. Кажется, после, но утверждать не берусь. Не уверен. Это вам лучше уточнить у товарищей, которые содержались в то время в Харьковской каторжной тюрьме. Возможно,

они смогут вам сообщить и какие-либо другие сведения о Галицком.

КОСАЧЕВСКИЙ. А удастся ли отыскать таких товарищей? Мне говорили, что перед отступлением деникинцы значительную часть политических заключенных расстреляли, а остальные были выведены на Змиевское шоссе и отправлены по этапу Харьков — Змиев — Изюм — Бахмут — Ростов, причем до Ростова живыми добралось всего несколько десятков человек.

ЛЕОНОВ. Правильно. Но фамилии оставшихся в живых хорошо известны. Кроме того, вам, возможно, пригодится и один мой старый знакомый — бывший надзиратель каторжной тюрьмы Сергей Бобров. Он должен был знать о Галицком.

КОСАЧЕВСКИЙ. А как отыскать этого Боброва?

ЛЕОНОВ. Это нетрудно. Я на прошлой неделе получил от него из Харькова письмо. Пишет, что работает на заводе сельскохозяйственных машин Гельферих-Саде, а живет у тещи на Петинской улице.

КОСАЧЕВСКИЙ. Он оказывал помощь подполью?

ЛЕОНОВ. Да. Через него мы поддерживали связь с тюрьмой. Сергей Афанасьевич Бобров. В подполье ему почему-то дали кличку Заика, хотя он и не заикался...

КОСАЧЕВСКИЙ. В качестве надзирателя каторжной тюрьмы он обслуживал одиночные камеры?

ЛЕОНОВ. В ноябре и декабре девятнадцатого — к концу пребывания деникинцев в Харькове.

КОСАЧЕВСКИЙ. А полковнику Винокурову заключенные или подпольщики давали какую-либо кличку?

ЛЕОНОВ. Его называли Шомполом. В контрразведке существовал специальный термин — «шомполовать».

КОСАЧЕВСКИЙ. Других кличек у него не было?

ЛЕОНОВ. Были и другие.

КОСАЧЕВСКИЙ. Не припомните, какие именно?

ЛЕОНОВ. Синеглазка, Лапа... И еще одна. Красавец. Ну да, Красавец. Так его, кстати говоря, обычно называл Бобров. Винокуров действительно был красив. Говорили, что он пользовался у харьковских дам исключительным успехом. Эдакий Чайльд Гарольд с шомполом в руке...

КОСАЧЕВСКИЙ. А Жаковича звали Аристократом?

ЛЕОНОВ. Да.

Глава восьмая

И снова Корейша...

I

«Оставаясь один, батько Махно рискует, находясь между двух огней, быть разбитым той или иной стороной, и его идеалы не будут так скоро осуществлены» — значилось в адресованном

батьке белогвардейским командованием письме, которое Эмма Драуле переслала через Жаковича своему московскому покровителю и товарищу по партии — Муратову.

Следовало отдать Врангелю должное: сделанное им батьке предупреждение было мудрым и своевременным. Если бы «длинноволосый мальчуган» сразу же оценил этот добрый совет, его части, оперировавшие в районе Полтавщины, не были бы подвергнуты под Миргородом сокрушительному разгрому Красной Армией. Не удалось бы захватить белым и родину Махно — Гуляйполе. Но лучше поздно, чем никогда. И в сентябре 1920 года, вняв голосу разума и барона Врангеля, Махно решил заключить союз с одной из враждующих сторон. Правда, этой стороной оказались красные, а не белые...

Из ставки Махно, временно обосновавшегося в районе Старобельска, в Харьков, где находилось рабоче-крестьянское правительство Украины, полетела длинная и прочувствованная телеграмма. Из нее явствовало, что, выступая против государства как такового, Махно всегда испытывал сыновнюю любовь к Советской власти и, если махновцы порой рубили и стреляли коммунистов, то происходило это в результате различных мелких ошибок, которые неизбежны в таком большом деле, как мировая революция. Стоит ли вспоминать взаимные обиды, когда речь идет о ликвидации белой сволочи? Что касается батьки, то он готов делом доказать свою беззаветную преданность святому делу освобождения рабочих и крестьян Украины от гнета эксплуататоров.

И действительно, перегруппировав свои сильно потрепанные в последних боях части, Махно бросил их в контрнаступление против врангелевцев. Шокированные тем превратным и неожиданным толкованием, которое батько дал высказанному в письме Врангеля совету, белые генералы безропотно сдали ему только что взятые города, села и деревни.

Скосив пулеметным огнем сотен тачанок негнущиеся цепи прославленных дроздовцев, конные полки батьки шашками прорубали себе кровавую дорогу.

Махновцы заняли Синельниково, Александровск, Гуляйполе...

Батько лишний раз доказал, что он — сила, с которой нельзя не считаться.

Вскоре в Харьков прибыла официальная делегация Реввоенсовета «Революционной повстанческой армии Украины», как высокопарно именовали себя махновцы.

Первый этап переговоров прошел довольно быстро и завершился подписанием документа, в котором черным по белому значилось, что «повстанческая армия махновцев решила прекратить вооруженную борьбу с Советским правительством, установив с ним военно-политическое соглашение в целях решительного разгрома отечественной и мировой контрреволюции».

Повстанческая армия поступала в оперативное подчинение Советскому командованию Южного фронта, «сохраняя внутри себя установленный распорядок».

О состоявшемся соглашении махновцы обязались «довести до сведения идущей за ними трудовой массы путем соответствующих воззваний с призывом о прекращении враждебных действий против Советской власти». Махно также обещал больше не принимать к себе тех, кто дезертировал из рядов Красной Армии.

Советская сторона, в свою очередь, амнистировала осужденных анархистов и прекращала всякого рода их преследование, за исключением, разумеется, тех, кто пытался доказать свою правоту с оружием в руках и динамитной бомбой в кармане. Анархистам, если они не призывали к насильственному свержению существующего строя, предоставлялись полная свобода пропаганды и агитации, участие в выборах в Советы. Семьи махновцев в получаемых от государства льготах приравнивались к семьям красноармейцев.

Так октябрь тысяча девятьсот двадцатого года стал на Украине месяцем союза большевиков и анархистов, которых представлял бывший пастушок, бывший маляр, бывший политкаторжанин, бывший красный комбриг, а ныне ярый ненавистник Советской власти — Нестор Махно, мечтавший водрузить в Париже черное знамя анархии и вскоре оказавшийся там на положении третьесортного эмигранта из Советской России...

В устойчивость и длительность заключенного в Харькове соглашения не верил никто: ни командующий Южным фронтом Фрунзе, ни Махно, ни Врангель...

«Означает ли это соглашение разочарование махновцев во всем их прошлом и полную покорность их Советской власти? — риторически вопрошали анархисты в своей газете «Голос махновца» и тут же сами себе отвечали: — Совсем нет... Недалек тот день, когда махновцы выйдут на арену кровавой борьбы с Соввластью».

Еще более откровенно высказывался на митингах в театре «Миссури» представитель Махно в Харькове Дмитрий Попов, тот самый Попов, который в восемнадцатом году грозился за «Марусю Спиридонову» снести огнем своей артиллерии пол-Кремля, а в девятнадцатом, по дошедшим до Зигмунда Липовецкого слухам, собственноручно расстрелял Леонида Косачевского, дав, правда, ему возможность спеть перед смертью «Интернационал».

Речи Попова носили такой поджигательский характер, что в одном из своих писем Махно вынужден был напомнить ему, а через него и всей своей делегации в Харькове, что излишне увлекаться не следует. «Два слова о нашей тактике, — писал Махно, — будьте во всем энергичны, настойчивы, но в то же время будьте осторожными, чуткими и тонкими политиками».

Но как-никак, а соглашение было подписано и даже выполнялось. Об этом свидетельствовали интенсивная переброска на Южный фронт махновских частей и сам вид Харьковского вокзала, где сразу же бросались в глаза плакаты с анархистскими лозунгами. А фасад раскинувшегося на Привокзальной площади громадного здания Управления южных дорог настолько густо был обклеен прокламациями и плакатами анархистов, что я неволь-

но вспомнил московский Страстной монастырь, который в тысяча девятьсот восемнадцатом был передан федерацией анархистских групп в полное распоряжение пропагандистского отдела. Но если москвичи чаще всего расписывали стены изречениями князя Кропоткина, то харьковские анархисты явно предпочитали более близкого сердцу батьки Михаила Бакунина.

«Они утверждают, что только диктатура, конечно их, может создать народную волю, — полемизировал Бакунин с фасада Управления южных дорог, — мы отвечаем: никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечения себя, и что она способна породить, воспитать в народе, сносящем ее, только рабство; свобода может быть создана только свободою...»

— Все, что им т-требуется, у Бакунина выискали, — засмеялся Сухов, встречавший меня на вокзале.

— Махновцы малярничали?

— Нет, не махновцы. Из культотдела п-повстанческой армии сюда только Червонный приезжал. За типографским оборудованием. Н-набатовцы шкодят. Они от Харьковского Совета еще агиттрамвай требовали. А когда т-трамвай не дали, обиделись. Слухи ходили, будто даже к Махно жалиться ездили. Заступись, дескать, батько, нарушают большевики соглашение. Да только Махно не п-поддержал. Оружие, говорит, — дело, продснабжение — дело, а трамваи и прочее электричество — баловство. О т-трамваях, говорит, ни я, ни Бакунин, ни Кропоткин ничего не г-говорили. А потому для дела мировой анархии т-трамваи вроде бы и ни к чему. Так что отстояли наши харьковские трамваи. Да и здание Управления южных дорог им лишь н-наполовину уступили...

Действительно, повнимательней ознакомившись с фасадом управления, легко было убедиться, что анархистские листовки уравновешиваются большевистскими, в которых доставалось не только «черному барону», но и его «невольным пособникам, которые насаждают бандитизм и дезорганизуют тылы Красной Армии».

Специальный стенд рассказывал о положении в деревне. Незаможние крестьяне Роменского уезда послали на борьбу с Врангелем отряд в 80 человек, снабдив его за счет кулаков всем необходимым. Не отстали от них и незаможние крестьяне Зеньковского уезда, которые, отобрав у кулаков коней, сформировали для отправки на фронт целый кавалерийский эскадрон.

Коллегия Наркомпрода УССР сообщала о премиях, установленных ею для волостей, выполнивших продразверстку. Премии поражали поистине королевской щедростью. На каждую душу трудового крестьянского населения волости выдавались 3 фунта соли, 2 фунта керосина, 2 аршина мануфактуры и 5 фунтов подков и гвоздей.

Рядом с этим стендом — другой, посвященный неделе борьбы с бюрократизмом. Здесь в обращении некоего рабочего корреспондента, выступающего под псевдонимом Трудовая Мозоль, высказывалась мысль о необходимости немедленно очистить ком-

мунистическую партийную среду от всяких бюрократических пережитков, для чего предлагалось ответственных товарищей, замечаемых в бюрократизме, снимать на время со своих постов и направлять рабочими на фабрики и заводы для перевоспитания в пролетарской среде.

Над стендом — броский плакат: «Долой красное дворянство, да здравствуют настоящие коммунисты!»

Мы подошли к ожидавшей нас пролетке, которая стояла неподалеку от того места на Привокзальной площади, где к годовщине Октябрьской революции должен был быть открыт памятник Ленину.

— В уголовный розыск, Л-леонид Борисович? — спросил Сухов.

— Успеем.

— В бандотдел?

— Тоже успеем.

Павел немного растерялся.

— А куда? — озадаченно спросил он.

— А никуда, — сказал я. — Немного проедемся по городу. Давненько здесь не был. Надо же посмотреть. А пока я буду глазеть по сторонам да дышать харьковским воздухом, вы меня введете в курс последних событий.

Павел кивнул кучеру:

— Давай, Ванько, по Екатеринославской, а там поглядим.

— К бирже чи как?

— Можно и к бирже, а можно и «чи как», — объяснил я.

Кучер, молодой, круглолицый, с пушистыми и мягкими, как тополиный пух, усиками, сдвинул свой щегольской картуз с лаковым козырьком сначала на правое ухо, затем — на левое. Видно, в этих несложных на первый взгляд действиях было нечто магическое, полное скрытого смысла, ибо, как только картуз коснулся левого уха, лицо кучера просветлело, и он щелкнул кнутом. Я понял, что формулировка «чи как» его полностью устраивает.

Лошадь шла размашистой иноходью, посверкивая будто вылитыми из серебра подковами.

Весело шелестели по гладкой мостовой дутики. Ветер играл желтыми и красными листьями.

Воздух пах прелью опадающей листвы, густым травянистым настоем скверов и бульваров, сырой свежестью полосатых кавунов и дразнящей сладостью слегка перезревших дынь. Такой воздух можно было выдавать по карточкам к революционным праздникам, включая его в ударный паек. По осьмушке на душу...

Осень двадцатого года в Москве тоже была теплой. Но все же не такой, не харьковской. Да и относились к ней москвичи иначе — с подозрением и страхом. Она представлялась им чем-то вроде вкрадчивого наводчика с бандитского притона на Хитровке или Сухаревке. И одет чисто, и ласков будто, а показался

где — жди беды. Большой беды! Октябрь — осень, а за осенью, известно, — зима: холод, голод, смерть...

В Харькове же о зиме, похоже, не думали.

Хороша осень! А что за ней будет: чи зима, чи весна — одному богу известно.

Почти на всех улицах города октябрь выглядывал в проломах заборов добродушным чоловиком с запорожскими усами, который продавал, а еще охотней менял розовое, как мечты юности, свиное сало, яйца и помидоры или подмигивал прохожим разбитной смазливой жинкой с карими очами и мешком семечек за спиной.

И цены здесь были божеские, не то что на Сухаревке. Лучшие яблоки стоили не дороже ста рублей штука — только что не даром, а за куриное яйцо больше двухсот и не просили.

Разгуливают франтихи со своими кавалерами по Рымарской, в Коммерческом саду — танцы, духовой оркестр, зазывает красочными афишами синематограф...

Что вам еще нужно? Шампанского? Ничего, обойдетесь самогоном. Вон за углом дядька торгует. Выждите, когда поблизости нет милиционера, и пожалуйста!

Павел рассказывал о своем поиске свидетелей убийства Винокурова, об Уварове.

Бывший вице-губернатор и член совета «Алмазного фонда» вел себя, как мелкий и неопытный жулик. Панически барахтаясь в захлестывающих его вопросах, он топил не только Кробуса, который никем и ничем для него не был, но и свою любовницу Ванду Ясинскую. Что же касается Бориса Галицкого, его матери, Винокурова, Олега Мессмера, Елены Эгерст и собственной жены, то тут Уваров и вовсе не стеснялся.

Во время последнего допроса — Сухов допрашивал его накануне моего приезда в Харьков — Уваров достаточно прозрачно намекал, что Винокурова, видимо, убил и ограбил Жакович. И если его, Уварова, выпустят из тюрьмы и дадут заграничный паспорт, то он постарается помочь Советской власти разыскать ценности «Алмазного фонда».

— Какое впечатление производит Уваров? — спросил я Сухова.

Он сделал рукой неопределенный жест:

— Дрянь ч-человечишко.

Формулировка была слишком неопределенной, и Павел понимал это.

— Т-трепло, — сказал он, подумав. — Трепло и трус. П-пустобрех.

— Не верите, что Жакович мог убить Винокурова?

Сухов не зря проходил школу у Бориса.

— По-почему не верю? — сказал он. — Верю. И этому верю, и тому, что Винокурова Ясинская убрала, и тому, что его Уваров с п-перепугу пристрелил... Одному не верю — что б-большевики тут руку приложили. Вот этому не верю.

— Деникинцы убийство Винокурова именно так трактовали?

— А как же? «Бескорыстиый б-борец за единую и неделимую... Р-рыцарь долга... Погиб иа посту от рукн притаившегося б-безжалостного врага, который ие мог оцеиить великодушия командования Добровольческой армии...» Оии за Вниокурова десять п-политических заключениых расстреляли.

— Винокурова убнли в здании контрразведки?

— Нет, на квартире.

— Дознаиие деникинцы проводили?

— П-проводили.

— Кто расследовал?

— Сыскное отделение.

— Уж не Жакович ли?

Павел засмеялся. Кучер, хотя и не мог слышать, о чем идет речь, обериулся к нам и хохотнул. Он был компанейским парием и не мог ие приият участия в общем веселье.

— Нет, ие Жакович, Леоиид Борисович. Но Жакович, я так к-кумекаю, в курсе всех этих дел был.

— Вот н я так кумекаю.

Павел помолчал, вопросительио посмотрел на меня.

— Бумаги сыскного отделения сохранились?

— Нет, Л-леоиид Борисович. Я уже искал. Вывезли оии свои бумаги. А что не у-успели вывезти — сожгли. Ни черта ие осталось! Но свидетелей я раздобуду. Швейцар т-там был. Отыщу его — не сегодия, так завтра.

— Бывшего тюремного надзирателя, о котором говорил Леоиов, опрашивали?

— Ну как же. К-как только от вас запрос получил, так сразу же и отыскал этого Боброва.

— На Петинской?

— Так точно. Часа три б-балакали. Говорил мне, что с убийством Виюкурова ему здорово повезло. П-подозревал его Винокуров. Бобров со дия на день ареста ждал. С-собирался даже бежать нз Харькова.

— А сам Бобров не мог быть причастеи к убийству Винокурова?

— М-мог, — сказал Сухов. — Да только ие скрывал бы ои этого. Зачем ему скрывать, к чему?

— Ежели бы убийство Винокурова не было связано с грабежом, то ни к чему...

— Вон вы о чем! — Павел задумался и решительио сказал: — Нет, не прнчастен ои. Это т-точио.

— Почему?

— Потому что человек он, Леоиид Борисович.

Аргумент этот для официальной бумаги, конечио, не подходнл, но я хорошо знал Павла, поэтому приведенный им довод показался мие убедительным. Зваиие человека он присваивал далеко ие всякому. В кажущейся иаивности Сухова была подлиниая мудрость. Как сказаио в Новом завете? «Будьте как дети...» Неплохо сказано, хотя прямого отиошеиия к розыскиой работе и не имеет...

— Письмо, которое Борин нашел при обыске на квартире Улимановой, Галицкий адресовал Алексею Мрачному?

— Ему, — подтвердил Сухов. — Бобров говорит, что Мрачный руководил в Харькове а-анархистской подпольной группой, которая покупала и вывозила для отрядов батьки оружие и боеприпасы. Галицкий в эту группу входил.

— Какие ценности в качестве выкупа за Галицкого Алексей Мрачный передал Винокурову, Бобров знает?

— Нет, Л-леонид Борисович. Он к этому касательства не имел. Через него только переписка п-проходила — «почтовый ящик».

— Кого-нибудь Бобров подозревает в убийстве Винокурова?

— П-предполагает, что Винокурова после расстрела Галицкого убили анархисты. Или с-сам Алексей Мрачный, или кто-то из его группы.

— Что он говорит о Жаковиче?

— Н-ничего. Он считал Жаковича только офицером контрразведки. О том, что Жакович связан с анархистами, Бобров не знал.

Сухов говорил о Кробусе, об очных ставках между Уваровым и Ясинской. Но я слушал его вполуха. Главное из того, что он теперь рассказывал, я уже знал от Борина, вернувшегося в Москву из своей командировки в Харьков и Екатеринослав. Была и другая причина — события, которые произошли в Москве после моей беседы с Леоновым.

Засада на бывшей квартире задушенного в тюремной камере Прозорова, кроме сомнительного удовольствия лишний раз встретиться с «динамитным старичком», ничего не дала. Ни Жакович, ни другие предполагаемые друзья покойного совсем не торопились распахнуть обитые зеленой клеенкой двери и оказаться в гостеприимных объятиях наших оперативников.

Зато порадовал Хвощиков, который уже давно занимался пустым, по убеждению Ермаша, делом — прощупывал московских подпольных ювелиров, ростовщиков, скупщиков золота и драгоценных камней.

Избранный Хвощиковым метод новизной не блистал, зато он был проверен и выверен не одним поколением сыщиков. К нему в свое время прибегали и наполеоновский Видок, и гениальный Ванька Каин, закончивший свою головокружительную карьеру где-то на каторге. Впрочем, Хвощиков не копировал старое, а творчески применял его в условиях военного коммунизма.

К подозреваемому гражданину заявлялся с солидными, разумеется, рекомендациями благообразный пожилой человек, по внешнему виду которого можно было безошибочно определить, что ежели он паче чаяния и не Рюрикович, то уж, во всяком случае, преуспевающий венеролог или удачливый делец с Сухаревки.

Из короткой, но многозначительной беседы хозяин узнавал,

что «карась» («Рюрикович», спекулянт, венеролог) не сошелся характером с Советской властью и желает с ней полюбовно разойтись, променяв Москву на Вену, Париж или Лондон. Деньги у него есть — и николаевские, и керенки. Требуются лишь хорошие ювелирные изделия. За любую цену. Он не скуп.

По моим подсчетам, у Хвощикова был один шанс из ста, не больше. Но бывший член артели «Раскрепощенный лудильщик» этот шанс реализовал.

Некто по фамилии Берман предложил «Рюриковичу» из Центророзыска республики круглую шкатулку лиможской эмали работы Леонара Пеннко и вырезанную придворным резчиком Людовика XV камею «Кентавр и вакханки».

«Рюрикович» мало смыслил в такого рода вещах, но зато в них хорошо разбирался наш эксперт Лев Самойлович Гейштор. Уже при беглом ознакомлении с этими ювелирными изделиями Гейштор дал категорическое заключение, что обе эти вещи, принадлежащие музею изящных искусств Харьковского университета, хранились до убийства Глазукова в его сейфе.

Тотчас же Берман был арестован.

Перепуганный случившимся до умопомрачения, он еще по дороге в Центророзыск, окропив слезами раскаяния сиденье нашего авто, честно рассказал Хвощикову, как к нему попали эти вещи. Оказывается, их продала живущая в том же доме двумя этажами выше некая гражданка «из бывших» — Полина Захаровна.

Обыск в квартире Полины Захаровны, бойкой старушки с маленьким кукольным личиком, превзошел самые смелые ожидания. Мы обнаружили здесь табакерку работы Позье, реликварий с золотыми фигурками апостолов, еще две шкатулки лиможской эмали и семь гемм.

Но самым интересным было не это, а фамилия старушки — Прозорова. Полина Захаровна Прозорова.

Обыск, впрочем, как и все, происходящее в России начиная с февраля 1917 года, представлялся Полине Захаровне печальным недоразумением, которое обязательно должно разъясниться.

Старушка охотно рассказала нам, что все обнаруженные вещи принадлежат ее сыну, человеку честному, благородному и порядочному.

Как они оказались у него?

Подарок. Их подарил брат его покойной жены, Анатоль Жакович, их давний благодетель, тоже человек честный, благородный и глубоко порядочный...

Много чего рассказала нам тогда старушка, даже не подозревавшая, что сына ее, который убил двоих, чтобы обеспечить старость своей матери, уже нет в живых.

В показаниях Прозоровой содержались важные сведения.

И основной вывод, который я из них сделал, сводился к одному: чтобы успешно завершить розыск ценностей «Алмазного фонда», необходимо во что бы то ни стало найти Жаковича. Вре-

менный союз с Махно создавал для этого благоприятную обстановку, которой грех было не воспользоваться.

Допросы Кробуса, Ясинской, Уварова, Боброва, хотя и представляли определенный интерес, имели второстепенное значение. Главная и определяющая цель поездки Сухова в Харьков заключалась в ином.

Мы миновали Бурсацкий спуск с узким сквером и выехали на Университетскую улицу, где за зданием пожарной команды и городским ломбардом начинался Гостиный ряд, который тянулся к Успенскому собору.

Возле дома епархиального управления женщины торговали цветами. Шла бойкая торговля и возле бывшего магазина Жирардовской мануфактуры. Пожилой бородатый стекольщик вставлял стекла в окна городского промышленно-художественного музея, ныне переименованного, судя по фанерному щиту у входа, в музей слободской Украины.

Я спросил у Сухова, как смотрит руководство махновской делегации в Харькове на мою поездку в Гуляйполе.

— В-возражений у них нет, — сказал Павел.

— О цели поездки спрашивали?

— Д-допытывались, но я отвертелся. Попов готов даже в-выделить сопровождающего. Только, по-моему, не стоит вам сейчас уезжать.

— Почему?

— Ж-жакович-Шидловский в Харьков собирается.

— Откуда у вас эти сведения?

— От Эммы Драуле. Она здесь уже ч-четвертый день.

— Вы с ней встречались?

— Н-нет, Леонид Борисович, — сказал Сухов, и я вздохнул с облегчением: американке совсем ни к чему было знать, что мы интересуемся Жаковичем. Все в свое время. — О Ж-жаковиче-Шидловском она говорила одному товарищу в редакции «Трудовой армии», Мерцалову. Ежели хотите, можем п-подъехать в редакцию на Донец-Захаржевскую. Или не н-надышались еще харьковским воздухом?

— Надышался, — сказал я. — Но поедем мы не в редакцию, а к Сергею Яковлевичу Приходько.

Кучер, у которого уши находились не там, где у всех людей, а на затылке, повернулся к нам всем туловищем:

— В бандотдел чи как?

Приходько встретил Сухова и меня, как близких родственников. Помимо самовара, украшенного медалями не хуже заслуженного генерала, нас ожидали еще и бублики. По целому бублику на душу.

— Яки гарны б-бублики! — восхитился Павел.

— Ничего бублики, сдобные, — небрежно сказал, сияя от удовольствия и гордости, Приходько.

В Харькове Приходько говорил по-русски. Украинцем он себя чувствовал только в Москве. Так комиссар бандотдела понимал интернационализм.

II

Моя поездка в ставку Махио предполагала не только встречу с Жаковичем. Мне хотелось также побеседовать с Алексеем Мрачным, который в конце девятнадцатого руководил в Харькове подпольной анархнстской группой, поставляющей отрядам батьки Махно оружие н боеприпасы.

По сведениям Липовецкого, а сведениям Зигмунда всегда можно было доверять, Алексей Мрачный лояльио относился к большевикам и выступал за сотрудничество с Советской властью, что значительио облегчало контакт с ним. Между тем, судя по письму Галицкого из тюрьмы, которое волей судеб оказалось почему-то у Жаковича, затем у Прозорова, Кустаря, Улимановой и, наконец, у меня, Алексей Мрачный после ареста Галицкого установил, возможно через Жаковича, связь с Виинокуровым и пытался выкупить попавшего в руки контрразведки товарища. В качестве взятки он передавал Винокурову, видимо, ие только деньги, но и экспонаты Харьковского музея и драгоценности «Алмазного фонда», отобранные в свое время Галицким для фииансирования террористической акции в Екатеринбурге. Иначе трудно было бы объяснить, как в нужиик к Уварову попали златиикн Владимира Равиоапостольного, Дмитрия Донского, Креза, золотые медали, геммы, «перстень Калиостро», а другие музейные экспонаты и знаменитая брошь «Северная звезда», пожертвованная в «Алмазный фонд» госпожой Шадринской, оказались в конечном итоге у любовницы Винокурова, а затем Уварова, несравненной Ванды, так и ие ставшей генеральшей Волковой.

Экспонаты Харьковского музея, предназначавшиеся Мрачным для подкупа Винокурова, находились, видно, у Корейши. Это было более или менее ясно. А вот где и у кого хранились жемчужина «Пилигрима», «Батуринский грааль», «Амулет княжны Таракановой», «Гермогеновские бармы» и другие ценности «Алмазного фонда»? А главное — где и у кого они сейчас находятся?

Что, кроме «перстня Калиостро», броши «Северная звезда» и «Комплимента», было вручено в качестве взятки Винокурову?

Кто и с какой целью убил полковника?

Видимо, Алексей Мрачный смог бы ответить мие на большинство этих вопросов.

Хотелось мне также повидать в Гуляйполе бывшего председателя тайного союза богоборцев и будущего верховного жреца Всемирного храма искусств, где бога заменит красота, Владимира Корейшу.

Если он и не являлся участником харьковских событий, то, во всяком случае, что-то слышал о них.

По имеющимся у меня сведениям, Борис Галицкий во время своего пребывания в Гуляйполе не только познакомился с Коренным, но и неоднократно встречался с ним.

В дневнике Галицкого-гимназиста (дневник был обнаружен

при обыске), пересланном Ягудаевым из Тобольска в Москву, содержались некоторые мысли, перекликающиеся с идеями Корейши о Всемирном культе красоты, богоборчестве во имя духовного раскрепощения человечества и превращении искусства в религию, а его деятелей в иерархов новой церкви.

Видимо, между Галицким и Коренным в Гуляйполе установились близкие отношения людей, объединенных общностью взглядов и интересов.

К сожалению, командированный в Екатеринослав и Харьков Борин, которому помимо всего прочего было поручено отыскать Алексея Мрачного, привез в Москву малоприятные вести. Петр Петрович сообщил мне, что Алексей Мрачный после возвращения из Харькова некоторое время работал в культотделе махновской армии, но не прижился там. Затем он выполнял какие-то задания в Амур-Нижнеднепровске Екатеринославской губернии, откуда его вызвали в Гуляйполе. А в августе двадцатого года Алексей Мрачный был отправлен реввоенсоветом махновской армии в Александровск, где бесследно исчез. Причем в Гуляйполе ходили упорные слухи, что до Александровска он не добрался. Знающие люди говорили, что Алексея Мрачного «украли» (так махновцы именовали тайное убийство) по приказу или самого батьки, или кого-то из его ближайшего окружения.

А уже приехав в Харьков, я через Сергея Яковлевича навел справки о Корейше (союз с Махно создавал благоприятные условия для работы не только нам, но и бандотделу Харьковской ЧК). Оказалось, что он покинул ставку Махно еще в ноябре девятнадцатого, причем произошло это при каких-то весьма странных и скандальных обстоятельствах. Человек, с которым беседовал Приходько, утверждал даже, что «главного жреца Всемирного храма искусств» разыскивала в конце девятнадцатого махновская контрразведка.

Таким образом, если Жакович действительно собирался в Харьков, моя поездка в Гуляйполе теряла всякий смысл.

Но насколько эти сведения, полученные Суховым через сотрудника газеты «Трудовая армия», достоверны?

Прикинув все «за» и «против», я решил восстановить знакомство с Эммой Драуле.

Почему бы нам случайно не встретиться?

«Случайная» встреча была организована тем же Сергеем Яковлевичем в эстрадном театре «Буфф», расположенном напротив облюбованного махновцами «Миссури». В тот вечер в «Буффе» читали свои «рабоче-крестьянские» стихи местные поэты и специально прибывшие по такому случаю из Киева завсегдатаи «Хлама» — литературно-артистического клуба, куда входили художники, литераторы, актеры, музыканты.

Я приехал в «Буфф» незадолго до перерыва, когда служители муз уже успели разоблачить коварные замыслы Антанты, заклеймить позором белополяков, выругать Врангеля, воспеть продразверстку и опоэтизировать сбор теплого белья для Красной Армии.

В зале было не густо — трудармейцы, шкрабы (школьные работники), совслужащие, десятка два рабочих...

На задрапированной красным полотном эстраде подпрыгивал, извивался и завывал субтильный молодой человек в бархатной блузе:

Пылайте, багровые повести,
Греми, железный рассказ!
Сердце во власти совести,
Кровавой совести масс...

Затем молодой человек на мгновенье смолк, вобрал в свою хлипкую грудь побольше воздуха и уже не провыл, а прямотаки прорычал в зал:

К дьяволу сирени и вереск!
К черту Христа любовь!
Залежи проклятий вдребезги!
Сыпься, горох голов!

«Горох голов», видно, уже успел надоесть. Слабогрудому хлопали вяло, из вежливости: не местный небось, с самого Киева ехал. А старался-то как? Взопрел даже...

Поэнергичней аплодировали другому, в тяжелых солдатских ботинках и обмотках, который, критикуя различные неполадки в Харькове, резво рифмовал «вон» — «самогон» и «вею» — «в шею». Но по всему чувствовалось, что для вечера поэзии вполне бы хватило одного отделения...

В антракте, когда уставшая от стихов публика дружно повалила из прокуренного зала на свежий воздух, меня окликнули:

— Товарищ Косачевский!

Я обернулся и тут же был ослеплен белозубой улыбкой Драуле.

Итак, мы встретились.

За прошедшие месяцы американка сильно изменилась. Перемены не коснулись лишь углов и прямых линий. Драуле как была, так и осталась произведением художника-кубиста. Его авторство было бесспорным. Но она загорела, обветрилась, а в ее жестах появилась уверенность и решительность бывалого махиновца, который лихим ударом отрубил саблей гусю голову и готовился бросить его в котел.

В общем — «Взвейтесь, соколы, орлами!»...

— Не узнаете, товарищ Косачевский? Мы с вами встречались в Москве. Я Эмма Драуле. Помните?

Я припомнил. Но не сразу. Постепенно.

Приходько был великим мастером по производству «случайностей». У Драуле не возникло и тени сомнения в том, что Косачевский оказался в театре «Буфф» лишь потому, что не может жить без поэзии.

В отличие от Москвы в Харькове Драуле не столько слушала, сколько говорила. Она была переполнена впечатлениями от пребывания в армии неугомонного батьки.

Еще бы! Не говоря уже о том, что Махно впервые в истории попытался материализовать анархистскую идею, поставив ее на колеса своих тачанок, сама по себе махновщина выглядела не менее экзотично, чем племя людоедов в окрестностях Нью-Йорка или Чикаго. Поэтому будущая книга — насколько я понял, Драуле не собиралась ограничивать себя вопросами тактики — должна была проиять самых пресыщенных, ко всему привыкших читателей Америки и Европы.

Эта книга должна была стать сенсацией.

Незаметно для себя произведение кубиста подгоняло «длинноволосого мальчугана» под американские стандарты. Щуплый и низкорослый, не выносивший верховой езды, батька в ее восторженных рассказах выглядел мчащимся в прериях на необъезженном мустанге лихим ковбоем в широкополом сомбреро и с лассо в руках. Подобно киногерою вестерна, он вершил справедливость, стрелял, утирал слезы вдовам и сиротам, пил, не пьянея, виски (по-русски — самогон) и вновь вскакивал в седло, чтобы поразить зрителя очередным головоломным трюком...

«Ваши планы, мистер Махно?»

«Осуществление идеалов анархистов в России и на Украине».

«А затем?»

«Анархия во всем мире».

«Анархисты Америки верят в вас, мистер Махно».

«О'кэй, бэби! — сказал он и тронул повод своего норовистого коня.

Приблизительно так же в трактовке Драуле выглядели и другие руководители повстанческой армии.

Драуле говорила не умолкая, я не пытался остановить поток ее воспоминаний. Я лишь хотел ввести его в нужное русло, особенно когда она назвала наконец фамилию Шидловского.

Мне это удалось.

О Жаковиче-Шидловском я уже располагал обширными и разнообразными сведениями. Но Драуле, следовало отдать ей должное, основательно пополнила мою копилку. Правда, Жакович, как и Махно, приобрел некоторое сходство с американским киногероем, но соскрести с него «американизм» было не так уж сложно.

— Он был раньше очень богатым человеком, — говорила Драуле, — и щедро раздавал деньги революционерам. А потом сам стал революционером. Товарищ Шидловский хочет рассказать американцам правду о русских анархистах.

— Он что же, собирается в Америку? — полюбопытствовал я.

— Да, — подтвердила Драуле. — Это необыкновенный человек. Вы обязательно должны с ним познакомиться.

— Мы немного знакомы.

— Немного — это мало. Вы должны хорошо познакомиться.

Я сказал, что такая счастливая возможность вряд ли представится мне. В Харьков я приехал по делам и через неделю вернусь в Москву.

— Но он скоро здесь будет.
— Скоро?
— Через три дня.
— Ну, где три дия, там и десять...
Нет, товарищ Шидловский точен. Очень точен. Он человек слова. Если он сказал, что приедет через трн дня, значит, так оно и будет.
— Он много слышал о вас, — сказала Драуле.
Вот это уже, пожалуй, было ни к чему.
— От кого? От Муратова?
— Нет, от настоятеля Валаамского Преображеиского монастыря.
— Архимандрита Димитрия?
— Да, архимандрита Димитрия.
Ну конечно же, Жакович посещал Олега Мессмера на Валааме. Это с его легкой руки отправился в свое рисковаиное путешествие монах Афанасий, умерший во славу Ванды Ясинской в Омской тюрьме. Видимо, тогда же, весиой восемнадцатого, только что приехавший на Валаам Димитрий и беседовал с Жаковичем. Могли они встретиться н в Петрограде. Какое это, в конце концов, имеет зиачение?
О самоубийстве Василия Мессмера Днмитрий тогда еще не знал, но ои находился под гнетом московских событий.
Что же он говорил Жаковичу обо мне?
Я вспомиил нашу последнюю встречу в кабинете начальника уголовно-розыскиой мнлиции, где я в тысяча девятьсот восемнадцатом организовал для депутации Соборного совета выставку найденных сокровищ патриаршей ризиицы.
Густой запах мирры, серебряные алавастры, старинные кадильннцы, спороты с саккосов и мантий золотые колокольчнки-звонцы, потиры времен Валентиана III и сгорбившийся в глубоком кресле седовласый старик Днмитрий, в прошлом самый любнмый преподаватель нашей семинарии, Александр Викентьевич Щукин...
Длинные пальцы архимандрита перебирали янтарные четки, и он цитировал из Екклесиаста: «Что было, то и будет, и что творилось, то и творится. И нет ничего нового под солицем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость! А уже было оно в веках, что прошли до нас».
Спор наш еще не окончеи и вряд ли когда завершится. Димитрнй хотел тогда укрыться от кровавых бурь временн за стенами Валаамского моиастыря. Но ему это не удалось, да и не могло удаться. Нн от времеии, ни от самого себя за стенами не спрячешься.
Жив ли он?
Я всегда считал, что вовремя умереть гораздо важнее, чем вовремя родиться.
Димитрий и Жакович, беседующие о Косачевском, — забавно!
— Шидловский, видимо, слышал обо мне не только от Димитрия, ио и от Корениа?

— Да, — подтвердила Драуле.
— Они дружили?
— Товарищ Шидловский очень высоко ценил мысли Корсина о превращении искусства в религию свободного человечества и помогал ему в организации музея изящных искусств. Но потом они разошлись...
— Вон как?
— Товарищ Корсин очень плохо поступил. Очень недостойно поступил, — скорбно объяснила она, прижав к груди идеально вычерченный треугольник подбородка.
— А что он сделал, если не секрет?
— Это не секрет. По его вине в Харьковской каторжной тюрьме погиб один молодой товарищ.
— Галицкий?
— Да, Борис Галицкий. Вы его знали?
— Немного.
Если бы Эмма Драуле работала агентом третьего разряда в бригаде «Мобиль», я бы объявил ей благодарность в приказе. Но ни Муратов, ни она у нас не числились и даже не претендовали на имеющиеся вакансии. Поэтому, выслушав ее рассказ о происшедшем, я ограничился рукопожатием.
Похоже было, что розыски сокровищ «Алмазного фонда» не только выбрались из тупика, но и успешно приближались к своему завершению.
В этой мысли я еще более укрепился после состоявшейся на следующий день беседы с найденным через Центральную комиссию по расследованию белогвардейских зверств Народного комиссариата юстиции Украины бывшим заключенным Харьковской каторжной тюрьмы Константином Ивановичем Матвеевым.
Когда при отступлении белых из Харькова часть заключенных была расстреляна, а остальных погнали на Змиевское шоссе, Матвееву удалось бежать. Теперь он работал в ЦЕПТИ — Центральном правлении тяжелой индустрии Украины.
В течение семи дней Матвеев находился в одиночке рядом с Галицким и перестукивался с ним через стенку.
— Простите за нескромный вопрос, — сказал он, когда мы с ним наконец нашли укромный уголок в одном из коридоров Центрального правления тяжелой индустрии. — Вы сидели когда-нибудь в тюрьме?
— Да, при царе.
— Тогда вы понимаете, что такое связь с товарищем, от которого тебя отделяет тюремная стена. За это время мы с Галицким сблизились, хотя ни разу не видели друг друга. Он мне рассказывал про свою мать в Тобольске, про жену...
— Он разве был женат?
— Да, ее звали Еленой. Он очень беспокоился за нее. Но это лирика. Вы меня, конечно, не для этого разыскивали.
Он был прав: знать о том, что Галицкий перед смертью вспоминал о Елене Эгерт, мне было ни к чему, впрочем, как и ей...
По словам Матвеева, Галицкий вначале даже не сомневался,

что его скоро выкупят. Он спрашивал у соседа, не нужно ли тому что-либо передать на волю, и обещал после освобождения попытаться вызволить Матвеева из тюрьмы. Галицкий уверял его, что организация, к которой он принадлежит, имеет доступ к сотрудникам контрразведки и располагает значительными ценностями для выкупа своих провалившихся товарищей.

Позднее Галицкий в значительной степени растерял свой оптимизм, но все же надеялся на освобождение. А за два дня до гибели он получил дурные вести: один из товарищей, некто Кореин, оказался предателем, и теперь его, Галицкого, ждет смерть. Тогда же Галицкий получил письмо от самого Кореина. Тот пытался оправдать свое предательство какими-то особыми соображениями и просил Галицкого простить его.

Матвееву рассказывали, что, когда за Галицким пришли в камеру, он кинулся на офицера комендатуры и чуть было не задушил его. Офицера спас надзиратель, который выстрелил в смертника из нагана. Тут же в камере конвойные добили раненого штыками.

Матвеев не знал Кореина. Но я знал Кореина достаточно хорошо — это был психически ненормальный человек, не отвечающий ни за себя, ни за свои поступки. Я не мог представить его себе ни идейным анархистом, ни предателем святого дела анархии. И для того, и для другого требовались как минимум не слишком вывихнутые мозги.

Корейшу точно так же нельзя было назвать предателем, как свалившийся на голову кирпич — убийцей. Но то, что Жакович-Шидловский после гибели Галицкого порвал с Кореиным всякие отношения, а сам Галицкий называл его предателем, давало пищу для размышления. Заслуживало внимания и упоминание о письме Кореина, в котором тот «пытался оправдать свое предательство какими-то особыми соображениями и просил Галицкого простить его». В сочетании с тем, что Кореин в ноябре девятнадцатого при каких-то скандальных обстоятельствах покинул ставку Махно и его разыскивала махновская контрразведка, все эти факты приобретали значение и могли лечь в основу некой достаточно убедительной гипотезы.

И все же эту гипотезу я выдвинул лишь после обстоятельной и поучительной беседы с импозантным седобородым мужчиной, напомнившим мне архиепископа Антония Храповицкого.

Несмотря на внушающую благоговение внешность, хорошо сохранившийся старец никогда не был священнослужителем, хотя переменил на своем веку немало профессий.

Феофан Лукич Севчук служил сторожем, опилочником в трактире на Клочковской, вышибалой в фешенебельном публичном доме, конюхом, лакеем, а последние годы — швейцаром вначале в Коммерческом клубе на Рымарской улице, а затем в особняке фабриканта Бригайлова, где снимал квартиру полковник Винокуров. На этой же квартире полковник в ноябре девятнадцатого был убит...

После освобождения Харькова Красной Армией, когда особняк

Бригайлова был заият под рабочий клуб, старик собрал в швейцарской свои вещички и исчез.

Сухов, занимавшийся розысками старика еще до моего приезда, ухитрился отыскать его на станции Новая Бавария, где тот обосновался в домике у своего сына, железнодорожного рабочего.

Жизнь на маленькой, тихой станции Феофану Лукичу порядком надоела. Он привык к шуму большого города, к полнокровной, кипучей жизни публичного дома («Ух и мамзели были — тигры! По сю пору в дрожь кидает!»), к пьяному раздолью трактиров и «господской деликатности».

— Всю жизнь, почитай, в образованности прожил — «Пожалуйте, ваше сиятельство!», «Пардон, мадам!» и прочее. А тут на старости годов и выпить не с кем, чтобы по-деликатному, без матерщины или еще чего такого, — доверительно говорил он мне. — Станция — она и есть станция. Пыль да грязь, мастеровщина да необразованность. Не столько людей, сколь блох да тараканов. Оно известно — тоска. С тоски всякая нечисть и заводится. Ну и поезда гудят, будто им шило в зад воткнули. До того гудят, подлые, что не знаешь, чем уши заткнуть. А тут еще колеса — тук-тук, тук-тук. Поживешь так с годок и, не дождамшись смертного часа, живым в гроб на карачках полезешь. Ей-богу!

Я спросил его о Винокурове, который, как мне показалось, был таким же светлым воспоминанием, как и беспорочная служба в публичном доме.

Феофан Лукич насупился.

— Ну что о ем сказать? — развел он своими мускулистыми, несмотря на возраст, руками. — Ныне как о таких, как он, говорят? Контра, говорят. Гнида, говорят, белогвардейская, в печенку его, в селезенку и прочие какие ни на есть места. А я так не могу, потому как совесть имею и деликатность в обращении ценю. Хоть в распыл пускайте, а душой не покривлю! Миль пардон!

Успевший где-то дерябнуть стаканчик-другой, Феофан Лукич тут же готов был погибнуть за правду. Он просто рвался в безвестные герои. Но я его не пустил: героев и так хватало, а мне требовались свидетели. Убийство полковника Винокурова до сих пор было загадкой, которую требовалось разгадать до встречи с Жаковичем.

Поэтому я успокоил Севчука, сказав, что ничего, кроме правды, от него не требуется. Более того, я даже пообещал, если он того пожелает, пристроить его вновь на работу в Харькове, дав понять, что, по моему мнению, без таких честных и принципиальных людей, как он, столица Украины теряет свою былую прелесть. Последнему он, кажется, не очень поверил, но успокоился. Расстрела, во всяком случае, больше не требовал: то ли опасался, что я по мягкости характера ни в чем не смогу ему отказать, то ли по каким-то другим соображениям...

— Продолжайте, Феофан Лукич.

— Кресты, погоны, платочек, в духах моченный, волосы с пробором да помадой, усы, сапоги зеркальные — это все было, — признал он. — Полковник, его высокоблагородие... Чего уж там! И революции не одобрял. Скорбел об государе императоре. Всяких там «гражданов» и «товарищев» тоже не признавал. По-старорежимному: «господин», «мадам», «сударыня», «Куда прешь, дубина?!». А душевности не отымешь. И справедливость не отберешь, и деликатность в обращении. Такой и в морду даст — а все одно приятно. Не скажу, что кисель гороховый — строгонький. И выругает иной раз, и рукоприкладствует... Не без этого. Но с понятием. Услужил чем? Вот тебе на чаек. Рождество, к примеру, духов день, благовещение или преображение — не сомневайся, и на чай и на водку получишь. Завсегда заботу о простом человеке имел.

Одно плохо: больно до баб был падок. Оно-то вроде бы и понятно: мужчина в соку, кровь с молоком, видный из себя, игривый. Чего не побаловаться? Не жеребец на конезаводе: с какой хотит, с той и хороводится. Я был помоложе, тоже спуску женскому полу не давал. Да и сейчас при счастливом случае не безгрешен. Но разум-то господь человеку не зря дал. А он какую посмазливей приметит — все. Будто не полковник, не высокоблагородие, не дворянин столбовой, а кобель, миль пардон, подзаборный.

Разве ж так можно? Баба бабой, а голова головой. А он — нет, не мог меру блюсти. Через эту свою слабость к женскому полу и смерть принял...

— То есть как? — поинтересовался я, чувствуя, что бывший вышибала в публичном доме может стать для нас неиссякаемым источником необходимых сведений.

— А вот так, — загадочно отрезал Феофан Лукич и горестно замотал своей архиепископской головой. — Вспоминать и то не хочется! Муторно от воспоминаний... Эх, Юрий Николаевич, Юрий Николаевич, ваше высокоблагородие! — патетически воскликнул он. — Ни за понюх табаку расстался с жизнею, упокой, господи, душу твою!..

Он перекрестился и от полноты чувств высморкался.

Помолчал горестно.

— Так о чем, бишь, мы?

— О том, что Юрий Николаевич не был жеребцом на конезаводе, — услужливо подсказал я.

— Чего?!

— Ну, о том, что не мог меру блюсти и через свою слабость к женскому полу смерть принял.

— Верно, — сам с собой согласился Феофан Лукич. — Что верно, то верно. Ведь он-то на квартеру к господину Бригайлову не один въехал...

— Разве? — поразился я.

— Не один, — подтвердил он. — С мамзелью въехал, что в полюбовницах у него была. Врать не буду, не приучен: хоть и стерва, а первого разбора мамзель. Без изъяну. Такая и са-

мому государю императору впору. Не хочешь, а засмотришься. Покойника разбередит. Когда я у мадам Бычковой служил, то у ей в заведении, почитай, без малого сотня мамзелей числилась. На все, мнль пардои, вкусы: и гнедые тебе, и вороные, и саврасые. И тощенькие, и в теле, и колобком, и мячиком. Сладенькие, с кислинкой... Глянешь невзначай, когда гости съезжаются, — глаза вразбежку и рот на перекос. А вот такой не было. Всем взяла. Но какая ни на есть раскрасавица, а все ж баба. Верно? Всех их всевышний из одного ребра для нас произвел. Вот и обращение с ей имей как положено: когда приласкай, а когда и побей. А он — нет. Все свое благородное полковничье да дворянское происхождение ей показывает. Не то чтоб нагайкой или кулаком — пальцем не тронул. Туалеты, выезд собственный, кольца, сережки, браслеты всякие... В Киев за цацками ординарца посылал. А она — моргеи фри, нос утри. Вконец разбаловал бабу. Вот и начала с жиру беситься: к другому сбегла любовь крутить. Юрию Николаевичу плюнуть бы. Мало их, что ли? Табунами по Рымарской да по Сумской ходют. А он — нет, заело. Хоть и езживали к нему опосля всякие мамзели, ей хода до себя не закрыл. К ейному полюбовнику в пай вошел. «Когда бы, — говорит, — Феофан, ни приехала, пущай, ежели, понятно, я от другого женского пола свободен». Вот я, старый дурак, и пущал ее до Юрия Николаевича. А не послушай его, и греха бы не случилось.

— Какого греха?

— Известно какого — смертоубийства. Ведь не убивцам, а ей дверь открывал той ночью... Когда сыск учинили опосля, я сыскному офицеру все как было доложил. А без толку. Видать, ейный любовник подмазал где требовалось. А может статься, моим словам серьезу не придали...

В этом отношении Феофан Лукич мог быть мною доволен. Его показания я принял всерьез. В ту же ночь я устроил ему очную ставку с Вандой Стефановной Ясинской.

Ясинская действительно оказалась красавицей. В отличие от Елены Эгерт, ей почти не был свойственен инстинкт украшательства. Поэтому разговаривать с ней оказалось значительно проще. Она лгала лишь тогда, когда надеялась, что ей поверят, и умела ценить не только свое, но и чужое время.

Очень милая женщина. Пожалуй, полковник был прав, предпочтя ее Эгерт...

III

Я был в более выгодном положении, чем Жакович. Он обо мне лишь слышал. Я же специально собрал о нем сведения с помощью таких мастеров сыска, как Петр Петрович Борин, Хвощиков, Ягудаев и Сухов.

Сын крупнейшего фабриканта, бывшего внуком крепостного крестьянина, и польской княжны, предки которой только и делали, что сажали и спихивали с престола неугодных им королей,

Анатолий Жакович всю жизнь качался маятником между двумя линиями своей родословной.

Тик-так — демократ, тик-так — аристократ, тик-так — за народ, тик-так — наоборот.

Авантюрист по натуре, он относился к породе политических гурманов, которые ни во что не уверовали, но зато все под тем или иным соусом перепробовали: и Штирнера, и Лассаля, и Маркса.

Жакович мог смаковать любое кушанье как национальной, так и интернациональной кухни. Но больше всего ему все-таки нравились острые блюда: с уксусом, перцем, динамитом и браунингами.

И таких пикантных кушаний Жакович отведал немало. В девятьсот четвертом — он ярый последователь анархиста Махайского, автора нашумевшей книги «Умственный рабочий». Махайский был умелым поваром и не жалел перца. Он последовательно проводил мысль, что корень всех народных бед не в царизме или капитализме, а в интеллигенции, во всех этих инженерах, врачах, адвокатах и писателях. Многие интеллигенты за революцию? Возможно. Но для чего им нужна революция? Только для того, чтобы, свергнув царизм, захватить власть и стать эксплуататорами рабочего класса.

Вывод: интеллигенция — эксплуататорский класс, враждебный пролетариату.

Лидер махаевцев в Одессе Николай Стрига, с которым сошелся Жакович, шел еще дальше. Он считал, что сначала следует вырезать интеллигенцию (первый этап революции) и лишь только потом браться за царских сатрапов и капиталистов (второй этап революции).

Опробовав несколько переперченную махаевщину, Жакович позднее заинтересовывается эсерами. Снабжает их деньгами, знакомится с организатором убийства губернатора Богдановича, министра внутренних дел Сипягина и покушения на харьковского губернатора Оболенского знаменитым Гершуни, принимает горячее участие в семье казненного Каляева.

Затем, дойдя до высшей точки, маятник, как ему и положено, уже движется слева направо.

Без пяти минут эсер и цареубийца становится вначале весьма умеренным конституционным демократом, а затем и откровенным монархистом...

К тысяча девятьсот четырнадцатому году маятник, устав качаться, занимает среднее положение.

Только что вернувшийся после своего трехлетнего пребывания за границей, Жакович совершенно безразличен и к трехцветному знамени империи, и к красному флагу. Война его тоже оставляет равнодушным. Он отдыхает и наслаждается жизнью, полностью разделяя мнение Игоря Северянина — «война войной, а розы — розами». Так же, как и Северянин, он хочет «пройтиться по Морской с шатенками, свивать венки из хризантем,

по-прежнему пить сливки с пенками и кушать за десертом крем».

Срывая цветы удовольствий, которые пышным цветом расцветали на земле, удобренной трупами солдат, Жакович не забывал и о благотворительности: давал деньги на организацию госпиталей, помогал сестре, которая вопреки воле отца вышла замуж за безродного и безденежного Прозорова и теперь медленно, но верно помирала на руках свекрови от чахотки.

Но это — передышка. Жаковичу по-прежнему необходимы острые ощущения.

В шестнадцатом году он, к удивлению тех, кто его мало знал, отказывается от теплого места в генеральном штабе и подает рапорт об отправке на фронт.

Легкая контузия. Ранение. Георгиевский крест и крест на могиле умершей за это время сестры...

Фронтовой героизм и окопные вши так же приедаются, как махаевщина, терроризм, кадетство, монархизм, Игорь Северянин и филантропия.

В марте семнадцатого он дезертирует и вновь появляется в Петрограде — с красным бантом и Георгиевским крестом.

К апрелю семнадцатого он — меньшевик, к маю — почти большевик, к июлю — член совета «Алмазного фонда»...

Потом участие в попытке освободить и переправить за границу Елизавету Федоровну, в деникинской авантюре, григорьевщине, махновщине...

Уксус, динамит, перец и черт знает что еще! А теперь потомок бунтовавшего во времена Пугачева крепостного и могущественного польского магната с голубой, как весеннее небо, кровью, собирался осчастливить собой Америку и американских анархистов.

Эмма Драуле была, конечно, в восторге — соратник мистера Махно, живой и, как ни странно, вполне интеллигентный экспонат из далекой России.

Ах, миссис Драуле, миссис Драуле, боюсь, что соратник мистера Махно принесет вам разочарования. Отсюда он, видимо, уедет анархистом. А вот кем он приедет в Американские Соединенные Штаты, одному богу известно. И то вряд ли. Я лично ни за что не поручусь. Он может стать у вас на родине и содержателем пивной, и сутенером, и пастором. Очень ненадежный экспонат, миссис Драуле, хотя и вполне интеллигентный.

Но в конце концов, все это ваши дела. Ко мне они отношения не имеют. А вот побеседовать по интересующим меня вопросам с Жаковичем в Харькове — это уже мое дело. И не только мое, но и государственное.

Проще всего было бы, конечно, задержать Жаковича (он действительно оказался человеком слова и прибыл в Харьков ровно через три дня) и допросить его в уголовном розыске или бандотделе Харьковской ЧК. Но Жакович был не частным лицом. В кармане его френча лежал мандат, подписанный самим бать-

кой, и в Харьков он приехал с каким-то поручением к главе махновской делегации Дмитрию Попову.

Это все осложняло. Советское правительство Украины и командование Южного фронта были, естественно, заинтересованы в скорейшем разгроме Врангеля. Некоторую, пусть и второстепенную, роль в готовящейся операции предстояло сыграть и махновцам. Поэтому «длинноволосого мальчугана», подозрительно следившего из своего Гуляйполя за развитием событий, старались без крайней нужды не раздражать, тем более что если он и нарушал некоторые пункты заключенного соглашения, то пока еще в меру.

Махновская делегация в Харькове, занимавшая роскошные апартаменты в центре города, находилась чуть ли не на положении посольства иностранной державы. Свой собственный новенький автомобиль, свой шофер, своя охрана, свой специалист по самогоноварению, свои самогонные аппараты и свой начпрод, которому иногда удавалось выбивать из продовольственного комитета даже коньяк.

И несмотря на то что ответственные сотрудники «посольства» нередко затевали на улицах драки, пьянствовали, дебоширили, а в свободное от этих занятий время развлекались стрельбой по электрическим лампочкам (некий завхоз утверждал, что союз с Махно обошелся городскому коммунальному хозяйству в пятьсот сорок восемь электрических ламп) [1], советские власти проявляли по отношению к махновцам максимум терпимости. Они справедливо считали, что для скорейшей ликвидации врангелевщины можно пожертвовать не только электрическими лампочками...

В этих условиях «самое простое» оказывалось самым сложным, практически невыполнимым. Ни под каким предлогом нельзя было задержать на перроне посланца батьки, которого встречал сам Дмитрий Попов, бывший по этому торжественному случаю почти трезвым. Жакович являлся чем-то вроде дипкурьера, а дипкурьеров трогать не полагается, если не хочешь напороться на неприятности.

Да и какие, собственно, основания задерживать его? Никаких. Или почти никаких...

Мне оставалось лишь наблюдать за тем, как Жакович и сопровождавший его повстанец из личной сотни батьки, известный

---

[1] Сохранился рассказ хозяйки помещения, занимаемого махновским «посольством». «Недели три или около месяца... — говорила она, — были сплошным ужасом. Попов, его шофер Бондаренко и многие другие все время пьянствовали, бушевали и хулиганили, всегда угрожая оружием. С их приходом дом принял вид вертепа... День начинался с пьянства, ругани, стрельбы в квартирные лампы... и кончался тем же. Мы жили, как в плену, и вечно дрожали за свою жизнь, рискуя погибнуть от шальной пули кого-либо из пьяных разбойников».

под малосимпатичной кличкой Федьки Сифилитика, усаживаются в роскошный ярко-красный «нэпир».

Визгливый звук сирены. «Нэпир» всхрапнул и, вихляясь, как пьяный, неуверенно поехал по направлению к «посольству», где уже гремела приветственная канонада револьверных выстрелов.

Сухов так сильно закашлялся, что могло показаться, будто «нэпир» со всеми своими пассажирами застрял у него в горле.

— Обидно, — сказал он, провожая тоскливыми глазами удаляющуюся автомашину.

Конечно, обидно. Но что поделаешь?

«Случайная» встреча с Жаковичем исключалась. В такого рода «случайности» могла поверить Эмма Драуле, но не он. Но почему бы любителю острых ощущений специально не встретиться с начальником бригады «Мобиль» Леонидом Борисовичем Косачевским, заканчивающим — мне хотелось в это верить — розыски сокровищ «Алмазного фонда»? Что-что, а остроту ощущений я ему гарантирую.

Сразу же с вокзала я заехал на Донец-Захаржевскую в редакцию газеты «Трудовая армия», где в маленькой комнате, примыкающей к корректорской, жила Эмма Драуле.

На этот раз американка встретила меня сдержанно, я бы даже сказал, несколько настороженно. Да, она знает о приезде товарища Жаковича, и, наверное, сегодня вечером они увидятся. Она, конечно, сообщит ему о моем желании встретиться с ним и поговорить. Но как к этому отнесется товарищ Жакович, сказать заранее трудно.

Впрочем, если я ей сообщу свой номер телефона в Харькове, она мне обязательно телефонирует.

Произведение кубиста позвонило мне около двенадцати ночи. Увы, товарищ Жакович занят. Очень занят. Он, пользуясь русским выражением, вертится как белка в колесе. Ему бы хотелось поближе со мной познакомиться, но он, к своему глубокому сожалению, вряд ли будет иметь такую возможность.

Несмотря на свою угловатую внешность, Драуле умела смягчать острые углы. Видимо, Жакович высказался куда проще и грубее. Но дело не в форме.

После показаний Севчука, очной ставки Севчука с Ясинской, а особенно последовавшего затем «чистосердечного признания» самой Ясинской мне уже было понятно если и не все, то почти все. Но, как обычно в таких случаях бывает, кое-что требовалось уточнить, многое нуждалось в дополнительном подтверждении, проверке и перепроверке.

Конечно, в случае крайней необходимости мы смогли бы обойтись и без Жаковича. Но лучше, если бы такой необходимости не было.

Что же делать? Пока я решал этот вопрос, маятник качнулся в противоположную сторону...

На этот раз мне позвонила не Эмма Драуле, а сам Жакович. Голос его излучал доброжелательность,

— Здравствуйте, Косачевский. Эмма говорила, что вы хотите со мной встретиться.

— Да, — подтвердил я.

— Ну что ж, если это желание у вас еще не пропало, то я к вашим услугам, тем более что мне необходимо кое-что у вас выяснить.

— Относительно Прозорова?

— Вы догадливы.

— Ну, об этом не так уж трудно догадаться.

Жакович предложил встретиться в клубе «Факел». Это был пропагандистский и агитационный центр набатовцев, которые после соглашения с Махно весьма привольно чувствовали себя в Харькове.

Я бы предпочел какое-нибудь другое место. Но право выбора было за ним.

...Мы беседовали в расположенной за сценой длинной узкой комнате, заваленной пропахшими карболкой матрасами и растрепанными книгами. Видимо, когда-то здесь хранился театральный реквизит. Не совсем подходящая для беседы комната.

— Неуютно, но безопасно, — сказал Жакович, любезно пододвигая мне одно из двух соломенных кресел. — При белых здесь у нас был временный склад оружия.

— А вы, гляжу, стали печься о своей безопасности?

— Возраст, Косачевский, возраст, — сказал он. — Седею и умнею. Стал более нежно относиться к себе. Ведь с возрастом почти каждый человек убеждается, что самый близкий и самый верный его друг — это он сам. А друзей надо беречь, холить, хранить им верность. Лучше изменить идеям, чем друзьям, не правда ли?

Жакович философствовал с шутливой небрежностью богатого и знатного барина, привыкшего к подобострастному вниманию окружающих. В Гуляйполе я за ним такого не замечал.

Как ни странно, но со времени нашей встречи у Корейши он помолодел, хотя действительно седины прибавилось. Вьющаяся густая шевелюра, узкое, как клинок, лицо, темные, снисходительно оценивающие меня глаза: и не велик будто, и не мал. Так, середка наполовину...

Кем он сейчас себя ощущал? Махновцем, членом совета «Алмазного фонда», прожигателем жизни или иностранным туристом, случайно попавшим в Харьков?

— Расскажите мне все о Глебе, Косачевский, — попросил он, и сразу же стало ясно, что передо мной заботливый родственник. — Мне говорили, что он арестован. За что?

Я рассказал об ограблении Кустарем квартиры Прозорова (Прозоров от него это скрывал), об убийстве Глазукова, у которого оказалась табакерка Позье, о смерти Кустаря, о том, как мы вышли на мать Прозорова, Полину Захаровну.

— Видите, как опасно делать подарки, — сказал Жакович и спросил: — Глеб в тюрьме?

— Теперь уже нет.

— Отправнли в ставку Духониия? Смерть за смерть?
— Нет. Его задушили сокамерники.
— За что?
— За убийство ювелира. Глазуков был связаи с уголовннкамн. Кто-то в камеру передал ксиву, то есть письмо.
— Жаль мальчнка, — сказал Жакович. — Сестра любила его. Надеюсь, Полину Захаровиу вы ие арестовали?
— А какие основания для ареста? Оиа иа свободе.
— Жаль мальчика, — повторил Жакович и, помолчав, сказал: — А любопытная штука табакерка Позье. Опасайтесь ее, Косачевский. Она принадлежала моей матери, н мать говорнла, что всем своим владельцам эта табакерка прнносила несчастье, даже Его величеству императору Павлу I. Вы что-нибудь слышалн о его смертн? Нет? Ему проломили голову табакеркой. Утверждают, что именно этой. Не исключено. Во всяком случае, мать верила. Она за эту легеиду дополнительно уплатила ювелиру, продавшему ей табакерку, двадцать или тридцать тысяч рублей. Легенда, пожалуй, стоила этого, как вы думаете?
— Каждая легенда чего-ибудь да стоит, — сказал я.
— Каждая, — согласился Жакович. — Легенды всегда были в цене и пользовались большим спросом на рыике. Когда-нибудь я устрою аукцион легенд. Первый в мире аукцнон. Пущу с молотка легенду о золотом веке человечества, об Иисусе, о рыцарях, революциях... Каждая легенда от десяти до тысячи долларов. Я ведь стану миллионером.
— Вряд ли. Думаю, что, лншнв людей легенд, вы на подобной распродаже ничего не заработаете.
— Почему?
— Потому что еще до открытия аукциона вас разорвут на куски.
Жакович засмеялся:
— Зиаете, кого вы сейчас повторили, Косачевский? Архимандрита Димитрия. Ои считает, что людей можио лишить еды, одежды, обувн, свободы — они это переживут и всегда найдут какой-нибудь выход из положения. Но если отобрать у них веру, они тут же погибнут. И люди знают это, поэтому они убьют каждого, кто покусится на нх веру.
— В легенды?
— Конечно. Только слово «легенды» архимаидрит не любит, как вы знаете. Он предпочитает слово «бог». Но это уже детали... А вы в бога верите, Косачевский?
— В детстве верил.
— В детстве и в старости все в иего верят. А сейчас вы во что верите? Архимандрит говорит, что только в Маркса, пролетариат и революцию.
— Не только. Я во многое верю, Жаковнч.
— Например?
— Например, в свою удачу.
— Считаете, что сегодня вашим агеитам удастся пристрелить меня?

— Разве это удача? Это было бы очень печально, Жакович. Я верю в другое.

— Во что же?

— В то, что наша встреча даст какие-то результаты, что вы поможете в розыске ценностей «Алмазного фонда».

— Вы действительно в это верите?

— Конечно.

— Кредо, квиа абсурдум — верю, потому что абсурдно?

— Почему же абсурдно?

— Не вижу логики.

— А собственно, зачем она вам?

— То есть? — опешил он.

— Зачем вам вдруг потребовалась логика? По-моему, вы с ней всю жизнь сражались. И, насколько мне известно, весьма успешно. Последователь Махайского, чуть было не террорист, затем монархист, жунр, фронтовой герой, дезертир, меньшевик, член совета «Алмазного фонда» и, наконец, махновец. Где тут логика? По-моему, в вашей жизни было все, кроме нее.

Он прищурил глаза, усмехнулся:

— Так, может быть, стоит восполнить этот пробел?

— Не думаю. Надо быть хоть в чем-то последовательным, — сказал я. — Если вы раньше стояли над логикой, то зачем вам теперь опускаться до ее уровня?

К счастью, Жакович почувствовал юмор ситуации. Впрочем, вполне возможно, что юмор здесь был ни при чем, а просто сработал еще раз закон маятника. Как бы то ни было, но по выражению его лица я понял, что близок к цели.

— Кажется, придется оправдать вашу веру, — сказал он. — Действительно, не стоит перед отъездом из России опускаться до уровня житейской логики. Это не мой, а ваш удел, Косачевский. Да и какое, собственно, значение имеет сейчас вся эта история!

— Для вас, — уточнил я.

— А я всегда имею в виду только себя, — сказал Жакович. — Так что именно вас интересует?

— Все, что вы знаете.

— Это слишком много. Не хочу вас обременять.

— Тогда то, что произошло после ареста Галицкого. Он был арестован здесь?

— Да, здесь, в Харькове, на Пушкинской, — подтвердил он. — Его опознал один человек, знавший по Тобольску и его, и его родителей. Некто Уваров.

— Ваш коллега по «Алмазному фонду»?

— Он самый.

Галицкий был арестован двадцать пятого октября девятнадцатого года, а уже тридцатого Жакович-Шидловский через третьих лиц устроил встречу Алексею Мрачному с полковником Винокуровым. Винокуров был сама предупредительность. Он заверил, что приложит все силы к освобождению мальчишки, но он не бог. Увы, это зависит не только от него. Тяжелое и сложное дело. Скупка и продажа оружия приобрели такой массовый характер,

что этим обеспокоены в штабе Добровольческой армии и на прошлой неделе его специально к себе вызывал генерал Май-Маевский.

Алексей Мрачный правильно понял полковника. Приблизительно через десять дней в Харьков были переправлены хранившиеся у Кореина экспонаты университетского музея, брошь «Северная звезда», «перстень Калиостро», бонбоньерка «Комплимент» и александрит «Цесаревич», принадлежавший некогда патриаршей ризнице. Галицкий ходил у Корейши в друзьях. И все-таки, расставаясь с этими вещами, предназначавшимися для Всемирного храма красоты, Корейша разве что не плакал кровавыми слезами.

Новая встреча с Винокуровым.

Полковник благосклонно принял подношение и сказал, что дело с освобождением Галицкого значительно продвинулось вперед.

А через несколько дней Винокуров заявил, что для окончательного решения этого вопроса ему необходима «Лучезарная Екатерина», которая, как он совершенно точно знает, находилась у Галицкого.

Но «Лучезарной Екатерины» полковник не получил... Алексею Мрачному сообщили, что, узнав о новом пребывании заместителя начальника контрразведки, Кореин скрылся вместе с находившимися у него сокровищами. А два или три дня спустя тюремный надзиратель (Заика) передал Галицкому письмо.

Корейша писал, что по-прежнему любит своего друга, но не считает себя вправе жертвовать во имя этой любви святынями новой религии, которую через несколько лет будут исповедовать миллионы и миллионы людей, сбросивших с себя вековые цепи рабства.

Да, Галицкого ждет смерть. Но разве не радостно погибнуть для грядущего счастья раскрепощенного человечества? Каждой религии нужны свои мученики, ибо именно на крови растет и крепнет вера. Нужны мученики и культу красоты. В некотором смысле Галицкому можно даже позавидовать: он будет первым мучеником религии свободных людей. Лучшей участи для себя лично Корейша бы не желал. Но судьба выбрала более достойного, и Корейша гордится своим другом.

В заключение он уверял Галицкого, что тот будет отомщен, и не где-нибудь на небе, а здесь, на земле.

Это были не пустые слова, потому что Корейша был не просто юродивым, а юродивым при батьке Махно...

Вначале, сразу же после расстрела Галицкого, предполагалось убить не только Винокурова, но и Уварова. Но, убедившись в неосуществимости своих планов, Корейша и его друзья подарили Уварову жизнь, получив взамен несколько дельных советов и обещание Ванды Ясинской помочь им беспрепятственно проникнуть в квартиру Винокурова. Как я узнал при допросе Севчука, а затем и самой Ванды, Ясинская добросовестно выполнила свои обязательства...

Из ценностей, которые были обнаружены на квартире убитого, скуповатый «жрец Всемирного храма красоты» отдал Ясинской только «Северную звезду». (Когда Ясинскую допрашивал Сухов, она солгала, что эта брошь — подарок Винокурова.)

Труп полковника горничная обнаружила под утро и тут же телефонировала в сыскное отделение. Дежурным по отделению был в ту ночь не кто иной, как Жакович... Послав на квартиру убитого сыщиков, Жакович немедленно отправился в контрразведку.

Если полковника шантажировал, вытягивая из него ценности, Уваров, то сам полковник не прочь был пошантажировать Жаковича, которого подозревал в связи с подпольщиками.

Жакович опасался — и не без оснований, — что Винокурову удалось перехватить несколько писем Галицкого и Алексея Мрачного, в которых он, Жакович, упоминался, возможно, даже под собственным именем. Поэтому еще до расстрела Галицкого он заблаговременно позаботился о том, чтобы изготовить ключи для служебного сейфа предприимчивого полковника.

Теперь было самое подходящее время, чтобы ими воспользоваться. Убийство Винокурова было для Жаковича весьма кстати. Если убийцы смогли проникнуть в квартиру Винокурова, то почему бы им не побывать в его служебном кабинете и не выпотрошить его сейф?

В сейфе Винокурова Жакович обнаружил не только досье на себя и перехваченные полковником письма, но и табакерку работы Позье, которую он некогда пожертвовал «Алмазному фонду», реликварий, шкатулки лиможской эмали, геммы, бонбоньерку «Комплимент».

Оставив в кабинете «улики» против побывавших якобы здесь убийц Винокурова и сфабриковав соответствующий этим уликам протокол осмотра места происшествия, Жакович мог считать свои обязанности полностью выполненными.

Так как убийц разыскать не удалось, расследование вскоре было прекращено.

— Но Севчук? — спросил я у Жаковича. — Ведь он прямо указывал на Ванду Ясинскую.

— Севчук дурак. Ему еще повезло, что он остался в живых, — объяснил Жакович. — Его показания никому не были нужны. Беря взятки, Винокуров не имел привычки делиться ни с начальством, ни с подчиненными, что, естественно, вызывало сомнения в его преданности белой идее.

Смерть полковника устраивала всех, тем более что ее можно было использовать для очередного расстрела находящихся в тюрьмах большевиков. Что же касается Ванды, то ей покровительствовал не только Уваров, но и начальник штаба Май-Маевского. Поэтому, если бы она на глазах у всех застрелила Винокурова, этого бы тоже никто не заметил...

Я поинтересовался, что Жакович сделал с письмами Галицкого.

— Вначале я хотел их уничтожить, а потом передал вместе

с драгоценностями Глебу. Глеб обещал переслать эти письма матери Галицкого. Сделал он это или нет — не знаю.

— Махновская контрразведка разыскивала Кореина?

— Ну а как же! Но, насколько мне известно, безрезультатно, хотя Федька Снфнлнтик н хвастался под пьяную лавочку, что напал на верный след...

Я задал ему еще несколько вопросов. Затем Жакович взглянул на часы и поднялся:

— Мне пора, Косачевский. Дима Попов уже заждался. Счастливо вам.

— До следующей встречи?

— Не думаю, что нам придется еще увидеться. Вы же зиаете, что я скоро уезжаю.

— Что вы собираетесь делать в Америке?

— Баллотироваться в президенты, разумеется, — усмехнулся он. И, помолчав, добавил: — Или в гангстеры... Жизнь коротка, Косачевский, а я еще не был ни тем и ни другим. Надо попробовать.

— Логично.

— Что?! — Жакович расхохотался. — Когда я был вам нужен, вы мне льстили, убеждая меня, что я всю свою жизнь возвышался над логикой, а теперь пытаетесь меня оскорбить. Нет, Косачевский, нелогично. Раб логики — это вы, а я — ее господин. Так что же вам пожелать на прощание? Отыскать основателя новой религии и увезенные им ценности? Желаю, хотя и уверен, что эти пожелания не сбудутся...

Жаковнч ошибся: его пожелаиия сбылись. Но все произошло не так, как мне хотелось...

Из докладной записки иачальиика Центророзыска РСФСР товарища Ермаша Ф. В. от 27 декабря 1920 г. по делу о розыске ценностей моиархической организации «Алмазный фоид».

...Таким образом, под руководством т. Косачевского сотрудниками бригады «Мобиль» при содействии местных органов уголовного розыска и бандотдела Харьковской ЧК уже к ноябрю сего года были изъяты у различных лиц и сданы в госхран следующие ценности:

1. Табакерка императрицы Елизаветы работы придворного ювелира Позье.

2. Брошь «Северная звезда», принадлежавшая до революции Шадринской.

3. Бонбоньерка «Комплимент» работы известного русского ювелира Сушкаева.

4. Елагинский масонский сапфировый «перстень Калиостро».

5. Золотой кулон с голубым бриллиантом тройной английской грани весом девять каратов, именуемый в описи драгоценностей «Алмазного фонда» «Улыбкой раджи».

6. Ограненный кабашоном александрит «Цесаревич» весом двадцать шесть каратов с четвертью.

7. Бриллиантовые серьги-каскады с сапфирами, весом по двенадцать каратов каждый, производства Фаберже, пожертвованные монархической организации «Алмазный фонд» Бобровой-Новгородской.

8. Реликварий XIII века с золотыми фигурками двенадцати апостолов и изображениями на фронтонных сторонах Христа и богородицы.

9. Три шкатулки лиможской эмали (XV—XVI веков) работы Леонара Пенико и Жана Куртуа.

10. Восемь камей, в том числе три античные и одна работы известного мастера XVIII века Жака Гюз.

Тогда же по материалам прекращенного в декабре семнадцатого года дела «Тайного союза богоборцев», готовившего в Москве взрыв собора Христа Спасителя, где заседал в то время Всероссийский поместный собор, и полученным оперативным путем сведениям Центророзыск установил адрес матери гражданина Кореина, проживающей в городе Александровске Екатеринославской губернии. В Александровск была направлена группа во главе с инспектором бригады «Мобиль» тов. Суховым.

При обыске у гражданки Кореиной сотрудниками розыска были обнаружены и в дальнейшем сданы в госхран «Амулет княжны Таракановой» («Емелькин камень»), «Лучезарная Екатерина» и принадлежавший некогда патриаршей ризнице в Москве ограненный таблицей изумруд «Андрей Первозванный».

Допрошенная тов. Суховым Кореина показала, что после убийства заместителя начальника харьковской контрразведки полковника Винокурова ее сын и его приятель Паснов (член «Тайного союза богоборцев», в дальнейшем — махновец, одно время был членом гуляйпольского махновского ревкома) находились три дня у нее. Куда они отправились потом, она точно не знала. Однако Кореин говорил ей, что они хотят пробраться в Симферополь, где жил в собственном доме другой его приятель, тоже богоборец, гражданин Головчук. У Головчука они намеревались спрятать, а в дальнейшем переправить за границу вывезенные ими драгоценности «Алмазного фонда» и остававшиеся еще у Кореина экспонаты Харьковского музея.

После ликвидации симферопольской группировки махновцев[1] *сотрудниками бригады «Мобиль» был установлен адрес Головчука. Наружное наблюдение показало, что Кореин и Паснов действительно проживают в этом доме. Вскоре выяснилось, что там же хранятся подлежащие изъятию ценности. Однако подготовленная сотрудниками бригады «Мобиль» операция успеха не принесла.*

---

[1] Когда был завершен разгром Врангеля (махновцы захватили Симферополь), командующий Южным фронтом отдал приказ Махно: все части «бывшей повстанческой армии, находящиеся в Крыму, немедленно ввести в состав Четвертой армии», а гуляй-

Заметив приближавшихся к дому работников розыска, Кореин и его сообщники открыли по ним огонь из винтовок и ручного пулемета. Во время завязавшейся перестрелки был убит агент третьего разряда Синельников и ранен в бедро инспектор Сухов. Перестрелка продолжалась около сорока минут. Убедившись в том, что они окружены, осажденные решили с помощью динамита взорвать дом, что и было ими осуществлено. В результате взрыва дом Головчука был превращен в груду обломков. Кореин, Паснов и Головчук погибли. Погибли и находившиеся в доме ценности. Таким образом, «Батуринский грааль», «Два трона», «Золотой Марк», жемчужину «Пилигрима», «Гермогеновские бармы» и другие уникальные драгоценности «Алмазного фонда» следует считать безвозвратно утерянными...

польские расформировать и влить в запасные части. Это означало уничтожение махновщины. Махно отказался подчиниться приказу, в результате чего последовали вооруженные столкновения. Из крымской группировки махновцев вырвался из окружения лишь отряд в 150 сабель. Приблизительно столько же удалось Махно вывести из Гуляйполя.

ОБ АВТОРАХ

Жизнь по-новому ценя...

В сознанне каждого, кто пережил Велнкую Отечественную войну, оиа запала памятью ие только об общей народной судьбе, которая была одна на всех, но и своимн, лнчными, особыми воспоминаниями. Самое страшное воспомииаиие моего блокадного детства — сцена в булочной. Толпа людей — вся очередь! — избивала рослого мужика, выхватившего из рук обессиленной женщины пайку хлеба. «Не дам! Не дам!» — отчаянно кричала она, пробиваясь к нему через толпу, а он, корчась на полу, изворачиваясь под ударамн, сжимал челюсти, спеша проглотить кусок... И второе воспомииаиие. Один нз моих одноклассиников, четырнадцатилетний парнишка с Невской заставы, был награжден медалью «За обороиу Леннинграда». Найдя хлебные карточки — «сто двадцать пять блокадиых грамм с огнем и кровью пополам», — ои разыскал их владельца и спас от гибели миогодетную семью...

И то н то быль. Но в первом случае она всего лншь эпнзод, жуткий, отвратительный эпизод человеческого падения. Во втором — факт, воплотивший время, созвучиый жнзнеутверждающему пафосу давних строк Ольги Берггольц нз поэмы «Твой путь»:

Что может враг? Разрушить и
убить.
И только-то?
А я могу любить,
И мне не счесть душн моей
богатства...

Или о том же в знаменитом «Февральском дневнике»:

В грязи, во мраке, в голоде,
в печали,

где смерть, как тень, тащнлась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.
О да, мы счастье страшиое открыли —
достойио не воспетое пока, —
когда последней коркою делились,
последнею щепоткой табака;
когда вели полночиые беседы
у бедного н дымного огня,
как будем жить, когда прндет победа,
всю нашу жизнь по-новому цеия.

Остаиовись, читатель, особеиио молодой, родившийся в сорокалетие, мииувшее после Победы. И склоии молча голову перед велнкнм мужеством, которым полны эти строки. Ведь оии писались в том «тылу», от которого до фронта было всего несколько трамвайных остаиовок, при тусклом свете коптилки, рукой, слабеющей от голода...

Не всем сегодия дано представить, прочувствовать это. И право же, обидио, горько и стыдно читать приведеиные авторами «Блокадной кииги» нынешиие рассуждения ииых молодых людей: хватит, мол, уже говорить и писать о блокаде, подумаешь, невидаль — блокадная пайка, да можно неделю не есть хлеба вообще и отлично себя чувствовать... «То, что онн сыты и благополучны, — размышляют писателн о такнх самоуверенных юнцах, — ...это, конечно, хорошо. Но вот что эти ребята, кажется, «моральные дистрофики» (леннградское, военного времеии, выражение) — это уже хуже».

«Блокадная книга», объединившая в первой части сегодняшние рассказы людей о прожитом и пережитом в осаждеииом городе, а во второй — дневники, которые велись очевидцами тех дней н лет по горячим следам событий, написана и для ннх тоже: пусть помнят, как неимоверно высока цена нх сегодняшнего беспечного благополучия. Ведь человек, лншенный историческої памятн, неминуемо обрекает себя на духовное оскудение, а жизнь тем и снльна, что нерасторжима в ней связь времен, поколеиий, традиций. Стоит нарушиться связи, выпасть хотя бы одиому звену — и жизнь лишится своей нравствеииой первоосиовы. Об этом также убедительно и взволнованно, полным голосом говорят Алесь Адамович и Даниил Граинн: «Но если вчера, может, и стоило щадить израненные войной души соотечественников, то сегодня новым поколениям, иаверное, как раз н нужно как можно полнее, подробнее узиать, ощутить, что было до инх. Надо же им знать, чем все оплачеио, надо знать не только о тех, кто воевал, ио и о тех, кто сумел выстоять, о тех людях, ие имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо зиать, какой бывает война и какое зто благо — мир...»

Знают ли, понимают?

Вглядываясь, как н авторы «Блокадной книги», в своих молодых современннков, верю, что моральиая дистрофия, поразившая нестойкие, самоуспокоенные, заскорузлые в эгоизме души, лишь частичка правды иаших дней. Подобио тому, как лишь долю правды леиииградской блокады вмещает в себя запавшая в память сцена в булочиой...

К «Блокадной книге» каждый из ее авторов шел своим путем. Белорусский прозаик (и критик, литературовед, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук БССР) Алесь Адамович крупно и ярко заявил о себе еще в начале 60-х годов романами «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой», в которые вложил собственный опыт партизанской юности. Затем последовали повести «Асия», «Последний отпуск», создававшиеся одновременно с литературоведческими исследованиями. Они не о войне, но неослабная память войны растворена в их идеях и образах. Наши дни и события войны, неотвязно оживающие в воспоминаниях ее участников, бывших белорусских партизан, воедино слились в сюжете повести, которая названа хатынской. В ней писатель вплотную приблизился к трагедиям Хатыней — белорусских деревень, жителей которых фашистские каратели сжигали заживо. 627 таких деревень было уничтожено на земле Белоруссии, тысячи и десятки тысяч людей подверглись в них физическому истреблению.

Размышляя вскоре после «Хатынской повести» о дальнейших путях развития военной прозы, ее новых творческих горизонтах, Алесь Адамович писал в одной из критических статей о том, что для писателей приходит пора, не довольствуясь собственной памятью войны, впрямую подключить ее «к мысли народной о войне, к нравственному чувству народному. Вчера наша военная литература шла к этому, смело открывая миру лично пережитое. Сегодня, кажется, этого уже мало... можно и нужно лично пережитое измерять судьбами народными и нравственным чувством народным». В этих раздумьях определилась программа, раньше и прежде всего обращенная к самому себе.

Реализуя ее в своем творчестве, Алесь Адамович обратился к документальной прозе о войне, создав вместе с Янкой Брылем и Владимиром Колесником книгу «Я из огненной деревни...», где собраны доподлинные — слово в слово — рассказы очевидцев былых трагедий белорусских Хатыней. В 1975 году мне довелось услышать, какую высокую оценку дал этой книге Константин Симонов, выступая в Минске на Всесоюзной творческой конференции писателей и критиков, приуроченной к 30-летию Победы. Ни один писатель, говорил он, не вправе считать, будто знает всю войну. Всю войну знает народ, и его надо успеть записать. Как выражение народной памяти о войне, которую успели вовремя записать, и назвал книгу «Я из огненной деревни...» — документ-свидетельство и документ — обвинение фашизму в его человеконенавистнических преступлениях.

Следующим шагом в творчестве белорусского прозаика стала «Блокадная книга»...

Путь к ней Даниила Гранина, участника обороны Ленинграда, ушедшего на фронт с народным ополчением Кировского завода, лежал не только через произведения о войне и памяти войны в современном мироощущении человека — рассказы цикла «Молодая война», повесть «Наш комбат» (действие их непосредственно привязано к блокадным дням Ленинграда), документальная повесть «Клавдия Вилор». Не впрямую, опосредованно война отозвалась уже в рассказе «Вариант второй», который стал литературным дебютом Даниила Гранина. То же в первом романе «Искатели»: фронтовое прошлое Андрея Лобанова, главного героя романа, имело по замыслу писателя решающее значение для понимания его личности, характера, для авторского отношения

к нему. Не просто о поездке в ГДР написана и повесть-эссе «Прекрасная Ута»: ее сквозной нерв — писательские раздумья о том, что значит знание войны, как оно неотступно с нами и в нас.

«Без войны я не представляю себе духовного опыта многих своих героев. И вообще люди, прошедшие войну, солдаты войны, для меня самые близкие люди», — заметил однажды Даниил Гранин. И так побудил рассуждать о фронтовом прошлом комбата из повести «Наш комбат»: «Конечно, переделать нельзя, но передумать-то можно...» По-гранински емкая, четкая и точная формула. Неутоленная потребность передумать войну и привела писателя к «Блокадной книге», работу над которой он воспринимал как долг своей памяти...

Вспоминаю встречу с Даниилом Граниным в самый разгар этой работы. И хочу воспроизвести тогдашний, относящийся к 1977 году разговор о замысле «Блокадной книги» и об истории ее создания, начав с неожиданного признания писателя, приоткрывшего свою творческую лабораторию:

— А знаете, был ведь момент, когда я хотел бросить работу, когда подумал: не могу больше, не выдерживаю. И не объемы еще не сделанного страшили, а сам материал. Так тяжело изо дня в день слушать и записывать рассказы о человеческих страданиях, о муках детей, женщин, погибших под бомбами, от артобстрелов, умиравших от голода. Но разыскать человека, выслушать и записать его рассказ о пережитом сначала на магнитофонную ленту, потом перевести на бумагу — это еще полдела, только начало работы. Стенограммы рассказов для «Блокадной книги» на нынешний день насчитывают четыре тысячи страниц (потом их стало значительно больше. — *В. О.).* Четыре тысячи — представляете? Одних только записей... И еще множество писем и дневников тех, кто пережил блокаду. Чтобы получилась книга, надо все это перечитывать и перечитывать, и отбирать, соединять, прошивая авторской мыслью. Ведь главная наша цель — показать не одну лишь трагедию осажденного города, а Ленинград героический, сражающийся, сплоченный волей партии. Это существенная, я бы сказал, принципиальная разница. И в этом направлении мы ведем сейчас работу...

Слушать тяжело, записывать. А легко ли возвращаться, да еще по нескольку раз, к записанному? Есть же предел возможностям воспринимать человеческие страдания и заново переживать их! И у читателя есть, и у писателя. Вот я и почувствовал однажды, что исчерпал возможности, дошел до своего предела и нету сил у меня больше...

Помню, тогда мне подумалось: надо быть мужественным человеком, чтобы взять на себя такое и выдержать, не отступить, лишь спустя время признавшись в минутной слабости. И если труд писателя вообще требует мужества — людям робкого десятка за стол лучше и не садиться, и пера в руки не брать, — то для «Блокадной книги» его понадобилось во сто крат больше.

— Человек двести еще хотелось нам записать, — продолжал Даниил Гранин. — При всех повторах у каждого есть своя история, свой случай, что-то свое удивительное и бесконечно важное. И вот что важно: люди хотели не просто выжить, они хотели жить, чтобы бороться, чтобы отстоять свой город, победить фашизм...

Верно и глубоко сказано! Не только о трагедии повествует «Блокадная книга», хотя трагическим событиям и судьбам в ней

ет числа, но и о героике подвига, о нравственной стойкости ленинградцев, о силе их духа. Не о том, как они выжили, а как победили.

Вдумаемся, какое множество малых и больших, каждодневных подвигов человеческого духа навело писателей на проникновенные раздумья о том, что в осажденном городе «чувство локтя было необычайно высоким, может, выше, чем чувство желудка». Потому, как ни поражают наше воображение воспроизведенные в книге «картины разрушения, голодного быта блокадников, картины города закоченелого, парализованного, обессиленного», в центре их всегда оказываются судьбы людей, для которых «существовали не *способы выжить*, а скорее *способы жить*». Невероятно, но факт блокадной хроники: в выстуженных, заиндевевших, с дырами от снарядов залах Эрмитажа научный сотрудник П. Ф. Губчевский водил экскурсии перед пустыми рамами спрятанных картин, воочию видя великие полотна, которые воскрешал перед курсантами-сибиряками силой своего внутреннего зрения. В том же Эрмитаже состоялось торжественное заседание, посвященное 800-летию Низами, а в музее-квартире на Мойке был отмечен день рождения Пушкина. Не смолкали музы под гул орудий, и напряжение духовной жизни нередко становилось опорой в испытаниях.

Блокада раскрывала человека до конца, и в каждом «все просматривалось насквозь», у каждого была своя, «особая, пограничная минута между жизнью и смертью, последнего одинокого дыхания в груди». Но и на этой роковой черте находился «свой спаситель», свой «Безвестный Прохожий», являвший «пример массового альтруизма блокады. Он обнажался в крайние дни, в крайних обстоятельствах, но тем доподлинней его природа».

Спасая других, люди спасались сами. Не что иное, как чувство любви, долга, преданности — ребенку, дорогому человеку, семье, дому, родному городу, — держало на ногах. «Те, кто спасал, те, кто за кого-то беспокоился, кому-то помогал, вызволял и кого-то тащил, те, на ком лежала ответственность, кто из последних сил выполнял *свой долг* — работал, ухаживал за больными, за родными, — те, как ни странно, выживали чаще». Выдерживали жесточайшие испытания, которым подвергались любовь, супружество, семейные и родственные связи, отцовство и материнство — все человеческие чувства и качества. И каждый на своем месте трудился для фронта, для победы, достойно неся и деля судьбу ленинградца-блокадника, чьи «силы, энергия, ум, чувство, совесть направлялись на самое главное и неотстранимое, без чего завтра в магазины не поступит хлеб, без чего насмерть замерзнут тысячи людей, навалятся эпидемии...». Как подтверждает мастер Металлического завода Н. И. Васильев, за всю блокаду не помнит он случая, чтобы человек, который мог двигаться, не работал — для этого не требовалось никаких приказов. Не потому ли в потомственных семьях ленинградцев, в рабочих и учрежденческих коллективах, таких устойчивых, коренных, как Кировский завод или Публичная библиотека, «репутация блокадных лет» стала «как бы гарантией порядочности», знаком нравственных качеств особой пробы — проявленных в обстоятельствах, когда, казалось бы, должны были прорваться, выплеснуться самые темные и грубые, эгоистические инстинкты.

Случалось, они прорывались. Ведь «среди людей происходила как бы поляризация. Либо поступать по чести, по совести, не-

смотря ни на что, либо выжить во что бы то ни стало, любыми способами, за счет ближнего, родного, кого угодно». Но как бы ни возросла при этом «амплитуда страстей человеческих», сопоставляя самые тягостные падения и наивысшие проявления сознания, любви, преданности, авторы «Блокадной книги» свидетельствуют о том, что куда чаще и больше их «поражали неиссякаемые резервы душевных сил людей. Но также поражало и другое: чего можно добиться организованностью, какие возможности создавала та работа, которую называют таким холодным словом — организационная. Сколько еще можно, оказывается, сделать, когда ничего уже сделать нельзя, какие можно найти слова, какие чувства извлечь, как много можно (спокойно!) потребовать от других и от себя самого, когда, кажется, никто и ничего уже не в состоянии...».

Никто? Ничего? Вот цифры, приведенные в книге. 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 2405 полковых и 648 противотанковых пушек, около 10 тысяч минометов, свыше трех миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов и авиабомб дал фронту блокадный Ленинград за неполных шесть военных месяцев 1941 года. Кроме того, около 500 танков и более 300 орудий было отремонтировано на ленинградских заводах, включая Кировский и «Металлист». А Адмиралтейский, Балтийский и другие заводы перевооружили, отремонтировали 186 кораблей разных классов. «И все это, в тех условиях, в таких условиях!..»

В Ленинграде начиналась уже вторая блокадная зима, когда в ноябре 1942 года в Свердловске состоялась юбилейная сессия Академии наук, посвященная 25-летию Великого Октября. С докладом «Четверть века советской литературы» на ней выступил Алексей Толстой. «В нынешней войне, особенной и небывалой, — начал он свой доклад, — человечество потрясено в основах бытия, и народные массы призваны к повышенному волевому и моральному состоянию. Нынешняя война — это война моторов. Это так, но это не полное определение: моторов и силы преодоления страданий, нравственной силы. В этой войне не счастье, не случай и не только талант полководца принесут победу; победит та сторона, у которой больше моторов и тверже нравственный дух народа. Нравственные категории приобретают решающую роль в этой войне».

Внеся свой трудовой вклад в производство моторов, ленинградцы показали миру и беспримерный образец нравственного духа. Раскрывая его в преломлении через судьбы невыдуманных героев, авторы «Блокадной книги» видят в нем могучий исток победы над фашизмом. В этом состоит ведущий пафос их документального повествования, одновременно и трагедийного и героического.

В. Оскоцкий

Мужество поиска

Имя писателя Юрия Кларова по праву занимает одно из ведущих мест среди пишущих в жанре остросюжетной прозы. Темой большинства его произведений, как собственных, так и написанных в соавторстве с Анатолием Безугловым, является наша история. Точнее, первые десятилетия существования Советского госу-

дарства: революция, гражданская война, годы восстановления разрушенного хозяйства.

В последнее время появилось немало книг, посвященных героике первых лет Советской власти. То героическое время богато сюжетами поистине неисчерпаемыми. Столкновение противоборствующих сил в экстремальных условиях дает возможность писателю показать человеческие характеры в их наивысшем проявлении.

Но у читателей может возникнуть и такой вопрос: не идет ли порой автор по облегченному пути? Остро закрученный сюжет всегда захватывает. А с героями и того проще: добро — зло, белое — черное, сыщик — преступник. Встречались ведь книги, в которых уже на первых страницах было ясно, чем кончится дело. Творчество же Юрия Кларова дает возможности проследить, как острый сюжет становится пружиной подлинно художественного произведения.

Справедливо считается, что в литературу, особенно в прозу, должен приходить зрелый человек, обладающий жизненным опытом. Опыт у Юрия Кларова был. Причем именно такой, какой необходим автору, пишущему о борьбе с преступностью, о подвиге чекистов и защите завоеваний революции. Будущий писатель после окончания Московского юридического института работал адвокатом. Защищать правонарушителя — это значит максимально точно определить мотивы совершенных им действий, проникнуть в душу подзащитного. Работа, которая сродни литературному творчеству. Анализ ситуации, анализ поведения характера в данной ситуации. С каждым новым делом у будущего писателя накапливался интереснейший материал, который так и просился на бумагу.

Сочетая юридическую и журналистскую деятельность, Юрий Кларов все чаще выступал в периодике, издал две книги — «Вторая судимость» и «Повесть о следователе». Они были замечены в прессе, подчеркивался интерес автора к нравственным и социальным проблемам.

Впрочем, это теперь можно вот так просто сказать: издал две книги. На самом деле путь к ним был долгим и мучительным. И был он еще путем поиска самого себя в литературе.

Следующая книга, которая была написана Юрием Кларовым совместно с Анатолием Безугловым, принесла соавторам серьезный успех и широкую читательскую популярность. Это была повесть-хроника «Конец Хитрова рынка», которой было суждено стать первой частью трилогии о героической деятельности молодого Московского уголовного розыска начиная с первых лет Советской власти.

Представим себе Москву 1918 года. В самый напряженный момент в жизни молодой республики рождается советская милиция. Складывается характер следователя нового типа. Перед глазами читателей галерея молодых «сыщиков». Кто они, эти будущие асы розыска? Прошедший царские тюрьмы и ссылки большевик Медведев, рабочий паренек Виктор Сухоруков, гимназист Саша Белецкий и многие другие. Позже Белецкий станет главным героем следующих частей трилогии — повестей «В полосе отчуждения» и «Покушение». Он действительно превратится в профессионала высокого класса. А сейчас он так же, как и его товарищи, в борьбе за новый революционный порядок иногда совершает промахи и ошибки, и далеко ему до опытного, всезна-

ющего детектива. В процессе духовного и профессионального роста он зреет и мужает вместе со своей молодой страной.

Сюжетной основой повести является история ликвидации опаснейшей в те годы банды Кошелькова. Одно из наиболее трудных и опасных дел уголовного розыска. Так что же, авторы пошли по известной формуле: сыщик ловит, преступник удирает? На первый взгляд так. Есть сыщики и есть бандиты. Но есть еще и то, что выгодно отличает повесть-хронику от обыкновенного детектива: прежде всего пристальное внимание авторов к социальному и нравственному аспектам действительности, доскональное знание исторических условий, умелое обращение с архивными документами. Это в конечном счете рисует нам многоплановое полотно жизни общества в экстремальный момент, создает убедительную картину нашего недавнего героического прошлого, в котором банда Кошелькова — действительно трагический эпизод, а мужество и самоотречение Белецкого и его товарищей во имя высоких идеалов революции — высшая закономерность.

Действие второй повести — «В полосе отчуждения» — развивается уже в годы нэпа. И снова, тщательно расследуя преступление, Саша Белецкий вынужден углубляться в историю, на этот раз к последним дням царской фамилии, Распутину, Вырубовой и другим. Частный факт убийства в полосе отчуждения железной дороги в этой повести является сюжетным ходом для серьезного и углубленного показа обобщенной картины развала «высшего российского общества» накануне революции. Чередой проходят «бывшие» — нэпманы, уголовники, обыватели, носители «белой идеи». Портреты их выписаны с поразительной точностью и знанием психологии. И оттого само расследование и путешествие читателя в дни минувшие не отдают сенсационностью, открытием неких альковных тайн царского двора, а представляются убедительным историческим исследованием, подкрепленным высокой политической зрелостью и широтой кругозора возмужавшего в битве с преступностью Александра Белецкого.

Завершающая повесть трилогии — «Покушение». В 1935 году Московский уголовный розыск расследовал дело о покушении на ответственного работника. На этот раз роль Александра Белецкого усложнена. Он не только расследует преступление, но и вынужден со всей своей партийной принципиальностью и справедливостью отстаивать социалистическую законность. «Трудно отыскать, — размышляет в финале повести герой, — что-либо более конкретное и весомое, чем законность, справедливость и принципиальность. Правда, их нельзя измерить тоннами, пудами или метрами. Но они стоят и споров, и мучительных поисков, и бессонных ночей. Они необходимы, и это главное».

Так завершается трилогия об Александре Белецком, прошедшем трудную и славную жизнь. Он представляется настолько реальным, что некоторые читатели даже узнавали его, вспоминали о встречах с ним. Может ли быть высшая оценка литературного труда?

Совместная писательская работа, несомненно, налагает на каждого из соавторов определенные обязательства. Она и сдерживает в чем-то, и стимулирует. Во всяком случае, после работы над трилогией Юрий Кларов определил для себя четко свою дальнейшую привязанность — историю. Для следующих трех книг это будет гражданская война в различных ее аспектах.

«Допрос в Иркутске» — повесть, до предела насыщенная

историческими документами. О времени правления в Сибири адмирала Колчака написано уже немало. Здесь и история партизанского движения, и подпольная работа большевиков, и многое другое. Казалось бы, сказать что-то новое трудно. Однако Юрию Кларову удалось. В основе повести два антипода: бывший морской офицер, ныне большевик-подпольщик Стрижак-Васильев и адмирал Колчак. Два противоположных мира, две противоборствующие идеологии. Социально-философское осмысление смертельного конфликта этих бывших выпускников Морского корпуса, один из которых стал героем своего народа, а другой — палачом, является основной целью писателя. Он предельно скрупулезен в передаче исторических событий, фактов и документов и позволяет себе лишь в редких случаях авторский домысел. Причем этот домысел прямо вытекает из логики событий и представляется столь же достоверным, как и документы.

И еще одно качество писателя проявилось в этой повести. В ней совершенно отчетливо видна основа его творческого метода: широкое использование подлинного документа, пристальное внимание к детали и потребность краткого и точного психологического анализа поступка героя. Все вместе взятое и создает ощущение подлинности, достоверности того, о чем пишет Ю. Кларов.

Следующие две повести, составившие дилогию «Розыск», свидетельствуют о дальнейшем развитии и творческом росте таланта Юрия Кларова. О «Черном треугольнике» писали много. По этой повести поставлен одноименный телефильм.

В основу повести автор положил дело об ограблении патриаршей ризницы в Кремле в 1918 году. Это было время, когда крупное уголовное дело носило и определенный политический характер. Именно на это обстоятельство и обращает внимание автор. И следовательно, поиск похищенных драгоценностей, которые «монархическое общество» собрало для спасения царской фамилии, для организации активного сопротивления Советской власти, превратился в противоборство двух идейных и политических лагерей. Точно так же, как деятельность формально лояльной по отношению к большевикам Московской федерации анархистов представляется прямой контрреволюцией на фоне наступления немцев.

Ярко и колоритно, с присущей Ю. Кларову образностью и точностью деталей показана Москва, ее жители, переданы характеры сотрудников розыска Косачевского, Борина, Сухова, а также противостоящих им уголовников, анархистов, монархистов, служителей культа и других.

Немалую роль в повествовании играют и сами разыскиваемые предметы. Волею случая выдающиеся творения великих мастеров становятся замешанными в преступлениях. Автор с большим мастерством сумел как бы очистить их от наслоений стяжательства и ненависти и представить в первозданном виде, как замечательные реликвии народа, как материальные свидетельства культурной связи поколений.

Во второй повести — «Станция назначения — Харьков» — читатели снова встретятся с теми же героями. История продолжается. Продолжается и розыск. Судьба забросит Косачевского на Украину, где действуют банды Махно, где политическая обстановка меняется едва ли не ежедневно, но уже видится победа, близится конец гражданской войны. И он настает.

Мы простимся с нашими героями в момент закрытия еще одного дела. Сколько их будет впереди — неизвестно. Мы же уверены, что сошедшие со страниц книг Юрия Кларова герои будут всегда верны заветам революции, останутся «горновыми, которые выплавляют истину».

Виктор Вучетич

СОДЕРЖАНИЕ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
О. ПОПЦОВА, Б. ГУРНОВА

А. Адамович, Д. Гранин. — «Блокадная книга». В документальном повествовании, составленном из свидетельств очевидцев, переживших блокаду, известные советские писатели Д. Гранин и А. Адамович воссоздают картину беспримерного подвига Ленинграда, выстоявшего и победившего в, казалось, безвыходной ситуации осажденного города в годы Великой Отечественной войны.

Ю. Кларов. — «Станция назначения — Харьков». В повести лауреата премии СП СССР и МВД СССР Юрия Кларова, действие которой происходит в 1918 году, рассказывается об одной из первых крупных операций только что созданной советской милиции. В центре повествования — образы чекистов и сотрудников МУРа, нашедших и вернувших республике похищенные преступниками сокровища, являющиеся достоянием народа.

Приложение к журналу «Сельская молодежь», том 3, 1983 г., изд-во «Молодая гвардия».
384 с. Цена 1 р. 60 к.

Редактор **Б. Гуриов**
Главный художник **Н. Михайлов**
Обложка **В. Фекляева**
Рисунки **В. Фекляева и В. Лапина**
Оформление **А. Шипова**
Художественный редактор **А. Ким**
Технический редактор **Л. Коноплева**

Сдано в набор 23.03.83 г. Подписано к печати 30.05.83. А00123. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Гарнитура «Школьная». Бумага № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 27,4. Тираж 350 000. Цена 1 р. 60 к. Заказ 391.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

ЧИТАЙТЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ ТОМЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

"Подвиг"

произведения советских писателей

«...[illegible] тому, как [illegible] е, [illegible] ля знойным [illegible] меж [illegible] хлеба [illegible] ва [illegible] лю [illegible] енный [illegible] он пре[illegible] ме[illegible] необъ[illegible], рас[illegible] м на [illegible] ж[illegible] вой к[illegible] ной [illegible] Прежде, [illegible] казыв[illegible] ри[illegible] м как с[illegible] ь, д[illegible] и [illegible] ь на [illegible] м е...»

Е. НОСОВ. Усвятские шлемоносцы

«...Человек [illegible] ка, [illegible] толет [illegible] по[illegible] я [illegible] н[illegible].

— [illegible] и! — сказал [illegible] в[illegible]

Выстрел раздался так быстро, [illegible] ин [illegible] у[illegible] я [illegible] а[illegible] ая в[illegible] а [illegible] ля у[illegible]»

[illegible]В. [illegible]


1 р. 60 к.
честнымъ
гражданамъ!
К селянам! К сол
СТАНОВЛЯЕТЪ:
РАЙОННЫМЪ
СОВѢТАМЪ РАБОЧИХЪ Д
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИМЪ
ПРИКАЗ
ПРОЛЕТАРІЙ